

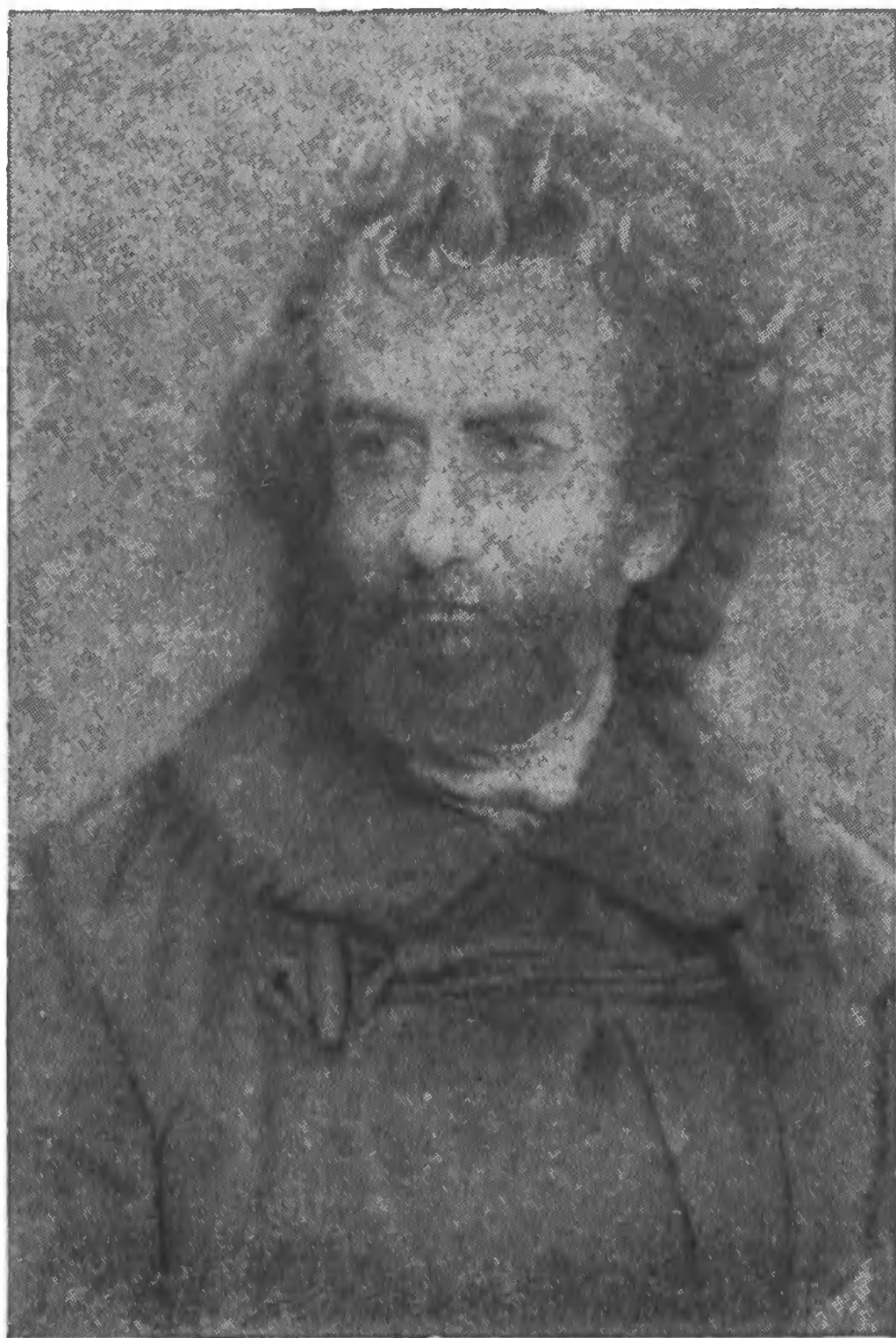
A stylized illustration in black and gold on a textured, light-colored background. It depicts a house with a white roof and a small window, surrounded by tall, dark trees. A ladder leans against the house, and a small figure is climbing it. The overall style is graphic and modern.

Л. ТЫНЯНОВА

ДРУГ
ИЗ ДАЛЕКА

Ветиз - 1962

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РСФСР
МОСКВА
1962**



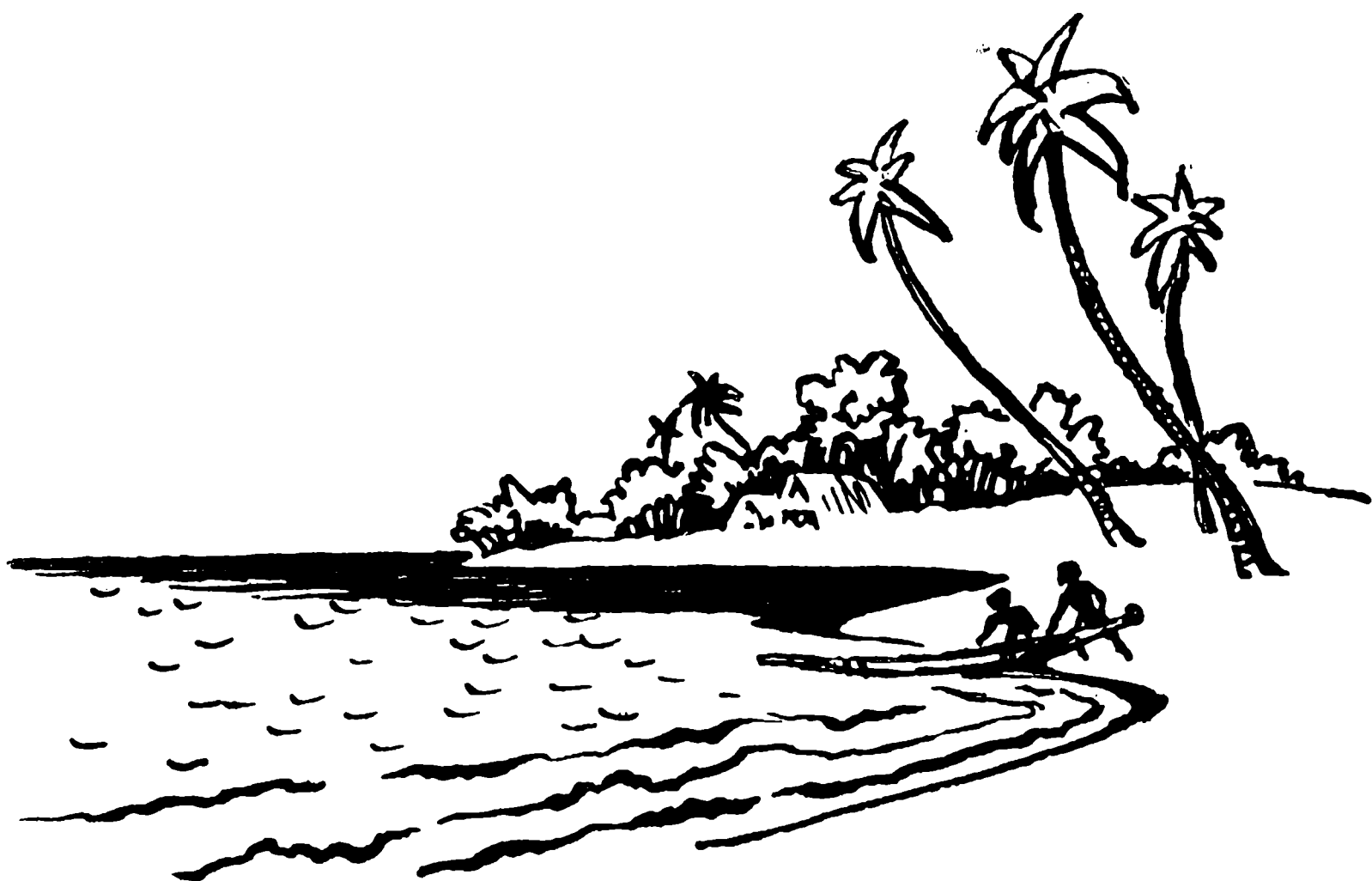
H. Meyer-Karlin

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. ТЫНЯНОВА

ДРУГ ИЗ ДАЛЁКА

ПОВЕСТЬ О ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ
Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЕ



91 (09П)
Т93

Оформление Ю. К и с е л е в а

. . .

**Книга иллюстрирована
рисунками Н. Н. М и к л у х о - М а к л а я
и фотографиями**

В повести «Друг из далёка» (первая часть ее была опубликована в 1955 году) рассказана жизнь знаменитого русского путешественника и ученого Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Биография его интересна не только потому, что богата необыкновенными происшествиями, но и потому, что сам он был человеком необыкновенным.

Мягкость и доброта сочетались в нем с поразительным бесстрашием и волей. Для него не существовало опасности, которая остановила бы его в достижении цели, не существовало препятствий, которые нельзя было бы преодолеть. Один из его современников писал, что жизнь Миклухо-Маклая представляла собой непрерывное путешествие и что Австралия и Новая Гвинея были для него так же близки, как Рязань или Тверь. Его короткая жизнь (он умер сорока двух лет, истощенный лишениями и тропической лихорадкой) вместила дела, которых хватило бы на несколько жизней. Он был одновременно и зоологом, и антропологом, и этнографом, и географом. Но одна черта отличала его от других ученых. Это был не бесстрастный исследователь. Для него первобытные народы являлись не просто предметом научного наблюдения. Он энергично вмешивался в судьбы этих народов, защищал их права, восставал против несправедливости, боролся с жестокостью колонизаторов. Он не боялся защищать их перед королями и императорами, перед людьми, обладавшими неограниченной властью.

Миклухо-Маклаю было двадцать три года, когда он отправился на Новую Гвинею, на берег, который до того времени

осторожно обходили все мореплаватели. Жители этого берега — папуасы — слыли самыми страшными людоедами. Об их жестокости и кровожадности ходило много рассказов. Миклухо-Маклай поставил перед собой задачу изучить эти первобытные, еще никем не исследованные племена. Папуасы считали себя единственными жителями земного шара. Они никогда не видели белого человека, и, когда этот странный, не похожий на них человек, одетый в диковинные одежды, окруженный диковинными вещами, появился на острове, папуасы решили, что он спустился с луны. Они встретили его как врага. За каждым деревом, за каждым кустом таилась смертельная опасность. Но ничто не останавливало Миклухо-Маклая. Папуасы вооружались копьями и стрелами, а он, рискуя жизнью, выходил к ним безоружным. Он лечил их, научил их многому, о чем они прежде не имели никакого понятия. Он никогда не обманывал их. Медленно, шаг за шагом, с неслыханным мужеством, терпением и упорством преодолевал он враждебность дикарей и наконец завоевал их полное доверие и любовь.

Лев Николаевич Толстой писал, что Миклухо-Маклай «подвигом истинного мужества», вооруженный не пулями и штыками, а одним только разумом, доказал, что «человек — везде человек».



СЕЛО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Бревенчатый дом с высоким резным крыльцом, с тенистым садиком стоял в самом конце села, недалеко от леса и новой железнодорожной линии. Комнаты были прохладные, светлые. На белых, некрашенных полах лежали половики, в шкафчиках, кладовочках стояли на полках глиняные горшочки. Целыми днями из лесу доносились звуки пилы, удары топора, звон молотков о рельсы. Валились огромные деревья, освобождая место для железной дороги, росли горы песка, заготавливавшегося для насыпи. Коля с братом Сережей и деревенскими ребяташками взбирались на них, а потом кубарем катились вниз. Штабелями лежали гладко выстроганные шпалы, и пахло свежим деревом. Ребята затевали игру в разбойников, ловко взбирались на шпалы, и первый добравшийся доверху назначался капитаном «разбойничьего корабля». Коля карабкался вслед за ребятами, но срывался

и падал. Прибегала мама, Екатерина Семеновна, и прикладывала холодный медный пятак к шишке на лбу или обмывала кровь с разбитого носа.

Сережа был всего на год старше Коли, но гораздо сильнее и здоровее его. Он всегда старался показать свое превосходство над братом.

— Маленьких мы не принимаем, — важно заявлял он, затевая какую-нибудь игру с ребятами, или снисходительно предлагал Коле бежать вперегонки, наперед зная, что без труда обгонит младшего брата.

От досадного чувства, что Сережа не только превосходит его во всем, но понимает нечто такое, чего он никогда не постигнет, Коля не мог избавиться и в более поздние годы.

Часто, когда Сережа бегал взапуски с товарищами, Екатерина Семеновна брала младшего сына с собой на прогулку. Коля хорошо знал места, по которым любила гулять Екатерина Семеновна, и для каждого из этих мест у него было свое название.

— Здравствуйтесь, сосны, — говорил он, входя в лес и глядя на ярко освещенные солнцем красноватые стволы сосен. — Здравствуй, черная грязь! — так называл он небольшое торфяное болотце.

За «черной грязью» начиналась полоса елового леса, темного и мрачного, как будто погруженного в заколдованный сон. Зеленоватые стволы огромных елей стояли почти правильными рядами, простирая свои широкие ветви, сквозь которые виднелись кусочки голубого неба. Здесь всегда был полумрак, какая-то торжественная тишина. И Коле казалось, что все птицы и звери, населяющие этот лес, притаились и ждут чего-то необыкновенного. Ему становилось не по себе, он жался поближе к маме и говорил, с опаской озираясь вокруг:

— Здравствуйтесь, дремучий лес!

Из уважения он обращался на «вы» к этому неприветливому месту.

Случалось, что, захватив с собой узелок, Екатерина Семеновна отправлялась к железнодорожной линии. Там, в лесу, в сырых землянках жили рабочие. Екатерина Семеновна шла быстро, мелкими шагами. Коля едва поспевал за нею. Она спускалась в одну из землянок, а Коля долго ждал ее, ходил вдоль насыпи, смотрел, как, согнувшись под непосильной тяжестью, люди таскали рельсы;

по колени увязнув босыми ногами в болоте, корчевали огромные пни; катили бревна; дробили камни... С утра до вечера шла тяжелая, изнурительная работа.

Мимо села Рождественского проходила линия новой, строившейся между Петербургом и Москвой, железной дороги, на которой работал отец Коли, инженер-капитан Миклухо.

Коля был еще слишком мал, чтобы задумываться над тем, что видел, но часто впоследствии всплывали в его памяти изможденные лица с впалыми щеками, воспаленные глаза, согнутые спины, босые ноги, распухшие от холодной воды.

На обратном пути мама шла молчаливо, рассеянно глядела вокруг и невпопад отвечала на Колины вопросы.

— Мама, а почему рабочие в землянках живут? Там темно? Почему они босые? Ведь вода холодная. Почему у них нет сапог? А рельсы тяжелые? А когда построят дорогу, тогда они не будут в землянках жить?

Мама отвечала односложно, как будто с трудом подыскивая слова. Коля был недоволен ее ответами, переставал спрашивать, и так, в молчании, они доходили до дому.

ПАРОВОЗ

С самого утра все село было в необычайном волнении: ждали прибытия первого паровоза из Петербурга. Возле насыпи железной дороги толпились крестьяне, пришедшие посмотреть на это невиданное чудо.

Коле очень хотелось пробраться сквозь толпу поближе к насыпи, чтобы лучше видеть, но мама крепко держала за руки его и Сережу и строго смотрела на обоих. Пришлось подчиниться.

Какие-то люди шагали по шпалам, о чем-то совещались, осматривали рельсы, постукивали по ним молотками. Папа и его начальник Клоков разговаривали, озабоченно вглядываясь в даль. Но вот из-за леса донесся протяжный свист. Толпа замерла в ожидании. Люди, шагавшие по шпалам, бросив последний, торопливый взгляд на рельсы, отошли в сторону, освобождая дорогу. Стрелочник, молодецкато подтянувшись, высоко поднял

руку с зеленым флажком. У Коли захватило дух. Несмотря на жару, по спине пробежал холодок. Наконец-то он увидит настоящий паровоз! Папа много рассказывал ему о паровозе, рисовал, вырезал из бумаги, но все же Коля не мог себе представить, что это такое.

Снова раздался свист, еще пронзительнее и протяжнее, слышался тяжелый грохот, и огромное черное чудовище выскочило из-за поворота дороги и понеслось прямо на Колю. Из высокой трубы валил дым, вырывались языки пламени. Коля крепко сжал мамину руку. Толпа ахнула и подалась назад. Маленькие дети заплакали от страха. Старики крестились. Обдавая всех дымом, паром, брызгами, с шипением и грохотом чудовище мчалось мимо. Коля успел лишь заметить огромные вертящиеся красные колеса. Ему показалось, что тонкий железный человечек, лежа на колесах и ухватившись за них, быстро двигает руками и ногами, то вытягиваясь, то сжимаясь. Коля хотел повнимательнее разглядеть этого волшебного человечка, но было уже поздно — паровоз промчался, исчез за деревьями, лишь эхо разносило мерный стук колес да над лесом таяла в прозрачном воздухе полоска дыма.

Коля оглянулся. Быть может, все это приснилось ему? Нет, вот мама, которая все еще крепко держит его за руку, вот Сережа прыгает на одной ноге, вот толпа шумит вокруг них. У насыпи стоит папа с теми же людьми, что и прежде. Они оживленно разговаривают,жимают друг другу руки, даже обнимаются — и это очень странно, потому что папа всегда такой сдержанный и строгий.

— Мама, а куда паровоз убежал? Отчего он у нас не остался? Он вернется к нам? Он уже далеко?..

Мама едва успевала отвечать на взволнованные Колины вопросы.

Весь остальной день Коля был задумчив и молчалив. Рассеянно сидел за обедом, не прислушиваясь к разговорам взрослых, рассеянно отвечал на приставания Сережи, рассеянно простился вечером с мамой, когда она, нарядная, в новом платье, ушла вместе с папой в гости.

Сережа уже давно спал, а Коля все лежал с открытыми глазами, глядел в темноту и думал о паровозе. Где он теперь? Быть может, все несется через поля и леса черное чудовище, грохочет, обдаёт всех дымом и пламе-

нем? Все мечется на красных колесах железный человек, машет руками и ногами, прыгает, как кузнечик? Вперед и вперед — по земле, по воде, по воздуху, в дальние страны!

ПЕТЕРБУРГ

Прошел этот веселый, необыкновенный день, а вскоре после него все в доме изменилось. Папа приходил с работы расстроенный, озабоченный и подолгу разговаривал с мамой, запершись в кабинете.

— Ну и пусть выгоняют! Не могу я больше смотреть на эти безобразия!.. — доносились иногда из кабинета обрывки фраз. — Народ не жалеют. На костях дорогу строят! Я бы самому Клейнмихелю в лицо сказал...

Мама отвечала тихим, но твердым голосом. Коля не мог разобрать слов, но понимал, что она успокаивает папу. А потом папа и вовсе перестал ходить на работу. Хмурый, осунувшийся, шагал он по кабинету, курил папиросу за папиросой, что-то писал, скрипя пером, подолгу сидел в глубокой задумчивости, рисуя на чистом листке бумаги средневековые замки, пейзажи.

К маме забегали знакомые, чем-то возмущались, сочувственно качали головой. Они, так же как и папа, говорили о каком-то Клейнмихеле.

«Кто бы это мог быть?» — думал Коля. Он знал, что по-немецки «клейн» означает «маленький», и представлял себе злого карлика в остроконечной шапочке, который был нарисован на картинке в одной из его книжек.

Карлик был виноват во всем: что папа был так угрюм и озабочен; что мама ходила грустная, расстроенная и перестала рассказывать детям интересные истории; что в доме стало скучно и неуютно. Из разговоров взрослых Коля понял, что карлик уволил папу с работы.

«Как бы отомстить этому гадкому гному?» — думал Коля. Лишь гораздо позднее он с удивлением узнал, что Клейнмихель — это вовсе не гном и не карлик, а важный сановник, министр путей сообщения, начальник папы и Клокова, и еще многих-многих людей, служивших на железных дорогах, и всех этих голодных, несчастных рабочих.

Коля не мог бы сказать, как долго продолжалось это печальное время. Неожиданно все снова переменялось.

В доме начался какой-то веселый беспорядок. Шкафы и комоды были открыты, ящики выдвинуты, с чердака принесены корзины: укладывалось белье, платье, книги, посуда. На полу валялась солома. Коля и Сережа отбирали самые ровные соломинки и пускали мыльные пузыри. Мама хлопотала, укладывала вещи, распоряжалась. Детям объявили, что они переезжают в Петербург.

Николай Ильич Миклухо был снова принят на работу и назначен начальником одного из отделений Петербурго-Московской железной дороги. Коле исполнилось тогда шесть лет.

Петербург Коле не понравился. Дома были большие, серые, неприветливые, небо тоже серое. Даже солнце, казалось, светило здесь совсем по-иному, чем в Рождественском. Он тосковал по деревенскому дому с кладовочками и уютными уголками; по быстрой, прозрачной речке, по которой так весело было пускать кораблики из коры; по полям и даже по «дремучему» еловому лесу, который казался ему теперь совсем нестрашным.

Ничего этого не было в Петербурге.

Гулять без взрослых Коле разрешалось только во дворе, а двор был мрачный и тесный. Куда ни взглянешь — со всех сторон окна да окна, и, только если закинуть голову кверху, можно увидеть кусочек неба. И на улицах ничто не привлекало Колю. Уличный шум пугал его и мешал думать, а стены домов как будто давили своей тяжестью и заслоняли солнце.

Только одно радовало Колю — недалеко от дома был Таврический парк. Длинные, тенистые аллеи, в которых легко было заблудиться; узкие, извилистые дорожки между кустами акации и сирени; живописные пригорки; пруды, где летом плавали лебеди, а зимой дети и взрослые катались на коньках — все это, хоть и отдаленно, напоминало Коле родные просторы.

НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Николай Ильич любил детей. Стоило ему узнать, что у кого-нибудь из рабочих болен ребенок, как его обычная сдержанность сразу же исчезала. Беспокойно поглядывая



Николай Ильич Миклухо-Маклай.

из-под очков, он начинал подробно расспрашивать о больном: сколько лет, давно ли заболел, был ли врач или хотя бы фельдшер. Нередко разговор кончался тем, что, вынув из кармана монету, он неловко совал ее рабочему. А после службы сам отправлялся провести маленького больного.

Сдержанный дома и на людях, Николай Ильич никогда даже голоса не повышал в разговоре с детьми. Они и не представляли себе, что отец может накричать на них или, чего доброго, побить за какую-нибудь провинность. Он просто брал провинившегося за руку, отводил к себе в кабинет и сажал на стул против письменного стола. Время от времени, отрываясь от работы, он молча поглядывал на него из-под очков, и это было хуже любого наказания. Коля навсегда запомнил его строгий, укоризненный взгляд, от которого, казалось, нельзя было утаить ни одной мысли. Правда, виновный не подозревал, что и

отцу в эти минуты бывало не по себе. Николай Ильич был отходчив, долго сердиться не мог и с облегчением вздыхал, выпроваживая сына из кабинета.

Самым тяжелым преступлением считалось изменить данному слову. В этих случаях лишь благодаря вмешательству Екатерины Семеновны и уверениям, что это никогда больше не повторится, Николай Ильич соглашался простить виновного.

— Всегда держи свое слово! — внушал он детям. — Tengo una palabra, как говорят испанцы!

Коле это правило пришлось по душе. «Всегда держу свое слово!» — написал он на листе бумаги большими печатными буквами и, раскрасив цветными карандашами, повесил над изголовьем кровати.

Когда после обеда отец уходил к себе в кабинет, в доме наступала тишина. Коля подходил на цыпочках к двери и прислушивался: все тихо — значит, папа еще работает и ему нельзя мешать. Если за дверью раздавались шаги или знакомое поскрипывание дивана — значит, он уже окончил работу и можно приоткрыть дверь и посмотреть в щелку. А когда посмотришь в щелку, папа непременно заметит и позовет. И тут-то наступало самое интересное. В сумерках все в кабинете казалось загадочным: большой письменный стол с бумагами и папками, к которым строго-настрого запрещено было прикасаться, со множеством карандашей, перьев, линеечек, циркулей, с медным, ярко начищенным чернильным прибором, в котором были всевозможные принадлежности; тяжелый копировальный пресс стоял в углу, на маленьком столике; книги — в дубовых шкафах за стеклянными дверцами.

На скрипучем кожаном диване Николай Ильич отдыхал от работы. Летом, чтобы не мешали мухи, он покрывал голову газетой. Коля взбирался к отцу на диван, залезал под газету и воображал, что живет с папой в шалаше.

— Ну, о чем сегодня? — спрашивал Николай Ильич.

У Коли уже заранее были приготовлены вопросы.

Они загадывали друг другу загадки. Коля старался придумать загадку потруднее, Николай Ильич делал вид, что никак не может отгадать, давал неверные ответы, и оба хохотали до слез.

Часто в эти часы, когда они сумерничали в кабинете,

Николай Ильич рассказывал о своем детстве в маленьком городке Стародубе, Черниговской губернии, о своих родителях, о деде Степане, который был еще жив, когда Николай Ильич был мальчиком. Этот легендарный дед, о храбрости, силе и находчивости которого в семье Миклухо рассказывались чудеса, особенно интересовал Колю. Он представлялся ему сказочным богатырем в панцире и в латах. На самом же деле это был просто хорунжий казачьего полка. Во время русско-турецкой войны он отличился при штурме Очакова, за что и был пожалован потомственным дворянством.

У Николая Ильича сохранилось какое-то старинное прошение, под которым крупными буквами было подписано:

«К сему руку приложил

Степан Миклухо-Маклай».

— Почему Маклай? — удивлялся Коля.

— У нас в роду была такая фамилия. Кто-то из далеких предков назывался просто «Маклай».

— Мне нравится эта фамилия, — задумчиво говорил Коля.

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА

Екатерина Семеновна была маленького роста, худенькая, с гладко причесанными на прямой пробор каштановыми волосами и большими серыми глазами. Она была на десять лет моложе мужа, но Николай Ильич всегда считался с ее мнением и во всех серьезных делах спрашивал ее совета.

«Папа не любит», «папа не позволяет», «папа́ будет сердиться», — говорила Екатерина Семеновна, запрещая что-нибудь детям, и они слушались, прекрасно понимая, что «не любит, не позволяет и будет сердиться» не папа, а мама.

Так же как и Николай Ильич, Екатерина Семеновна детей никогда не наказывала. Стоило ей недовольно наморщить брови, строго взглянуть и сказать тихим голосом: «Стыдно, Коля», или: «Стыдно, Сережа», как они готовы были просить у нее прощения, и это было для них почему-то несравненно легче, чем извиниться перед отцом.



Екатерина Семеновна Миклухо-Маклай.

Когда мамы не было, в доме становилось пусто и скучно, а с ее появлением все, казалось, оживало. Она ходила по комнатам своей быстрой, легкой походкой, что-то напевая вполголоса, хлопотала по хозяйству и могла даже вовсе не заниматься детьми, но от одного ее присутствия им было спать спокойнее, а играть веселее.

Зимними вечерами, когда мама освобождалась от хозяйственных хлопот и садилась в кресло с каким-нибудь шитьем, Коля брал маленькую скамеечку, усаживался у ее ног и слушал рассказы о мамином детстве. Это были очень интересные рассказы, и Коля готов был слушать их без конца. Иногда он так увлекался, что начинал поправлять Екатерину Семеновну или дополнял ее рассказ, как будто и он жил в то далекое время.

— Коля, ведь тебя тогда еще на свете не было! — пытался его образумить рассудительный Сережа.

Но Колю это несколько не смущало.

— Мама, расскажи про деда Семена, — просил он.

И Екатерина Семеновна рассказывала о своем отце, докторе Беккере, участнике Отечественной войны 1812 года. Он был ранен, вышел в отставку, поселился в Москве и служил в больнице для чернорабочих на Воробьевых горах. Там провела свое детство и юность Екатерина Семеновна. Она рассказывала, каким добрым был ее отец, как ненавидел он всякую несправедливость, какие удивительные у него были друзья.

И Колиному воображению представлялся лучший друг семьи — знаменитый русский врач Федор Петрович Гааз, старик с голубыми глазами, всегда ясный и бодрый духом, всем говоривший правду в лицо.

В черном фраке, с белым жабо, в коротких панталонах, в заштопанных длинных черных чулках и башмаках с пряжками, разъезжал он в своей старинной пролетке по улицам Москвы, и бедняки издалека узнавали «своего доктора» — так называли они Федора Петровича.

Гааз был старшим врачом московских тюремных больниц и всю свою жизнь изо дня в день боролся с жестокостью тюремных порядков. Он присутствовал при отправке каждой партии ссыльных, покупал им в дорогу на свои деньги продукты, записывал адреса их родных, принимал поручения, далеко провожал их пешком. А потом со многими из них переписывался, посылал книги и деньги. В своих горячих, упорных хлопотах о пересмотре дел, о смягчении наказаний, об отмене приговоров Гааз не останавливался ни перед чем — обращался к высшему начальству, вступал в споры с митрополитом, писал самому царю.

Екатерина Семеновна вспоминала, как она с отцом приходила к Федору Петровичу в его тесную, заваленную книгами квартирку при больнице, которую прозвали «Гаазовской». С утра к нему вереницей тянулись больные. Он всех принимал, раздавал бесплатно лекарства, делился последними деньгами.

Во время эпидемии холеры в Москве в разных частях города появлялась его пролетка. Ее сразу же окружала толпа — всем хотелось услышать, что скажет «свой доктор». И при звуках его спокойного, уверенного голоса в сердцах людей, охваченных тревогой, пробуждалась надежда...

— Мама, когда я вырасту, я тоже буду доктором, — убежденно говорил Коля, — и буду лечить больных, давать им лекарства, и буду работать в больнице и ходить в белом халате. Я непременно хочу быть доктором, мама!

И о другом враче, друге своего отца, часто рассказывала Екатерина Семеновна: о Николае Христофоровиче Кетчере.

Высокий, с резкими, крупными чертами лица, с грозным и одновременно добродушным взглядом из-под очков, с торчащими во все стороны, как будто нарочно растрепанными волосами, он появлялся — и в доме сразу становилось шумно. Дети — Екатерина Семеновна и ее братья — радостно бежали навстречу Кетчеру, издали завидев его широкополую шляпу и знакомый черный плащ на красной подкладке. А под плащом у него всегда была связка книг для детей.

Когда собирались гости, распорядителем неизменно бывал Кетчер. Его громкий голос покрывал все остальные голоса. Он откупоривал бутылки, разливал вино, следил, чтобы гости ели и пили, и покрикивал на них, грозно поднимая брови:

— Я, как врач, приказываю!..

Однако, когда кто-нибудь из знакомых был болен и обращался к нему за советом, Кетчер ворчал недовольно:

— Выдумываете себе болезни! Нравится вам лечиться!

Врачебной практики Николай Христофорович не любил и мало ею занимался. Любил он литературу и был известным переводчиком и близким другом Герцена.

Имя Александра Ивановича Герцена Екатерина Семеновна произносила всегда с благоговением, понижая голос, как будто опасаясь, что кто-нибудь может ее услышать. И, оглядываясь по сторонам, Коля тоже шепотом начинал расспрашивать о Герцене: кто он такой, что делает, где живет, добрый ли он? Екатерина Семеновна отвечала, что Герцен пишет книги, что живет он теперь далеко — за границей, а раньше жил в Москве, что он очень добрый и хочет, чтобы всем людям хорошо жилось, и что, когда Коля вырастет, он прочитает книги Герцена и тогда все поймет, а пока ему еще надо долго учиться.

БУДУ ХУДОЖНИКОМ!

Время шло. Постепенно Коля привыкал к петербургской жизни. Семья их теперь увеличилась. Появились «малыши» — Володя, Оля и Миша. Старшие мальчики начали учиться. В гимназию родители решили пока не отдавать их.

— Успеют еще казенщины хлебнуть, пусть дома поучатся, — сказал Николай Ильич.

Домашние занятия вначале показались Коле скучными. Приходил учитель чистописания, заставлял выводить палочки. Елизавета Ивановна, молодая девушка, помогавшая Екатерине Семеновне по хозяйству, обучала мальчиков языкам. Каждое утро она задавала им переводить с французского и немецкого одну главу из священного писания. Это тоже было не очень-то весело. Но вот Николай Ильич пригласил художника Ваулина давать сыновьям уроки рисования, и Коля перестал скучать.

--- Пригодится в жизни, — сказал Николай Ильич.

Сам он любил и понимал живопись.

К рисованию у Коли оказались большие способности. У него был верный глаз, умение уловить сходство, подметить оттенки. Он рисовал много, рисовал где придется — в тетрадях, альбомах, на запотевших стеклах окон, на дорожках в саду. Мама едва успевала сменить на его письменном столе бумагу, как она снова покрывалась человечками — толстыми и тонкими, длинноволосыми и лысыми, в шляпах, цилиндрах и форменных военных фуражках. Очень часто эти человечки были похожи на знакомых мамы и папы, на дядю Сережу — braveго отставного военного. Самое трудное было заставить кого-нибудь из домашних позировать. У взрослых не было времени, Сережа считал ниже своего достоинства долго сидеть на одном месте перед младшим братом, и только сестренка Оля была терпеливее других. Подолгу неподвижно сидела она в кресле и смотрела на Колю своими ясными серыми глазами. У нее затекали ножки, ей хотелось побегать, но ради брата она готова была на любую жертву. Зато он с особой тщательностью выводил огромный бант, красовавшийся на ее пушистой светлой головке, и Оля приходила в восторг. Постепенно портреты начинали удаваться. Ваулин был доволен и похваливал ученика.

— Нет, не буду врачом, буду художником! — решил Коля. — Поступлю в Академию художеств.

Но Николай Ильич с сомнением качал головой, когда сын делился с ним своими мечтами.

— Сначала гимназию кончишь, многому научишься, многое узнаешь, тогда и выберешь, кем быть. А пока лучше не загадывать.

СМЕРТЬ ОТЦА

Николай Ильич по-прежнему много работал, был в постоянных разъездах, но часто начал прихварывать. Екатерина Семеновна с тревогой вглядывалась в его пожелтевшее, осунувшееся лицо, прислушивалась к доносившемуся из кабинета сухому кашлю. Во время одной из поездок он жестоко простудился и слег в постель. Болезнь эта окончательно подорвала его силы. После нее он уже не мог оправиться.

По просьбе Екатерины Семеновны, больного часто навещал доктор Боков. Екатерина Семеновна доверяла ему. Коле очень нравился этот еще совсем молодой, красивый человек с добрыми, немного исподлобья глазами.

Спокойной, неторопливой походкой проходил он к Николаю Ильичу, выслушивал, выстукивал, а потом подолгу беседовал с ним. Иногда Коле удавалось проскользнуть в комнату, и он с любопытством прислушивался к их разговорам.

Говорили они о многом, и меньше всего о болезни: о газетных новостях, о политических событиях, о подготовлявшемся проекте крестьянской реформы.

— Да чего тут ждать! — безнадежно махнув рукой, говорил Боков. — Комитеты, комиссии! Ярым реакционерам поручено, крепостникам! Уж в первую очередь они о себе позаботятся, будьте покойны!

Коля неясно представлял себе, кто такие эти «ярые реакционеры», но по выражению лица Бокова понимал, что это плохие, и даже очень плохие люди.

— А что думает обо всем этом Николай Гаврилович? — спрашивал Николай Ильич.

И при этом имени собеседники оживлялись и, увлеченные разговором, казалось, забывали обо всем на свете.

А Коля уже знал, что Николай Гаврилович — это Чернышевский, другом и домашним врачом которого был Боков.

— Как хорошо, что в наше трудное время живут и борются такие люди! — И на прощание Николай Ильич горячо пожимал Бокову руку, как будто желая передать привет его великому другу.

Но едва, осторожно закрыв за собою дверь, Петр Иванович переступал порог комнаты, лицо его принимало озабоченное выражение. Он не скрывал от Екатерины Семеновны опасности положения, делал все возможное, чтобы спасти больного, сам привозил врачей на консилиум.

День ото дня Николаю Ильичу становилось хуже. Страшные припадки кашля мучили его. Взгляд глубоко запавших глаз подолгу с печалью останавливался на жене, словно взвешивая ту тяжесть, которая скоро ляжет на ее плечи...

В декабре 1857 года Николай Ильич умер.

Хотя отец болел долго, Коля, однако, никак не мог себе представить, что он может умереть. Он не допускал этой мысли даже в последние дни, когда Николай Ильич уже не мог говорить, а только поглаживал руку сына слабеющей рукой.

...Невозможно было поверить, что никогда больше Коля не увидит отца, не услышит его голоса, знакомых шагов! Странно и больно было сознавать, что с этой смертью ничто не изменилось в окружающем мире. По-прежнему по утрам вставало солнце; по-прежнему по улице мимо их дома равнодушно шли прохожие, торопясь по своим делам; по-прежнему во дворе играли ребята.

Первые дни после смерти Николая Ильича в квартире толпилось много народу. Родные, друзья, знакомые и какие-то совсем чужие люди суетились, хлопотали, распоряжались.

«Зачем они здесь?» — думал Коля и забивался куда-нибудь в угол подальше, чтобы никого не видеть. Ему хотелось, чтобы все эти люди поскорее ушли и оставили его с мамой, с Сережей, с их общим горем.

После похорон еще продолжали приходить знакомые, а потом маму стали навещать только самые близкие друзья, и то всё реже и реже.

— У каждого свои заботы, дела, — говорила мама.

В квартире стало тихо и пусто. Дверь кабинета была закрыта, и Коля проходил мимо нее на цыпочках, как будто все еще боясь потревожить отца. Иногда он, как прежде, приоткрывал дверь и заглядывал в щелку, но при виде пустого кресла и дивана, на котором было проведено столько счастливых, невозвратимых часов, такая тоска, такое одиночество охватывали его, что он убегал из дому и долго бродил по улицам, растерянный, подавленный.

Екатерина Семеновна осталась с пятью детьми, из которых старшему, Сергею, было двенадцать лет, а младшему, Михаилу, полтора года. Помощи ждать было не от кого, да она и не приняла бы ее.

«Я скупа, — отвечала она родным, упрекавшим ее за редкие письма, — скупа и ни с кем не хочу делить свое горе и заботы».

Сбережений после Николая Ильича осталось немного. Екатерина Семеновна сняла другую квартиру — в доме Глазунова по Большой Мещанской, продала часть мебели и начала работать. И с этого времени жизнь семьи пошла совсем по-иному.

Екатерина Семеновна была теперь занята и не могла проводить столько времени с детьми, как прежде. Дни и ночи просиживала она над черчением и раскрашиванием географических карт — эту работу ей удалось получить с помощью товарищей Николая Ильича. Свернутые трубочками, горой лежали карты на письменном столе. Коля разворачивал трубочки, смотрел на голубые моря, светло-зеленые равнины, желтые пустыни, коричневые горы и плоскогорья — краски оживали перед его глазами, и он видел перед собой настоящие моря и пустыни, леса и горы, видел людей, живущих в этих далеких странах.

Старшим мальчикам пришла пора серьезно учиться. Екатерина Семеновна отдала их в школу св. Анны — таково было желание Николая Ильича. Преподавание велось там на немецком языке, и, таким образом, думал он, дети смогут изучить язык в совершенстве. Однако в скором времени Екатерина Семеновна взяла их из школы.

«Дети русские, так должны и учиться в русской гимназии», — решила она.

Коля был рад этому. Немецкая школа, с немецкими учителями, с немецкими учебниками и немецкими порядками была ему не по душе.

Для занятий с мальчиками Екатерина Семеновна пригласила студента Валентина Валентиновича Миклашевского. Это был совсем еще молодой человек, всего семью годами старше Коли. Он учился на юридическом факультете Петербургского университета. Поляк по происхождению, он горячо сочувствовал освободительному движению польского народа.

К своему воспитателю Коля отнесся вначале настороженно. Чувство, что посторонний может занять в его сердце хоть часть того места, которое прежде принадлежало отцу, не покидало его. Миклашевский понимал это и ни на чем не настаивал. Постепенно, однако, чувство это сглаживалось, Коля привыкал к учителю и наконец привязался к нему всей душой. И Валентин Валентинович полюбил своего ученика. Ему хотелось быть его старшим другом и настоящим руководителем в жизни.

Мальчик поражал его любознательностью, не по возрасту пытливым и ясным умом. После уроков они отправлялись вдвоем на прогулки, и Миклашевский сам удивлялся, как быстро и незаметно проходит время в разговорах с маленьким воспитанником.

Учился Коля с охотой, предметы давались ему легко. В очень короткий срок он подготовился и сдал экзамен в третий класс 2-й Санкт-Петербургской гимназии.

ГИМНАЗИЯ

Длинное серое здание с колоннами на углу Большой Мещанской и Демидова переулков. Со стороны Демидова ко 2-й Санкт-Петербургской гимназии примыкает пересыльная тюрьма. Из окон второго этажа воспитанники могут видеть огороженный высокой кирпичной стеной внутренний двор тюрьмы, по которому проходят арестанты.

Гимназия учреждена в 1805 году. Много поколений вышло из ее стен. Среди окончивших курс значатся имена сенаторов, тайных советников, духовных лиц, важ-

ных сановников, которыми гордится гимназическое начальство. Согласно уставу, воспитанники делятся на пансионеров, полупансионеров и приходящих. В списке полупансионеров с 1 августа 1859 года числится воспитанник Николай Миклухо.

Когда по утрам Коля выбегает из ворот дома, на улице еще совсем темно. Кое-где с вечера тускло горят масляные фонари. Дворники в овчинных тулупах подметают мостовую. От дома до гимназии недалеко. Надо только пробежать два квартала по Большой Мещанской, и вот уже угол Демидова — здание гимназии. Каждый раз, подходя к этому месту, Коля ожидает чуда: быть может, вместо серого, неприветливого дома он увидит белый дворец с красивыми балконами, с легкими, развевающимися занавесками на окнах? Быть может, сад с тенистыми аллеями и яркими цветами? Но по-прежнему стоит на углу Демидова переулкa казенное серое здание и смотрит на Колю своими тусклыми окнами. И с тоскливым, безотрадным чувством он входит во двор через тяжелые железные ворота.

Надо явиться ровно за четверть часа до начала занятий, иначе двери шинельной будут заперты и придется мерзнуть во дворе. У входа гимназистов встречает младший надзиратель Кобылин, отставной унтер-офицер огромного роста. У него угрюмое лицо с широкими скулами и раскосыми, монгольскими глазами. Когда учитель истории на уроках рассказывает о татарском иге, перед Колиными глазами всегда проплывает лицо Кобылина, и Коля как-то яснее представляет себе всю тяжесть этого ига. Кобылин, как, впрочем, и все в гимназии, любит показать свою власть над воспитанниками.

— Вы у меня смотрите! — то и дело грозно покрикивает он. — Только слово скажу Кузьме Петровичу — и он вас вон куда упрячет! — Своими раскосыми глазами он показывает на карцер.

Кузьма Петрович — это старший надзиратель за приходящими учениками и одновременно учитель русского языка и словесности. Надзирателей в гимназии много: надзиратели за приходящими воспитанниками, комнатные надзиратели — за пансионерами, общие, классные надзиратели. Среди них почему-то много немцев, невежественных и грубых. Немало терпят от них воспитанники. В обязанности надзирателей вменяется «иметь

бдительный, непрерывный надзор над воспитанниками, наблюдать за ними во время разговоров их между собой и доносить каждое утро начальству». Обязанности эти они выполняют с рвением, подстерегая гимназистов и в классах, и в коридорах во время перемен, и в спальнях, и в столовой. Их интересует всё. Говорят ли мальчики об уроках или о прогулках, об учителях или о старших братьях, спорят ли, ругают ли надоевшие «суконные» пироги с гречневой кашей, — все подслушивается, записывается и докладывается по начальству.

Воспитанник Миклухо на плохом счету у начальства. Надзиратели часто доносят о нем инспектору. Этот мальчик беспокоит их. Он слишком прямо смотрит в глаза и говорит правду в лицо, не страшась ни грозных окриков, ни карцера, ни придинок. Мало того: он постоянно вмешивается не в свое дело, заступает за товарищей и все ищет какой-то справедливости. В классе он меньше всех ростом, слабее и тщедушнее, а между тем даже самые отчаянные «камчадалы» и верзилы-второгодники прислушиваются к его словам и считаются с его мнением. Надзиратель Кобылин доносит, что каждый день после уроков воспитанник Миклухо уходит домой, окруженный целой ватагой товарищей. Воспитатели недоумевают.

А виновник всего этого беспокойства ни о чем не догадывается. Он просто ведет себя в гимназии так, как привык вести себя дома: никогда не изменяет данному слову, заступает за тех, кто нуждается в защите, и ни от кого не скрывает своих мыслей. Уважение воспитанников он завоевал с первого же дня, когда с непостижимым спокойствием встретил все приставания и нападки гимназистов. Хотя ему «показали Москву» и надавали щелчков, он все же не выглядел побежденным и на строгий приказ лохматого старшеклассника сбегать за булкой твердо ответил:

— Не пойду. Я занят.

Теперь у Коли много друзей. Если бы надзиратель Кобылин пошел вслед за ним после уроков, он увидел бы, что товарищи не только провожают воспитанника Миклухо до дома, но вместе с ним вваливаются всей ватагой в квартиру на Большой Мещанской. Кобылин убедился бы в том, что они с удовольствием проводят здесь время, что никто не стесняет их, что они привыкли к домашним

порядкам, привыкли к малышам, которые радостно кидаются им навстречу. С удивлением узнал бы надзиратель, что его питомцы рассказывают о своих делах маленькой женщине с живыми серыми глазами, что она внимательно слушает их, вникает во все мелочи гимназической жизни и в глубине души возмущается тупостью и невежеством воспитателей. Она никогда не сердится, если они шумно спорят и веселятся, и не пугается, если во время какого-нибудь химического опыта раздается оглушительный взрыв и комната наполняется едким дымом. Она не наказывает их и не кричит на них. Давясь от кашля, она только открывает форточку и говорит, улыбаясь:

— Ничего, без этого не обойдешься. В другой раз будете осторожнее!

И еще многое показалось бы странным надзирателю Кобылину в доме воспитанника Миклухо.

МЫ УВИДИМ ДАЛЕКИЕ ЗЕМЛИ

Худенький, бледный мальчик в гимназической курточке сидит у окна, склонив голову на руку. Раскрытая книга лежит перед ним на широком подоконнике. Одну за другой переворачивает он страницы, и удивительные картины проходят перед его глазами. Он видит далекие моря, коралловые рифы, вечнозеленые тропические леса, плодоносные долины и пустынные берега с глинистыми, голыми утесами. Он видит белые, покрытые вечными снегами цепи гор, ледники, сползающие вниз.

Книга называется «Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Сенявин». Ее написал знаменитый русский мореплаватель Федор Петрович Литке.

Отрываясь от чтения, светлые глаза мальчика задумчиво и пытливо вглядываются в окно, словно ожидая увидеть там нечто необыкновенное. Но ни моря, ни вечнозеленых деревьев, ни коралловых рифов нет за окном. Лишь серое петербургское небо, да серые дома по Большой Мещанской улице, да воробышки, то бодро прыгающие по мостовой, то взлетающие на крыши домов.

«Флота капитан Федор Литке», — задумчиво выводит Коля на запотевшем стекле.

Из столовой доносятся звонкие голоса. Это к Сереже пришел его одноклассник Жоржик Шель. Коля с досадой пожимает плечами. И зачем только Сережа привел его? Ведь сам сказал о нем как-то: «Подлый баро́нишка!»

Всегда аккуратно одетый, с черными, тщательно приглаженными волосами и слащавой улыбкой, Жоржик наущничает и лебезит перед начальством.

Стараясь не слушать, Коля вновь принимается за книгу. Однако не успевает он прочитать и страницы, как раздается смех Жоржика, а вслед за тем громкий плач маленького Миши.

— Вы что тут с ним делаете? — Коля широко распахивает дверь в столовую.

Размазывая кулачками по щекам слезы, Миша сидит на полу и горько плачет. Возле него с виноватым видом стоит Сережа.

— Ну, не плачь, Мишук, успокойся! — Коля поднимает брата, вытирает его мокрое от слез лицо.

— Дра-а-жнят!

— Пойдем, я тебе интересную книжку покажу... А вам стыдно, господа! — И Коля с силой захлопывает за собой дверь.

— Вот подождите, мама придет!.. — всхлипывая, прибавляет Миша.

— Мы и без мамы с ними справимся. Ну-ка, полезай сюда! — Коля подсаживает брата на подоконник.

— Давай человечков рисовать, — уже мирным голосом говорит Миша.

И вот на стекле появляется бравый военный с большими, завитыми кверху усами, в фуражке и длинной шинели.

— Дядя Сережа! — радостно хохочет Миша.

Дядя Сережа — это мамин брат, который всегда рассказывает столько интересных историй из походной жизни и мечтает склонить всех своих племянников к военной службе.

Рядом с ним на стекле вырастает собачка.

— Фомка, Фомка! — радостно хлопая в ладоши, кричит Миша.

Фомка — это верный друг дяди Сережи, лохматый пес, всюду его сопровождающий.

— Еще рисуй, — пристает Миша.

— Хватит, Мишук. Видишь, все стекло зарисовали. Поди теперь поиграй, а я книжку почитаю.

Но Мише не хочется уходить.

— А про кого книжка?

— Про одного путешественника.

— А куда он шупушествовал?

— Не шупушествовал, а пу-те-шествовал, — строго поправляет Коля. — Он путешествовал вокруг света.

— А на чем? На паровозике?

— Нет, не на паровозике, а на корабле.

— А я хочу на паровозике.

— Вот вырастешь и поедешь. Вместе поедем. Далеко-далеко. И на паровозике, и на корабле, и на верблюдах. Мы с тобой поплывем через моря и океаны... — Коля задумывается на мгновение. — Мы увидим далекие земли, — продолжает он, — тропические, вечнозеленые леса; выжженные солнцем горячие пески пустыни; диких индейцев на берегах Рио-Негро и дикарей Огненной Земли. Мы увидим высоких, длинноногих фламинго, бродящих вокруг озер в поисках пищи, и маленьких зеленых попугаев, свивающих свои гнезда на верхушках деревьев. Мы увидим летающих рыб, которые стаями будут подниматься над водой...

Застыв от удивления, широко открыв глаза, Миша не мигая смотрит на брата.

— Ох, да ты ведь еще совсем малыш! — опомнившись, смущенно говорит Коля.

— Нет, я уже большой, — упрямо возражает Миша. — А когда мы с тобой поедем? Скоро?

— Скоро. Когда ты вырастешь.

— А Олю возьмем?

— Олю? — Старший брат серьезно задумывается над этим неожиданным вопросом. — Олю непременно возьмем, хоть она и девчонка!

„СОДРУЖЕСТВО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НАД ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ“

Естественную историю в гимназии преподает Карл Карлович Сент-Илер. Это один из немногих учителей, которого воспитанники любят и уважают. Он много путешествовал, собирая материал для своих научных

исследований по зоологии, и объяснения его подчас переплетаются с увлекательными рассказами о путешествиях. У него большая библиотека по естественным наукам, и он охотно дает книги для чтения своим ученикам. Коля — постоянный гость Карла Карловича. Он перечитал уже много книг и так часто приходит менять их, что ставит иногда в тупик преподавателя.

— Ну что бы тебе еще дать? — Надев очки, Карл Карлович внимательно оглядывает книжные полки. — Вот, пожалуй, это почитай. — Он достает книгу и, сдувая с нее пыль, вручает Коле.

Коля торопится домой, в кабинет — там спокойнее — и погружается в чтение. Сережа, по обыкновению, заглядывает к нему через плечо и говорит насмешливо-покровительственным тоном:

— А-а, хорошая книга! Читай, читай! Только сути все равно не поймешь.

Коля огорчается, перечитывает книгу — все, кажется, понятно. Но, может быть, он ошибается? Может быть, от него ускользает самое главное — суть? И он с уважением поглядывает на старшего брата. Однако проходит время, и Коля начинает догадываться, что, быть может, и сам Сережа не так уж хорошо понимает, в чем состоит эта таинственная «суть».

Иногда в актовом зале гимназии для воспитанников читают лекции профессора Петербургского университета. Разрешая эти лекции, начальство принимает все меры предосторожности. В зале присутствуют неизвестные посетители — «благонадежные лица», которым поручено зорко следить за «духом чтений и в случае неблагонамеренного направления их немедленно доносить начальству».

По естественной истории воспитанники слушают «беседы о Земле и тварях, на ней живущих» известного натуралиста профессора Бекетова.

«...Из чего составлена Земля, на которой мы живем, откуда берутся воды, ее омывающие, что такое облака и ветры, их носящие?» — Тихий голос отчетливо раздается в большом актовом зале.

Он рассказывает о деревьях и травах, о птицах и зверях, о сходстве всех живых существ между собой, обо всех этих, казалось бы, простых и вместе с тем таких сложных и удивительных явлениях...

«Нелегко все это изучить, не просто и рассказать об этом. Ведь придется вести речь издалека, да еще о вещах не забавных, однако очень нужных...»

Взгляд Бекетова часто останавливается на худенькой фигурке мальчика, сидящего на первой скамейке. Внимательно и серьезно смотрят на него живые серые глаза, и ему начинает казаться, что именно для этого мальчика ведет он здесь свои «беседы».

И вот забыты мечты об Академии художеств. Колин письменный стол весь заставлен банками, в которых плавают головастики, рыбки, аксолотли, тритоны; коробками с жуками, гусеницами, бабочками. Все это приходится тщательно оберегать от любопытства малышей — Володи и Миши, которые то и дело заглядывают в банки, суют в них пальцы, ловят рыбок, заливают водой стол. На одну только сестренку можно смело положиться. Слово Коли для нее — закон.

Почти каждый день у Коли собираются товарищи. Они вскрывают лягушек, изучают жуков и гусениц, спорят о прочитанных книгах. Теперь это уже не просто ученики четвертого класса 2-й Санкт-Петербургской гимназии — это члены кружка натуралистов, который носит название «Содружество наблюдателей над живой природой».

Кружок этот тайный, и число членов его ограничено. Их шесть человек: Вася Суфшинский — маленький, быстрый и решительный, — это самый близкий друг Коли; Костя Поссе — рассеянный, углубленный в свои мысли; спокойный и рассудительный Аркадий Соколов, улаживающий все ссоры; пятиклассник Миша Смирнов — товарищ Сережи, подружившийся с младшим братом; Юлий Брунеман — высокий, худой, с веснушками и рыжеватыми волосами. Это страстный собиратель коллекций. Измученный, он возвращается по воскресеньям из далеких прогулок и подчас тащит на плече огромную ветвь, чтобы не потревожить сидящую на ней маленькую гусеницу.

Список участников содружества хранится в столе у председателя — Коли Миклухо. Правда, на собраниях почти всегда присутствует Сережа Миклухо, но, не желая уронить достоинства пятиклассника, он в число членов

содружества не вступает. Явный интерес, который он питает к занятиям «наблюдателей», Сережа старается скрыть под насмешливыми замечаниями.

— А этот булыжник — живая природа или мертвая? — ехидно спрашивает он при каждом пополнении минералогической коллекции.

Или, указывая на распростертую на доске лягушку с вытянутыми лапками и вспоротым животом, он иронически замечает:

— А это мертвая или еще живая природа?

Нередко замечания эти приводят к ссорам между братьями, и тогда по всей квартире разносятся горячие возгласы:

— Ну и уходи из комнаты, коли не нравится! Ска-тертью дорога!

— Не уйду, комната наполовину моя!

В эти ссоры вмешиваются более спокойные, рассудительные члены содружества. Они доказывают старшему брату, что он должен с уважением относиться к занятиям кружка, хоть и не состоит его членом, а младшему — что он не должен выставлять брата за дверь, поскольку половина комнаты действительно принадлежит Сереже. С большим трудом им удается помирить братьев.

Согласно уставу содружества, каждый из его участников обязуется:

1. Не щадя сил, невзирая на препятствия и опасности, собирать коллекции.

2. С этой целью каждое воскресенье отправляться в экскурсии на Елагин, Крестовский, Петровский острова и другие окрестности Петербурга.

3. Не реже одного раза в неделю делать доклады о найденных материалах, своих наблюдениях и прочитанных книгах.

4. Все свое свободное время отдавать изучению природы, независимо от того, какую профессию намерен избрать впоследствии.

В примечании к этому пункту приводятся доказательства того, что развитие естественных наук ведет к благу человечества. Устав длинный. Он разработан сообща всеми членами содружества. Они поклялись честно выполнять свои обязательства и неуклонно идти к намеченной цели.

ВОСПИТАТЕЛИ

Каждый имел право помыкать воспитанником — начиная от сторожа в шинельной и кончая директором. Воспитанник должен был молчать, сдерживать себя во всем, скрывать свои мысли и чувства, безропотно переносить придирки и наказания, как бы несправедливы они ни были. Грозные окрики преследовали его с утра до вечера.

— Кто не боится всевидящего ока божия, тот да знает, что все меры приняты к тому, чтобы проступки виновных не укрылись от бдительности начальства, а сами они не ускользнули от заслуженной кары, — ежедневно в назидание воспитанникам возвещал на уроках закона божия отец Василий.

Прежде он был священником пересыльной тюрьмы, а теперь перешел по соседству — в гимназию. В гимназиях, как и в арестантах, он видел лишь закоренелых преступников.

— Молчать, говорю я вам двадцать раз! Пошумите еще — всех без обеда оставлю! — то и дело раздавался зычный бас классного надзирателя Кузьмы Петровича.

— Что вы здесь, маленькие р-ребенки! — вторил ему комнатный надзиратель, немец Богдан Иванович.

Оба они жили в дружбе и как бы дополняли друг друга. Кузьма Петрович был высокий, худой, с растрепанным, торчащим вверх чубом и реденькой козлиной бородкой. За малейшую провинность он без долгих размышлений таскал воспитанников за уши.

Богдан Иванович, по прозвищу Булочник, был маленького роста, с гладко причесанными волосами и лоснящимся красным лицом, на котором застыла постоянная ехидная улыбочка. Он не то рычал, не то шипел на воспитанников, произнося какие-то полубессвязные, угрожающие фразы:

— Тиш-ш-ш тут, там, направо, налево! . .

Булочник славился своим умением подслушивать разговоры. Особенную ловкость он проявлял, когда дело касалось начальства, свою преданность которому он выражал при любом удобном случае. По субботам, когда директор произносил перед воспитанниками речь, Булочник плакал от подобострастного умиления, утирая слезы красным платком. С обязанностями надзирателя Богдан Иванович совмещал должность младшего учителя немец-

кого языка. Впрочем, преподавать он вовсе не умел и знание своего родного языка никак не мог передать ученикам.

В благодушном настроении он любил пускаться в длинные рассуждения о пользе картофеля и его влиянии на русскую жизнь. Какое отношение это имело к уроку, непонятно было ни ученикам, ни самому преподавателю. В такие дни урок проходил весело. Кто-нибудь из воспитанников, делая вид, что он очень заинтересован «картофельным» вопросом, заводил по этому поводу глубокомысленный разговор. Богдан Иванович оживлялся и пускался в свои любимые рассуждения, а тем временем на задних партах играли в крестики, в карты. Обычно все шло хорошо до той минуты, пока Булочник не замечал игроков. Тут он приходил в неописуемую ярость. Лицо его багровело, он останавливался перед учеником, застигнутым на месте преступления, некоторое время молчал, как в столбняке, а потом, задыхаясь, начинал кричать:

— Довольно! Довольно! Ви тут играл, ви здес играл, ви там играл! Я все видал! Довольно!

Затем вся ярость его направлялась на тех, кто участвовал в «картофельном» разговоре. Он вызывал их по очереди к доске и, не слушая ответов, рычал над самым ухом отвечавшего:

— Скорей, скорей! Вопрос — ответ, вопрос — ответ, как с пушка! Скорей! Склоняемся, спрягаемся...

И стоило воспитаннику оговориться или запнуться, как он восклицал со злорадством:

— Ага, не знаешь! Не перепущу в другой класс! — Поднимая вверх свой короткий, толстый палец, он прибавлял: — Я пишу тебе в журнал, мой друк! Der Herr Director прочитает, каков ты есть!

Однако мальчики готовы были стерпеть и приставаания Булочника и громовые окрики Кузьмы Петровича. Даже «татарское иго» в лице надзирателя Кобылина казалось им не таким уж страшным. Настоящей грозой воспитанников был старший учитель латинского языка Станислав Игнатьевич Левандовский. Это был человек подозрительный и жестокий. Воспитанники ненавидели его. Мертвая тишина наступала в классе, когда Станислав Игнатьевич, оттянув, по своей привычке, назад локти, приподняв голову и как-то странно выпятив губы, тяжелыми шагами прогуливался вдоль скамеек, намечая

очередную жертву. Пронзительный взгляд его бесцветных глаз скользил по ученикам, и даже у самых храбрых начинали в эту минуту дрожать колени.

У Станислава Игнатьевича были свои любимцы, которым он ставил хорошие отметки за то, что они выучивали наизусть его объяснения. Зато уж он давал себе волю поглумиться над учеником, который пытался рассказать урок «своими словами».

— Ну-с, продолжайте, любезнейший, что же вы остановились? — восклицал он при малейшей запинке. — Или не желаете тешить нас своим красноречием? В таком случае, мы больше не будем беспокоить вас! — Церемонным жестом он указывал ученику на скамейку и, довольный своим остроумием, обращался к следующей жертве.

Тяжело шагая по классу, он зорко следил за воспитанниками, и замечания по их адресу часто переплетались с его высокопарными объяснениями.

— Но вот на горизонте римского небосклона появляется яркая звезда, которая затмила-а... Господин Миклухо, я вас выгоню из класса!

Колю Станислав Игнатьевич особенно невзлюбил. Каждое движение, каждый взгляд этого мальчика, казалось ему, выражали непокорность и неповиновение. Какую бы шалость, какую бы проделку ни открыл Станислав Игнатьевич, его подозрительный взгляд всегда останавливался на Коле.

Латынь давалась Коле легко.

— Миклухо, переведи! Миклухо, объясни! Миклухо, просклоняй!.. — только и слышалось перед уроком, и десятки рук протягивались с хрестоматиями, грамматиками, тетрадями.

Но это еще больше раздражало латиниста. С каким злорадством ловил он каждую пустяковую ошибку!

— Романы читаете! Разные там «Монте-Кристо»! А исключений во втором склонении не знаете!

Уж самый звук его голоса, походка, неестественно оттянутые назад локти — все в нем было противно Коле. Особенно ненавистна была ему одна черта Левандовского: выгораживая своих любимцев, он чаще всего обрушивался на слабых и боязливых мальчиков. В такие минуты, приводя в ужас весь класс, Коля вступал в спор с латинистом.

НОВЫЕ ЛЮДИ, НОВЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Время шло. В тесной комнатке на Большой Мещанской по-прежнему собирались члены «Содружества наблюдателей над живой природой». Они были теперь в пятом классе, повзрослели, вытянулись, стали серьезнее. Не только естественные науки, но и вопросы общественной жизни глубоко интересовали и волновали их.

Более полугода прошло после отмены крепостного права, и для передовых русских людей уже стал ясен истинный характер реформы. «Освобождение» не только не улучшило положения крестьян, а привело их к еще большей нищете и разорению. По-прежнему лучшими землями владели помещики, и крестьяне принуждены были выкупать у них свои наделы, неся непосильные оброки. По-прежнему не имели они никаких политических прав, по-прежнему за малейшую провинность помещики наказывали их, пороли розгами. По всей России начались крестьянские восстания, жестоко усмирявшиеся царским правительством. Сотни и тысячи крестьян были убиты в столкновениях с войсками, ранены, заключены в тюрьмы, сосланы на каторгу. В Петербурге, в Москве, в Казани и других университетских городах вспыхивали студенческие волнения. Правительство принимало строгие меры, вводило всё новые и новые правила для студентов, устанавливало за ними строжайший полицейский надзор, запрещало сходки. Однако волнения не прекращались.

Часто собираясь в комнате братьев Миклухо, члены содружества рассуждали и спорили о происходивших событиях, о прочитанных книгах — о произведениях Герцена, Некрасова, Добролюбова, Писарева. Они читали вслух статьи Чернышевского, печатавшиеся на страницах журнала «Современник», и целый мир открывался перед их глазами. О новых людях, новых идеалах, новых стремлениях говорили им эти произведения; о борьбе против самодержавия и крепостничества, против эксплуатации человека человеком; о труде, о служении для счастья народа; о преобразовании общества на новых, справедливых началах; об обществе будущего, когда возможно будет свободное развитие человеческой личности.

Иногда собрания содружества посещал Миклашев-

ский, и с его участием они проходили особенно бурно. Громкие, ломающиеся голоса разносились по всей квартире, и малыши с любопытством заглядывали сквозь дверную щелку в комнату старших братьев. Валентин Валентинович приносил журналы и книги, а иногда с таинственным видом доставал из кармана листок «Колокола» — газеты, издававшейся Герценом в Лондоне и строжайше запрещенной в России.

Теперь Коле уже не приходилось, как в раннем детстве, спрашивать, кто такой Герцен. Он читал и политические статьи великого писателя-революционера, и роман «Кто виноват?», и повесть «Сорока-воровка». Теперь Коля знал, что всю свою жизнь Герцен посвятил борьбе за освобождение народа; что от преследований царского правительства он принужден был уехать за границу, но и там не прекращал своей деятельности; что в Лондоне он основал русскую типографию и издавал газету «Колокол», листки которой, несмотря на строжайший запрет, проникали не только в комнатку на Большой Мещанской, но и в самые далекие уголки России.

И вот тихо становилось в маленькой комнате. Бережно, из рук в руки передавался тонкий листок — каждому хотелось прочитать его своими глазами.

«Да, русская кровь льется рекой!.. — читали они гневные слова Герцена. — Ужасом, слезами наполняют нас новости, идущие со всех сторон... Усмирение солдатами, генерал-адъютантское, флигель-адъютантское усмирение. Одна надежда на солдат и на молодых офицеров. Тяжело носить оружие, на котором запеклась кровь своих родных — отцов, матерей, братьев. Мы останавливаемся: темно перед глазами, мы боимся дать голос всему, что стонет в нас, мы боимся высказать все, что бродит на сердце...»

А во 2-й Санкт-Петербургской гимназий жизнь шла, казалось, по одному, раз навсегда установленному порядку. По-прежнему в коридорах гремел зычный бас Кузьмы Петровича; по-прежнему раздавались нелепые команды Булочника; по-прежнему надзиратель Кобылин встречал проходящих учеников, окидывая их подозрительным взглядом своих раскосых глаз. По-прежнему незыблемо стояло казенное серое здание



Н. Н. Миклухо-Маклай в пятнадцатилетнем возрасте
(с портрета художника Ваулина).

с колоннами на углу Большой Мещанской и Демидова переулка.

Но это была только кажущаяся незыблемость. Что-то переменялось в самом строе гимназической жизни.

Как ни старалось гимназическое начальство держать воспитанников в страхе и повиновении, но все чаще и чаще в донесениях учителей и надзирателей проскальзывали тревожные указания на то, что «какой-то чуждый прежнему времени дух подкрадывается к нравственным основам учебного заведения».

«Воспитанники начали обнаруживать неуместную самоуверенность в обсуждении предметов, понимание которых еще недоступно несозревшим умам. Познания их в законе божием неудовлетворительны, зараза неверия охватывает их», — предостерегали одни.

«Ученики старших классов начали проявлять невнимание к отметкам, перестали дорожить мнением преподавателей», — докладывали другие. Причину этого явления они видели в том, что доступ в университет был теперь открыт не только для лиц, окончивших полный семилетний курс гимназии, но и для шестиклассников, прошедших поверочные испытания.

«Причина брожения умов кроется во влиянии идей Герцена, Чернышевского, Некрасова. На учащуюся молодежь обращено сугубое внимание, дабы вербовать из них будущих распространителей этих идей... Есть сведения, что некоторые ученики собираются и читают «Колокол», — доносили третьи.

«Необходимо удалить из гимназии наиболее неисправимых воспитанников, плохо влияющих на товарищей», — настаивали четвертые.

Тревога и опасения воспитателей были не напрасны. В поведении старшеклассников действительно можно было заметить перемену. Одни мечтали об университете, о возможности принести своими знаниями пользу народу; другие готовы были пойти на любую работу, лишь бы избавиться от ненавистой гимназии. Третьи решили поступить на военную службу. Шестиклассники, обнявшись, бродили по коридорам и на глазах у надзирателей горланили песню собственного сочинения:

Прощайте, стены голубые! Готова-а серая шинель!

Однако не эти певцы тревожили гимназическое начальство. Опаснее были такие воспитанники, как братья Миклухо, в особенности младший. Уж слишком большую независимость проявлял он с самого поступления в гимназию.

ПАМЯТНЫЕ ДНИ

2 октября 1861 года. Ненастное осеннее утро. Моросит мелкий дождь. По узкому тротуару Большой Мещанской улицы шагают два гимназиста. Фуражки низко надвинуты, воротники подняты, в руках книги, туго стянутые ремешком. У них озабоченный вид, и думают они об одном. Это братья Миклухо.

— Валентин Валентинович придет сегодня? — спрашивает Сережа.

— Сегодня? Разумеется, нет.

— Он-то, наверное, знает.

— Еще бы!

Братья долго молчат. Впереди показывается скучное, серое здание гимназии.

— Он сказал: если правительство снова обманет студентов, они силой заставят открыть университет.

— Неужели снова посмеют обмануть? Негодяи!

— Тише! — Сережа с опаской озирается по сторонам. — Ты ведь не дома!.. Послушай, я знаю, ты пойдешь! Да?

— Пойду. А ты?

— И я. У вас сегодня четыре урока?

— Четыре.

— Жди меня в шинельной.

Сегодня после долгого перерыва должен открыться Петербургский университет. Он был закрыт после студенческих волнений, и уже несколько раз университетское начальство объявляло разные сроки возобновления занятий.

Студенты собирались в назначенный день, но двери были закрыты, и только по двору с хозяйским видом прогуливались городовые. Сегодня в 9 часов утра профессора должны начать чтение лекций.

«2 октября — решительный день», — так сказал мальчишкам Миклашевский.

Валентин Валентинович уже окончил юридический факультет, но со студентами сохранил дружеские связи, и судьба университета глубоко волновала его...

Бесконечно тянется длинный гимназический день. Первый урок — геометрия. Коля доказывает на доске теорему. Второй урок — немецкий язык. Коля переводит какой-то скучный рассказ. Он рассеянно слушает объяснения учителей, невпопад отвечает на вопросы товарищей.

Последний урок. Братья встречаются в шинельной, торопливо выходят из ворот. Их догоняют Вася Суфшинский и Юлий Брунеман.

— Мы в университет, а вы? — спрашивает Коля, сворачивая на Гороховую.

— И мы с вами! — взволнованно отвечает Вася.

Дождь перестал, но резкий, порывистый ветер пронизывает насквозь, срывает шляпы с прохожих. Вода в Неве поднялась, на мутно-серых волнах пенятся белые гребни.

Четыре гимназиста молча шагают, придерживая фуражки, шинели развеваются от ветра.

Они дошли до Дворцового моста и увидели, что вдоль Университетской набережной сплошной темной лентой движутся люди. Это Коля впоследствии вспоминал отчетливо. Но то, что произошло потом, представлялось ему каким-то путаным сном. Кто-то из мальчиков крикнул: «Студенты!» Они побежали навстречу демонстрации и на мосту присоединились к ней. Высокий добродушный студент в фуражке, откинутой на затылок, обнял Колю за плечи, и на душе у Коли вдруг стало легко и спокойно. Он потерял в шумной, движущейся толпе Сережу, потом нашел, а Вася с Юлием пропали куда-то, и больше он не видел их в этот день. Колонна прошла мост, обогнула Александровский сад. Волнение пробежало по рядам.

Высокий студент увидел поверх толпы что-то такое, чего не видел Коля, и сказал ему:

— Шли бы вы лучше домой! Мало ли что может случиться!

Не успел Коля ответить, как где-то, совсем близко, послышался стук копыт. Толпа остановилась, подалась

назад, раздались возмущенные крики, и он увидел, как в самую середину колонны въехали конные жандармы с поднятыми нагайками.

— Разойдись!

— Осади!

Чей-то звонкий голос затянул песню, десятки голосов подхватили ее:

Славься, свобода и честный наш труд!
Пусть нас за правду в темницу запрут...

Кто-то сильно толкнул Колю в спину, схватил за воротник шинели. Он отбилсЯ, его снова схватили и втокнули в подкативший закрытый фургон. Испуганное лицо Сережи мелькнуло перед ним.

— Ты здесь!

— Да.

Пусть нас пытаются и мучат огнем —
Мы песню свободы и в пытках споем!

Все глуше доносилась песня.

Петропавловская крепость. Низкая, маленькая комната. Железная кровать, покрытая серым солдатским одеялом. Узкое окно за толстой железной решеткой. Стены покрыты зеленоватыми пятнами плесени, исчерчены надписями, рисунками, обрывками фраз. В двери — круглое отверстие, прикрытое клапаном. Это «глазок», сквозь который тюремщики наблюдают за заключенными. Очень скучно. Правда, сквозь замазанное чем-то белым окно можно разглядеть маленький, тесный двор. Можно в десятый, двадцатый, сотый раз разбирать стершиеся от времени надписи на сырой, заплесневелой стене. Можно шагать из угла в угол, думая о маме... Бедная мама! Что она делает теперь? Должно быть, мечется по городу, разыскивая сыновей. Но она не будет на них сердиться. Ведь они ничего дурного не сделали. Они просто хотели узнать, открылся ли университет. Да, они присоединились к студентам. Но разве она сама не пошла бы с теми, на чьей стороне правда?

Проходят три томительных дня. Ничто не меняется. Никто не приходит. Ни о чем не спрашивают. Только время от времени щелкает замок, бесшумно открывается

дверь, и тюремный надзиратель приносит чай с хлебом или котелок с супом.

Что это значит? О нем забыли? Сколько времени еще придется здесь просидеть? Где Сережа? Удалось ли Васе и Юлию избежать ареста? Если удалось, они сообщили маме, в этом нет ни малейшего сомнения. А если нет? Все равно мама должна узнать — ведь сразу же после ареста жандармский полковник записал их имена.

Наступает четвертый день, и в неурочный час на пороге появляется надзиратель. По узкой, темной лестнице, по длинному, мрачному, сырому коридору Колю ведут — куда? Щелкают замки, бесшумно открываются и закрываются двери. На маленьком, тесном дворе между двумя конвойными стоит, беспомощно оглядываясь, какой-то гимназист.

— Сережа!

— Коля!

Братья растерянно смотрят друг на друга — уж не приснилось ли им все это?

В комендантской мальчиков ждет мама.

— Родные мои!

Она обнимает их, берет за руки, как маленьких, торопливо ведет за собой, спешит увести из этого страшного места.

С тоской и нежностью, с раскаянием вглядывается Коля в бледное, взволнованное лицо матери. Новые морщинки легли вокруг глаз. Или он не замечал их прежде? Достаточно ли внимателен был он к ней все эти годы после смерти отца? Задумывался ли над тем, какой непосильный труд взвалила она на себя? Теперь он уже не маленький, он будет помогать ей и в работе, и в воспитании малышей, он снимет с нее хоть часть забот.

Дома мальчиков ожидала тревожная и печальная весть. Сначала Екатерина Семеновна решила было скрыть от сыновей, но потом не выдержала и рассказала, что во время их отсутствия, 4 октября, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость доктор Бокков. Известие это очень расстроило Колю. То и дело представлялась ему полутемная, узкая камера, по которой шагал высокий человек с прекрасными, чистыми глазами.

Должно быть, доктору Бокову были предъявлены более серьезные обвинения, чем гимназистам Миклухо, потому что освобожден он был только по суду, через несколько месяцев. Впрочем, и гимназистов Миклухо не так просто было выволочь из крепости, несмотря на то что младшему брату было всего лишь пятнадцать, а старшему шестнадцать лет. Немалого труда стоило Екатерине Семеновне убедить полицию в том, что они случайно оказались участниками студенческой демонстрации. А гимназическое начальство так и не узнало настоящей причины, по которой воспитанники Миклухо отсутствовали в эти дни на уроках. Ничего подозрительного не было в том, что они простудились в ненастную октябрьскую погоду. . .

И снова жизнь семьи вошла в колею. Екатерина Семеновна много работала, но теперь ей помогал Коля. Каждый день, окончив уроки, он отправлялся в кабинет, садился за письменный стол, на котором горой лежали трубочки географических карт, и принимался за работу.

Теперь под его собственной рукой возникали голубые моря, коричневые горы, зеленые долины. Как в раннем детстве, переносился он в далекие страны, видел удивительные растения, диких животных.

Екатерина Семеновна подходила, ласково гладила его по голове. Могла ли она тогда предвидеть, что географическая карта займет в ее жизни совсем другое, бесконечно большее место! Могла ли вообразить, что в течение долгих, томительных лет ожидания будет она в тоске и тревоге склоняться над нею, отмечая трудный, полный опасностей и лишений путь сына! . .

С того памятного дня — 2 октября — между матерью и сыном установилась еще большая близость, чем прежде. Екатерина Семеновна заметила в Коле перемену. Он стал внимательнее и к ней и к малышам. А малыши требовали забот и внимания. Они подрастали — Миша уже научился читать, Володя готовился к поступлению в Морской корпус. Попасть туда было трудно — в первую очередь принимали сыновей морских офицеров. Но Володя и слышать не хотел о гимназии, он твердо решил стать моряком. Екатерина Семеновна была озабочена, предстояли большие хлопоты. Зато дядя Сережа был доволен. Хоть один племянник пойдет по его стопам! Он целыми часами просиживал теперь с Володей в детской. И Екатерина

Семеновна только с улыбкой качала головой, когда оттуда доносились его громовые военно-морские команды:

— Поднять брамсель! Заккрыть грот-люк! Поворот фордевинд!

И Володя бросался выполнять приказания, как будто он плавал на настоящем корабле и лазил по настоящим мачтам, а не по стульям и спинкам кроватей.

Иногда в эти игры вмешивалась Оля, которая предлагала сыграть лучше в «море волнуется». Володя пытался разъяснить сестре, что это вовсе не игры, а военно-морские упражнения, которые необходимы для каждого моряка и от которых развиваются сила и ловкость.

— Вот, пощупай мускулы! — говорил он, с гордостью засучивая рукав.

Но Оля, едва дотронувшись до его руки, упрямо твердила:

— Все равно Коля сильнее.

Он по-прежнему был ее любимцем.

Время идет. Зима, весна, тревожное лето 1862 года. В Петербурге то здесь, то там вспыхивают пожары. Горят лавки, горят склады с товарами, горят жилые дома — люди остаются без крова.

Кто виноват в этих бедствиях? Слухи ползут по городу: в поджогах обвиняют революционеров. Полиция распространяет эти темные слухи.

В конце мая громадный пожар возникает в самом центре города. Загораются торговые ряды — Апраксин двор. Толпы народа сбегаются со всех сторон.

— Пожар! — с криком вбегают в Колину комнату Миша и Оля.

Они играли на черной лестнице и увидели дым и языки пламени.

Коля бросается к окну. Густые клубы дыма плывут низко, почти над самым домом.

— Мы сгорим! — с ужасом говорит Оля.

— Это только кажется, а на самом деле пожар далеко, за два-три квартала, — успокаивает Коля малышей. — Бегите к маме. Живо! А я скоро вернусь.

И, пройдя через столовую — на цыпочках, чтобы не услышала Екатерина Семеновна, — он спускается во двор и со всех ног бросается к месту пожара.

По Большой Мещанской уже бегут люди.

— Опять горит! Вот беда-то!

— Близко! Гостиный или Апраксин... — слышатся короткие, брошенные на ходу фразы.

— Пожар за пожаром!

— Опять, наверное, студенты! Весь город сожгут! — пробегая, говорит толстомордый детина в синей фуражке. — Либо поляки!

Коля помогает тушить пожар; ведрами таскает воду — пожарные машины почему-то бездействуют; помогает выносить из лавок товары — целые груды уже свалены у стен банка на Садовой. Пламя то взлетает вверх, то стелется понизу, охватывая все большее и большее пространство. Огонь перекидывается на Перинную линию, кружатся в воздухе тучи горящих перьев; пылают дровяные склады по набережной Фонтанки; горят архивы какого-то правительственного учреждения, и обрывки горелой бумаги, словно стаи летучих мышей, носятся в воздухе.

Наконец общими усилиями удастся остановить пожар. Толпа медленно начинает расходиться.

Коля возвращается домой, виновато стучится в дверь. Его белая гимназическая рубашка разорвана, висят грязные клочья; лицо черно от копоти, руки исцарапаны, сапоги прожжены насквозь.

— Вернулся? Наконец-то! — Екатерина Семеновна обнимает сына, обмывает царапины на лице, на руках. — Я так беспокоилась!

— Вам все кажется, что я маленький, мама!

— Что говорят? Почему загорелось?

— Да что там! Все то же: студенты виноваты, революционеры, поляки! Кто-то нарочно распускает эти подлые слухи!

— Что же будет? Что еще ждет нас впереди? — печально качая головой, шепотом говорит Екатерина Семеновна.

Немногим больше месяца проходит после пожара Апраксина двора, и весть, наполняющая горем и негодованием сердца всех честных людей, разносится по Петербургу, по России: арестован и заточен в Петропавловскую крепость Николай Гаврилович Чернышевский...

Снова зима, длинная, скучная. Коля в шестом классе. Медленно тянется время. Но теперь уже недолго ждать.

Еще год, а там — в Медицинскую академию! Это решено окончательно.

Коля много читает, и некоторые книги надолго становятся для него настольными. Если судить по их заглавиям, можно подумать, что в маленькой комнате, которую он делит с братом, живет не гимназист шестого класса, а ученый-естествоиспытатель. Он изучает труд Сеченова «Рефлексы головного мозга», заложивший основы материалистического направления в физиологии; он читает Бекетова, Овсянникова, Фогта и других натуралистов. В особой тетради он ведет список прочитанных книг и каждую из них оценивает добросовестно и строго.

Письменный стол его завален книгами, некуда положить локти, писать приходится, примостившись на самом краю.

Весной в журнале «Современник» появляется роман Чернышевского «Что делать?», и Коля с головой погружается в чтение этого глубоко поразившего его произведения.

„ПО ПРИЧИНЕ НЕУСПЕВАЕМОСТИ“

— Провалилась она, эта латынь! Ну для чего она нам нужна, проклятая! Всю голову себе продолбил!

— А Станислав сегодня злой, как волк! В пятом классе как пошел резать... Брр!..

— Будет ли когда-нибудь конец этой зубрежке? Надоело!

— Эх!.. «Готова-а серая шинель...»

— Господа, кто мне переведет про Юпитера и лягушек? Читал, читал — ничего не понимаю! Коля Миклухо, переведи, будь другом!

Весеннее солнце ярко светило сквозь пыльные стекла окон. В открытые форточки врывался свежий, прохладный воздух, и уличный шум сливался с гулом зубрежки. Время от времени кто-нибудь из воспитанников взбирался на подоконник и, просунув голову в форточку, с тоской смотрел на оживившуюся весеннюю улицу, завидуя прохожим, которые наслаждались этим прозрачным воздухом и весенним солнцем, а не сидели в душном классе над постылой латынью.

Приближались экзамены. Беспощадный Станислав

бушевал пуще прежнего, вызывал всех подряд, ставил коды и двойки. Ученики волновались. Кто знает, что еще придумает этот человек, никому не желавший добра! Кого наметит своей жертвой?

Это был один из последних перед экзаменами уроков. Судьба многих шестиклассников решалась в этот день.

— Коля, выручай! Я ни в зуб, честное слово! — Юлий Брунеман со стуком опустился на Колину скамейку, нетерпеливо толкая его в бок острым локтем. — Вчера как будто вызубрил, а сегодня все из головы вылетело... — Он умоляюще протягивал Коле латинскую хрестоматию.

Юлий не был трусом. Даже наоборот — в классе считался одним из храбрых. В самых рискованных предприятиях он всегда бывал заодно с товарищами. И только перед Станиславом Игнатьевичем он испытывал какой-то непреодолимый ужас. Достаточно было ему встретить пронзительный взгляд латиниста, как все познания мигом вылетали из его головы.

— *Ranae* — лягушки, *magno clamore* — с большим криком, — переводил Коля, а Юлий не сводил с него глаз, — потребовали у Юпитера... *regem* — царя... Юпитер сбросил *ex coelo* — с неба, *in paludem* — в болото... огромное бревно и сказал: *ессе* — вот...

Но Юлию так и не пришлось услышать того, что сказал Юпитер лягушкам: дверь распахнулась, и в класс вошел Станислав Игнатьевич. От его тяжелых шагов задрожал пол. Круто оттянутые за спину локти, оттопыренные губы, стремительная походка — все указывало на то, что Станислав был не в духе. Юлий Брунеман, прошмыгнув на свое место, осторожно усаживался. Мрачный взгляд латиниста на мгновение задержался на его длинных, торчавших из-под парты ногах. Юлий крепко прижал палец к той строчке в латинской хрестоматии, на которой остановился Коля.

— *Ессе* — вот, *ессе* — вот... — машинально повторял он, холодея под взглядом Станислава.

— Ну-с, отвечать пойдет... — По своей обычной манере Станислав Игнатьевич сделал паузу и медленно обвел взглядом притихший класс. — Отвечать пойдет... господин Брунеман!

Юлий вскочил и неуверенными шагами направился к доске. На его побледневшем лице отчетливо проступили

веснушки. Проходя мимо Коли, он замешкался на мгновение и с отчаянием взглянул на него.

— Однажды лягушки с большим криком... — точно бросаясь с размаху в воду, начал Юлий быстро, без запинки переводить латинский текст.

Коля кивал ему головой, подмигивал и всячески старался его подбодрить. Все шло хорошо до того злополучного «ессе — вот», на котором остановился Коля. Дойдя до него, Юлий вдруг беспомощно оглянулся вокруг и, потоптавшись на месте, бессмысленно повторил несколько раз подряд это застрявшее в его памяти слово. Казалось, оно заворожило его.

Громкий шепот Коли пронесся по классу. Юлий вытянул шею, прислушался, но от волнения ничего не разобрал.

— Ессе — вот, — снова сказал он упавшим голосом и замолчал.

— Вот это будет ваш царь, — делая ему отчаянные знаки, подсказывал Коля.

— Господин Миклухо, по-видимому, очень хочет отвечать урок, — раздался над самым его ухом зловещий голос латиниста. — Ну что ж, послушаем! Извольте идти к доске, господин Миклухо. Попросим вас для начала просклонять слово «гапа». А вас, господин Брунеман, — он с изысканной вежливостью обратился к Юлию, — позвольте поблагодарить за красноречивое молчание.

— Гапа, гапае, гапае, гапат, — склонял без запинки Коля.

— Довольно, — прервал его вдруг Станислав Игнатьевич. — Стыдно, молодой человек! В шестом классе пора было бы знать первое склонение, но вам, конечно, не до того! Высокими материями интересуетесь!

Коля с удивлением посмотрел на него.

— Но ведь я правильно просклонял, я никакой ошибки не сделал, — сказал он.

— Правильно? А ну-ка, повторите, как будет *dativus singularis* — дательный единственного числа?

— Гапае, — твердо и отчетливо повторил Коля.

— Нет-с, извините, милостивый государь, вы лжете! Вы сказали «гапа». А теперь вам успели подсказать. Но меня вы не проведете! Я все ваши уловки изучил-с!

Коля побледнел.

— Нет, я не лгу, — сказал он, медленно выговаривая

каждое слово. — Я никогда не унизил бы себя ложью, даже если бы дело касалось чего-либо более важного!

— Ах, боже мой, я оскорбил вас, не так ли? — Станислав Игнатьевич вдруг шутовским жестом прижал руку к сердцу. — Вы хотите драться со мной на дуэли? Ну что ж, буду ждать ваших секундантов, господин Миклухо?

Коля побледнел еще больше и в упор посмотрел в бесцветные глаза латиниста. Напрасно делал ему отчаянные знаки Вася Суфщинский, напрасно умоляюще смотрел на него Юлий Брунеман.

— Да, я вызвал бы вас на дуэль, — сказал Коля, не повышая голоса, — но это невозможно. Поэтому я просто скажу вам, что вы человек бесчестный!

В шестом классе необычайное волнение. После уроков воспитанники, громко разговаривая, крича, споря, что-то доказывая друг другу, мчатся мимо опешивших надзирателей по коридорам, лестницам, через шинельную. Раздаются горячие возгласы:

— Это возмутительно!

— Придумали!

— Лицемеры! Они боятся сказать правду!

— Они хотят, чтобы и мы лгали так же, как они! — слышится голос Васи Суфщинского. — Ну что ж, они добьются своего! Мы больше не будем говорить им правду в лицо! Мы будем теперь хитры, как змеи! . .

Что же так взволновало сегодня шестиклассников? Чем так возмущены не только горячие, пылкие мальчики, но и равнодушные, ленивые «камчадалы»? Почему даже «лисички», всегда лебезящие перед начальством, сегодня угрюмо молчат? Начальство озадачено. Оно не ожидало такого волнения.

Сегодня воспитанник Миклухо исключен из 2-й Санкт-Петербургской гимназии. За что? «По причине неуспеваемости», — так ему объявлено официально.

С учебниками под мышкой, окруженный ватагой гимназистов, Коля молча шагает по Большой Мещанской.

Исключен! Это произошло так неожиданно. Он должен был сдерживать себя — ведь он знал, что Станислав только и ждет повода, чтобы придраться. Но стоит ли жалеть о прошлом? Этим делу все равно не поможешь. С гимназией расставаться ему не жаль — он даже ни

разу не оглянулся на ее мрачное здание, — но как же теперь быть с Медицинской академией? Ведь туда шестиклассников не принимают. Да и как сказать матери? Он хотел оберегать ее, помогать ей, а вышло наоборот. . . И чем ближе подходит он к дому, тем тяжелее становится у него на сердце.

— Лучше не ходите. Я сам. . . — У подъезда он прощается с товарищами и медленно, точно желая оттянуть время, поднимается по лестнице.

Екатерина Семеновна с тревогой вглядывается в расстроенное, бледное лицо сына:

— Коля, что случилось?

— Мама, — говорит он, глядя ей прямо в глаза, — право, я не хотел вас огорчать, но. . . меня исключили из гимназии. Я сам не понимаю, как это произошло, мама. . . Но я не могу выносить, когда мне говорят, что я лгу.

— Какое несчастье! Что же делать теперь? Ты уже не мальчик, подумай сам — что же делать?

— Я поступлю в университет вольнослушателем. . . Не думайте, я чувствую, что виноват. Но не перед ним, а перед вами, мама. Вам трудно, а теперь, может быть, станет еще труднее. Но я буду очень стараться, я выиграю тот год, который пришлось бы еще провести в гимназии. Не огорчайтесь, я вас очень прошу! Все еще будет хорошо, вот увидите!

Долго в этот вечер разговаривают мать с сыном, запершись в кабинете. Малыши подходят к двери, прислушиваются и огорченно уходят.

УНИВЕРСИТЕТ

Немало прошло хлопотливых, полных забот и ожидания дней, когда наконец бородатый почтальон принес в дом Глазунова на Большой Мещанской конверт на имя Николая Николаевича Миклухо. В конверте было извещение, что он принят в Петербургский университет и допущен к слушанию лекций на первом курсе физико-математического факультета.

Неужели это действительно произошло? Неужели не надо больше прятаться от Булочника, с отвращением прислушиваться к громовому голосу Кузьмы Петровича,

заставлять себя без дрожи смотреть в глаза латиниста, скрывать свое пристрастие к естественным наукам, как нечто запретное или постыдное?

Он писал веселые письма Миклашевскому, который жил теперь за границей — в Гейдельберге, он жалел друзей, которым еще целую зиму предстояло тянуть скучную гимназическую лямку.

Это было очень трудно — среди множества лекций, читавшихся в университете, выбрать те, которые интересовали его больше других.

Бекетов читал курс ботаники — курс, который был так же не похож на его короткие «беседы» в актовом зале гимназии, как ученик шестого класса Миклухо был не похож на студента-вольнослушателя Петербургского университета. А биология, анатомия! А интереснейшие лекции по политической экономии! Правда, они читались на другом факультете, но что за беда! Лишь бы не совпадали с лекциями по зоологии, пропустить которые было, разумеется, невозможно!

Впрочем, были и другие важные дела, которые занимали и глубоко волновали Николая Николаевича. Петербургский университет переживал тревожное время. Студенческие волнения не прекращались, несмотря на строгие меры, принимавшиеся университетским начальством и полицией.

Польское восстание, вспыхнувшее год назад, перебралось в Литву и Белоруссию. Александр II заключил с прусским королем союз о совместных действиях против восставших и, собрав громадную армию, двинул ее против Польши. Муравьев-вешатель, который еще в 1831 году заслужил позорную славу палача польского народа, беспощадно расправлялся с повстанцами. Герцен в «Колоколе» неутомимо отстаивал свободу Польши и бичевал усмирителей. Все эти события находили глубокое отражение в жизни Петербургского университета. Сходки устраивались часто. Постоянным участником их был и вольнослушатель Миклухо.

Однажды, выходя из дому, Николай Николаевич столкнулся в подъезде с Васей Суфшинским.

— Вася! Ты ко мне? Как я рад! Отчего так долго не приходил? Я было к тебе собрался, да вот в университет

на лекцию тороплюсь. Такая досада! Поговорить даже не успеем.

— Я тебя провожу.

— Пошли! Ну, рассказывай. Что в гимназии? Как все наши? Костя, Юлий?

— Да что рассказывать. — Вася грустно махнул рукой. — Какие у нас новости! Надоело, скорей бы конец! Завидуем тебе.

— Ну, теперь уж скоро. Еще каких-нибудь три месяца — и прости-прощай, гимназия! А в университете совсем другое. Вот увидишь. Ты поступишь на юридический, Костя — на математический, и опять вместе будем.

— О, скорей бы!

Они не заметили, как дошли до университета.

— Ну, мне пора.

— Знаешь что? Пойдем со мной, тебе интересно будет.

— А как же... — Суфщинский смущенно посмотрел на свою гимназическую шинель. — Ведь не пустят.

— У меня в гардеробной один старик приятель есть, Петр Петрович. У него и разденемся.

Все сошло как нельзя лучше. Старый гардеробщик покачал головой, подумал, потом махнул рукой и повесил гимназическую шинель на вешалку.

— Ладно уж, идите, что с вами поделаешь! — добродушно проворчал он.

Суфщинский интересовался юридическими науками, и Николай Николаевич предложил ему пойти на лекцию по государственному праву. С благоговейным трепетом шагал Вася рядом со своим другом по длинному, прямому, как Невский проспект, университетскому коридору.

Они осмотрели аудиторию, в которой некогда читал лекции Гоголь, заглянули в библиотеку, в актовый зал. Николай Николаевич с улыбкой смотрел на приятеля, который робко озирался вокруг.

Однако на лекцию по государственному праву они так и не попали. Вслед за другими студентами они поторопились в шестую аудиторию, где была назначена сходка.

Собрание проходило бурно, народу набралось много, ораторы выступали один за другим. Вытянув шею, весь подавшись вперед, Суфщинский слушал, стараясь не пропустить ни одного слова. Вот высокий белокурый студент в русской рубашке закончил горячую, страстную

речь и под громкие аплодисменты сбежал с кафедры. Но что это? Вася замер. Он совсем забыл о своем друге и не поверил глазам, увидев, что не кто иной, как Коля Миклухо поднимается по ступенькам кафедры на смену белокурому студенту.

«Что он собирается делать? Неужели хочет говорить? Он сошел с ума! Его не станут слушать!» — в смятении подумал Вася.

Однако уже в следующую минуту он понял, что ошибся. В аудитории стало тихо, студенты с удивлением прислушивались к спокойному, уверенному голосу маленького первокурсника.

Сходка кончилась. Друзья бегом спускались по лестнице в гардеробную. Уже начинало темнеть — короткий зимний день близился к концу.

— А мне еще латынь учить, завтра письменная! — спохватился Вася.

Николай Николаевич протянул номерок и вдруг растерянно уставился на гардеробщика: вместо старичка Петра Петровича перед ним был совсем незнакомый человек с унылым, длинным лицом и рыжеватыми усами. Он взял протянутый ему номерок, ушел, долго возился у вешалки и наконец вернулся. В руках его было студенческое пальто.

— У нас еще второе пальто, выдайте, пожалуйста, — сказал Николай Николаевич.

Унылое лицо служителя еще больше вытянулось. Он развел руками:

— Господину гимназисту выдать не могу-с. Не имею права-с.

— То есть как это не имеете права? Это ваша обязанность...

— Посторонних в университет пускать не приказано-с. Извольте обратиться к начальству-с.

— Вы сию же минуту выдадите пальто!.. — Николай Николаевич в упор посмотрел на служителя. — Или... пожалеете о своем поступке!

Служитель заморгал и, бормоча что-то себе под нос, выдал гимназическую шинель.

— Ишь, горячий какой нашелся! — злобно проворчал он, когда друзья были уже за дверью. — Вот доложу по начальству, тогда посмотрим, как ты покипятишься!

... Через несколько дней инспектор университета сообщил петербургской полиции, что Николай Николаевич Миклухо исключен по той причине, что, «состоя в числе вольнослушателей С.-Петербургского университета, он неоднократно нарушал правила, установленные для этих лиц».

Одновременно были исключены и другие выступавшие на сходке студенты, но вольнослушателю Миклухо объявили, что он лишается права поступления в другие русские университеты. Должно быть, ему поставили в вину еще и то обстоятельство, что он привел с собой на сходку гимназиста.

Удар был тяжелый. Что предпринять? К кому обратиться? Коротенькая строчка «без права поступления в русские университеты» выбивала почву из-под ног. Хлопоты были бесполезны. Екатерина Семеновна приходила в отчаяние, но ничем не могла помочь сыну. Николай Николаевич обратился за советом к Миклашевскому. Ответ из Гейдельберга пришел немедленно. «Не отчаивайся, друг Коля, — писал Валентин Валентинович, — кто знает, с какими еще неудачами придется тебе столкнуться в будущем. Запомни: главное, что нужно в жизни, — это быть человеком, остальное приложится. Что касается дальнейшего своего образования, то вот тебе мой совет: немедленно хлопочи о заграничном паспорте и выезжай в Гейдельберг. Я думаю, что ты не пожалеешь об этом. Ты сможешь здесь слушать лекции великого физика Гельмгольца, знаменитых ученых Кирхгофа, Бунзена, Миттермайера и еще многих других. А если захочешь, переведешься потом в какой-нибудь другой университет. Итак, решайся, друг мой! Посоветуйся с матушкой и, если она одобрит мой план, начинай хлопотать о паспорте. Мне бы очень хотелось, чтобы ты приехал, пока я еще в Гейдельберге».

И Николай Николаевич решился. Горько было уезжать из родной страны, горько расставаться с родными и друзьями, но другой возможности продолжать образование он не видел. Екатерина Семеновна одобрила совет Миклашевского, и Николай Николаевич начал добиваться выезда за границу. Это оказалось делом нелегким. Он получал отказ за отказом, его посылали от одного чиновника к другому. Он измучился, исхудал, а тут еще простудился и слег в постель с воспалением легких. И вот не-

ожиданно — это была уже третья неожиданность в течение года — болезнь решила его судьбу. На основании заключения докторов ему был выдан наконец заграничный паспорт. Простившись с матерью, сестрой, братьями, друзьями — со всеми, кто был дорог его сердцу, — он выехал за границу.

РУССКИЙ СТУДЕНТ

В Гейдельберге Николай Николаевич поселился в одном доме с Миклашевским. Он поступил на философский факультет и начал искать работу. Екатерина Семеновна могла посылать ему лишь небольшую сумму. Он знал, с каким трудом достаются ей эти деньги, сколько бессонных ночей приходится ей проводить над географическими картами.

После долгих и упорных поисков он нашел наконец работу. Это была гравировка на меди. Вот когда пригодилось ему умение рисовать! Он брал на дом заказы, аккуратно выполнял их, заказчики были довольны. Работал он по ночам, а целые дни проводил в университете. Как и прежде, в Петербурге, у него не хватало времени, хотелось поспеть на все лекции сразу.

С удивлением, с беспокойством следил Миклашевский за своим бывшим воспитанником.

— Прошу тебя, мой друг, побереги свое здоровье, — наставительно говорил ему Валентин Валентинович. — Помни: если ты сегодня будешь слишком много работать, то завтра уже ничего не сможешь сделать. Заболеешь — и вся твоя наука будет ни к чему.

— Да я и не собираюсь болеть, — весело возражал ему Николай Николаевич. — Разве я приехал за границу, чтобы терять время?

Но все же приходилось признаться, что Миклашевский был прав. Здоровье Николая Николаевича еще не вполне восстановилось после недавней болезни. От мелкой граверной работы при свете керосиновой лампы у него разболелись глаза. А заработок был скуден, расходов много, как ни старался он экономить. Надо было платить за комнату, за лекции, за стирку белья — «только все платить, платить и платить! — с горечью писал он матери. — ...Мой черный сюртук совсем разлезается,

нитка крепче сукна, и зашивать — это значит только увеличивать дыру. . .»

Екатерина Семеновна тревожилась о сыне, часто писала ему — ведь впервые он уехал так далеко от нее, впервые начал жить самостоятельной жизнью.

«Если доктора советуют, и грудь болит, и дурно чувствуешь, поезжай в Швейцарию. . . Мне бы очень хотелось, чтобы ты познакомился с каким-нибудь немецким семейством. . . Тебе скоро надоест Гейдельберг, и ты будешь скучать, если у тебя не будет знакомых. Ты не можешь жить один, не сердись на меня, но это правда».

Однако Николай Николаевич не был одинок в Гейдельберге. Миклашевский ввел его в круг своих друзей — польских эмигрантов, бежавших из Польши после восстания 1863 года. Он увлекся новыми знакомыми, даже начал изучать польский язык, проводил с ними все свободное время, принимал участие в их горячих политических спорах.

Так, в работе, в занятиях, в новых знакомствах, проходило время. Наступила весна. В конце мая Николай Николаевич получил от матери письмо, надолго выбившее его из колеи.

«19 мая Чернышевскому читали приговор, что он высылается на семь лет в Сибирь. На днях он уезжает, то есть его увозят», — писала Екатерина Семеновна.

Что мог он ответить на эти скупые слова, за которыми угадывалось многое? Он попросил прислать портрет Чернышевского и стал работать еще больше прежнего, чтобы скопить деньги и послать их в Сибирь.

«Деньги для Чернышевского можешь выслать, когда хочешь, да все же нужно быть осмотрительным по возможности. . .» — осторожно ответила Екатерина Семеновна. А фотографию, вырезанную из какой-то книжки, ему прислал Вася Суфшинский. Фотография была плохая, и Николай Николаевич сам нарисовал карандашом портрет Чернышевского. Долгие годы хранился у него этот портрет вместе с листком «Колокола», из которого впервые узнал он подробности гражданской казни Николая Гавриловича Чернышевского.

«Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение, — писал Герцен. — Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику. . .



**Портрет Чернышевского, нарисованный
Миклухо-Маклаем с фотографии.**

Чернышевский сильно изменился; бледное лицо его опухло... Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венок; ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему: «Прощай!» — и был арестован...

Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?

Проклятье вам, проклятье и, если возможно, — месть!»

Николай Николаевич пробыл в Гейдельберге больше года.

Со страстным увлечением он занимался наукой, и научные интересы его становились все определеннее.

Он много читал, и тетради его, исписанные мелким почерком, были заполнены выдержками из произведений социалистов-утопистов: Роберта Оуэна, Сен-Симона; описаниями мастерских на товарищеских началах по Чернышевскому — роман «Что делать?» по-прежнему был его настольной книгой.

«Нам нужно обозреть всю область природы, чтобы дойти до человека, — писал Чернышевский. — В наиболее развитых формах своих животных организм чрезвычайно отличается от растения, но читатель знает, что млекопитающее и птица связаны с растительным царством множеством переходных форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной жизни из растительной; есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их... Все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение, и только впоследствии некоторые животные организмы приобретают вид очень различный от растений...»

«Мы отлагаем на время в сторону психологические и нравственно-философские вопросы о человеке, займемся физиологическими, медицинскими...»

Наука о человеке! Вот что смутно маячило еще перед гимназистом Колей Миклухо, вот к чему все больше и больше склонялся Николай Николаевич Миклухо-Маклай (теперь он назывался этой двойной, еще в детстве привлекавшей его фамилией легендарного предка).



Иена. Вид из окна дома, в котором жил Н. Н. Миклухо-Маклай.

Внести в науку о человеке как можно больше точных знаний — это было трудной, но достойной задачей.

Весной 1865 года Николай Николаевич перевелся на медицинский факультет Лейпцигского университета, а потом переехал в Иену — маленький университетский городок, лежавший в стороне от железной дороги. Спокойствие Иены привлекало его больше, чем шум и суета больших городов. Кроме того, жизнь там была дешевле, а в деньгах Николай Николаевич по-прежнему нуждался.

В Иене он снял маленькую светлую комнату, поставил на свой складной рабочий столик портреты Екате-

рины Семеновны и Оли и засел за науку. Он занимался сравнительной анатомией и с увлечением слушал лекции знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, который читал в Иене специальный курс — «Теория Дарвина о родстве организмов».

Геккель был самым горячим последователем Дарвина, защитником и распространителем его учения. Небывалая в истории науки борьба возникла после опубликования теории происхождения видов. Геккель своими смелыми выступлениями в печати и на съездах естествоиспытателей способствовал широкому распространению новой теории.

Это была борьба со старым естествознанием, с реакционерами, с религией. И Геккель вел ее уверенно и неутомимо, не боясь обвинений в «ненаучности», шарлатанстве и богохульстве. Со вниманием присматривался Геккель к появившемуся среди его слушателей русскому студенту. Уже после первых разговоров с ним он понял, как глубоки его научные интересы.

Среди иенских студентов Николай Николаевич приобрел вскоре много друзей. Этот русский юноша с тонкими чертами лица, с грустными светлыми глазами и вьющимися каштановыми волосами, болезненный и слабый на вид поражал их своей выносливостью, твердостью характера, упорством и терпением в работе. Он всегда внимательно относился к людям и вместе с тем умел настоять на своем. Они с удивлением замечали, что невольно прислушиваются к его мнению и исполняют его желания. Образ жизни его во многом отличался от их собственного. Он умел по-особенному и работать и отдыхать, по-особенному видеть природу и наслаждаться ею.

В Иенском университете Николай Николаевич встретил соотечественника — Александра Александровича Мещерского, слушавшего курс лекций на юридическом факультете. С первых же дней знакомства они близко сошлись и поселились в одном доме. Дружба, начавшаяся со студенческой скамьи, продолжалась всю жизнь.

По воскресеньям, с восходом солнца, Николай Николаевич будил Мещерского веселым стуком в окошко. Тот вскакивал мгновенно, они заходили за студентом-медиком Фолем, таким же страстным любителем экскурсий, и все трое отправлялись в путь.

Вскоре Николай Николаевич знал все уголки Иены и



Н. Н. Миклухо-Маклай в анатомическом кабинете Иенского университета.

ее живописные окрестности. Во время зимних и летних каникул он предпринимал более далекие путешествия, разъезжая по всей Германии. Он бродил по горам Шварцвальда, поднимался на самую высокую вершину Фельдберг, откуда видны были Альпы и Вогезы, а однажды чуть не забрел в Швейцарию, но вернулся, испугавшись дороговизны. Он прошел пешком через горы к Рейнскому водопаду, побывал на Боденском озере. Намечая планы будущих экскурсий, он посылал для памяти по собственному адресу такие открытки:

«Иена, господину студенту Миклухо-Маклаю.

Милостивый государь, не забудьте во время летних каникул 1866 года побывать в Мюнхене. Советую также снова побродить по горам Шварцвальда. Это обойдется недорого, если вы поселитесь на какой-нибудь уединенной ферме.

Уважающий вас

Н. Миклухо-Маклай».

Старушка — квартирная хозяйка, привыкшая к странностям своего жильца, только с добродушной улыбкой качала головой и аккуратной стопочкой складывала на письменный стол эти открытки.

Однако летом 1866 года Николаю Николаевичу не удалось побывать ни в Мюнхене, ни в Шварцвальде, и он об этом не пожалел. Весной Геккель предложил двум своим ученикам — Миклухо-Маклаю и Фолю — отправиться вместе с ним в научную экспедицию на Канарские острова. Николай Николаевич с восторгом принял это предложение. Кабинетная работа и тогда уже была ему не по душе. Только обращаясь к живой природе, изучая животных в их естественной среде, думал он, можно прийти к широким научным обобщениям и открытиям.

«Дорогая моя сестренка! Еду на Канарские острова!» — радостно сообщил он сестре Оле, отправляясь в свое первое путешествие.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Волны — то светло-зеленые, то ярко-синие, то золотые, то черные. Атлантический океан. Таким ли представлялся он Николаю Николаевичу в далеком детстве, когда вместе с маленьким Мишуком он мечтал о кругосветном путешествии?

Путь на Канарские острова лежит мимо острова Мадейра. Здесь первая остановка маленькой научной экспедиции, в состав которой, кроме ее руководителя Эрнста Геккеля, входят студенты Фоль, Миклухо-Маклай и профессор Боннского университета Грэф.

Остров Мадейра. Крутые, почти отвесные берега. Тянувшаяся вдоль всего острова горная цепь, разорванная



Н. Н. Миклухо-Маклай с Э. Геккелем на Канарских островах.

глубокими пропастями. Склоны гор, покрытые вечнозелеными лесами, ананасовыми и банановыми плантациями, апельсиновыми рощами, виноградниками, известными всему миру. Пока корабль стоит на Фунчальском рейде, Николай Николаевич с Фолем бродят по городу, утопающему в садах. Яркие цветы, олеандры, пальмы. Друзья

любуются белыми, сплошь обвитыми зеленым плющом домами, вспоминают все, что читали о судьбе этого прекрасного острова.

В XV веке он был открыт португальскими мореплавателями, которые начали свою беспощадную, грабительскую колонизацию с опустошительного лесного пожара, не прекращавшегося в течение нескольких лет и истребившего почти всю растительность и животный мир острова.

Поражает пестрая толпа на улицах. Здесь и португальцы, и англичане, и негры. Несмотря на прекрасный климат и плодородие почвы, большинство жителей влачит голодное существование, ютится в сырых, темных пещерах, между тем как живописные белые дома, сады и плантации принадлежат землевладельцам.

Маленькая экспедиция, распростившись с Мадейрой, отправляется дальше, к конечной цели своего путешествия.

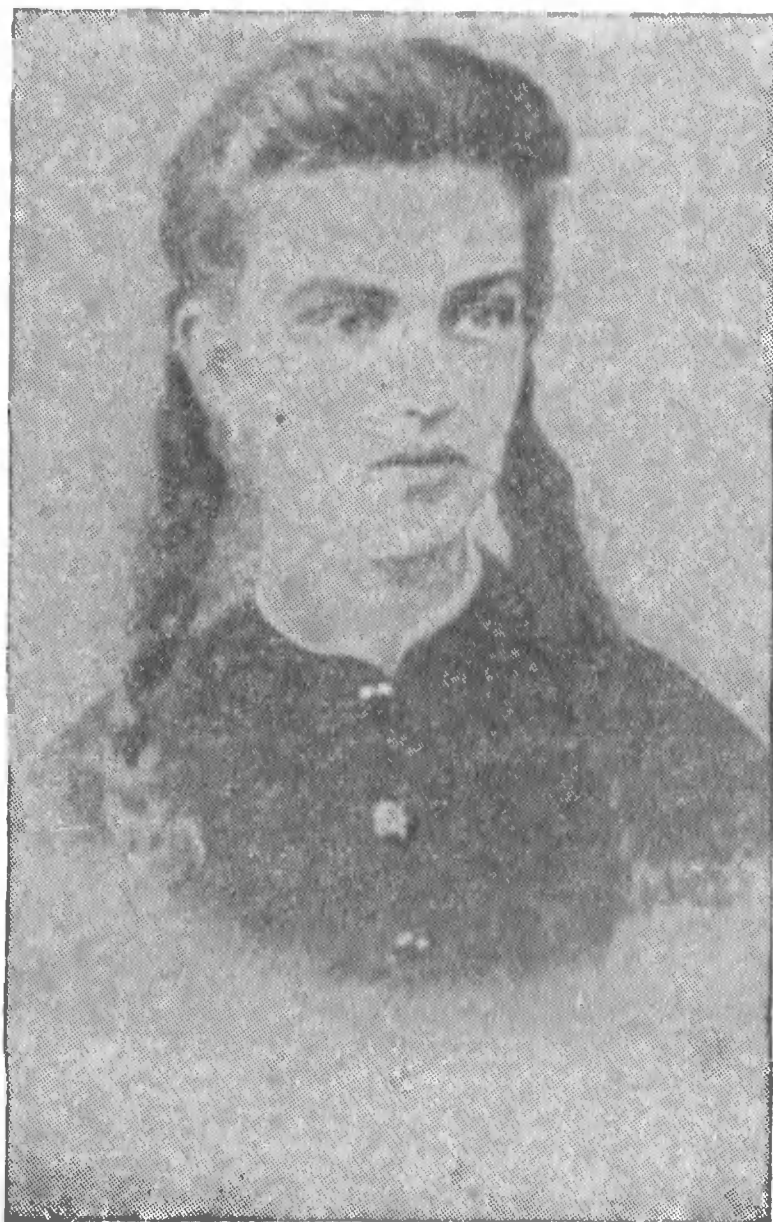
Тенериф — самый большой из Канарских островов. В южной части его — знаменитый Тенерифский пик, достигающий почти четырех тысяч метров высоты. Вершина его — «ледяная пещера» — круглый год покрыта снегом, а у подошвы растут финиковые и кокосовые пальмы; желтые канарейки с веселым щебетанием носятся между деревьями, и так странно видеть их не в клетках, а на воле. Острова Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансероте. Раскаленные ветры, дующие из пустыни Сахары, жаркий, сухой климат, трудно переносимый не только европейцами, но и туземным населением.

Маленькая экспедиция становится еще меньше: Геккель и Грэф прощаются со спутниками и пускаются в обратный путь — их уже ждут студенты. Близится начало занятий.

Миклухо-Маклай и Фоль остаются на острове Лансероте для продолжения зоологических исследований. Николай Николаевич занимается анатомией губок и мозгом хрящевых рыб. Фауна Лансероте кажется ему наиболее подходящей для этих работ. Здесь он может изучать эти низшие организмы в их естественных условиях.

После четырех месяцев работы друзья возвращаются в Германию через Марокко, Испанию, Францию.

Снова маленькая комнатка в Иене. У окна — письменный стол, походный складной стул. На столе — письма,



Ольга, сестра Н. Н. Миклухо-Маклая.

сложенные аккуратными стопками. Должно быть, они давно уже дожидаются возвращения хозяина. Николай Николаевич в волнении перебирает их. Очень мелкий, но разборчивый почерк Миклашевского. По-прежнему Валентин Валентинович трогательно интересуется его делами, по-прежнему беспокоится о его здоровье: «На глаза, друг мой, обращай побольше внимания, не мучь их вечерним чтением...»

Неуклюжие, размашистые строчки Суфшинского. Несколько писем от гейдельбергских товарищей... И вот наконец то, чего ищет его взгляд, — прямой, энергичный почерк Екатерины Семеновны. Сердце сжимается у него от тоски и нежности. Как он соскучился, как стосковался! Он нетерпеливо разрывает конверт и погружается в чтение.

«Мне бы очень хотелось посмотреть на тебя — поправился ли ты, или все такой же худой... Поверь мне, я тебя лучше знаю, нежели ты сам себя... Много бы мне

хотелось написать тебе...» Столько любви, столько нежной заботы в каждой строчке этих писем, подписанных: «Твой друг и мать Е. М.». Да, она всегда была его настоящим и самым верным другом!

А Оля пишет, что тоскует, ждет его и ведет точный счет дням, прошедшим после их разлуки. Она посылает ему свои рисунки. Николай Николаевич внимательно рассматривает их, подносит ближе к глазам, отодвигает дальше, раскладывает перед собой на столе. Он должен будет написать сестре свои замечания по поводу каждого рисунка. Это очень важно для нее... Вот этот пейзаж хорош. Видна верность глаза, очертания правильны, удачно схвачен характер местности. А вот этот никуда не годится: контуры кривы и косы, линии толсты, тушевка намазана. Но это ничего, девочка делает успехи, пусть продолжает рисовать. Николай Николаевич доволен сестрой. Он уверен, что и в ней есть присущие семье Миклухо решимость и воля к достижению намеченной цели.

Он вновь углубляется в чтение, и ему кажется, что не было этих трех лет разлуки — так живо интересуют его все подробности, все мелочи жизни семьи. Чего бы он не дал в эту минуту, чтобы очутиться в своей далекой детской комнате на Большой Мещанской, крепко обнять мать и сестру, рассказать им обо всем, что он успел повидать в чужих краях, поделиться с ними своими планами на будущее! А они сидели бы и слушали затаив дыхание, одинаково глядя на него своими одинаковыми глазами... Да, хорошо бы поехать в Петербург повидаться с матерью, с Олей, с братьями. Но нельзя! Слишком много времени пришлось бы потерять. И откуда взять деньги?

И Николай Николаевич бережно укладывает письма в ящик стола, распаковывает свой дорожный сундучок, вынимает из него дневники и заметки — результат сделанных наблюдений; ставит на стол портреты матери и сестры, сопровождавшие его в путешествии.

Работа продолжается.

КРАСНОЕ МОРЕ

Не прошло и трех-четырех месяцев, как Николай Николаевич снова собирается в путь. Он едет во Францию, Данию, Норвегию, Швецию. Точно вихрь несет его

из одной страны в другую. Но это не вихрь, это строго обдуманый план. Он изучает в музеях зоологические коллекции, проверяет результаты своих исследований на острове Лансероте. В иенском научном журнале появляются первые статьи молодого ученого — о губках Канарских островов и о мозге хрящевых рыб. Геккель доволен учеником и делает его своим ассистентом.

Проходит год, и Николай Николаевич уже в Мессине, на острове Сицилия, куда он отправляется вместе с доктором Дорном из Иены. Дорн — убежденный и деятельный сторонник устройства морских зоологических станций, где ученые могли бы наблюдать за морскими животными в их естественных условиях. Николай Николаевич горячо сочувствует этой идее. Впоследствии в течение многих лет будет он добиваться разрешения для устройства таких станций в России — на Белом, Балтийском, Каспийском, Черном морях.

Но лишь в конце жизни ему удалось осуществить свою мечту: он основал зоологическую станцию, однако не у себя на родине, а в далеком Сиднее, в Австралии.

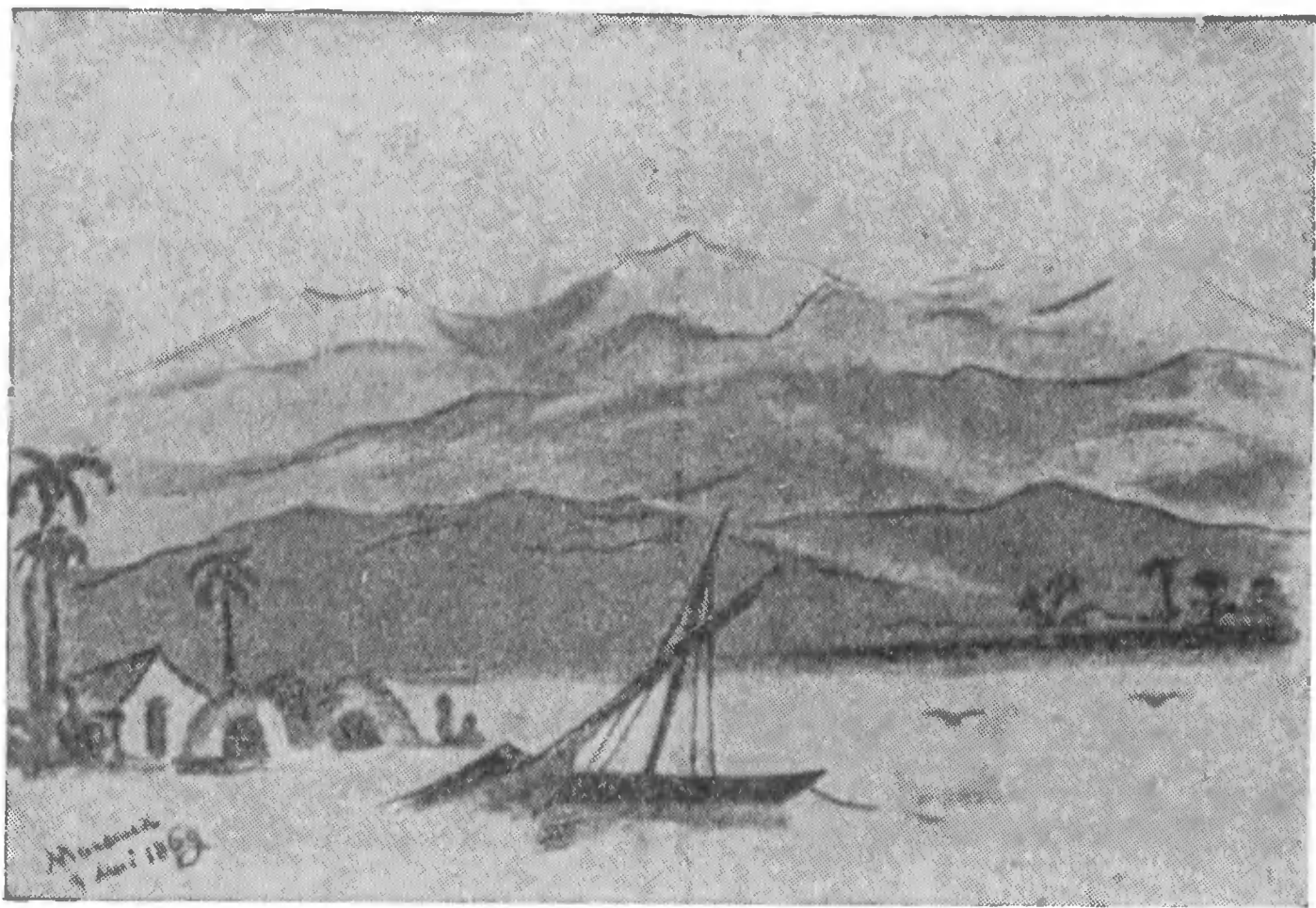
Из Мессины Николай Николаевич отправляется на берега Красного моря, чтобы продолжать изучение низших морских животных.

«Ты, наверное, не знаешь, милая Оля, — писал он сестре, — где находится эта Джедда, откуда я пишу. — Посмотри на карту Аравии, найди Мекку, что нетрудно. Недалеко, на берегу Красного моря, найдешь ты Джедду. Три дня тому назад вернулся я сюда из Нубии — из Суаккина и Массауа. Не стану описывать тебе мою экскурсию, путешествия по этим краям неудобны, и мне много пришлось выдержать, но это дни прошлые. . . Я рад, что кончаю не с пустыми руками и не больным, а только с пустым карманом. Здесь, как и везде, есть добрые люди, которые готовы и за честь считают помочь ученому, который рискует всем ради разных морских подков, песчинок и травок».

Николай Николаевич не хочет волновать сестру подробностями трудного и опасного путешествия. Он знает, что и она и мать постоянно тревожатся о нем.

Зато с братом Сергеем он более откровенен:

«Путешествие мое не совсем безопасно. В Джедду наезжает тьма арабов по дороге в Мекку. В это время



Гавань Массауа на берегу Красного моря.

они особенно фанатичны и не терпят сношений с европейцами. . .

Другие две мои станции, Суаккин и Массауа, отличаются страшной жарой и нездоровым, в особенности для приезжающих, климатом. Мое незнание арабского языка, самые скверные и неверные пути сообщения, прибавь к тому, что у меня остается только двести рублей из трехсот, которые я получил от матери, — все это делает мое путешествие зависимым от случая. Тем не менее, когда ты будешь читать эти строки, я буду в Джедде. Я пишу тебе оттого, что матери я этого не мог бы сообщить и, если что со мной случится (что очень возможно), ты бы знал причину, которая побуждает меня к этому шагу.

Красное море совсем почти не исследовано в зоологическом отношении. Я положительно знаю, что ни один из зоологов не отправится сюда, и потому я решил сделать что смогу для исследования некоторых, особенно интересующих меня сторон фауны Красного моря. Если удастся — хорошо, нет — вернусь в другой раз, если придется вообще вернуться из этой не совсем удобной «прогулки». . . Сообщи матери о моих намерениях, сколь-

ко найдешь нужным, не беспокоя ее напрасно и не скрывая от нее некоторого риска».

Много новых мыслей, много планов возникло у Николая Николаевича во время этого путешествия. Оно приблизило его к главной цели — изучению человека. Теперь уже не только простейшие организмы и их изменения, но человек и влияние на него внешних условий являются предметом его наблюдений. Он изучает географические и экономические условия жизни арабов, их города, культуру, обычаи, нравы. Много фактов, много интересных наблюдений занесено в записную книжку. Но пока это лишь краткие, наспех набросанные заметки, их надо привести в порядок, над ними надо еще немало подумать.

Работы много, а он так устал... Хорошо бы вернуться на родину, провести лето где-нибудь на Волге вместе с родными. Как начинает биться сердце при одной мысли о том, что наконец, после пятилетней разлуки, он обнимет мать, сестру, братьев! Как, должно быть, изменились они! Малыши стали взрослыми. Володя уже скоро окончит Морской корпус, Оля — художница, Миша учится в гимназии...

ДОКЛАД

Г. г. члены Отделений математической и физической географии Русского Географического общества приглашаются в соединенное заседание отделений, имеющее быть во вторник 23 сентября 1869 года в 7½ часов вечера в квартире Общества.

Предметы занятий:

г. Миклухо-Маклай, зоолог, сделает сообщение о своих путешествиях по Северной Африке и Аравии.

С волнением подходил Николай Николаевич к большому желтому зданию с колоннами у Чернышева моста, где помещалось тогда Русское Географическое общество. Как-то встретят его члены Общества: седые ученые, знаменитые путешественники, отважные мореплаватели, принимавшие участие не в одной далекой и опасной экспедиции? Не сочтут ли дерзостью выступление моло-

лого, двадцатитрехлетнего, натуралиста? Быть может, он сделал еще слишком мало в науке и преждевременно затеял этот доклад? Но не в его правилах было отступать. Цель намечена, надо твердо идти вперед. Спокойствие неожиданно овладело им. Тревога, сомнения, колебания отошли куда-то, показались мелкими и не стоящими внимания. Он решительно толкнул тяжелую, со скрипом открывшуюся дверь и поднялся по лестнице.

В зале Географического общества уже собрались участники заседания. Здесь был и сам вице-председатель — адмирал Федор Петрович Литке, кругосветные плавания которого когда-то поразили маленького гимназиста Миклухо; здесь был и знаменитый путешественник Петр Петрович Семенов, председатель Отделения физической географии; и адмирал Семен Ильич Зеленый, участник многих морских экспедиций; и ученый секретарь Общества Остен-Сакен; и академик Брандт, директор Зоологического музея, и еще многие другие члены Географического общества.

Некоторые из них впервые слышали имя докладчика. Что нового могли они узнать от этого молодого человека, едва оставившего студенческую скамью? Вице-председатель неодобрительно, сурово глядел из-под нависших седых бровей: «Кто такой этот господин Миклухо-Маклай? Каков его авторитет в науке?»

Другие — их было меньшинство — уже знали молодого зоолога по его первым статьям, напечатанным в иенском журнале, и с интересом присматривались к этому невысокого роста нервному человеку с тонкими чертами лица, выглядевшему гораздо старше своих лет.

— Гость Отделений физической и математической географии, ассистент профессора зоологии в Иенском университете господин Миклухо-Маклай сообщит нам о своем пребывании на берегах Красного моря, — объявил председатель собрания адмирал Зеленый.

И все взгляды обратились к докладчику.

«...Чем далее подвигается наука и чем более упрощаются ее выводы, тем сложнее становятся способы, ведущие к достижению этих выводов. Изучение фауны мало-помалу перенеслось из кабинетов, музеев, зоологических садов в естественные обиталища животных. Зоологи обратились за материалом к живой природе...»



Н. Н. Миклухо-Маклай в арабском костюме в Марокко.

Уверенно и спокойно звучит тихий голос. Путешественник рассказывает о животном мире, растительности, о населении стран, в которых он побывал. Один за другим встают перед глазами слушателей города, лежащие на аравийском и африканском берегах Красного моря. Массауа — портовый городок с узкими каменистыми улицами, с маленькими плетеными, крытыми рогожами хижинами, напоминающими корзинки; с нездоровым климатом, опасным не только для приезжих, но и для уроженцев этого города, в котором люди падают на улицах, сраженные солнечным ударом и лихорадкой...

Суаккин, Ямбо, Ходейда — города, не имеющие постоянного населения, оживающие только с приходом пилигримов, которые останавливаются здесь по пути в Мекку. Джедда — большой и благодаря близости к Мекке самый оживленный город, куда стекаются со всех

концов земного шара странники, прибывающие на голландских, английских, египетских судах...

Перед глазами слушателей возникают просторные навесы из пальмовых рогож, под которыми отдыхают от палящих лучей солнца пестрые группы пилигримов. Здесь можно встретить жителя Индии и Марокко, Стамбула и Судана, татарина с берегов Волги и негра с озера Чад... Но различают ли слушатели среди этой пестрой толпы хрупкую фигуру путешественника, одетого в длинный белый халат, с лицом, выкрашенным коричневой краской, с головой, повязанной белым платком? В этом наряде он ничем не отличается от самого правоверного мусульманина, идущего в Мекку на богомолье. Однако далеко не всегда выручает его этот наряд. Часто он подвергает его еще бóльшим опасностям, вызывая подозрения и преследования фанатичных арабов.

Тихий голос раздается в зале Географического общества, и слушатели с возрастающим вниманием приглядываются к молодому путешественнику. Все яснее различают они на его лице, таком еще юном, следы изнурительной лихорадки и перенесенных лишений. Они мысленно представляют себе его странствующим по коралловым рифам, по берегу моря, под палящими лучами солнца с микроскопом в холщовом мешке за спиной.

Они следуют за ним на невольничьи рынки, где люди расценены от одного до ста пятидесяти рублей, в зависимости от возраста, пола, цвета кожи; и вместе с ним негодуют, и вместе с ним поражаются бедности жителей, питающихся сырым мясом и гнилой рыбой; и вместе с ним стараются проникнуть в причины этого бедственного положения, вошедшего в поговорку: «Араб несчастнее своей собаки».

«... Большинство путешественников опирается в своих заключениях на непроверенные факты и часто подтачивает эти факты для доказательства предвзятых идей. Поэтому, несмотря на довольно большое число путешествий, сведения наши об этих странах чрезвычайно скудны, и, вероятно, пройдет еще немало времени, пока они сделаются более точными».

Докладчик заканчивает так же просто, тем же тихим голосом, как начал.

Взоры всех присутствующих по-прежнему обращены к нему. Но в них нет прежнего недоверия. Не часто при-

ходится встречаться с таким разнообразием интересов, с такой необыкновенной для начинающего ученого зрелостью ума и глубиной наблюдения.

Остен-Сакен первый подходит к Николаю Николаевичу и крепко пожимает ему руку:

— Благодарю вас за ваше интересное сообщение. Я верю, что вы многое сделаете для русской науки.

СПОР

Вопросы антропологии и этнографии вызывали в те годы большой интерес среди натуралистов всего мира.

В 1864 году в Москве было основано Общество любителей естествознания с антропологическим отделом; антропологические общества создавались в Париже, Лондоне, Берлине. В науке велись горячие споры о происхождении рас. Представляют ли белые, монголы, негры, папуасы единый вид или произошли от разных, резко отличающихся друг от друга видов? Между сторонниками первого направления — моногенистами и сторонниками второго — полигенистами шла жестокая борьба. Моногенисты утверждали, что человек произошел от одного вида и что расовые различия возникли благодаря расселению человечества в разных местах земного шара, под влиянием климата и других условий. Полигенисты, наоборот, доказывали, что расы — белая, черная, желтая — возникли независимо друг от друга и резко отличаются заложенными в самой их природе свойствами. Такие признаки, например, как цвет кожи, форма черепа у дикарей, свидетельствовали, по мнению полигенистов, о том, что племена эти являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Отсюда возникли реакционные теории о неравноценности рас, о расах «высших» и «низших», о том, что белый человек должен господствовать над черным. Теория полигенистов была на руку политике колонизаторов, эксплуатировавших и жестоко угнетавших туземцев. Во время войны Северных и Южных Штатов Америки полигенисты оказали своими воззрениями поддержку сторонникам рабства.

В ожесточенной борьбе, завязавшейся между этими двумя направлениями, русская наука шла по первому пути.

Горячо протестовал против полигенистов Чернышевский. «Защита рабства в ученых трактатах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей,— утверждал он.— Теория, излагаемая учеными — защитниками рабства в Южных Штатах, была не нова в своей сущности: уже греки оправдывали свою власть над рабами тем, что масса рабов — люди другой природы...»

Упорно и настойчиво доказывал неправоту полигенистов знаменитый русский ученый Карл Максимович Бэр. «Во всех случаях, когда народ несправедливо поступает по отношению к другому народу, он не преминет считать последний жалким и бездарным», — писал Бэр в самый разгар войны между Севером и Югом.

Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, молодому ученому, едва вступившему на самостоятельный научный путь, предстояло разобраться во всем этом сложном, запутанном споре, в этой борьбе мнений, убеждений, доказательств. В лагере полигенистов оказался и Эрнст Геккель. Однако Миклухо-Маклай не пошел вслед за своим учителем. Без колебаний он избрал путь Чернышевского, Бэра, благородный путь русской науки. Но противник был силен. Для того чтобы победить, нужны были неопровержимые, основанные на фактах доказательства.

Почти во всех описаниях путешествий, которые приходилось читать Николаю Николаевичу, он находил мало наблюдений над туземцами в их первобытном состоянии. Путешественники оставались среди туземцев слишком короткое время, чтобы познакомиться с их образом жизни, обычаями, уровнем их умственного развития. В большинстве случаев они собирали лишь коллекции, на людей же почти не обращали внимания. Между тем европейская колонизация беспощадно истребляла первобытные племена. Изучить эти племена было достойной задачей.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

«... Чарлз Дарвин в своей книге о путешествии на «Бигле» говорит: «Для молодого натуралиста ничего не может быть полезнее, чем далекое путешествие. В памяти каждого путешественника живо то чувство радости,

которое он испытал, впервые вдохнув в себя воздух чужой страны, где редко или никогда не бывал цивилизованный человек... Географический атлас перестает быть пустым местом: он становится картиной, наполненной самыми разнообразными фигурами. Каждая часть карты принимает свои настоящие размеры...»

Это мнение Дарвина как раз соответствует моему желанию повидать другие части света. Невозможно у себя за письменным столом решать вопросы о степени развития различных рас, даже пользуясь всеми библиотеками Европы. У меня нет и не должно быть предвзятого мнения — я буду основываться лишь на собственном наблюдении. Мои знания в области анатомии человека и медицины помогут мне в антропологических исследованиях, которыми мне предстоит заняться во время путешествия.

...Между многочисленными островами Тихого океана Новая Гвинея наименее исследована и представляет большой научный интерес. Она открыта триста лет назад, но до сих пор только некоторые ее берега известны европейцам, внутренняя же часть острова остается неисследованной.

...По мнению англичанина Джюкса, природные богатства Новой Гвинеи представляют огромный интерес для натуралиста, этнолога, географа. Исследование их должно вознаградить любопытство смелого путешественника. Натуралист Альфред Уоллес утверждает, что ни одна страна земного шара не обладает такими своеобразными произведениями природы, как Новая Гвинея. Кроме того, она населена мало известной расой папуасов, положение которой среди других народов не выяснено.

Карл Бэр считает полезным и даже необходимым для науки полнее изучить обитателей Новой Гвинеи. Им выдвинут ряд вопросов, на которые еще не дано ответа. Его противники утверждают, что папуасы — людоеды и что именно они являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Изучить папуасов с точки зрения сравнительной анатомии, определить их сходство и отличие от белой расы — это значило бы решить спор между моногенистами и полигенистами...

Я выбираю первой станцией моего путешествия Новую Гвинею, как самую неизвестную и трудную страну».

ХЛОПОТЫ

Но как попасть на Новую Гвинею? Эта мысль не давала покоя Николаю Николаевичу. Она преследовала его и в кругу родных, когда по вечерам, собравшись в маленькой столовой (они жили теперь на Галерной улице) и жадно слушая его рассказы, они старались не пропустить ни одного слова. Эта мысль преследовала его и по ночам во время бессонницы, и по утрам, когда он шагал по Дворцовому мосту, торопясь в Зоологический музей, — он работал теперь над хранившимися в музее коллекциями губок, собранными различными научными экспедициями, в том числе экспедицией Карла Бэра. Директор музея академик Брандт с большим вниманием следил за работой молодого ученого. Николай Николаевич рассказал ему о своих планах, и тот горячо одобрил их. Однако как осуществить эти планы? О том, чтобы самому, без посторонней помощи, организовать это далекое и трудное путешествие, нечего было и думать. Нужны были огромные средства. Кроме того, Новая Гвинея лежала в стороне от пути следования морских судов.

И Николай Николаевич решил обратиться за помощью к Русскому Географическому обществу. Он представил в совет Общества записку, в которой, изложив задачи своего будущего путешествия, просил оказать ему содействие и ходатайствовать перед морским министерством о проезде на одном из военных судов, курсировавших в Тихом океане.

«Не имея достаточных средств для большого путешествия, — писал Николай Николаевич, — я решил обратиться к какому-нибудь ученому обществу и, как русский, прежде всего к Русскому Географическому обществу».

К просьбе Миклухо-Маклая академик Брандт присоединил рекомендательное письмо.

Когда Николай Николаевич пришел узнать о решении совета к ученому секретарю Общества Федору Романовичу Остен-Сакену, тот встретил его приветливо и радушно. Чувство доверия, которое возникло в нем еще при первом знакомстве с Миклухо-Маклаем, росло и крепло.

— Заседание совета еще не состоялось, — сказал он, пожимая ему руку, — однако рад сообщить вам, что Петр Петрович Семенов ознакомился с вашей запиской и все-

цело одобряет ваши планы. Он за вас горой, а это уже немало.

— Неужели? Как я вам благодарен!

— Благодарить еще рано. Федор Петрович Литке еще ничего не знает о вашем предложении. Как отнесется он к этому, поручиться трудно. . . Впрочем, я надеюсь, все уладится, — поспешил он прибавить, увидев огорчение на лице посетителя. — Завтра же доложу адмиралу. А вас извещу о результатах. Не тревожьтесь. Главное — терпение!

Опасения Остен-Сакена были не напрасны. Адмирал Литке отнесся к замыслам Миклухо-Маклая недоверчиво и подозрительно.

— Опять Миклухо-Маклай? — недовольно проворчал он, когда Остен-Сакен напомнил ему о первом докладе Николая Николаевича, на котором присутствовал Литке. — Ох, нам должно держать ухо востро с этими бедовыми молодыми людьми! — сказал он своим скрипучим, старческим голосом и погрозил пальцем в пространство — не Остен-Сакену, а какому-то воображаемому собеседнику. — Недостаточно еще заявил он о своей учености, чтобы можно было ему довериться.

— Но, Федор Петрович, разрешите напомнить вам, — возразил Остен-Сакен, — ведь он хоть и молод, однако уже побывал в таких трудных и опасных путешествиях. У него имеются самостоятельные научные труды. Вот почитайте, что пишет о нем Федор Федорович Брандт!

— «Брандт»! — сердито повторил адмирал. — Но, позвольте, отчего же Брандт рекомендует его нам, а не Обществу естествоиспытателей? Господин Миклухо-Маклай — зоолог, предмет его исследований не входит в круг занятий Географического общества. Да не слишком ли много берет на себя этот молодой человек? Бог знает, куда могут завести нас его планы! Нет, нет, я решительно советую Обществу отклонить его предложение!

СТАРЫЙ АДМИРАЛ

В назначенный день и час Николай Николаевич явился на прием к вице-председателю Географического общества адмиралу Литке. Немало потрудился Остен-Сакен чтобы добиться согласия на эту встречу.

— Ну, желаю успеха, — сказал он, провожая Николая Николаевича в кабинет Литке. — Держитесь твердо, но старику не перечьте. И, главное, не волнуйтесь!

Впрочем, особых признаков волнения он не заметил на лице молодого ученого. Быть может, оно было лишь немного бледнее обыкновенного. Зато в глазах была такая решимость и твердость, с какой не часто приходилось сталкиваться даже этому умудренному опытом человеку. И, входя вместе с Миклухо-Маклаем в кабинет вице-председателя, он невольно подумал, что неизвестно еще, кто окажется победителем в этой встрече двух поколений.

Федор Петрович Литке, несмотря на свои семьдесят два года, держался прямо, с военной выправкой. Привычным жестом он указал посетителю на стул. Глаза из-под нависших седых бровей смотрели тусклым, скучающим взглядом. Казалось, он заранее знал все, что ему сейчас предстояло услышать.

— Я очень благодарен, ваше превосходительство, что вы согласились принять меня. Поверьте, я не стал бы вас беспокоить...

— Да, да, — перебил его Литке, — Федор Романович ознакомил меня с вашей запиской. Ну что ж, давайте поговорим. Так вы всё еще не изменили своих намерений и по-прежнему стремитесь на Новую Гвинею?

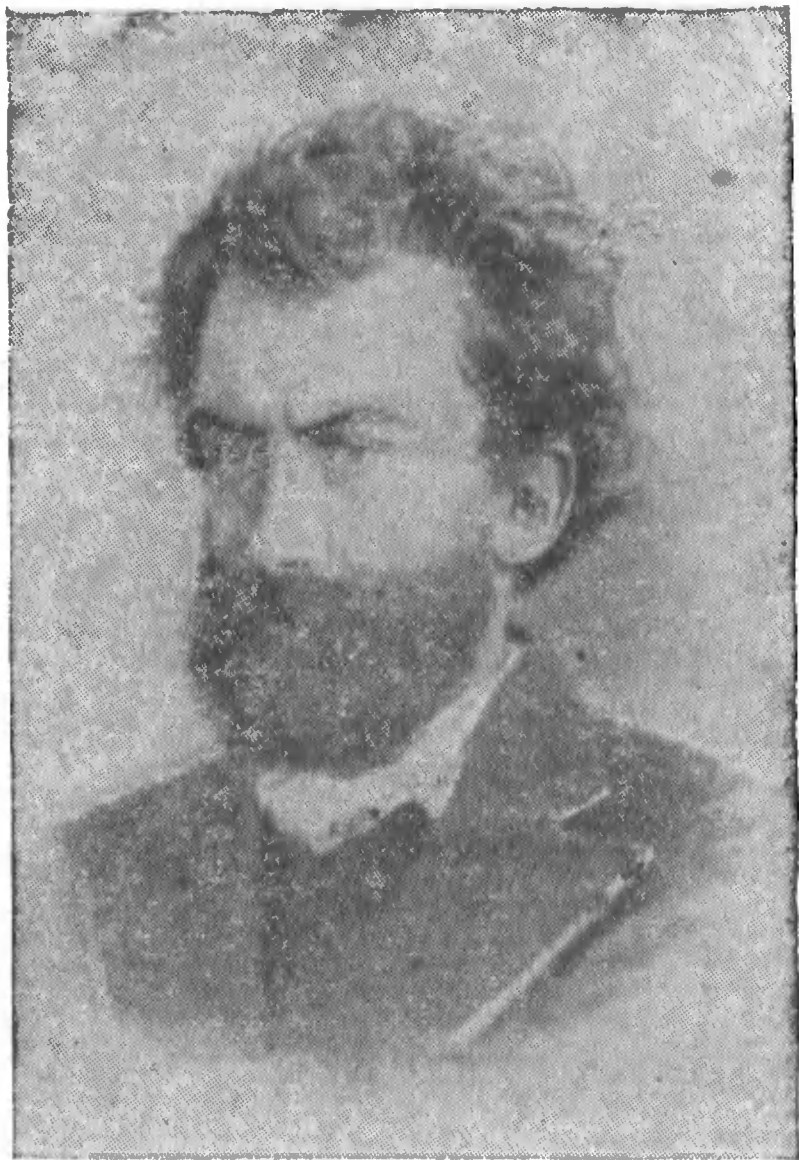
— Нет, не изменил, — ответил Николай Николаевич, глядя прямо в глаза адмиралу.

Литке немного помолчал.

— А не думаете ли вы, молодой человек, — строго сказал он, — что для начала целесообразнее было бы избрать какой-нибудь менее отдаленный пункт земного шара?

— Ваше превосходительство, вы должны понять меня лучше, чем кто-либо другой. Вы знакомы с Тихим океаном. Вы избороздили его вдоль и поперек. Вы знаете, как мало изучены его острова. А самым неизвестным из этих островов является Новая Гвинея. Цель, которую я ставлю себе, — исследование папуасской расы и определение ее положения в ряду других народов. Мне кажется, для науки было бы очень важно решить эту задачу, и решить ее без предвзятого мнения.

— Намерения ваши похвальны, ничего не могу возра-



Н. Н. Миклухо-Маклай перед отъездом
на Новую Гвинею.

зить. — Литке сердито пожевал губами. — И я не собираюсь читать вам нотации или упрекать в самонадеянности. Я просто хочу предостеречь вас, и, быть может, вы сами впоследствии будете мне благодарны. Ведь пересекать океаны — это не то что съездить в Петергоф и обратно! Впрочем, — слабая улыбка прошла по лицу адмирала, — иногда и этого достаточно, чтобы познакомиться с морской болезнью. А знаете ли вы, до какого состояния может довести человека эта болезнь, которую нельзя ни вылечить, ни предупредить? Человек — животное земное! Запомните мои слова, дорогой мой!

— И, однако, вы двадцать лет своей жизни провели на море, — возразил Николай Николаевич. — А когда в первый раз самостоятельно повели корабль в суровые полярные воды, вам было всего лишь двадцать три года — ровно столько, сколько мне теперь. Вас тогда не остановили трудности, лишения и опасности. А разве не моло-

дым человеком отправились вы в кругосветное плавание на шлюпе «Сенявин»? Разве не молодым человеком вы открыли неизвестные острова Каролинского архипелага, которые называются теперь островами Сенявина? А между тем многие опытные мореплаватели прошли мимо них.

Адмирал с любопытством посмотрел на собеседника. Этот молодой человек, по-видимому, внимательно прочитал его записки.

— Да, мы шли к северу от экватора, к широте $7,5^{\circ}$, — сказал он. — Я решил на этой параллели искать остров Святого Августина, долготу которого адмирал Крузенштерн и капитан Фресинет обозначали различно. Не будь этого разногласия, мы, быть может, и не наткнулись бы на самый большой из Каролинских островов. — Литке оживился, глаза его заблестели. — По ночам мы держались на месте под малыми парусами. Одну только ночь я позволил себе отступить от этого правила — мы, не останавливаясь, шли вперед, а на рассвете...

— ...на рассвете, — продолжил Николай Николаевич, — вы открыли тот самый остров, мимо которого прошли капитаны Томпсон и Дюперре.

Литке улыбнулся.

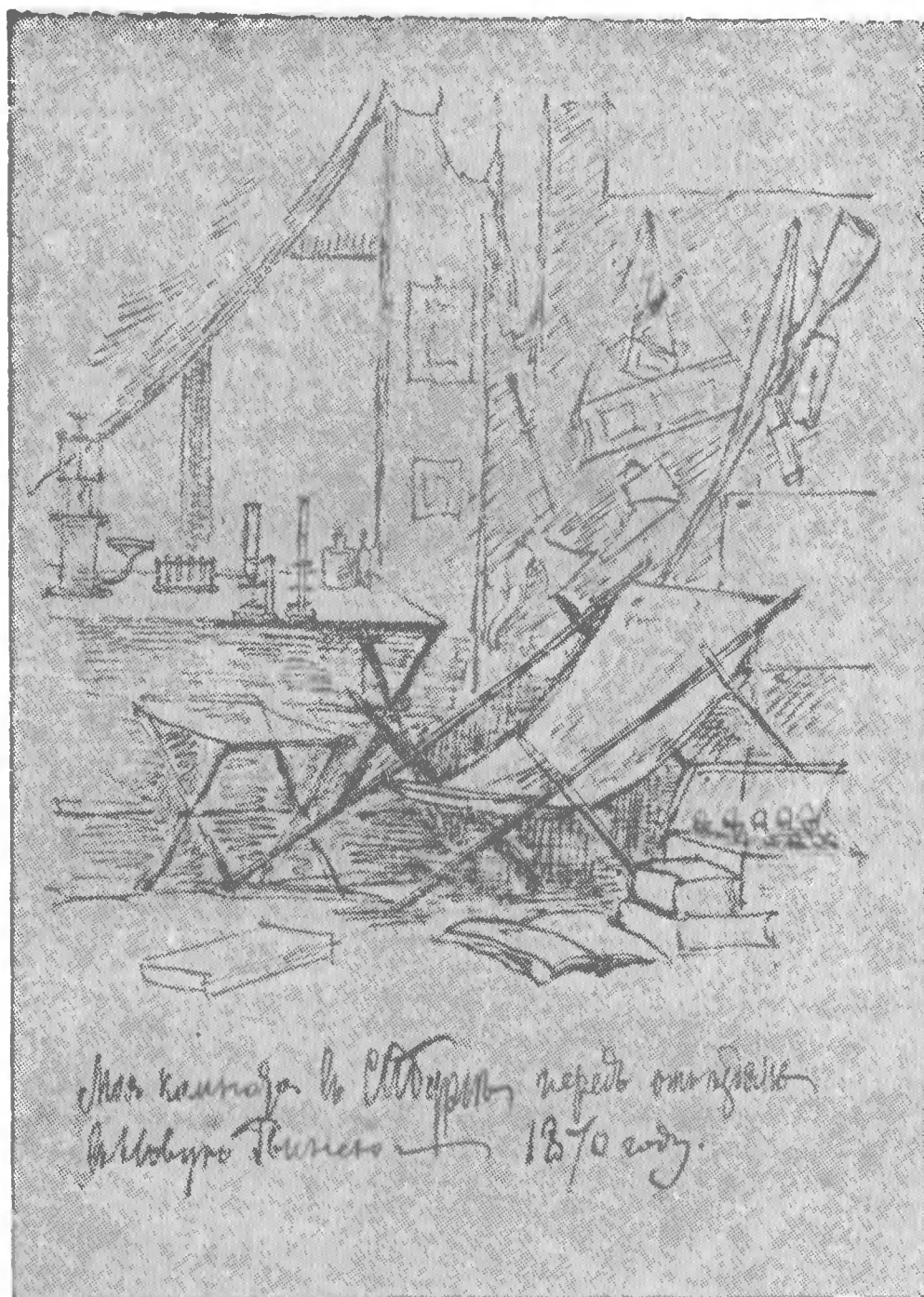
— Вот вам доказательство того, — добродушно заметил он, — что открытие неизвестных земель — дело случая.

Так постепенно разговор отклонился в сторону. Сам того не замечая, адмирал весь ушел в воспоминания. Он рассказывал об открытом им острове Пыйнипете, о буйном, неистовом нраве туземцев, о том, как негостеприимно был он принят в одном из портов, названном им поэтому портом «Дурного приема».

Уже несколько раз Остен-Сакен тихонько приотворял дверь и удивленно пожимал плечами, прислушиваясь к доносившемуся из кабинета разговору. Давно уже не видел он старого адмирала таким оживленным. Казалось, после долгой разлуки два старых товарища вспоминали былые дни.

Наконец Остен-Сакен решился войти.

— Однако мы здесь заговорились, — со смущенной улыбкой обратился к нему Литке. — Ну что ж, Федор Романович, будь по-вашему, давайте хлопотать перед морским министерством. Авось удастся отправить господина



Комната Н. Н. Миклухо-Маклая
в Петербурге.

Миклухо-Маклая к папуасам. Хотел было отговорить его, да ничего не выходит. — Адмирал развел руками. — Сдаюсь!

Через семь месяцев после этого разговора — 21 мая 1870 года — морское министерство уведомило адмирала Литке о том, что получено высочайшее разрешение принять «естествоиспытателя Миклухо-Маклая на корвет «Витязь» для совершения путешествия к берегам Тихого океана, но без довольствия от морского ведомства».

Морскому министерству, видно, не под силу оказалось прокормить единственного пассажира корвета «Витязь».

НА КОРВЕТЕ

27 октября 1870 года. На Кронштадтском рейде стоит трехмачтовый винтовой корвет «Витязь». Орудий — 17, офицеров и гардемарин — 28, нижних чинов — 310, пассажир — 1. Командир корвета — капитан 2-го ранга Павел Николаевич Назимов. В этот день «Витязь» отправляется в кругосветное плавание. Все уже готово к отплытию. Грузятся последние ящики с надписью: «Маклай». Пассажир с тревогой следит за их погрузкой — это приборы для измерения глубин океана и разные инструменты, необходимые в путешествии. Но вот наконец они аккуратно опущены в трюм — пассажир вздыхает с облегчением. Теперь можно написать последние письма, отдать последние распоряжения перед отъездом. В своей маленькой каюте он долго сидит с пером в руке. Чистый лист бумаги лежит перед ним.

Ровно год прошел с тех пор, как он начал хлопоты и приготовления к путешествию. Он с уверенностью может сказать, что ни один день не потерян даром. Много трудностей пришлось ему преодолеть за это время. Он уехал в Иену — надо было закончить работы, расплатиться с долгами, а их накопилось немало. Можно ли было пуститься в такой далекий путь, не имея ни гроша в кармане, как во время скитаний по берегам Красного моря? Правда, Географическое общество пообещало выдать ему денежное пособие — 1200 рублей, но сумму эту он должен был получить в Петербурге, перед самым отъездом, да и то в этом не было полной уверенности. Многие члены Общества были недовольны его маршрутом, слишком долгим сроком путешествия и считали преждевременным оказывать денежную помощь молодому ученому. Об этом Николаю Николаевичу сообщил в Иену Остен-Сакен.

«Хотя получение суммы около 1200 рублей было бы приятно, — ответил он тогда Федору Романовичу, — но я с удовольствием откажусь от нее, если это идет наперекор моим научным интересам. Ради нескольких грошей я и не подумаю изменять тем задачам, которые должны принести немало пользы нашим знаниям».

Порой отчаяние овладевало им, и только сочувствие верного друга — Мещерского — поддерживало его в эти дни. Впрочем, помочь ему Мещерский ничем не мог —

сам он, увы, сидел без денег. Оставалось только вместе сетовать на судьбу, которая ставила большую научную задачу в зависимость от каких-то «дурацких грошей».

Николай Николаевич без сожаления вспоминает теперь об этом трудном времени. Большая, интересная работа, много интересных встреч с антропологами, этнографами, биологами, географами, принимавшими участие в составлении программы его будущих исследований. И одно из этих новых знакомств — правда, не имевшее отношения к науке — оставило самое светлое воспоминание. Это знакомство с Тургеневым, который жил тогда в Веймаре, недалеко от Иены. Как он был радушен всегда, с каким вниманием слушал рассказы Николая Николаевича о Канарских островах, как живо интересовался его планами! Однажды они провели вместе целый день, и в этот весенний, незабываемый день такими далекими показались Николаю Николаевичу все его утомительные заботы!

И все же удалось справиться с трудностями, преодолеть преграды. Нужда не заставила его отказаться ни от одного из намеченных планов. Он везет с собой тщательно разработанную программу будущих исследований на островах Тихого океана. В нее входят вопросы и пожелания Карла Бэра по антропологии, Петра Петровича Семенова по этнографии и советы других знаменитых ученых. У одних он успел побывать лично, от других получил письменные наказы.

Путь следования «Витязя» лежит мимо берегов Англии. И во время стоянки корвета Николай Николаевич надеется посетить Чарлза Дарвина в Дауне. Но на всякий случай, если свидание это почему-либо не состоится, в программу включены семнадцать вопросов, которые были предложены великим ученым одной экспедиции, отправлявшейся в Южную Америку.

Программа широка, она рассчитана на семь или восемь лет работы. Только бы хватило сил! Ведь он отправляется в такие места, где еще не ступала нога европейца.

Семь-восемь лет — ему этот срок кажется не таким уж большим. А вот родные думают иначе... Как побледнела мать, какой испуг появился в ее глазах, когда он осторожно, исподволь сообщил ей о своих намерениях!

Зато Ольга, которую он привык считать маленькой девочкой, даже виду не показала, что расстроена его отъездом. Да, он узнаёт в сестре свои черты — решительность и волю. Как хорошо было бы взять ее с собой в путешествие! Она была бы настоящим помощником. Но это слишком рискованно. Кто знает, что ожидает его в этих неведомых землях?

И видения далекого детства оживают в памяти Николая Николаевича. Звонкий голос маленького Мишука:

«А Олю возьмем?»

Тогда он просто решил этот вопрос:

«Возьмем, хоть она и девчонка!»

А вот теперь он все-таки не решился взять ее с собой.

Она стояла на пристани в Петербурге — строгая, сдержанная, как будто боялась дать волю своим чувствам. И долго махала ему белым платочком. Пароходик, на котором он отправлялся в Кронштадт, медленно уносил его от берега, и в петербургском тумане исчезали силуэты провожавших. Мать, сестра, братья, Мещерский, Вася Суфшинский... Увидит ли он их когда-нибудь снова?

И Николай Николаевич берется за перо.

«...В случае, если я не вернусь из предстоящего путешествия, желаю, чтобы все, что мне следует или будет следовать, было передано сестре моей Ольге.

Н. Миклухо-Маклай».

Он запечатывает и надписывает конверт:

«Александру Александровичу Мещерскому. Вскрыть, если я не вернусь»...

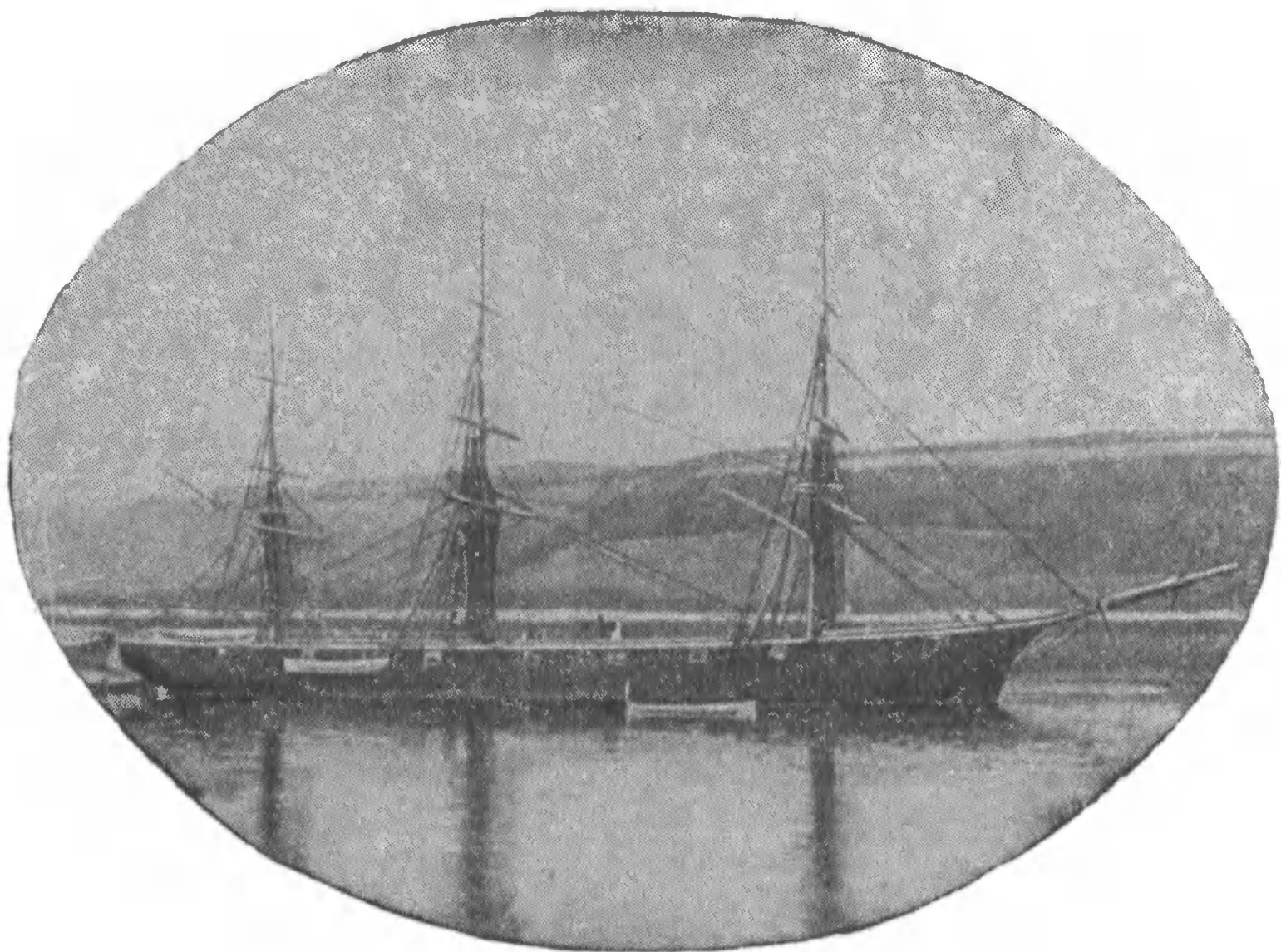
На этого человека он может положиться. Кому еще писать? О чем? Все уже сказано при расставании. Еще несколько последних слов — матери:

«Милая, дорогая моя! До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои».

НОВЫЙ ГОД

31 декабря 1870 года. Корвет «Витязь» — на Фунчальском рейде на острове Мадейра.

Наконец-то можно отдохнуть от рева волн, от неумолимого ветра, во все стороны кидавшего тяжелый корвет, как игрушечный кораблик! Сурово встретил путешественников Атлантический океан...



Корвет «Витязь».

Николай Николаевич — один в своей маленькой каюте. Новый год! Как много связано с этими словами! Рождественские морозы, сверкающий, хрустящий под ногами снег, елочные украшения в окнах магазинов, горы зеленых елок на площадях, бульварах, рынках.

Как не похоже все это на Новый год здесь, в тропиках! В открытое окошко каюты проникает мягкая, едва ощутимая прохлада ночи. Теплый воздух как будто пропитан ароматом апельсиновых рощ, виноградников, ананасовых плантаций.

Вот и снова пришлось посетить этот прекрасный остров, где побывала когда-то маленькая научная экспедиция. Что-то поделывают теперь тогдашние спутники — Геккель и Фоль? Должно быть, веселее, чем он, встречают Новый год в Иене! Впрочем, и здесь, в кают-компании, собрались офицеры. Николай Николаевич не присоединился к ним, да они не очень и приглашали его. Что им до ученого, пустившегося в дальнее плавание только ради исследования неизвестных земель! Научные

задачи мало интересуют этих «обитателей плавучей казармы». В часы отдыха, играя в карты или в домино, они говорят о странном пассажире, удивляются его чудачествам и нимало не беспокоятся, если их насмешки порой долетают до его слуха. Пожимая плечами, поглядывают они на ящики с приборами, на складную мебель, которую он везет с собой. Можно подумать, шутят они, что он закупил ее для пышного салона в Петербурге, а не для какого-то жалкого барака, да еще на Новой Гвинее. О том, чтобы заготовить продовольствие, и вовсе не позаботился этот чужак! Уж не надеется ли он, что его прокормят дикари-людоеды?

Толки эти мало трогают Николая Николаевича. «Что ж, — думает он, — ведь нельзя было ожидать, что жизнь на военном судне будет особенно приятна. Она возможна — этого достаточно».

Впрочем, конечно, и здесь, на корвете, среди офицеров и матросов есть, как и везде, добрые, отзывчивые люди. У него было еще слишком мало времени, чтобы познакомиться с ними поближе. В то время как корвет огибал берега Западной Европы, Николай Николаевич путешествовал по суше. Он успел побывать во многих городах — у многих знаменитых ученых, — программа его расширилась, пополнилась новыми наказами, вопросами. Только с Дарвином так и не удалось повидаться. «Витязь» получил приказ ранее назначенного времени покинуть берега Англии, и Николай Николаевич поспешил вернуться на корвет, не успев заехать в Даун.

Он вновь и вновь перелистывает свои записи. Не слишком ли много он взял на себя? Удастся ли все это выполнить? Быть может, целесообразнее разделить это длительное путешествие на два более коротких? Вернуться, привести в порядок материалы исследований, а потом поехать снова? Эта мысль все более и более занимает его. А какую радость доставил бы он этим решением своим близким!

Однако минутная стрелка часов медленно приближается к двенадцати. Вот и Новый год!

«Сегодня я хочу поговорить с вами об одной важной вещи, которая вас порадует и которую я сообщаю только вам и Ольге. — Он пишет эти строки, и ему кажется, что он разговаривает в это мгновение с матерью и видит радость, вспыхивающую в ее грустных серых глазах. —

Прошу не говорить никому о моем решении... Минутная стрелка показывает двенадцать часов. Поздравляю вас с Новым, 1871 годом! Иду на палубу встречать его под открытым небом...

1 января 1871 года. 1 час ночи.

Итак, прошу никому не говорить... После долгого обсуждения я решил изменить мой первоначальный план и разделить мое путешествие на два периода. Через три или три с половиной года я вернусь в Европу, чтобы повидать вас, пожить с вами и, разобрав часть моих исследований, начать второй период моего путешествия. Таким образом, года через три я вернусь к вам на целый год или даже на полтора! Я уверен, что вы одобрите и порадуетесь моему решению! Часто думаю о вас, об Оле и братьях. Жаль, что кого-нибудь из них нет со мной. Скажите Володе, чтобы не забывал своего слова — отыскать меня даже на Новой Гвинее, а Мише — чтобы непременно шел в Горный институт».

ОДНА ЦИФРА

3 февраля 1871 года. Атлантический океан — 3° северной широты, 24°24′ западной долготы. Штиль. Ни облачка на ярко-синем небе. В чистом, прозрачном воздухе ни ветерка. Пуста раскаленная, сверкающая на солнце палуба. Все спешат укрыться от палящего солнца. Из кают-компаний доносятся звуки гитары. В кубрике чей-то молодой голос жалобно и заунывно поет: «Стонет сизый голубочек...» Жара, томительное безделье вместо кипучей жизни, которой еще так недавно был полон корабль. Напрасно капитан Назимов вглядывается в небо, надеясь увидеть в нем хоть какие-нибудь признаки перемены погоды, — небо чисто на всем широком горизонте. С хмурым лицом спускается он с капитанского мостика. Его не радует ни блеск тропического неба, ни густая синева моря. Он даже не замечает всей этой сказочной красоты. Он предпочел бы серое небо, волны, ветер, с которым он привык бороться, этой немой неподвижности, против которой бессильны и старые, опытные моряки. Сколько дней продлится штиль? Сколько времени с опустившимися, бессильно повисшими парусами будет медленно ползти корвет в открытом море? Недаром

торопился капитан Назимов, не даром он так опасался этой коварной, прилегающей к экватору полосы океана! Если бы удалось благополучно миновать ее, корвет мог бы уже через несколько дней бросить якорь в гавани Рио-де-Жанейро. О том, чтобы добраться без попутного ветра, одними парами, нечего и думать. Запас топлива подходит к концу. Командир с досадой качает головой. Он не любит зря терять время. Он привык точно выполнять задания начальства. Не позднее сентября корвет должен прибыть в Нагасаки... А ведь по пути надо еще завезти пассажира на Новую Гвинею. Это уж вовсе не входило в первоначальные планы командира. Много будет хлопот! Хорошо бы посадить пассажира в Валь-параисо — он мог бы добраться оттуда на какой-нибудь торговой шхуне... Впрочем, капитан Назимов никак не думал, что встретит такую настойчивость в этом молодом человеке. Морская болезнь жестоко мучила его во время всего перехода от Плимута до островов Зеленого Мыса, но едва лишь стихает море, как он снова принимается за свою науку. Он хочет измерить температуру глубин океана. Это, вероятно, важно для науки, но на это надо потратить немало времени. Не может ведь корвет стоять по нескольку часов на месте только ради науки! Однако сегодня, пожалуй...

— Павел Николаевич, я снова к вам, — раздается за спиной командира знакомый тихий голос.

Назимов оборачивается:

— Легки на помине, Николай Николаевич! Сама природа за вас! Вот вам океан, и делайте с ним что хотите! Сколько людей потребуется для вашего предприятия?

— Полагаю, что десяти человек достаточно, — после небольшого раздумья говорит Николай Николаевич.

И вот десять матросов поступают в распоряжение пассажира. Работа закипает. Многое надо предусмотреть, чтобы получить точные результаты. Термометры должны погружаться в воду вертикально, преодолевая сопротивление воды, а чем глубже, тем сопротивление это будет все сильнее. В сооружении аппарата для опускания термометров принимают участие много желающих. Все рады хоть чем-нибудь развеять скуку вынужденного безделья. Сам капитан Назимов заинтересован этим «предприятием». Вместе со старшим офицером Новосильским он

обсуждает, как следует установить на палубе брам-стенгу, куда привесить диплот-блок, продеть линь, какого веса взять лот.

— Придумали — океан градусником мерить! — угрюмо бормочет старый усатый боцман. — Не дело затеяли!

— Наука! — возражают ему молодые.

Но вот наконец все готово. Наблюдение начинается. 3 часа 12 минут пополудни. На поверхности температура воды $27,6^{\circ}$ — немногим ниже температуры воздуха.

— Есть спустить линь! — послушно повторяют матросы распоряжение пассажира.

Термометры погружаются в воду. Метр... два метра... десять метров... пятнадцать метров... Пассажир не отрываясь следит за линем. Сто метров... двести метров... Скорость корвета очень невелика — всего лишь четверть узла, — и все же движение мешает отвесному погружению линя. Командир приказывает дать задний ход, корвет ложится в дрейф. Наблюдение продолжается. 3 часа 27 минут пополудни — линь снова начинает отклоняться. Нужен большой груз.

— Есть подвесить лот!

Матросы работают дружно. Работа не тяжелая — одно развлечение...

Тысяча восемьсот метров — размотан весь линь, подвешен груз в шестьдесят фунтов. 3 часа 43 минуты. Вот когда начнется работа: надо поднять этот груз с огромной глубины.

Матросы тянут из воды линь — рука в руку: метр, два, три... сто... двести... пятьсот... Пот струится по лицам. Это только начало.

Пассажир следит, записывает, смотрит на часы, помогает тащить.

Два часа прошло после начала наблюдения. Матросы устали, их сменяют другие. А пассажир и не думает отдыхать. Нестерпимо палит солнце, болят ноги и ноет спина от усталости. Но времени терять нельзя — каждую минуту может подуть попутный ветер, и тогда прощай вся проделанная работа. Матросы с уважением поглядывают на необыкновенного пассажира. Кто бы мог подумать, что этот бледный, болезненный человек, так тяжело перенесший первое знакомство с океаном, окажется выносливее их, испытанных здоровяков, не раз побывавших под тропическим солнцем.



Вход в залив Рио-де-Жанейро.

- Осторожней!
- Не упусти!
- Держи крепче!
- Зацепляй!..

Матросы дают наставления товарищам, пришедшим им на смену и еще ничего не смыслящим в «науке».

Солнце клонится к закату. Жара медленно начинает спадать — вторая смена оказалась счастливее.

Термометры показываются из воды. Наконец-то!

— Плюс три и пять десятых градуса. Это очень интересно! — говорит пассажир и снова и снова проверяет термометры: нет ли ошибки.

— Плюс три и пять десятых, — многозначительно, с почтением к этой, впрочем, мало говорящей им цифре повторяют матросы. — Наука!

Пассажир задумывается. Три и пять десятых градуса. Это противоречит принятой почти всеми географами мира теории Росса о существовании в глубинах океана постоянной, неизменной температуры для экваториальных вод. Стоит подумать над результатом сегодняшнего наблюдения.

Вовремя закончилась работа — в воздухе чувствуется легкий ветерок, на корвете — заметное оживление. Мо-

жет быть, скоро можно будет сдвинуться с мертвой точки.

Вечер. Яркие звезды горят в черном небе. С попутным ветром корвет бодро несется вперед, пересекает экватор. Пассажир долго в глубокой задумчивости стоит на палубе.

Поздняя ночь. Тишина на корвете. Только слышно, как сменяется вахта да перекликаются рулевой с младшим штурманом:

— Право одерживай!

— Есть одержано!

— Так держи!

— Есть та-ак!

Тускло горит фонарик в каюте пассажира. Пассажир не спит, он пишет письмо Федору Романовичу Остен-Сакену. Он торопится сообщить ему о результатах сегодняшнего наблюдения.

Надо успеть отправить письмо с почтовым пароходом из Рио-де-Жанейро.

«...Все, что я могу сообщить вам сегодня, заключается, странно сказать, в одной только цифре, которая выражает температуру воды в Атлантическом океане на 3° северной широты, на глубине 1800 метров. Имея десятки подобных цифр, можно было бы приступить к рассмотрению следствий, вытекающих из этих наблюдений, не впадая в преждевременные теории».

Десятки цифр! А у него пока только одна! Но все же он доволен сегодняшним днем. Назимов очень помог ему. В самом деле, ведь нельзя требовать, чтобы «Витязь» стоял неподвижно в открытом море только ради научных исследований! В задачу военного корвета вовсе не входит решение научных вопросов. Капитан до сегодняшнего дня просто не мог содействовать научным наблюдениям своего пассажира. Однако при первом же удобном случае он, без сомнения, снова пойдет ему навстречу.

Еще бы хоть несколько небольших штилей — и к полученной сегодня цифре прибавятся другие.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бразилия. Порт Рио-де-Жанейро. Третью неделю стоит здесь корвет «Витязь». Николай Николаевич рад отдохнуть после долгого, утомительного перехода. Не-

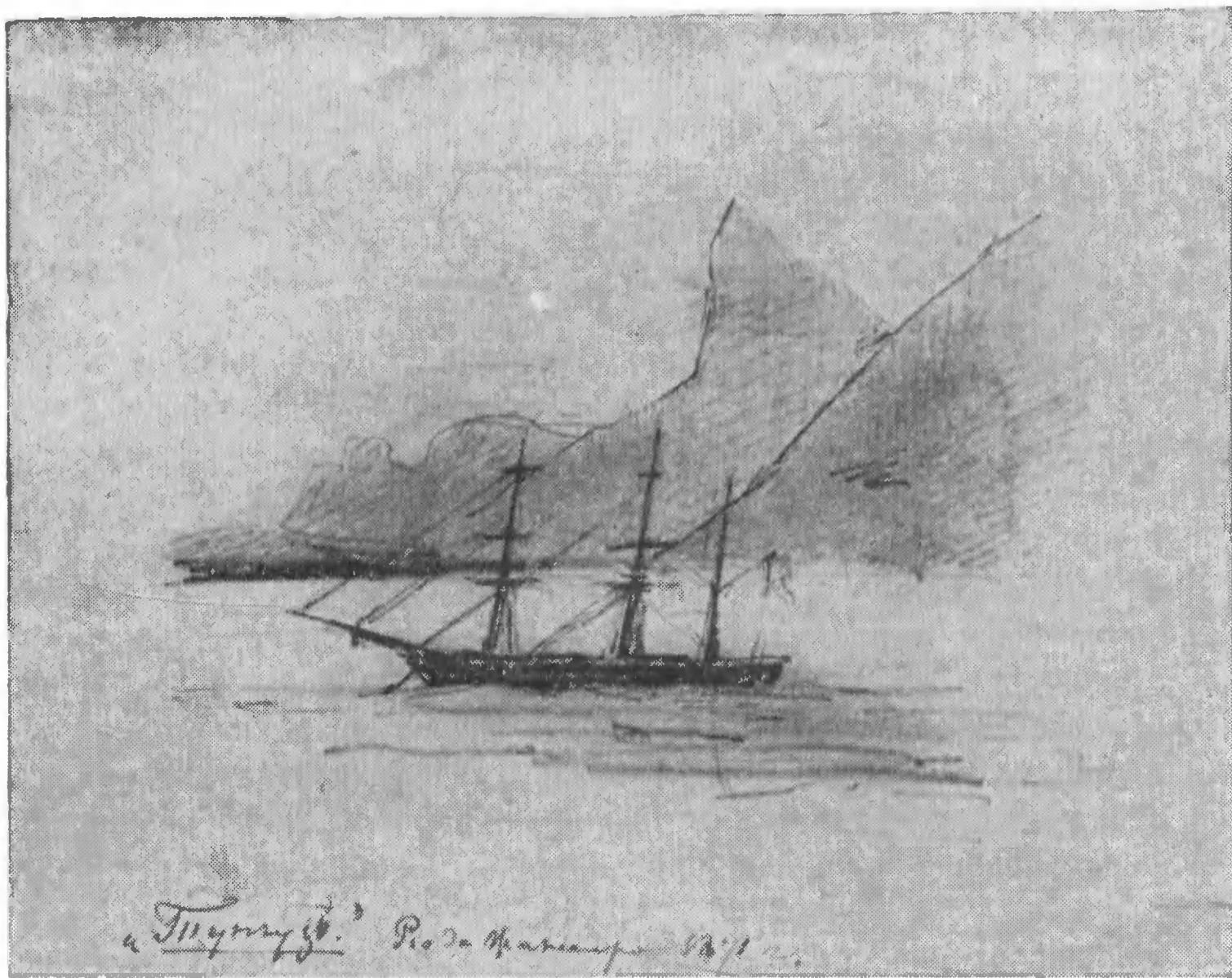
легко далось ему знакомство с Атлантическим океаном. Едва лишь «Витязь» вышел из полосы штиля, как началась качка. Все шаталось, валилось, и надо было себя привязывать к койке или к стулу, чтобы не слететь на пол. Тонкие стены каюты скрипели и стонали, а ветер и волны задавали оглушительный концерт, от которого болели уши. Николай Николаевич жестоко страдал от морской болезни. «Человек — животное земное!» — не раз вспоминал он в эти дни предупреждение старого адмирала.

И вот теперь Николай Николаевич с удовольствием ступает по твердой земле. Однако вовсе не отдых привлекает его в Рио-де-Жанейро. Как всегда, его интересуют научные наблюдения. А население этого порта представляет богатый материал для антрополога. На каждом шагу здесь встречаются представители различных рас: европейцы, среди которых преобладают португальцы; индейцы — их очень мало, — потомки древнего племени, почти полностью уничтоженного в XVI веке колонизаторами-португальцами; негры — представители всевозможных племен Африки, начиная от Марокко и кончая Мозамбиком. Эта часть населения главным образом интересует Николая Николаевича.

Каждое утро он съезжает с корвета на берег и возвращается поздним вечером. Он бродит по улицам, осматривает рынки, посещает больницы, знакомится с негритянскими семьями. В альбом его уже занесена целая коллекция портретов и фотографических снимков.

Он читает объявления о продаже негров-невольников и убеждается в том, что, несмотря на запрещение невольничьих рынков, рабство в Бразилии все еще существует. Он ездит по адресам, указанным в объявлениях, и знакомится с людьми, которых продают по разным ценам, в зависимости от достоинств, которыми они обладают: силы, ловкости, молодости, красоты, работоспособности.

Нередко в этих скитаниях по городу Николая Николаевича сопровождает кто-нибудь из офицеров: молоденький инженер-механик Саша Богомолов, или лейтенант Ракович, или гардемарин Верениус. Они не перестают удивляться той настойчивости, проницательности и терпению, которые никогда не изменяют Николаю Николаевичу в его научных исследованиях.



Русская лодка «Тунгуз» в заливе Рио-де-Жанейро.

— Вот посмотрите, — говорит он, показывая на негритянское семейство — отца, мать и взрослых сыновей. — Замечаете ли вы разницу между старшим поколением и младшим?

— Пожалуй, цвет кожи у сыновей светлее, чем у родителей, — после некоторого раздумья отвечает Богомол.

— Вы совершенно правы, Александр Семенович. Этот факт очень интересен. Жителями Бразилии давно замечено, что негры, рожденные здесь, гораздо светлее негров — уроженцев Африки. Однако это еще не всё. Вглядитесь повнимательнее в лица родителей и детей.

Богомол и Верениус долгим, пристальным взглядом обводят по очереди каждого члена негритянской семьи. На лице старого, очень черного добродушного негра появляется улыбка, он приветливо кивает офицерам, а сыновья неловко отводят глаза в сторону.

— Положительно ничего не замечаю, — пожимает плечами Верениус. — Один сын больше похож на отца, другой — на мать, вот и всё...

— Конечно, с первого взгляда кажется, что в лицах сыновей соединены черты лица родителей и больше ничего. Однако это не так, уверяю вас! Последите за игрой их лиц, за движениями, и вы угадаете, в чем заключается это таинственное несходство. Не черты, а выражение иное, манера держать себя, говорить. Сравните наивную физиономию отца с грустным, неподвижным лицом сына...

Все более увлекаясь, Николай Николаевич раскрывает перед своими спутниками мысли, возникшие у него во время блужданий по Рио-де-Жанейро. Он говорит об изменении расовых признаков под влиянием природы и социальных условий. Он говорит о различии первых лет жизни негра-отца, рожденного в Африке, на свободе, под жаркими лучами солнца, и сына, родившегося и выросшего в тяжелой обстановке рабства, в стране, где уже с самого детства стараются извлечь из ребенка пользу.

— Душные комнаты или подвал, тяжелая, непосильная работа... Блестяще-черный цвет кожи потускнел, побледнел, потерялось добродушно-смеющееся выражение лица. Оседлая жизнь, отношения с соседями, школа, сближение детей с детьми другой расы — все это влияет на характер, изменяет направление мыслей, а вместе с тем изменяет и выражение лица. Эти изменения, столь незначительные вначале, все усиливаясь, могут привести к полному перерождению расы.

Внимательно слушают офицеры своего спутника. Они не сильны в вопросах науки, но верят этим простым словам, угадывают в них правду. Однако они не знают, как много нового и важного для науки о человеке заключается в этих исключительных по точности и объективности наблюдениях. Они не подозревают, какое огромное значение для самого Николая Николаевича имеют эти наблюдения, осветившие тот путь, по которому он пойдет к достижению намеченной цели.

29 мая 1871 года. Корвет «Витязь» — в гавани Валь-параисо. Экипаж готовится к отплытию. Наконец-то получен приказ о дальнейшем маршруте! Грузятся дрова, пополняется запас провианта. После трехнедельного

пребывания на берегу пассажир возвращается в свою каюту.

— С приездом!

— Добро пожаловать!

— Загостились на берегу!..

У Николая Николаевича теперь много друзей среди «обитателей плавучей казармы». Они рады его возвращению и с удивлением замечают, что соскучились по этому человеку с тихим голосом, всегда внимательному к людям. Он никогда не приказывает, а только просит о какой-нибудь услуге, и ему невозможно отказать. Матросы почтительно относятся к его научным занятиям и стараются всячески помочь ему. Они собирают и тащат в каюту пассажира все, что попадается им под руки, — будь то медуза, губка, камень, который кажется им достойным внимания. Они охотно предлагают ему свои услуги для научных исследований при каждом небольшом штиле, при каждом замедленном ходе корвета. И в записную книжку Николая Николаевича внесено уже немало таблиц измерения температуры воды на разной глубине. Они посвящают его в свои семейные дела, советуются с ним, читают письма жен, матерей, братьев, сестер.

Офицеры, в особенности молодые, также частенько заглядывают в каюту пассажира. Им интересно побеседовать с этим человеком, пришедшим из другого, незнакомого им мира, послушать его рассказы о студенческой жизни, о людях науки, с которыми ему приходилось встречаться, о дальнейших его планах.

И Николай Николаевич привык к своим спутникам. Он с охотой проводит время с инженером-механиком Сашей Богомоловым, с лейтенантами Раковичем, Перелешиным, Чириковым, с гардемаринном Верениусом, который больше, чем все другие, интересуется научными занятиями пассажира. Этот худенький, длинный юноша чем-то напоминает Николаю Николаевичу гимназического товарища, Юлия Брунемана. С такой же страстью, как когда-то Юлий, Верениус спешит показать найденный им «необыкновенный экземпляр».

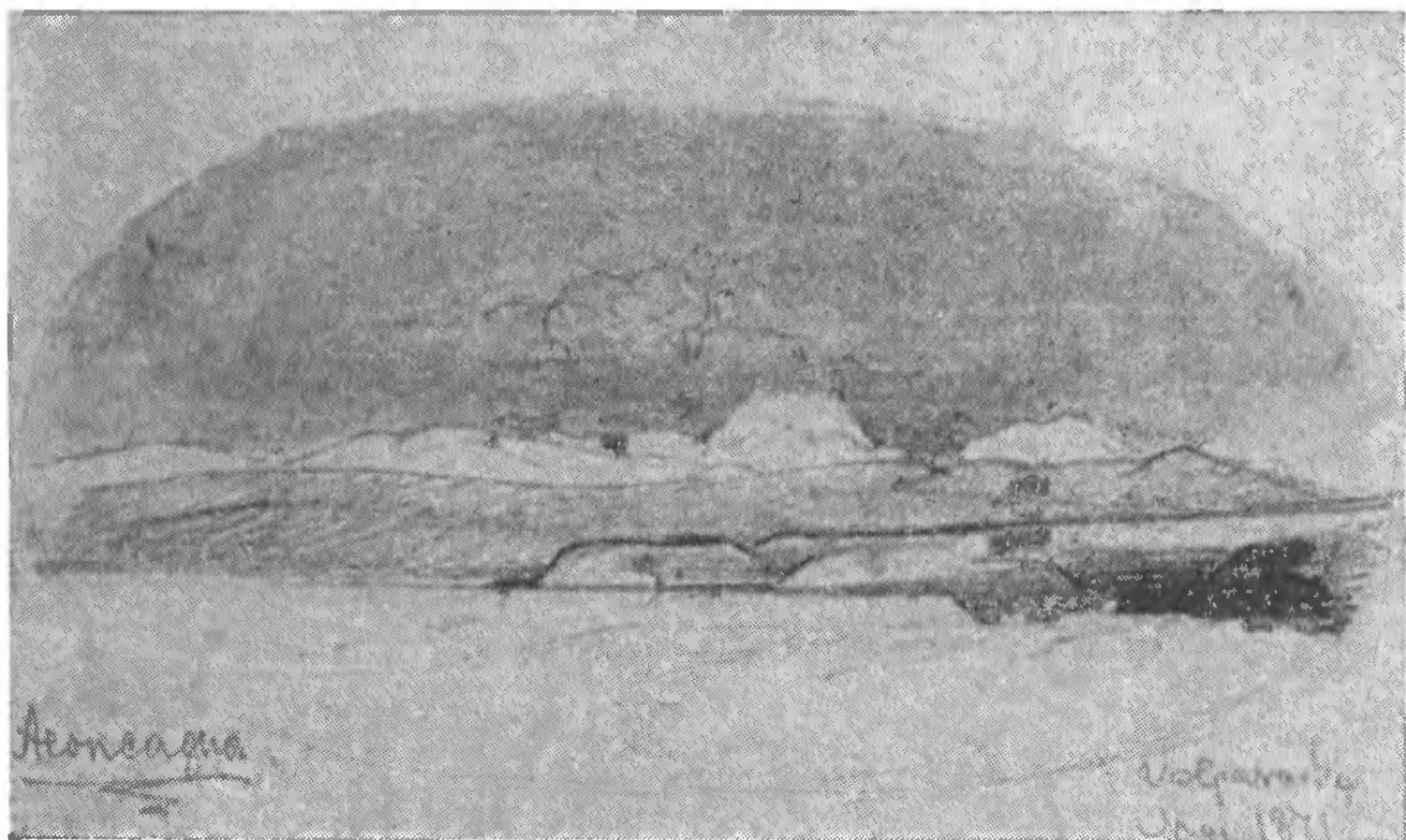
Николай Николаевич снова в своей маленькой каюте, уже более полугода заменяющей ему дом. Чьи-то заботливые руки, видно, хозяйничали здесь. Аккуратно убрана койка, аккуратно стопками сложены записные

книжки, черновики статей; ни пылинки на столике, на портретах, с которых смотрят на него, как бы встречая после долгой разлуки, родные лица...

Усталым движением проводит Николай Николаевич рукой по лбу. Он совсем расхворался, хоть и старается не поддаваться болезни. Последние дни он уже чувствовал приближение приступа лихорадки. Он хорошо изучил ее зловещие признаки. Впрочем, и остальное время пребывания в Вальпараисо было для него полно тревог и волнений. Дальнейшая судьба путешествия зависела от приказа, со дня на день ожидавшегося из Петербурга. У капитана Назимова были серьезные основания предполагать, что маршрут «Витязя» будет изменен и корвет отправится прямо к берегам Японии, не заходя ни в Австралию, ни на Новую Гвинею. Что тогда делать? На что решиться? Плыть на корвете в Японию и отказаться от задуманного и с таким трудом организованного путешествия? Покинуть корвет и постараться самому добраться до Новой Гвинеи? Хватит ли сил? Не обречет ли он себя заранее на неудачу?

Но вот наконец получен долгожданный приказ. Корвету предписано доставить пассажира к месту назначения, но взять курс прямо на Новую Гвинею, не заходя в Австралию. Николай Николаевич был бы, пожалуй, доволен этим изменением маршрута — оно намного сократит путешествие, — если бы не одно досадное обстоятельство: все свои деньги он перевел на банк в Сидней. Там же, в Сиднее, намеревался он закупить товары, необходимые для обмена с туземцами, и нанять одного или двух слуг. Теперь он попал в затруднительное положение: ехать без денег невозможно, оставить же корвет и отправиться за деньгами в Австралию слишком рискованно. Капитан Назимов и лейтенант Новосильский удержали его от этого шага. Они обещают что-нибудь придумать и помочь ему в беде. Ну что ж, будь что будет!...

Николай Николаевич раскрывает папку с зарисовками, сделанными им в этнографическом музее в Сант-Яго. Несмотря на болезнь, он не потерял даром времени. Он успел съездить в Сант-Яго, побывал там в университете, в этнографическом музее. Больше всего поразили его хранящиеся в музее скульптурные произведения, недавно вывезенные чилийской экспедицией с острова



Вид на гору Аконкагуа (Вальпараисо).

Пасхи, или Рапа-Нуи, как называют его жители соседних островов. Большой идол из черной лавы; барельефы из мягкого вулканического туфа с изображением человеческих фигур, рыб, диких животных с птичьими клювами, но с руками вместо крыльев; деревянные идолы с очень искусной и тонкой резьбой — все эти древние памятники искусства говорят о высокой культуре, некогда существовавшей на острове Пасхи. Николай Николаевич старался возможно точнее скопировать их, чтобы послать эти копии в Европу. В музее хранятся также две деревянные таблицы, покрытые строками иероглифов. Это первые письма, найденные на островах Тихого океана. Снимки с этих таблиц он видел в Берлине и в Лондонском этнографическом обществе. Они вызвали большой интерес в ученом мире. «Кохау-рого-рого» — говорящее дерево, называют их жители Рапа-Нуи. Следовало бы внимательно изучить эти важные документы прежней жизни островитян, между тем как путешественники не сделали этого до сих пор.

Николая Николаевича давно интересует странная, трагическая история этого острова, население которого уменьшается с каждым годом. По свидетельству мореплавателей, посетивших Рапа-Нуи, число жителей, до-

стигавшее в прошлом веке нескольких тысяч, теперь сократилось до пятисот человек. В чем же кроется причина столь быстрого вымирания населения, некогда создавшего высокую культуру, имевшего письменность, воздвигавшего огромные каменные статуи, достигшего совершенства в резьбе по дереву? Трудно решить этот вопрос лишь на основании беглых и неточных свидетельств путешественников.

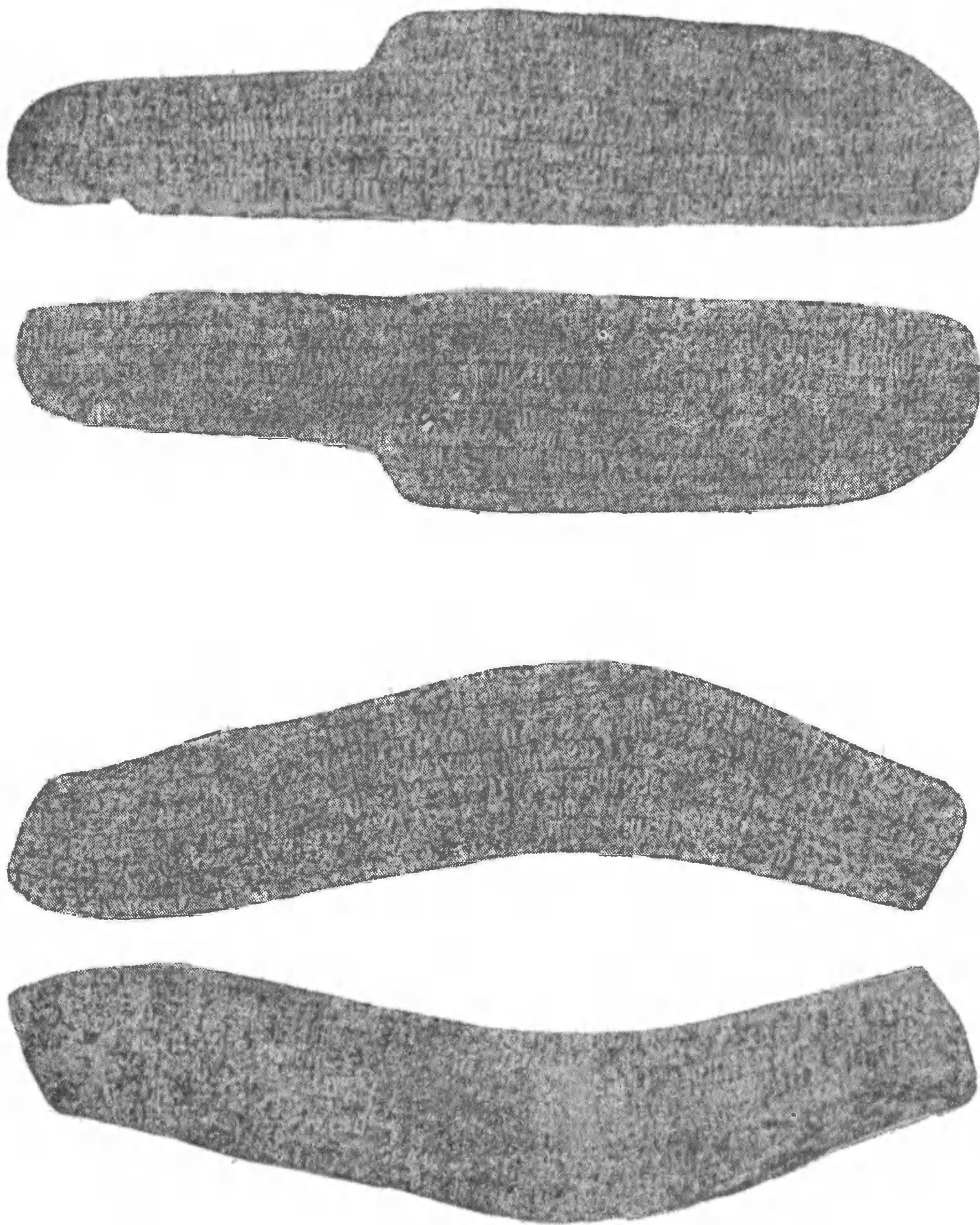
По пути на Новую Гвинею корвет «Витязь» должен зайти на Рапа-Нуи, и тогда-то Николай Николаевич надеется поближе познакомиться с этим интереснейшим из островов Тихого океана.

Он бережно укладывает в папку рисунки. Быть может, вскоре к ним удастся присоединить новые.

Но пора приниматься за письма. Почтовый пароход доставит их в Европу. Кто знает, когда еще удастся подать о себе весть в Петербург — родным, друзьям, Географическому обществу. Вот перед ним письма, пришедшие с последней почтой, — от Оли, от матери, от Мещерского. Они написаны еще зимой, в феврале. А теперь в Петербурге весна, белые ночи. Из окон квартиры на Галерной видна Нева.

Он переводит взгляд на портреты матери и сестры, неизменно сопровождающие его в путешествии. Вместо прежней маленькой девочки с косичками из рамки смотрит на него молодая девушка с гладко причесанными на прямой пробор волосами, с открытым взглядом больших светлых глаз. Он непременно возьмет ее с собой в следующее путешествие, если она, конечно, согласится. И брата Мишука! Правда, ему исполнилось всего пятнадцать лет, но Мишук уже заранее просил брата взять его с собой. Он хочет быть горным инженером — Николай Николаевич очень одобрил его намерение. В их будущих совместных путешествиях эта специальность может очень пригодиться... А Володя кончает Морской корпус. Они уже уговорились встретиться где-нибудь в Тихом океане, если его пошлют туда с эскадрой.

Он перечитывает письмо матери. Как всегда, добрые, полные заботы строки... Оля слишком много думает о нем, тревожится и тоскует. Это огорчает Николая Николаевича. Она должна была бы держаться тверже. Надо подбодрить ее...



«Қохау-рого-рого» — дощечки с письменами острова Пасхи.

«Один-два года — такая малость, что не стоит и думать об этом. Я скоро приеду и, может быть, возьму тебя с собой, — я говорю очень серьезно. Ты мне во многом можешь помочь. Рисуи и читай более. Пиши дневник и ничего не делай без моего совета. Ты ведь знаешь, что я тебя очень, очень люблю. Приеду, и потом долго будем жить вместе».

КОЛОНИЗАТОРЫ

25 июня. 4 часа пополудни. Тихий океан. Корвет «Витязь» приближается к острову Рапа-Нуи. Уже простым глазом видны его холмистые очертания. Вот показались на берегу белая церковь и белый дом рядом с нею. Николай Николаевич не отрываясь смотрит в бинокль.

Наконец-то он побывает на этом острове! Он приложит все усилия, чтобы внимательно изучить его. Произведения искусства, поразившие его в этнографическом музее, по всей вероятности, составляют лишь частицу тех древностей, которые еще сохранились на самом острове. Он очень надеется на помощь миссионера, который уже несколько лет живет на Рапа-Нуи и которому капитан Назимов везет письма из Вальпараисо. Только бы не помешала болезнь. В продолжение всего перехода от Вальпараисо до Рапа-Нуи Николай Николаевич принужден был лежать в каюте. Сегодня он впервые вышел на палубу — ломит ноги, кружится голова; несмотря на палящую жару, по спине пробегает озноб.

— Николай Николаевич, на вас лица нет! Вам надо лечь, я провожу вас! — Саша Богомоллов с тревогой смотрит на него.

— Благодарю вас, Александр Семенович, мне сегодня лучше. Смотрите, берег близок. Я в большом нетерпении. Вы знаете, как интересуется меня этот остров. Хотелось бы подольше побыть здесь.

Корвет движется медленно, очень медленно. Капитан смотрит в подзорную трубу, озабоченно качает головой, совещается о чем-то со старшим офицером. Ветер совсем упал, однако прибой сильный. «Витязь» огибает остров с запада и ложится в дрейф на рейде Ангароа. Люди на берегу увидели корвет, бегают, суется. машут руками,

спускают шлюпку. Качаясь на волнах, вся в брызгах пены, шлюпка приближается к корвету. На веслах — туземцы, полуголые, в огромных соломенных шляпах. Они везут трех европейцев. Судя по жалким остаткам морской формы, это бывшие моряки. Они взволнованно кричат, обращаясь к людям на корвете, кричат на гребцов, кричат друг на друга. Трудно разобрать что-нибудь в шуме волн. Шлюпка причаливает. Один из европейцев, по-видимому старший и по возрасту и по положению, первым поднимается на корвет, подозрительно оглядываясь на товарищей, точно боясь погони. Судя по злым, мрачным взглядам, которыми они ему отвечают, все трое живут далеко не в дружбе. Театральным жестом, высоко подняв соломенную шляпу, он с подобострастной вежливостью кланяется капитану и начинает быстро говорить по-французски. Его черные выпуклые глаза воровато бегают, не останавливаясь на собеседнике; с лысого черепа, окаймленного редкими седыми волосами, струится пот. Острый, загнутый книзу наподобие клюва нос придает зловещее выражение загорелому лицу. Из-под распахнутого кителя, когда-то белого, а теперь неопределенного цвета, видна грязная рубашка. За поясом — пистолет.

— Борнье, француз по происхождению, — бойко рекомендует он, — бывший капитан купеческого судна. В настоящее время волей судьбы вынужден жить на этом негостеприимном острове, среди дикарей, — трагическим жестом он показывает на туземцев, — и управлять имуществом мистера Брандера.

— А кто такой мистер Брандер? — спрашивает Назимов.

— О, у мистера Брандера большие дела! — Француз раскланивается не то перед капитаном, не то перед своим патроном. — У него большие дела и на Таити, и на других островах. Здесь, на Рапа-Нуи, ему принадлежит больше тысячи голов овец. Из Вальпараисо три раза в год сюда заходят суда за шерстью. Приходится занимать под склады шерсти самые большие здания, а самим ютиться в бараках. — Француз скорбно вздыхает, взгляд его перебегает на стоящих в отдалении спутников. — Мои помощники, — представляет он, как бы только что вспомнив о них.

Пользуясь минутным молчанием, капитан спрашивает о миссионере Русселе.

— О, как же, как же, кто не знает падре Русселя! К сожалению, достопочтенный падре три недели назад уехал с острова Пасхи...

— Надолго ли и куда? Я везу ему письма из Вальпараисо. Там ничего не знают о его отъезде.

Француз разводит руками. Он, конечно, не может знать причины отъезда миссионера, однако предполагает, что причина эта заключается в природных условиях острова, с которого бегут не только люди, но и крысы. Падре Руссель увез с собой весь свой приход — двести пятьдесят туземцев. Куда и зачем он увез их, это ему, Борнье, неизвестно. Можно думать, что он пасет свое «стадо» на каком-нибудь другом острове Тихого океана.

Николай Николаевич прислушивается к разговору. Его огорчает известие об отъезде миссионера. Он много слышал о нем в Сант-Яго. А француз и его товарищи неприятны ему. Он не чувствует к ним доверия.

— Вот видите на берегу этот белый дом? — продолжает француз. — Падре Руссель продал его нам.

— А теперь в нем живете вы?

— О нет! В нем никто не живет. Дом пришлось занять под склад шерсти. И церковь тоже. Что поделаешь, шерсти так много! Мистер Брандер...

Француз снова начинает распространяться о достоинствах своего уважаемого хозяина. От этого потока слов у Николая Николаевича начинает звенеть в ушах и все сильнее болит голова.

Между тем на шканцах моряки окружают туземцев, угощают их сухарями, приносят подарки. Туземцы жмутся друг к другу, переминаются на босых ногах, пугливо озираются на своих хозяев. Постепенно, однако, они становятся смелее, с удовольствием грызут сухари, рассматривают подарки, отвечают на вопросы, мешая слова своего языка с французскими, английскими, немецкими, помогая знаками.

— Что растет на ваших полях? — спрашивает Саша Богомоллов. Он нагибается, как будто собирая с земли плоды в корзину, висющую на левой руке.

— Бататы, — догадываются туземцы. — Бататы! — горестно разводят они руками.

— Какие звери, какие животные водятся у вас? — допытывается Верениус и для большей ясности изображает диких зверей.



Женщина и мужчина с острова Пасхи.

Туземцы с понимающим видом кивают головой и рассказывают о злых собаках, стерегущих стада господина Борнье. Верениус разочарованно отходит в сторону.

В разговор вступает Николай Николаевич. Он лучше других объясняется с гостями. Из их немногосложных ответов можно заключить, что питаются они только бататами, что и этой пищи не хватает, потому что поля опустошают крысы, что никаких других посевов на Рапа-Нуи нет и что многие туземцы уже переселились на соседние острова. Однако туземцы чего-то не договаривают — это ясно по косым взглядам, которые они бросают на своих хозяев.

— Готов держать пари, что проделки этих трех господ гонят туземцев с их родного острова, — как бы про себя замечает Николай Николаевич.

— Да и между собой эти господа, по-видимому, живут, как кошка с собакой! — соглашается Богомолов. — Посмотрите, какими злыми взглядами они обмениваются!

— Разница только в том, — прибавляет Верениус, — что ни кошка, ни собака не могут сделать столько зла, сколько, должно быть, делают эти трое.

— Подозрительный «триумвират»! — заключает лейтенант Перелешин.

Все смеются — так не подходит к трем оборванцам это высокопарное слово.

Между тем «триумвират», покуривая сигары, полученные в подарок от капитана, собирается в обратный путь. Туземцы бросаются к веслам. Француз с изысканной вежливостью благодарит капитана, пожимает руки офицерам. Его товарищи по-прежнему скупы на слова, предоставляя ему говорить и за себя и за них. Один за другим они спускаются по трапу. Шлюпка отчаливает, француз машет соломенной шляпой, что-то кричит на прощание.

К Николаю Николаевичу подходит капитан Назимов.

— Мне очень жаль, — говорит он, — но я должен огорчить вас: мы не сможем задержаться на Рапа-Нуи. Здесь имеются лишь открытые рейды, а они в это время года небезопасны для якорной стоянки. Поверьте, я и сам рад бы осмотреть достопримечательности этого острова, но ничего не поделаешь! Через полчаса мы уходим в море.

РАБЫ МИСТЕРА БРАНДЕРА

10 июля. Остров Мангарева. Вот уже третий день Николай Николаевич живет в маленьком домике у самого моря. Корабельный врач посоветовал ему съехать на берег на время стоянки корвета. Влажный морской воздух, по мнению врача, плохо влияет на здоровье пациента.

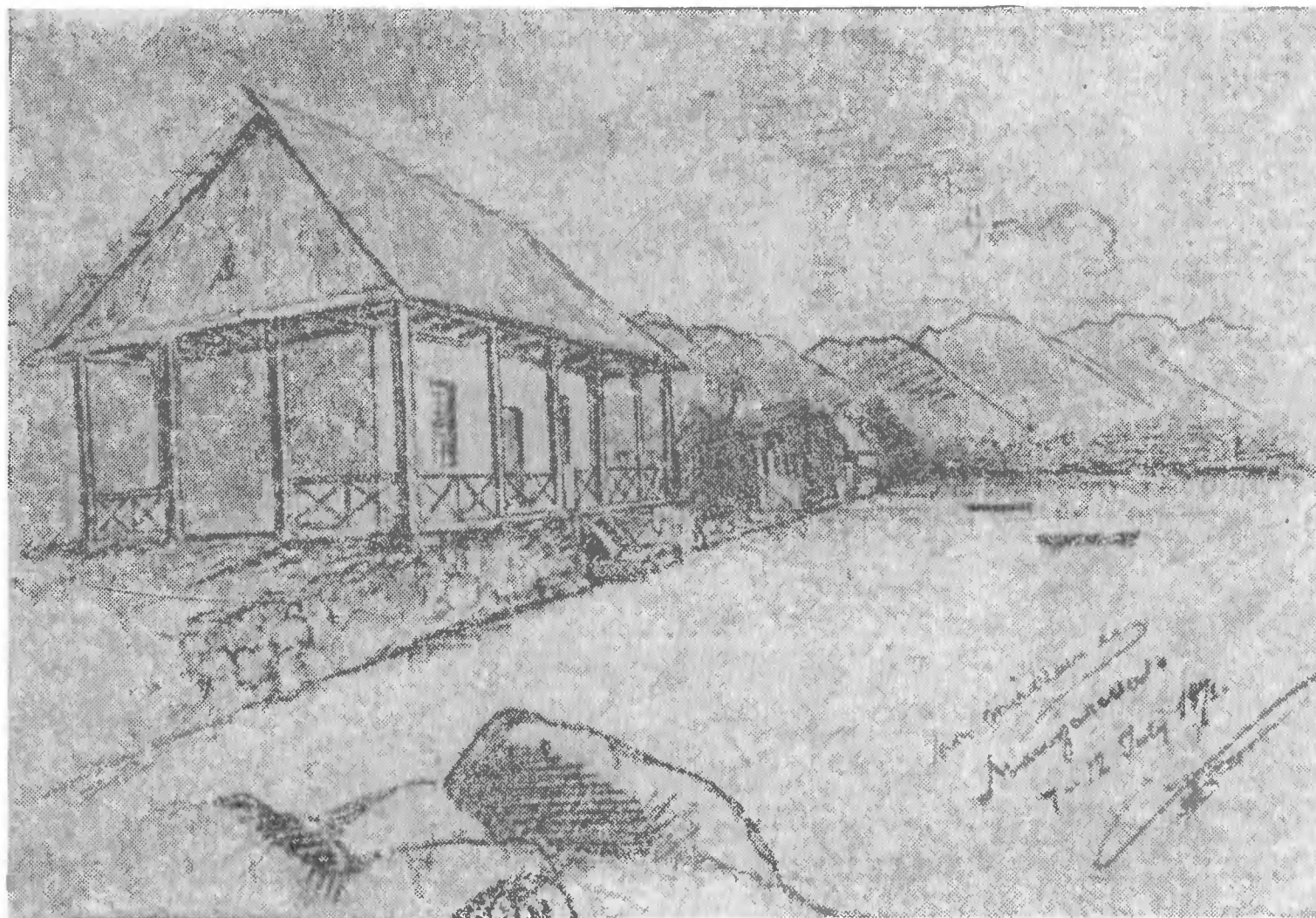
— Болезни, трудно вылечивающиеся на суше, еще труднее поддаются лечению на море, — сказал он.

И Николай Николаевич послушался его совета.

Теперь он проводит целые дни в складном кресле на террасе, которая тянется вокруг всего домика.

«Человек — животное земное», — снова вспоминается ему предостережение адмирала Литке, и он сознается, что старый моряк был прав.

С разных сторон террасы можно любоваться живописными видами Мангаревы. Возвышается гора Дуф, похожая на две плотно сдвинутые человеческие головы; из моря поднимаются коралловые рифы, покрытые ку-



Дом на острове Мангарева, в котором Н. Н. Миклухо-Маклай провел несколько дней во время стоянки корвета «Витязь».

старником; тенистые аллеи кокосовых пальм, хлебных и апельсиновых деревьев; вот селение с бамбуковыми шалашами, среди которых как-то хвастливо торчат домики европейцев.

Однако больше, чем живописные виды, Николая Николаевича интересуют люди, населяющие этот остров. С утра до вечера за перилами его террасы толпятся туземцы. Они с любопытством разглядывают путешественника, иногда, улыбаясь, перекидываются двумя-тремя словами на своем языке.

В толпе, которая казалась ему вначале однородной, Николай Николаевич постепенно начинает различать пришельцев с острова Рапа-Нуи. Они очень похожи на жителей Мангаревы — тот же покатый, довольно узкий лоб, плоская переносица, широкие ноздри, толстые, оттопыренные губы, но лица у них худые, изнуренные, печальные.

Теперь Николай Николаевич знает подлинную историю их переселения с родного острова. Все, что сообщил

Борнье, оказалось наглою, беззастенчивой ложью. Вот почему так бегали глаза у этого словоохотливого француза!

В маленький домик у моря часто заходит миссионер Руссель — с острова Рапа-Нуи он переехал на Мангареву. Он рассказал Николаю Николаевичу, что жестокость Борнье и его помощников заставила рапа-нуйцев покинуть родной остров; что Борнье, собрав отряд из бродяг, распоряжается на Рапа-Нуи, то и дело пуская в ход огнестрельное оружие (недаром у него за поясом торчал пистолет); что церковь и дом вовсе не куплены им, а захвачены силой; что многие туземцы убиты и ранены по его приказу, что хижины их сожжены; из земли выдернуты молодые бататы...

— Таким образом, — рассказывает Руссель, — Борнье действует по заранее обдуманному плану: он заставляет доведенных до отчаяния рапа-нуйцев переселяться на Таити, где, работая на плантациях, они делаются рабами его патрона — мистера Брандера. А остров Рапа-Нуи, на котором мистеру Брандеру туземцы не нужны, освобождается тем самым для разведения овец.

Только двести пятьдесят человек с помощью Русселя спаслись от шайки Борнье. «Лучше умереть свободными на Мангареве, — сказали они, — чем быть рабами на Таити».

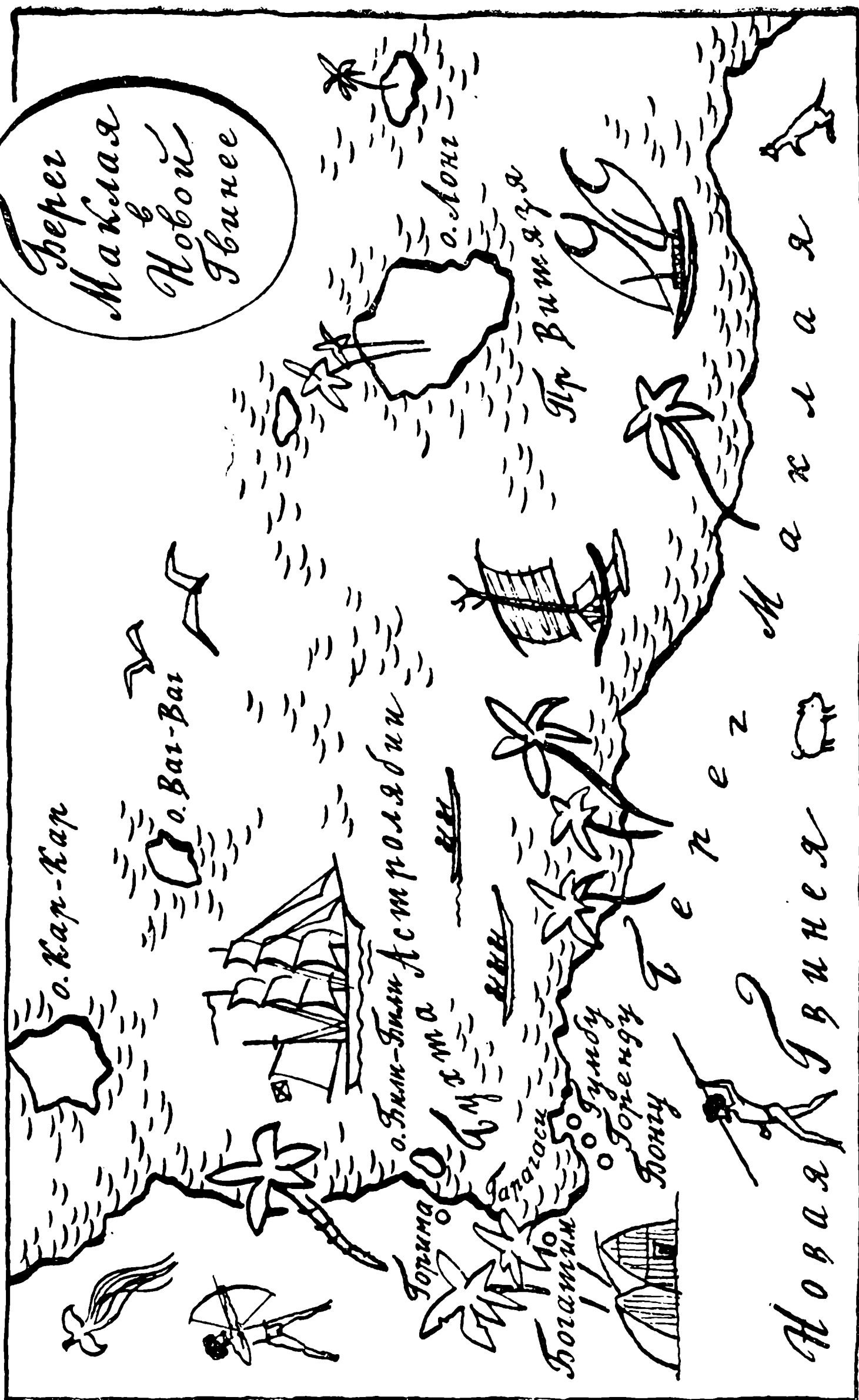
Руссель уходит, а Николай Николаевич долго сидит в глубокой задумчивости, потрясенный этим простым и страшным рассказом.

«Может ли остаться безнаказанным это зверское уничтожение целого народа? — думает он. — Народа, некогда обладавшего высокой культурой и доведенного теперь до состояния полного отупения? Меня пугали жестокостью папуасов, но что может сравниться с бесчеловечностью и подлым расчетом этих «цивилизованных» дикарей?»

У ЦЕЛИ

Все еще качаясь на волнах, плывет по океану корвет «Витязь», все еще в пути «плавучая казарма». Но вот показался вдали берег Новой Гвинеи. Пассажир уже у цели.

Берег
Малая
Новая
Гвинее



Новая Гвинее

Малая

Николай Николаевич встал сегодня с рассветом. Ему не спится. Не спится и его спутникам. Несмотря на раннее время, они уже на палубе. Саша Богомоллов, Ракович, Перелешин, Чириков, Новосильский тревожно вглядываются в незнакомую землю. Вот и настало время разлуки с человеком, к которому они привязались за долгие месяцы плавания. Какая судьба ждет его в этой дикой, неизвестной стране?

Медленно, осторожно движется «Витязь» вдоль почти не исследованных берегов, которые на морских картах обозначены пунктиром. Летучие рыбы, дельфины и касатки прыгают из воды. Стаи чаек с криком носятся в прозрачном воздухе. Офицеры не отрываясь смотрят в бинокли — надо помочь пассажиру выбрать наиболее безопасное и удобное место для поселения.

Однако ничего хорошего не сулит этот мрачный на вид остров. Высокими террасами тянутся вдоль берегов суровые, неприступные горные хребты. Вершины их скрыты густыми белыми облаками, а на склонах чернеет лес.

— Николай Николаевич, передумайте, пока не поздно! — взволнованно говорит Богомоллов. — Послушайтесь совета командира, идите с нами в Нагасаки! Вас вылечат там, вы отдохнете, наберетесь сил, а потом вернетесь сюда на каком-нибудь военном судне. Командир устроит вас, он обещал.

— Богомоллов совершенно прав, — поддерживает Ракович. — Мы не можем оставить вас на этом неизвестном острове, одного среди дикарей, да еще больного!

— Это безумие!

— Вы обрекаете себя на верную гибель!

— Благодарю вас, друзья мои, вы тронули меня своей заботой! — Николай Николаевич пожимает им руки. — Но, право, вы преувеличиваете опасность. Прежде всего я ведь остаюсь не один — со мной будут Ульсон и Бой...

— Можно ли положиться на этих людей! — горячо перебивает его Богомоллов. — Вы забываете, что они взяты по рекомендации господина Вебера!

Бывший матрос шведского купеческого судна Ульсон и юноша-полинезиец Бой — это слуги, которых Николай Николаевич нанял на острове Уполу. А господин Вебер — это германский консул и одновременно агент торговой фирмы «Годфруа». Господин Вебер очень советовал взять

Ульсона и рекомендовал его как «честного и доброго малюго, который будет храбро и верно служить своему хозяину». Однако доверять этой рекомендации пока оснований мало. Товары для обмена с туземцами, купленные с помощью господина консула, оказались недоброкачественными. Гнилая материя разлезалась под иголкой, ножи не резали, в мыле было больше песка, чем сала.

— Пока у меня нет оснований быть недовольным моими слугами, — после некоторого раздумья замечает Николай Николаевич. — Будем надеяться, что они окажутся хорошими помощниками. Ведь они добровольно отправились со мной, их никто не заставлял. Что же касается дикарей, то они такие же люди, как мы, хотя и живут под другими широтами. Надо лишь уметь подойти к ним, считаться с их мировоззрением, обычаями, нравами, и тогда, я убежден, можно внушить к себе доверие. Согласитесь сами, друзья мои, было бы слишком малодушно с моей стороны отказаться от своих планов, хотя бы на время, теперь, когда я уже достиг цели этого долгого и, надо сознаться, утомительного путешествия. «Теп-го упа palabга», «Держу свое слово», — этот девиз я выбрал еще в детстве и до сих пор ни разу не изменил ему, хотя в жизни мне уже пришлось столкнуться с трудными обстоятельствами. Так не будем же предаваться мрачным мыслям! Все должно быть хорошо!

Медленно, точно ощупью, ползет «Витязь», ложится в дрейф, снова ползет. Наконец он входит в залив Астролябии, названный так открывшим его путешественником Дюмон Дюрвилем. «Витязь» становится на якорь в небольшой бухточке у высокого берега, который, по общему мнению, должен оказаться наиболее пригодным для поселения. Впрочем, и он не выглядит особенно гостеприимным. Громадные, вековые деревья, над самой водой склоняющие свои широкие, сплошь обвитые лианами ветви, образуют как бы густой занавес, преграждающий путь каждому, кто вздумает проникнуть в глубь этого таинственного острова. Он казался бы необитаемым, если бы не две-три струйки дыма, поднимающиеся над лесом в прозрачном воздухе и говорящие о присутствии человека.

— Туземцы! — Старший офицер Новосильский с капитанского мостика первый замечает дикарей, появившихся на единственном открытом с моря песчаном мысе.

Их темные силуэты отчетливо вырисовываются на ярком, белеющем на солнце песке.

— Смотрите, — кричит Богомоллов, — вот этот высокий, с перьями на голове, должно быть, их начальник! Они увидели нас, идут к берегу!

Туземцы в строгом порядке, попарно, идут вслед за своим предводителем. Они несут кокосовые орехи и сахарный тростник. У самого берега они останавливаются, складывают на землю свою ношу и, прокричав что-то, знаками показывают вновь прибывшим, что дары эти предназначены для них. Затем они медленно удаляются.

— Ну вот видите, — радостно говорит Николай Николаевич, — папуасы не так уж негостеприимны, как о них принято думать! Павел Николаевич, разрешите мне взять четверку, я отправлюсь на берег и попытаюсь познакомиться с моими будущими соседями.

Четырехвесельная шлюпка спущена на воду. Два матроса садятся за весла. Николай Николаевич подходит к трапу, но вдруг останавливается в недоумении. Рядом со шлюпкой на волнах качается готовый к отплытию катер с командой вооруженных матросов.

— Что это значит, Павел Николаевич?

— Катер последует за вами, — спокойно отвечает командир. — В случае опасности матросы пригодятся вам. Уверяю вас, было бы безрассудно отправиться к дикарям совершенно без оружия.

— В таком случае, позвольте мне отказаться от помощи, — решительно говорит Николай Николаевич. — Не с оружием в руках должен я начать знакомство с туземцами. Оставим это занятие для Борнье и ему подобных «цивилизаторов». Я понимаю, с моей стороны было легкомысленным просить вас рисковать матросами. Вы не должны этого делать. Поэтому разрешите мне взять лишь шлюпку. Я отправлюсь на берег с моими людьми.

— Как вам будет угодно, — сухо отвечает Назимов. — Поверьте, я заботился лишь о вашей безопасности.

— Я вам очень благодарен, Павел Николаевич, за вашу заботу, но, право, вы беспокоитесь напрасно. Папуасы настроены дружелюбно, мы все были свидетелями этому. А кроме того... ведь к некоторому риску приходится быть готовым. Я предупредил об этом Ульсона и Боя, когда они поступали ко мне на службу.

— Ну что ж, в добрый час!

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Узенькая тропинка вела от белого песчаного берега сквозь чащу леса в глубь острова. Немало трудов, должно быть, потратили люди, чтобы проложить эту тропинку. Могучие деревья от корня до самой верхушки были густо перевиты лианами. И небо и солнце были скрыты за этой сплошной зеленой сетью, сквозь которую, казалось, не могли проникнуть не только люди, но и звери.

«Эта тропинка непременно должна привести меня к селению папуасов», — думал Николай Николаевич, все дальше углубляясь в лес. Вместо оружия у него висела через плечо дорожная сумка, набитая подарками для туземцев. Он был так взволнован, что даже не отдал никаких распоряжений оставшимся у шлюпки Ульсону и Бою.

Вот показался наконец просвет между деревьями, все шире становилась тропинка.

Николай Николаевич очутился на большой, крепко утопанной площадке, вокруг которой стояли хижины со



Деревня Горенду.

странными, спускавшимися до самой земли крышами из пальмовых листьев.

Это была папуасская деревня, живописная и опрятная. Но где же были ее обитатели? Двери пустых хижин были открыты настежь или тщательно заложены крест-накрест пластинами бамбука. Николай Николаевич заглянул в одну из хижин. В полумраке он различил высокие бамбуковые нары, связки раковин и перьев на стенах, а под крышей — он пристально вгляделся — потемневший от копоти человеческий череп. На полу, между камнями, еще тлели красные уголья. По-видимому, хозяева недавно и второпях покинули свое жилище.

Нетрудно было догадаться о причине столь поспешного бегства.

С грустным чувством бродил Николай Николаевич по этой брошенной деревне.

Повсюду он находил следы недавней мирной жизни: вспыхивал тлеющий костер, валялся раскрытый кокосовый орех, брошенное весло. Повсюду было пусто и тихо, ничто не нарушало торжественного спокойствия леса. Тропический кустарник с узорчатыми пестрыми листьями, покрытыми сетью желтых и красных жилок, окаймлял площадку, а высокие деревья ограждали ее от ветра и давали тень и прохладу. Побелевшие от солнца крыши из пальмовых листьев, пунцовые цветы китайской розы, желто-зеленая и желто-красная листва — все это ярко выделялось на темно-зеленом фоне леса. Громадные арековые пальмы с пышными гроздьями цветов росли в лесу; хлебные деревья с широкими листьями и круглыми, как шары, плодами; бананы; причудливые высокие деревья с целой сетью спускающихся на землю воздушных корней, похожих на гигантские подпорки.

Солнце уже начинало клониться к закату, лучи его освещали теплым светом листву деревьев. Крики каких-то неизвестных птиц раздавались в лесу. Все было так чуждо, незнакомо и вместе с тем так прекрасно, таким миром и спокойствием веяло от этого только что покинутого людьми уголка, что Николай Николаевич почувствовал себя путником, наконец достигшим тихой пристани. С каким наслаждением прилег бы он сейчас отдохнуть под прохладной тенью пальмовых ветвей! Он ощутил вдруг страшную усталость во всем теле.

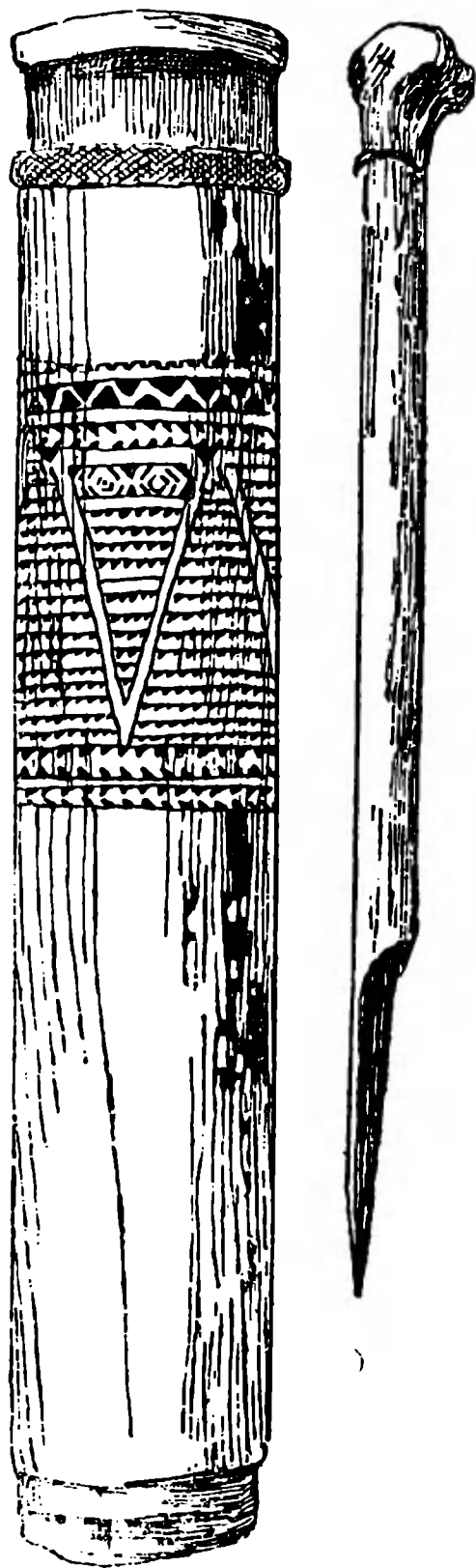
«Имею ли я право, — размышлял он, — вторгаться

к людям без их согласия? Нарушить их мирную жизнь, заставить их бросить свои жилища? Не слишком ли это жестоко с моей стороны? Как убедить их в том, что я не желаю им зла и не причиню им никакого вреда? Если бы я хоть немного знал язык...»

В задумчивости он присел на камень у опушки леса. Вдруг за его спиной раздался треск сучьев. Он оглянулся — в нескольких шагах, точно из-под земли, вырос человек. Несколько мгновений со страхом и любопытством смотрел он на гостя, а потом исчез в кустах так же неожиданно, как появился. Забыв об усталости, Николай Николаевич бросился за ним вдогонку, высоко над головой размахивая куском красной материи. Наконец папуас оглянулся и, убедившись в том, что преследователь его безоружен, остановился. После некоторого колебания он взял протянутую ему красную тряпку, внимательно осмотрел ее со всех сторон и повязал ею голову. При этом лицо его изобразило явное удовольствие.

— Ну, вот и познакомились, — сказал Николай Николаевич, разглядывая папуаса. — Мне почему-то кажется, что впоследствии мы станем друзьями.

Папуас был среднего роста, темно-шоколадного цвета, с матово-черными курчавыми волосами, широким, приплюснутым носом и большим ртом, скрытым под торчащими усами. Весь костюм его состоял из тряпки, повязанной в виде пояса, и двух травяных браслетов, тесно охватывающих обе руки под локтями. За один браслет был заткнут нож из гладко обточенной кости, за другой — зеленый лист бетеля: обычай жевать пряные ли-



Бамбуковая коробка для извести, употребляемой при жевании бетеля. Справа — кость казуара, которой достают известь из коробки.

стья бетеля распространен среди многих народов тропических стран.

— Меня зовут Маклай. Понимаешь, Мак-лай! — по слогам произнес Николай Николаевич, тыча себя в грудь пальцем. — А тебя?

И он ткнул в грудь папуаса.

Но папуас молчал, растерянно моргая черными, глядевшими из-под нависших бровей глазами.

— Не понимаешь? Ну что же, впоследствии, надо надеяться, сговоримся. А пока, приятель, повернем-ка обратно в деревню. Не то я, пожалуй, отсюда и не выберусь.

С этими словами он взял своего нового знакомого за руку — осторожно, чтобы не испугать его, — и повел обратно. Тот шел, немного упираясь, но все же казался теперь спокойнее, чем прежде. У самой деревни он вдруг тревожно насторожился, вглядываясь в просветы между деревьями, и попытался было снова сбежать.

— Пстой, пстой, приятель, куда ты? — воскликнул Николай Николаевич, удерживая его за руку. — Ах, вот кто тебя напугал! — прибавил он и от души рассмеялся.

По деревне, держась друг за друга, с вытянутыми лицами, ходили, боязливо заглядывая в хижины, Ульсон и Бой. Услышав голос Николая Николаевича, они радостно бросились к нему навстречу.

— О, наконец-то мы нашли вас, господин Маклай! Слава богу, вы живы! О, какое счастье! — вскричал Ульсон на ломаном немецком языке.

— О-о-о! О-о-о! О-о-о! — вторил ему Бой, хотя не понимал ни одного слова по-немецки.

— Однако мой господин, как видно, уже успел завести знакомство. — Ульсон кивком головы показал на туземца и протянул ему кусок табака.

Папуас взял табак, повертел в руках, понюхал и, очевидно, неясно представляя себе его назначение, засунул за браслет вместе с листом бетеля.

Между тем из-за деревьев и кустов один за другим начали выходить туземцы, вооруженные луками, стрелами, каменными топорами, палками.

— Смотрите, смотрите, с нами бог! — прошептал Ульсон, бледнея. — Они убьют нас всех, честное слово!

Но туземцы, несмотря на воинственный вид, боязливо топтались на месте, не решаясь подойти поближе, и с

явной завистью поглядывали на яркую тряпку, красовавшуюся на голове их земляка. Потом они все заговорили разом, обращаясь к нему, причем часто произносили слово «Туй».

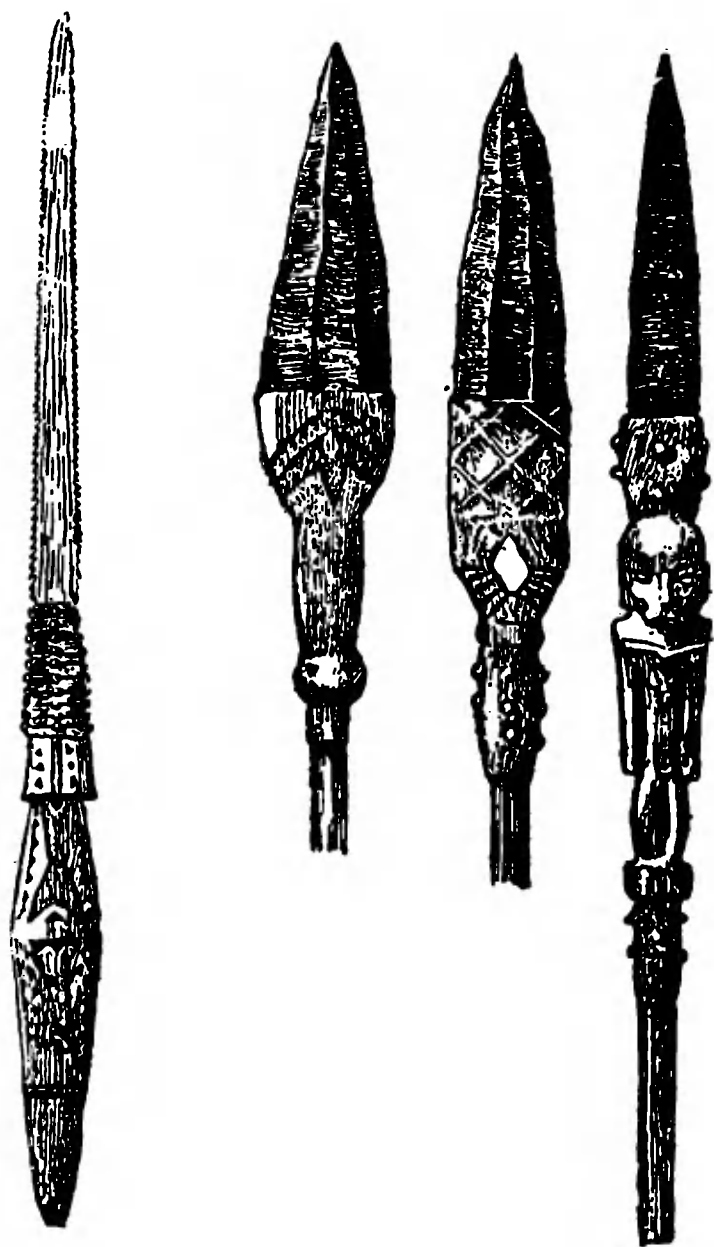
«Должно быть, это его имя», — подумал Николай Николаевич.

— Они убьют нас, они убьют нас! Надо было взять револьвер! — дрожа от страха, шептал Ульсон.

— Напрасно вы так испугались, Ульсон. Мне кажется, что туземцы не собираются никого убивать. Пожалуй, они напуганы не меньше вашего. Возьмите себя в руки и постарайтесь, чтобы они ничего не заметили, это очень важно, уверяю вас!

Николай Николаевич решительно направился к толпе туземцев и, знаками показывая, что у него нет никакого оружия, начал раздавать подарки — ленты, куски красной материи, бусы, гвозди, крючки для рыбной ловли. Папуасы охотно принимали подарки, показывали друг другу, сравнивали, примеряли и радовались, как дети. Особенно они заинтересовались гвоздями. Один из туземцев, воинственный и свирепый на вид, вооруженный огромным луком и необычайно длинными стрелами, даже попробовал гвоздь на зуб, но потом, подумав, осторожно положил его в мешок, висевший у него на шее.

Пока туземцы рассматривали подарки, Николай Николаевич сравнивал цвет их кожи, тип лица, рост, прически, одежду. У одних волосы были черные и висели локонами на затылке; у других — были выкрашены в красно-бурый цвет и стояли на голове высокой шапкой;



Кинжал (слева) и наконечники копий.

у третьих — коротко острижены. Цвет кожи у молодых был более светлый, у старых — темный.

— Господин Маклай, не пора ли нам вернуться на корвет? Смотрите, уже темнеет, — сказал Ульсон, дотрагиваясь до плеча Николая Николаевича.

— Да, вы правы, надо идти, — нехотя отвечал Николай Николаевич.

Увлеченный наблюдениями, он и не заметил, как солнце село.

ГОСТИ

На корвете были обеспокоены долгим отсутствием пассажира.

Все притихли, помрачнели. Матросы переговаривались шепотом, чтобы не услышало начальство. Офицеры спорили вполголоса — одни оправдывали командира, другие обвиняли в бессердечии, и последних было больше, чем первых. А командир тоже беспокоился и, видя скрытое недовольство, злился на экипаж, злился на себя, злился на пассажира, доставлявшего ему столько хлопот и волнений.

— Слыханное ли дело, — раздавались в кубрике приглушенные голоса, — одного к людоедам отпустить!

— Так ведь он сам не захотел! Я своими ушами слышал: «Позвольте, говорит, отказаться от вашей помощи».

— Слышал звон, да не знаешь, где он! Командир хотел отправить на берег целый катер с вооруженной командой, а пассажиру это не по душе. Сколько раз, бывало, говорил нам: «Дикари такие же люди, как мы». И то сказать, ведь ему потом с ними жить...

— Эх, жаль, меня с ними не послали! Я бы ему пригодился!

— Да уж охрану-то надо было дать. И без оружия справились бы! А это разве охрана? Бой — мальчишка еще совсем, да хилый в придачу, а шведу я не доверяю: у него глаза бегают.

И среди офицеров слышались примерно те же разговоры.

— Простить себе не могу! — говорил Саша Богомолов, шагая по палубе. — Я должен был попросить командира, он бы отпустил меня!

— Да, все как-то быстро произошло, сообразить не успели. — Ракович тревожно поглядывал на берег. — Вот уже темнеет, а их все нет!

— Подождем еще немного, а потом попросим дать шлюпку и отправимся на поиски.

— Да чего ждать? И так уж слишком долго ждали! Люди, может, погибают, а мы всё ждем!

— Взгляните, господа, — Перелешин показал рукой на песчаный мыс, — что-то темное движется от берега, вон там...

Прошло несколько мгновений. Все молчали, напряженно вглядываясь в даль.

— Да ведь это пиро́ги туземцев, честное слово! — вскричал Богомоллов и по-мальчишески подпрыгнул от радости. — А впереди наша шлюпка... Николай Николаевич стоит во весь рост, клянусь честью!

— Интересно, кто кого взял в плен: он дикарей или дикари его?

— Ни то ни другое! Держу пари, он везет их к нам в гости!

— Смотрите, смотрите! Две лодки повернули обратно! Несутся к берегу, как будто за ними погоня!

— Что это значит?

— А третья не удирает, идет прямо вслед за шлюпкой.

Наконец загадка разъяснилась.

Шлюпка причалила к берегу, и все увидели, что на канате она тащила пирогу. По-видимому, лишь по этой причине сидевшим в ней четверем туземцам не удалось последовать примеру своих собратьев и спастись бегством. Они были в чрезвычайном волнении, знаками показывали, что хотят плыть обратно к берегу, что ни в коем случае не поднимутся на корвет; один из них даже пытался перерубить своим каменным топором канат.

Офицеры столпились на палубе и с любопытством разглядывали папуасов и их пирогу — выдолбленное и заостренное с обоих концов бревно.

— Образец первобытного судостроения! — заметил любивший пышные выражения Перелешин.

— Я привез вам гостей, — весело сказал Николай Николаевич, поднимаясь по трапу и ведя под руку одного из туземцев, который выглядел немного бодрее других. —

Эти смельчаки полумертвы от страха, надо поскорее угостить их чем-нибудь.

— О Туй, о Туй! — горестно вопили остальные три папуаса, простирая руки и оплакивая своего собрата.

Казалось, они готовы были лишиться чувств.

— Вот, позвольте вам представить: это мой первый знакомый на острове. Насколько мне удалось выяснить, его зовут Туй. Он оказался храбрецом.

Николай Николаевич едва успел подхватить обеими руками «храбреца», у которого подгибались колени; он дрожал всем телом, от лица отлила кровь, и оно стало светло-серым.

— А вот и остальные гости!

Ульсон и Бой почти несли по трапу туземцев, которые походили скорее на пленников, приговоренных к смерти, чем на гостей.

— Я очень сожалею, что они так напуганы, — сказал Николай Николаевич. — Они встретили нас прекрасно, и мне захотелось поскорее познакомить их с вами. Видите, это всё дары! — Он кивнул головой на пирогу — на дне ее лежали кокосовые орехи, бананы. — Они согласились сами отвезти все это на корвет, а потом трусили. Если бы не буксир, и эти удрали бы!

Между тем уже совсем стемнело. На юте зажегся фонарь, и офицеры, подхватив гостей под руки, повели их пить чай. Увидев, что с ними обращаются ласково, дарят подарки и вовсе не собираются убивать, папуасы начали понемногу приходить в себя. Вскочив на скамейку и усевшись на нее с ногами, они с удовольствием попивали чай и грызли сахар, назначение которого им пришлось предварительно разъяснить.

— Ауе, ауе! Билен! — приговаривали они, причмокивая и пыхтя.

И, хотя ни офицеры, ни Николай Николаевич не знали папуасского языка, все поняли, что это означает нечто очень хорошее.

Но вот чай выпит, подарки получены — пора пускаться в обратный путь. Несмотря на радушный прием, папуасы, видимо, не могли окончательно поверить в свою безопасность. Поняв, что их больше не задерживают на корвете, они со всех ног бросились к трапу и почти упали в пирогу. Лишь отплыв на некоторое расстояние и убедившись, что за ними нет погони, они опомнились и, по-

махав на прощание руками своим новым знакомым, прокричали еще слабыми от потрясения голосами:

— Э-а-ба! Э-ме-ме-е!

Должно быть, на папуасском языке это означало: «До свиданья».

СМЕХ ЗАРАЗИТЕЛЕН

«...Господу богу помо-олимся...» — назойливо звучит чей-то густой бас.

«Что это значит? Неужели я в церкви?» — удивляется Николай Николаевич и тотчас же отчетливо узнает знакомую маленькую церковь в селе Рождественском. В одинаковых матросских костюмчиках Коля и Сережа стоят рядом с мамой. В церкви жарко, душно, много народу. Сережа осторожно пробирается к выходу, подмигивая брату и маня его за собой. Коля знает: во дворе ждут мальчишки, чтобы идти на речку купаться. Он хочет вслед за Сережей пробраться к двери, но не тут-то было — ноги не слушаются его, они точно приросли к полу. Сельский священник, отец Григорий, строго смотрит на Колю.

«Ах да, ведь сегодня прошел первый паровоз и отец Григорий служит молебен, — вспоминает Коля. — Надо торопиться — ребята уйдут без меня на речку!»

Ноги по-прежнему отказываются идти. Все громче и громче звучит в ушах густой бас, но вместо священника перед ним появляется уже кто-то другой, очень знакомый... Коля всматривается.

«Неужели Станислав? — думает он, холодея. — Неужели все надо начинать сначала? Опять гимназия? Нет, нет, бежать вслед за Сережей!»

Но «Станислав» уже увидел его, догоняет, все ближе...

«Наконец-то ты мне попался, голубчик! — кричит он над самым Колиным ухом. — Теперь уж не уйдешь!..»

Николай Николаевич открыл глаза. Яркое солнце косыми лучами освещало каюту. Жара. Духота.

«И приснится же человеку такая ерунда! — Он вскочил с койки. — В самом деле, надо торопиться. Должно быть, поздно. Но что это? Как будто и вправду молебен? Или я все еще сплю?»

В дверь постучали, и в каюту просунулась голова Богомолова:

— Я не разбудил вас?

— Какое там! Собирался рано встать, да вот, видите, проспал! Уснул только под утро. А ведь от такого шума, пожалуй, и мертвый проснется. Кстати, что это там у вас происходит? Панихида или молебен?

— Молебен по случаю дня рождения великого князя Константина.

— Вот оно что!

— Ишь, отец Виссарион старается. — Богомоллов кивнул на дверь. — Молебен отслужат, а потом салют — двадцать один выстрел.

— Двадцать один выстрел! Что вы говорите! — Николай Николаевич в волнении схватил Богомолова за руку.

— Ну да. Как полагается.

— Да ведь они умрут от страха! Понимаете, умрут! Как же это я раньше ничего не знал? Надо поскорее предупредить их! Только бы поспеть!

Николай Николаевич бегом бросился из каюты. Богомоллов едва поспевал за ним:

— Куда вы, Николай Николаевич? Кого предупредить?

— Да туземцев же, туземцев! — И не успел Богомоллов опомниться, как Николай Николаевич был уже в шлюпке и быстро мчался к берегу.

Вот и знакомая тропинка. Скорее, скорее! Вот уже показался просвет между деревьями... Сотрясая воздух, раздался первый выстрел, далекое эхо повторило его.

— Опоздал! — с досадой воскликнул Николай Николаевич и ускорил шаги.

В деревне, на открытой площадке перед хижинами, в смятении толпились папуасы. При каждом новом выстреле они в отчаянии кидались друг к другу, как бы прощаясь навеки; бросались на землю, схватившись за голову руками и дрожа всем телом.

Николай Николаевич в нерешительности остановился, не зная, как успокоить их, как убедить в том, что нет никакой опасности. Из толпы навстречу ему вышел Туй. Лицо его выражало одновременно и недоумение, и страх, и любопытство. Протягивая вперед руки, как бы моля о спасении, он что-то быстро говорил на своем языке

и показывал на небо и на море, где стоял корвет. Должно быть, он просил объяснить, откуда несутся эти страшные звуки. Грянул очередной выстрел, и Туй так и не успел закончить свою речь. Он в ужасе заткнул уши и начал вдруг приседать с такими ужимками и гримасами, что Николай Николаевич не мог удержаться от смеха.

«Ну, это уж никуда не годится! — тотчас же мысленно выругал он себя. — Мало того, что по моей милости потревожили и насмерть напугали этих несчастных людей, так я же еще и смеюсь над ними!»

Каково же было его удивление, когда Туй, вместо того чтобы обидеться, вдруг с любопытством посмотрел на него и тоже улыбнулся, а вслед за ним начали ухмыляться, переглядываясь друг с другом, и остальные папуасы. При этом они не издавали ни единого звука, а только тряслись от смеха, и лица их складывались в гримасы.

Выстрелы прекратились, салют окончился, и папуасы, быстро позабыв о своем волнении, занялись делами.

— Вот вам и доказательство того, что смех заразителен, — весело сказал Николай Николаевич. — Все хорошо, что хорошо кончается, друзья мои, хоть вы и не понимаете того, что я говорю вам!

ПОСТРОЙКА ХИЖИНЫ

Кипит работа на маленьком песчаном мысе у ручья в уединенной местности, которая носит название Гарагаси. По мнению Назимова, Новосильского, Чирикова и других офицеров, местность эта неудобна для поселения, так как с берега будет трудно увидеть проходящие мимо корабли, а с кораблей вряд ли можно будет разглядеть хижину путешественника. Однако именно на ней остановил свой выбор Николай Николаевич.

— Право, я думаю, что мне будет хорошо в этом уединенном месте, — отвечал он на советы друзей. — Ведь я не люблю шума, а вблизи деревень меня бы беспокоили крики, плач детей, лай собак. Кроме того, ведь я еще не знаю ни характера, ни нравов, ни языка моих будущих соседей и не могу спросить у них согласия, а навязывать им свое присутствие считаю бестактным.

Сто десять человек приступают к расчистке леса. Немало труда, ловкости и сообразительности нужно,

чтобы справиться с этой тяжелой задачей. Вековые тропические деревья с трудом поддаются топору; густые лианы, обвивающие их снизу доверху, образуют сплошную крепкую сеть, и, чтобы обрубить их, приходится взбираться на самую верхушку дерева. Трещат под ударами топора, валятся могучие деревья, с шумом падают одна за другой огромные гирлянды лиан. С криком улетают потревоженные птицы, убегают звери, прячутся в горах перепуганные жители.

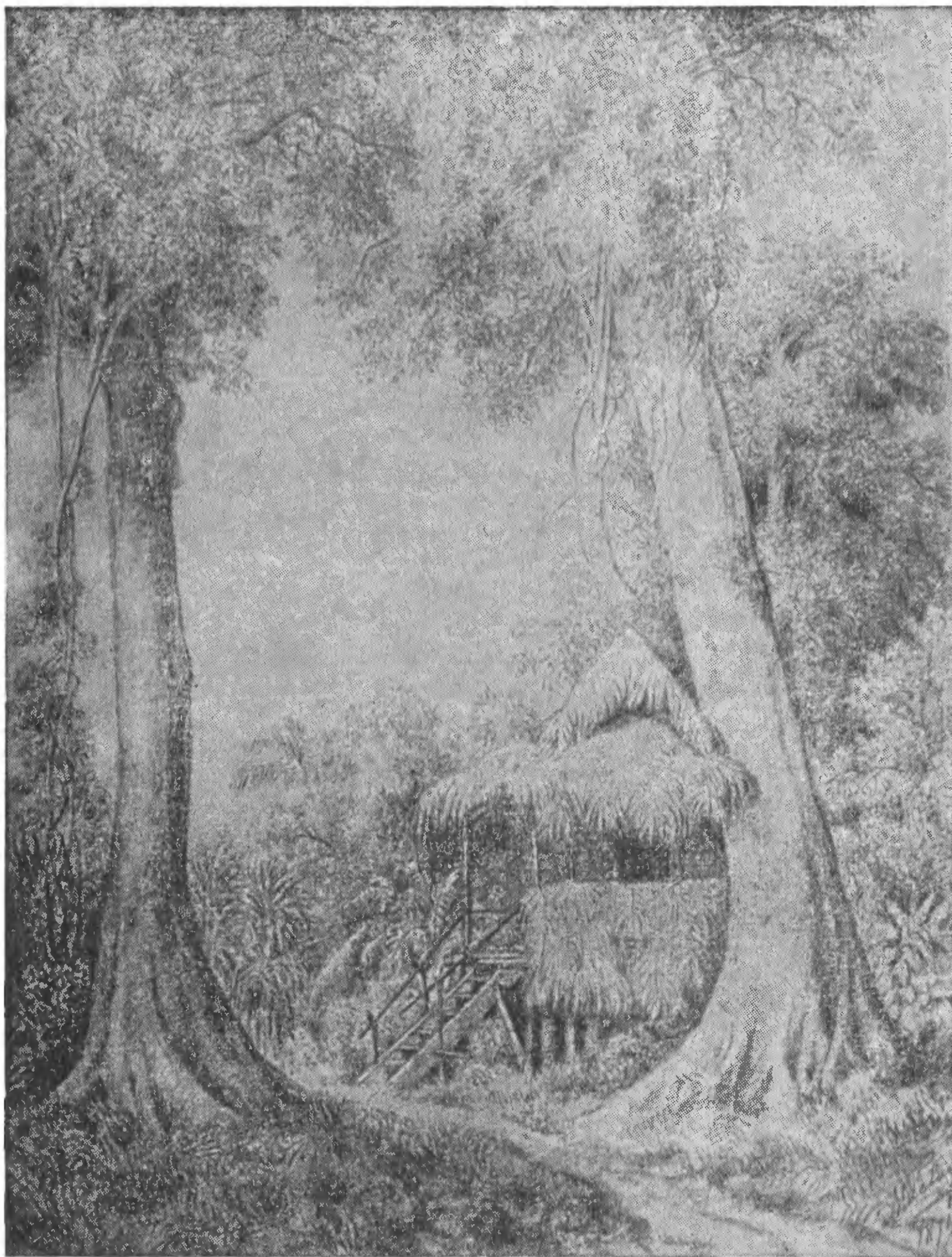
Но наконец закончены работы по расчистке леса. В тени двух громадных деревьев воздвигается хижина. Вместо фундамента в землю забиты высокие сваи. Нижняя часть стен делается из тонких досок, специально для этой цели привезенных с Таити. Верхняя — из парусины, которую при желании можно будет закатывать кверху, как штору. Хижина разделена перегородкой на две комнаты с двумя отдельными выходами. Для крыши готовятся циновки, сплетенные из листьев кокосовой и саговой пальм. Работа эта поручена Бою. Матросы не могут помочь ему в этом сложном искусстве, которым он овладел на своем родном острове Ниуе.

Постройкой руководит сам Николай Николаевич. Ранним утром он съезжает на берег и остается там до позднего вечера. Напрасно уговаривают его отдохнуть, поберечь себя — он вникает во все мелочи, поспевает повсюду.

— Отдохнуть я и после успею, — отвечает он. — Времени мало, надо торопиться.

Времени и вправду мало. «Витязь» не имеет возможности простоять у Новой Гвинеи больше недели — запаса провианта для экипажа едва хватит до Нагасаки. За этот короткий срок надо, кроме постройки хижины, приготовить дрова для путешественника и для корвета (запас топлива уже на исходе), надо нанести на карту план местности, проверить, в исправности ли машины.

В работе принимает участие весь экипаж до одного человека. Работают дружно, несмотря на палящий, иногда доводящий до обморока зной. Каждому хочется хоть чем-нибудь услужить пассажиру, хоть что-нибудь сделать для него на память своими руками. Штурманский офицер мастерит солнечные часы — на карманные нельзя положиться, они могут испортиться. Лейтенант Чириков закладывает мины вокруг хижины и обучает



Хижина Н. Н. Миклухо-Маклая в Гарагаси.

поселенцев обращаться с рычагами. Это единственная мера предосторожности на случай нападения туземцев, с которой после долгих уговоров согласился Николай Николаевич. Сам командир руководит установкой флагштока с русским коммерческим флагом — быть может, с его помощью удастся подать знак проходящим кораблям. За домом матрос закапывает в яму ящик с порохом. На стволе одного из деревьев он вырезает перочинным ножом свою фамилию: Сидоров.

— Чтобы ошибки не было, — смущенно говорит он.

На другом дереве матрос Перышкин старательно и аккуратно выводит большую стрелу, обращенную острым концом вниз. Эта стрела указывает место, куда Николай Николаевич в случае опасности зароет свои дневники и научные заметки.

ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ

26 сентября. Последний день стоянки корвета на острове. То и дело к берегу снуют шлюпки, нагруженные чемоданами, корзинами, мебелью, ящиками с надписью «Маклай». Это метеорологические приборы, хирургические, столярные и слесарные инструменты, книги, ареометры, охотничьи ружья, медикаменты. И только запас провианта занимает в шлюпке скромное место: небольшой мешок риса и жестяная баночка с надписью «жир для пищи» — вот и все, что Николай Николаевич захватил с собой. В этом вопросе, по мнению спутников, он проявляет слишком большое легкомыслие и на их беспокойные вопросы отвечает беззаботно:

— Ведь живут же люди на Новой Гвинее! Ну и мы с Ульсоном и Боем проживем как-нибудь. Надо отвыкать от европейской пищи, на все время не запасешься. Право, друзья мои, лишение это не так уж велико. Консервы успели мне изрядно надоесть за долгие месяцы плавания. Не стоит тратить на них деньги!

Однако, несмотря на эти доводы, экипаж корвета обращается к командиру с просьбой выдать путешественнику весь однодневный рацион, то есть триста сорок полных порций продовольствия. Во время дальнейшего пути матросы и офицеры обещают сэкономить этот расход.

Николай Николаевич очень тронут заботой экипажа и с благодарностью принимает подарок. Вслед за рисом и баночкой «жира для пищи» на берег отправляется дополнительный запас сахара, чая, сухарей, консервов.

Время бежит. Наступает ночь. Никто не спит на корвете. От усталости Николай Николаевич едва держится на ногах. При свете ночника в своей маленькой, уже потерявшей жилой вид каюте он дописывает последние письма — секретарю Географического общества, Мещерскому, Суфшинскому и наконец:

«Милые, дорогие мать и сестра!

Я у моей цели. Остаюсь на год в Новой Гвинее. Трудно будет много, но надеюсь на успех. До свидания и не забывайте!»

— Ну вот, кажется, все. Теперь пора!

До отхода «Витязя» остается еще несколько часов, но Николай Николаевич торопится на берег. Надо отпустить Богомолова, который вместе с Ульсоном и Боем сторожит вещи в хижине.

— Счастливо оставаться!

— Желаем удачи!

— Через год вернемся за вами!

Все толпятся на палубе. Вот и наступил час разлуки с этим человеком, который почти год делил с ними трудности дальнего плавания. Николай Николаевич пожимает руки матросам, прощается с офицерами.

— Не поминайте лихом, — говорит командир. — Если чем и обидели, то невольно. А теперь спускайтесь в эту шлюпку — она ваша. В ней вы найдете и парусиновую палатку — пригодится!

— Я очень благодарен, Павел Николаевич, но...

— Об уплате не беспокойтесь, — прерывает Назимов. — Я подам рапорт морскому ведомству, оно спишет эти вещи.

Шлюпка медленно отчаливает, сопровождаемая последними напутствиями. Николай Николаевич, стоя во весь рост, долго машет соломенной шляпой. На берегу его встречает Богомолов.

— Что с вами, Александр Семенович? Вы больны?

Лицо Богомолова бледно, губы запеклись.

— Пустяки. Знобит немного, и голова болит.

— Отправляйтесь поскорее на корвет, прошу вас! Что, если вы успели подхватить лихорадку!

— Я провел здесь всего одну ночь, — с горечью говорит Богомоллов, — а вам предстоит прожить на этом острове год, а быть может, и больше!

— Все это не так страшно, как кажется, уверяю вас, Александр Семенович! У меня есть запас хинина, с его помощью я надеюсь одолеть лихорадку. А потом, ведь вы помните мой девиз? Я знал, на что иду!

— Ну, берегите себя!

— Ничего, Александр Семенович, авось еще свидимся!

— Свидимся, непременно свидимся! Я попрошу, чтобы меня послали за вами через год.

Они обнимаются. Богомоллов надолго задерживает руку Николая Николаевича в своих горячих, сухих ладонях:

— Еще раз, на счастье!

Шлюпка отчаливает от берега, и с нею обрывается последняя нить, связывающая Николая Николаевича и его товарищей по путешествию.

Хижина вся загромождена валяющимися в беспорядке вещами. Прикорнув на одном из тюков, дремлет Ульсон. Растянувшись на пальмовой циновке, крепко спит Бой.

— Кто там? — Ульсон вскакивает, испуганно кричит спросонья.

— Это я. Тише, вы разбудите Боя. Он так устал, бедняга!

Но Бой только поворачивается на другой бок и продолжает спать. Целый день, без отдыха, он спешно заканчивал крышу.

— Разве корвет ушел? — дрожащим голосом спрашивает Ульсон.

— Нет еще. Можете поспать. Я разбужу вас, когда понадобится.

«Этот швед трусит все больше и больше. Как бы рекомендация Вебера и в самом деле не оказалась достойной его товаров!» — думает Николай Николаевич.

Чьи-то осторожные шаги раздаются совсем рядом с хижинкой.

Николай Николаевич торопливо спускается вниз по ступенькам.

— А, да это Туй! Что скажешь, приятель?

Но лицо Туя серьезно и озабоченно. Озираясь по сторонам, как будто желая удостовериться, что за ним никто не следит, он крадучись подходит ближе и начинает что-то быстро объяснять знаками. Он показывает на море, на далекий горизонт, на хижину, делает вид, что рубит сваи одну за другой.

— Постой, постой, о чем это ты толкуешь, приятель? Не нравятся мне твои сообщения. Кажется, ты решил напугать меня?

Думая, что собеседник не понимает его, Туй начинает свои объяснения сначала. Все больше увлекаясь, он, как актер, разыгрывает целую сцену, причем исполняет несколько ролей зараз: как бы бросая копье, закидывает высоко над головой правую руку, подбегает к Николаю Николаевичу и, тыча его в грудь пальцем, высовывает язык, закатывает глаза — словом, изображает человека, сраженного копьем, потом он бросается к хижине, делает вид, что рубит сваи, и приговаривает, показывая рукой на лес:

— Бонгу, Горенду, Гумбу, Богатим, Били-Били...

— Напрасно ты так стараешься, приятель. — Николай Николаевич спокойно похлопывает Туя по плечу. — Я давно понял твою мысль. Когда корвет уйдет, хочешь ты сказать, придут твои родичи из соседних деревень, убьют меня и моих слуг, а хижину разрушат. Конечно, это может случиться, однако тебе вовсе незачем знать, что я понял тебя... Вот, возьми-ка этот гвоздь и отправляйся домой. Не то, пожалуй, напугаешь моих слуг, а они и без того не отличаются храбростью.

Большой гвоздь — самый ценный подарок для Туя. Он внимательно рассматривает его, пробует согнуть, проводит пальцем по острию и наконец, крепко зажав в кулаке, торопливо убегает, вероятно, чтобы похвастать подарком перед своими соплеменниками.

— Интересно было бы узнать, сам ли он придумал все это или его послали? — задумчиво говорит Николай Николаевич, провожая Туя взглядом. — Пора на берег — уже светает, корвет скоро снимется с якоря.

В дверях хижины появляется встревоженное лицо Ульсона. Он подозрительно оглядывается по сторонам и угрюмо бормочет:

— Повадился этот проклятый папуас! Ходит, разнюхивает, шпионит.

Николай Николаевич ничего не отвечает и, только устало махнув рукой, направляется вниз по тропинке к морю. Ульсон понуро бредет вслед за ним. С берега видно, что на корвете идут последние приготовления: по палубе быстро снуют маленькие фигурки матросов, их белые бескозырки так и мелькают на солнце. Вот несколько человек столпились возле якорной цепи. Николай Николаевич ясно представляет себе эту знакомую картину, словно сам присутствует при отправке корвета. На «Витязе» уже заметили его, машут руками, что-то кричат на прощание. Вот из воды показался якорь.

— Ульсон, надо поскорее приспустить флаг. Это будет нашим последним салютом.

Ульсон окидывает его непонимающим взглядом и нетвердой походкой направляется к флагштоку. Минута, вторая — корвет разводит пары, густой дым вырывается из трубы. А флаг по-прежнему развевается высоко над деревом.

— Что это значит? Почему медлит Ульсон? — Николай Николаевич бросается к флагштоку.

Ульсон бледен, дрожит, слезы катятся у него по щекам, а руки никак не могут справиться с веревкой.

— Вы еще можете догнать корвет на шлюпке. Торопитесь, пока не поздно!

Но Ульсон, всхлипывая, отходит в сторону, и Николай Николаевич сам салютует удаляющемуся «Витязю». Все меньше и меньше становится огромный корвет, превращается в черную точку и, наконец, скрывается за горизонтом...

— Вот и всё, — тихо говорит Николай Николаевич. — Отныне я предоставлен самому себе, и судьба моя зависит от моей энергии, воли и труда. Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Вечер и ночь прошли спокойно, папуасы не появлялись, хотя трое обитателей маленькой хижины на мысе Гарагаси поджидали их посещения, по очереди неся вахту. Самое трудное — ночь — Николай Николаевич взял на себя. Ульсон, пришедший ему на смену, был немало напуган состоянием своего хозяина. Ноги у него подка-

шивались, руки плохо слушались, он едва добрался до своей комнаты и, свалившись на пальмовую циновку, моментально уснул, успев, впрочем, пробормотать заплетаящимся языком:

— Какая великолепная лунная ночь!

Ульсон осторожно прикрыл его одеялом, удивленно пожимая плечами. Должно быть, он впервые подумал, что никогда ему не понять этого человека, с которым столкнула его судьба.

Проснувшись поутру, Николай Николаевич чувствовал себя отдохнувшим, и лишь легкая ломота во всем теле напоминала о вчерашней усталости. Он лежал, наслаждаясь окружавшей его необыкновенной, такой непривычной тишиной: ни людского говора, ни брани, ни спора, только порой раздавался крик птицы да из-за брезентовой перегородки слышался тихий голос Боя, мурлыкавшего на своем языке какую-то детскую песенку.

— Бой! — позвал Николай Николаевич.

И тотчас же с обеих противоположных сторон в комнатку просунулись две головы — Ульсона и Боя. Но что случилось с ними? Лица их были покрыты красными шишками, глаза заплыли и глядели узенькими щелками.

— Кто это вас так разукрасил? — протирая глаза, спросил Николай Николаевич. — Вас просто узнать невозможно!

— Не то комары, не то муравьи, какие-то дьяволы! — простонал Ульсон. — Ползают по голове, залезают в бороду!

— По-видимому, я не понравился им и поэтому избегал вашей участи, — серьезно сказал Николай Николаевич.

Из походной аптечки он достал нашатырный спирт и промыл ранки на руках Ульсона и Боя — руки были искусаны и расчесаны до крови.

— Ну, а теперь за работу!

День проходил в разборке вещей, расстановке мебели. Это оказалось не так просто: вещей было много, места — мало. Прежде всего надо было решить, куда поставить письменный стол.

— Вот сюда... — уверенно говорил Николай Николаевич, ставя его в угол возле двери. — Нет, пожалуй, сюда.

И стол перемещался в другой угол.

После долгих колебаний он был водворен на самое подходящее место — у окна. У противоположной стены из двух корзин, покрытых одеялом, была сооружена койка, а в оставшемся узком проходе поместилось любимое складное кресло Николая Николаевича. Белье, книги, посуда и другие необходимые вещи были частью сложены на пол в одном из углов, частью подвешены к потолку, частью размещены на чердаке.

Работа была в разгаре, когда пришел Туй.

— Опять шпионить явился! — мрачно пробормотал Ульсон.

Туй несколько раз обошел вокруг дома, с любопытством разглядывая торчавшие из земли рычаги от мин, протянул было уже руку, чтобы дотронуться до одного из них.

— Табу! — раздался предостерегающий окрик Николая Николаевича.

Понял ли его Туй или грозный тон голоса заставил его остановиться, но, поспешно отдернув руку, он отошел и начал о чем-то взволнованно говорить, время от времени боязливо поглядывая на эти загадочные предметы.

«Вернется ли корвет?» — по-видимому, спрашивал он, и Николай Николаевич не задумываясь ответил знаками: «Да, вернется».

Но Туй не унимался. Он продолжал размахивать руками, показывая на горизонт, на море, на солнце.

«Когда вернется корвет?» — очевидно, хотел спросить он.

Николай Николаевич задумался. Он знал еще очень мало папуасских слов, а показать знаками: «Придет, но когда — не знаю», или: «Придет через много дней», было слишком трудно. Лучше было вовсе не отвечать на этот вопрос. Однако Туй настойчиво ждал ответа.

«Вот что: сейчас посмотрим, умеешь ли ты считать», — осенила вдруг Николая Николаевича счастливая мысль.

Он принес из хижины лист бумаги, изрезал его на мелкие кусочки и отдал их Туи.

— Вот, сосчитай, — сказал он и, ткнув пальцем на одну из бумажек, прибавил: — Бум, бум. — Он уже знал: «бум» означает по-папуасски «день».

Туй уселся на землю, разложил перед собой бумажки и начал считать:

— Бе, бе, бе, бе, — бормотал он, по очереди загибая пальцы на левой руке. — Ибон бе! — Загнув пятый палец, он остановился на мгновение и перешел к правой руке.

— Бе, бе, бе, бе, ибон-али! Бе, бе, бе, бе, самба-бе!... — Были уже пущены в ход все пальцы на руках и на ногах, а горка бумажек все не уменьшалась. — Бе, бе, бе, бе... бе, бе, бе...

Туй издал глубокий вздох и беспомощно посмотрел на Николая Николаевича — задача оказалась непосильной. Он неторопливо собрал бумажки, аккуратно завернул их в лист хлебного дерева и, как-то странно кивнув головой, медленно удалился.

«Считать пошел! — улыбнулся Николай Николаевич. — Задал же я ему задачу!»

Прошло немного времени. Бой, вступивший в обязанности повара, уже раскладывал по тарелкам горячую рисовую кашу, когда громкий, протяжный свист донесся из леса. На опушке появилась толпа папуасов, вооруженных копьями, стрелами, палками, каменными топорами.

Впереди шел Туй.

— Идут, идут! — завопил Ульсон.

Он бросился в хижину и тотчас же вернулся с двустволкой в руках.

— Возьмите! — кричал он, в отчаянии протягивая ее Николаю Николаевичу. — Не подпускайте их к нам! Они убьют нас!

Николай Николаевич молча отстранил его и направился навстречу туземцам, знаками приглашая их подойти. Ульсон в ужасе всплеснул руками и спрятался под крыльцо. Бой последовал его примеру.

Между тем папуасы, оставив оружие под присмотром нескольких человек, вышли на середину площадки и положили на землю перед Николаем Николаевичем дары: бананы, кокосовые орехи, сахарный тростник. Очевидно, они сосчитали бумажки и, убедившись в том, что корвет вернется не скоро, решили пополнить продовольственные запасы поселенцев.

Туй на правах старого знакомого повел гостей вокруг хижины, показывая им диковинные вещи, привезенные белыми.

Папуасы с глубоким изумлением рассматривали

кастрюли, чайник, складное кресло, стоявшее под деревом. Но настоящий восторг вызвали у них башмаки Николая Николаевича и полосатые носки, сушившиеся у костра. Гости долго стояли перед ними, широко раскрыв глаза и протяжно восклицая:

— А-а-а... е-е-е... о-о-о!...

Убедившись, что папуасы настроены мирно, Ульсон и Бой вылезли из своего убежища. Бой так расхрабрился, что даже заиграл на маленькой губной гармонике. Этим инструментом, очень распространенным на его родном острове, он владел с большим искусством. Папуасы тотчас окружили его, с восхищением, с детским восторгом прислушиваясь к звукам этой несложной музыки. Они покачивались в такт из стороны в сторону и легким по-свистыванием выражали свое одобрение.

Когда Бой кончил, Николай Николаевич подарил гостям несколько гармошек, и они сразу же попытались сыграть на них.

— Очень уж вы щедры, хозяин! — проворчал Ульсон. — Приучите их, и они каждую минуту будут являться за подарками.

— Помолчите, Ульсон, — сказал Николай Николаевич и дал папуасам по гвоздю.

Начинало темнеть, когда гости, очень довольные подарками, собрались уходить. На прощание они левой рукой пожимали хозяину локоть и знаками показывали, что приглашают его к себе в Горенду, что не убьют и не съедят его, а, наоборот, дадут много бананов и кокосов. Два молодых человека, которым случайно досталось по лишнему гвоздю, так расчувствовались, что, крепко сжав в своих объятиях Николая Николаевича, умиленно восклицали:

— О Маклай! О Маклай!

В виде прощального приветствия они несколько раз помахали кулаками. Должно быть, это тоже означало нечто очень хорошее.

— Э-мем! Э-мем, э-а-ба-а, Маклай! — донеслось уже из леса.

А Николай Николаевич долго смотрел им вслед, не веря, что эти люди так кровожадны, вероломны и злы, как писали о них путешественники.

«Быть может, — думал он, — терпеливо и беспристрастно изучая характер и быт папуасов, мне удастся

составить о них другое суждение. А пока я доволен уж тем, что добрался до цели или, вернее, до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести к цели».

ИЗ РАПОРТА КОМАНДИРА КОРВЕТА „ВИТЯЗЬ“

«Путешественник Миклухо-Маклай избрал место для своего жительства напротив якорной стоянки корвета. От корвета были даны все средства к устройству жилья и защиты его от нападений дикарей. В течение пяти дней 110 человек рабочих расчистили местность на 30 квадратных сажен в девственном, непроницаемом лесу. Вокруг дома, на некотором расстоянии от него, заложили шесть мин и научили, как привести их в действие.

Местность, избранная путешественником для жилья, по общему нашему убеждению, неудобная; в случае крайности ему отрезаны все пути для отступления; кроме того, местность эта обладает всеми данными для развития лихорадки. Переночевавший одну только ночь в доме Маклая инженер-механик прапорщик Богомоллов получил перемежающуюся лихорадку. Слуга-швед остался там уже пораженный лихорадкой, и сам г. Маклай уже ощущал ее припадки. Через пять дней по уходе корвета болезнь начала развиваться в команде корвета.

Кроме этих губительных для г. Маклая обстоятельств, надо заметить, что из его жилья не видны будут проходящие мимо корабли и, в свою очередь, с кораблей нельзя будет разглядеть и флаг, который я ему устроил на мачте. Г-н Маклай не озаботился также приобретением лодки, чтобы иметь возможность делать наблюдения на воде, или ловить морских животных, или спастись в случае неприянных действий туземцев. А потому я решился отдать ему имеющийся при корвете четырехвесельный ял со всеми принадлежностями.

Жители окружающих нас берегов в первые дни нашего пребывания приезжали на корвет, но потом, заметив, что на берегу производится постройка жилья, начали смотреть на нас с подозрением. С каждым днем деревни их пустели, хижины были покинуты, пироги, стоявшие на морском берегу, исчезли. Из всего их имущества мы не нашли никаких признаков, которые свидетельствовали бы

о посещении этих берегов европейцами. Железо им не было известно. Лодки жителей Новой Гвинеи безобразны — едва выдолбленные кривые деревья. Парус грубо сделан из травы, веревки кокосовые или их заменяют лианы, виды которых весьма разнообразны в лесах Новой Гвинеи. Климат определить трудно по краткости пребывания, но можно заметить, что он скорее нездоровый...»

У СОСЕДЕЙ

Было раннее утро. Солнце еще только вставало и розовым светом освещало деревья и вершины гор. С полотенцем через плечо Николай Николаевич поднимался вверх по тропинке к хижине. Прохладная вода ручья освежила его.

— Вы хотите сегодня идти к дикарям, хозяин? — с беспокойством спросил встретивший его на пороге Ульсон.

— Да, я пойду к нашим соседям, в Горенду. Ведь теперь у нас там много знакомых.

— Не очень-то можно доверять им... Я надеюсь, вы возьмете с собой хоть это? — И Ульсон протянул Николаю Николаевичу револьвер.

— Вы считаете? — Николай Николаевич задумчиво повертел револьвер в руках. — Конечно, нельзя быть уверенным, как они меня встретят, но принесет ли мне пользу эта штука? — продолжал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к собеседнику.

— Послушайте меня, господин Маклай, не ходите без оружия! Они убьют вас!

Бой энергично кивал головой, показывая, что он во всем согласен с Ульсоном.

— Я далеко не уверен, смогу ли я остаться равнодушным к «любезностям» папуасов, имея за поясом этот инструмент. Допустим, что в случае необходимости я пуцую его в ход с полным успехом. Ну, а дальше? — Николай Николаевич размышлял вслух. — Туземцы захотят отомстить за своих близких — надолго ли их удержит страх перед револьвером? Пуля, пущенная некстати, может принести немало вреда. Нет, не оружием должен я завоевать доверие папуасов... Итак, решено! — закончил

он, надевая через плечо свою дорожную сумку — ту самую, которая верно служила ему еще в Иене. — Револьвер я оставляю дома. . . Бой, поскорее завтракать! Ульсон, дайте мою записную книжку и карандаш — они мне пригодятся больше, чем оружие.

Солнце поднялось уже высоко, но в тени деревьев зной почти не чувствовался. Николай Николаевич шел, выбирая тропинки, которые, казалось ему, должны были привести в Горенду. Всюду виднелись следы пребывания «Витязя»: заграждая путь, лежали сваленные деревья, огромные срубленные сучья висели над головой, зацепившись за переплетенные лианы.

Густой лес кончился, тропинка тянулась теперь вдоль берега моря. Невыносимо палило солнце, от его горячих лучей разболелась голова. Николай Николаевич давно уже должен был прийти в Горенду, но местность была незнакомая, тропинка снова привела к лесу, и он понял, что заблудился. Прошло еще добрых два часа, пока наконец между деревьями показались крыши домов и где-то очень близко слышались голоса — мужские и женские. Еще несколько шагов — вот и открытая площадка. Сомнения не было — он попал не в Горенду, а в какую-то другую, совсем незнакомую деревню. Николай Николаевич остановился. Никто не заметил его. Двое мужчин чинили крышу; несколько мальчиков и молодых девушек, сидя на земле, плели циновки из пальмовых листьев; женщины возились с детьми; здесь же копошились две огромные свиньи с поросятами; собаки дремали, растянувшись на земле. Вдруг разговор оборвался, раздался пронзительный крик, поднялась суматоха. Женщины с криками и воплями, схватив маленьких детей, бросились в лес; старшие дети с ревом побежали вслед за матерями; девушки, оставив свои занятия, рассыпались в разные стороны; даже собаки с воем и свиньи с визгом и сердитым хрюканьем скрылись в лесу. Встревоженные воплями женщин, со всех концов деревни сбегались мужчины, вооруженные чем попало.

А виновник всей этой кутерьмы спокойно стоял посередине площадки, недоумевая, почему приход его вызвал такое волнение. Он очень хотел бы успокоить туземцев, но знал еще слишком мало папуасских слов, а объясняться знаками было трудно. Он вглядывался в окружающие его нахмуренные лица, но — увы! — не на-

ходил среди них ни одного знакомого. Неожиданно две стрелы — одна за другой — со свистом пролетели мимо его головы так близко, что едва не задели. И тотчас же все сразу взволнованно заговорили. Показывая на верхушку дерева, они знаками объясняли, что стрелы предназначались для птицы, хотя никакой птицы на дереве не было. В то же время они зорко следили за выражением лица своего гостя, стараясь отгадать, достаточно ли сильно он испуган. Но ничего, кроме усталости да любопытства, им не удалось прочесть на этом поразившем их своей белизной лице.

Толпа становилась все больше. Должно быть, весть о неожиданном пришельце уже долетела до соседней деревни. Все угрюмее, все враждебнее становились взгляды. Высокий, худощавый туземец с крючковатым носом и шапкой красно-бурых волос был как-то особенно воинственно настроен. Вдруг, громко крикнув, он замахнулся копьем. Это была минута, когда Николай Николаевич порадовался, что не послушал совета Ульсона и оставил револьвер дома — копье остановилось у самого его лица. Сам подивившись своему спокойствию, он отодвинулся немного в сторону, прислушиваясь к голосам, которые, казалось ему, выражали неодобрение воинственному папуасу.

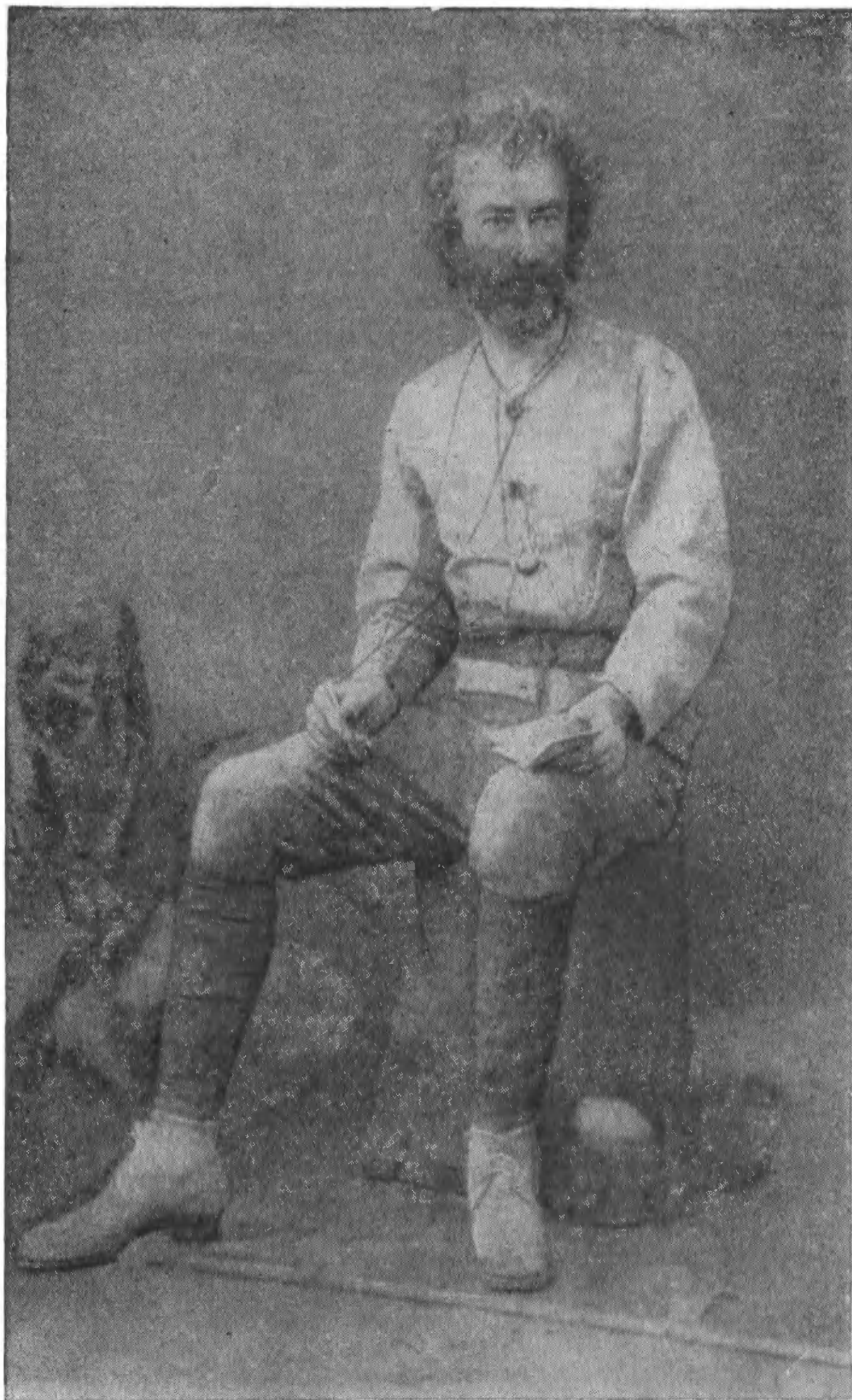
Что оставалось делать? Уйти домой? Но он так устал от ходьбы и от зноя, а до дома было так далеко... Взгляд его упал на лежащие под деревом пальмовые циновки.

«Хорошо бы поспать», — пронеслось у него в голове, и недолго думая он с наслаждением растянулся на одной из них.

Папуасы удивленно следили за странным поведением гостя. Столпившись вокруг циновки, с любопытством смотрели они, как он расшнуровывал башмаки, стягивал носки.

Когда, уже засыпая, Николай Николаевич на мгновение приоткрыл глаза, он увидел своего недоброжелателя, который, разинув рот от удивления, рассматривал его ноги. Очевидно, он никак не ожидал, что они окажутся такими же белыми, как лицо.

«А ведь, пожалуй, затея моя могла кончиться печально, — сквозь сон подумал Николай Николаевич. — Впрочем, быть может, это только начало, а конец еще впереди? А если мне и суждено быть убитым, то не все ли



Н. Н. Миклухо-Маклай.

равно как — стоя, сидя или лежа? Во сне, пожалуй, даже лучше. Все-таки хорошо, что у меня нет револьвера...»

Лучше было больше ни о чем не думать, а вот так лежать, вытянувшись, с закрытыми глазами, и слушать пение птиц. За короткое время своего пребывания на острове он уже научился распознавать их голоса. Вот резкий крик быстро летающих лори; вот мелодичная жалобная песня райской птички. «Кокониу-кэй», — поет она, и туземцы называют ее «коко», потому что звук этот особенно ясно слышится в ее пении. Ее песня вовсе не мешает спать, а, наоборот, убаюкивает...

Должно быть, он проспал долго. Когда он открыл глаза, солнце уже подвинулось далеко на запад. На земле возле него сидели папуасы и мирно разговаривали, жуя бетель. Во взглядах, которые они кидали на гостя, уже не было прежней враждебности.

Николай Николаевич поднялся, неторопливо натянул носки, зашнуровал башмаки (снова приковав этим внимание зрителей) и, кивнув головой на прощание, двинулся в обратный путь.

Солнце огромным раскаленным шаром уже опускалось за горы, жара начинала спадать, и путь до Гарагаси показался ему теперь совсем не таким длинным.

ДЕНЬ В ГАРАГАСИ

День в Гарагаси подчинен строгому порядку. 5 часов утра. Раньше всех встает Николай Николаевич и еще в полной темноте, обойдя дозором вокруг дома (не случилось ли чего-нибудь за ночь?), отправляется мыться к ручью. Нередко, обшарив карманы, он обнаруживает, что забыл дома мыло, но возвращаться лень, да и незачем. Стоит лишь погрузить руки в прохладную, прозрачную воду, захватить со дна пригоршню мелкого, чистого песка и, крепко зажмурившись, натереть им лицо, шею, руки. Правда, песок застревает в бороде и приходится потом долго полоскать ее, но зато кожа начинает так приятно гореть и чувство бодрости разливается по всему телу.

5 часов 45 минут. Николай Николаевич возвращается домой. Уже светает. Бой разжигает костер, кипятит чайник, подает завтрак — чай, сухари (паек экипажа «Ви-

тязя», горячие печеные бананы. Сонный Ульсон выползает из своей каморки и, кряхтя, вздыхая и проклиная комаров, муравьев и все на свете, принимается за уборку.

7 часов. Метеорологические наблюдения. Записывается: температура воздуха, воды (в ручье и в море), показания барометра, термометра, зарытого в землю на метр глубины, высота прилива, направление и сила ветра.

8 часов утра. Николай Николаевич отправляется в лес за насекомыми или на коралловые рифы за морскими животными, а вернувшись, долго сидит со своей добычей за микроскопом.

11 часов. Второй завтрак — вареный рис с острой приправой — кэрри. После завтрака — отдых до часу дня, а там снова метеорологические наблюдения, приведение в порядок научных заметок, чтение. Приход папуасов часто прерывает эти занятия, и тогда Николай Николаевич, не упуская случая, спешит прибавить несколько слов к своему русско-папуасскому словарю.

5 часов дня. Прогулка по лесу. Но как бы ни была она интересна, Бой знает: как только солнце начнет клониться к закату, из лесу появится знакомая фигура с сумкой через плечо. Надо подавать обед. Тарелка вареных чилийских бобов с куском чарки — сушеной говядины, чай, печеные бананы — обычная ежедневная пища обитателей мыса Гарагаси. Послеобеденное время проходит в разных мелких работах: чистке ружей, расчистке площадки перед хижиной.

Наступают сумерки, самое любимое время дня. Сидя на пне у берега моря, Николай Николаевич вглядывается в причудливо клубящиеся облака, в бесконечный горизонт, прислушивается к шуму волн, пению птиц, к трескотне разноголосых цикад, к доносящимся из лесу крикам зверей.

Вечер. При свете маленькой лампочки он заносит в дневник происшествия дня, записывает последнюю метеорологическую сводку и, выпив прохладный сок кокосового ореха, засыпает на своей жесткой постели, вполне удовлетворенный этой с виду однообразной, а в действительности очень интересной и содержательной жизнью.

ИЗ ДНЕВНИКА

30 сентября.

Пришел Туй, у которого я взял урок папуасского языка. Прибавив несколько слов к моему лексикону, я точным образом записал их и, оставшись доволен учителем, подарил ему ящик от сигар, а Ульсон дал ему старую шляпу. Туй был в восторге и быстро удалился, боясь, чтобы мы не раздумали.

2 октября.

Приходили сегодня мои соседи из Горенду с несколькими гостями, жителями островка Били-Били. Большое число разных украшений (из раковин, собачьих зубов, клыков свиньи), размалеванные физиономии и спины, взбитые, выкрашенные волосы придавали гостям положительно парадный вид. Когда стало темнеть, я вздумал пройти немного по тропинке. Мне хотелось убедиться, можно ли будет возвращаться ночью из деревень; но вдруг так стемнело, что я поспешил вернуться домой, и хотя можно было разглядеть общее направление тропинки, однако я вернулся домой с разбитым лбом и ушибленным коленом, наткнувшись сперва на сук, а затем на какой-то пень. Итак, по лесу ночью ходить не придется.

Замечаю, что в бутылке чернил осталось очень мало, и положительно не знаю, найдется ли в багаже другая.

4 октября.

Утром, при самом начале прилива, отправился бродить на риф и так увлекся, что не заметил, как вода стала прибывать. Возвращаясь с рифа на берег, несколько раз погружался в воду выше пояса.

5 октября.

Очищал площадку перед хижинкой от хвороста и сухих листьев. Мое помещение с каждым днем улучшается и начинает мне все более и более нравиться.



Папуас Берега Маклая в парадном уборе.

Вечером слышу — кто-то стонет. Иду в дом и застаю Боя, который, закутавшись с головой в одеяло, еле-еле мог ответить на мои расспросы. У него оказалась повышенная температура.

10 октября.

Меня свалил сегодня первый приступ лихорадки. Как ни крепился, пришлось весь день пролежать. Было скверно...

12 октября.

Сегодня наступила очередь Ульсона. Когда я встал, ноги у меня дрожали и подгибались. Бой тоже уверяет, что нездоров. Моя хижина теперь — настоящий лазарет. Узнал сегодня от Туя названия разных деревень, виднеющихся с моего мыска. Я удивился их числу: каждый ничтожный мысок и ручеек имеет специальное название. Деревня, которую я посетил в день прихода «Витязя», называется, как я уже упоминал несколько раз, Горенду. Затем идут Бонгу, Мале, Богатим.

Не мог не подивиться смышлености Туя, с одной стороны, и некоторой тупости или медленности мышления — с другой. Слушая названия, я, разумеется, записывал их и на той же бумаге сделал набросок всей бухты, намечая относительное положение деревень. Туй это понимал, и я несколько раз проверял произношение названий, громко прочитывая их, причем Туй поправил не только два названия, но даже и самый набросок карты. В то же время его нисколько не интересовало то, что я записывал и чертил; он как будто даже не замечал этого. Мне казалось странным, что он не удивлялся.

Отпустив Туя, я принялся ухаживать за моими больными, которые стонали и охали, хотя и сам после вчерашнего припадка еле-еле волочу ноги. Пришлось самому приготовить обед.

13 октября.

У меня припадок повторился. Все больны. Скверно, а когда начнется дождливое время года, будет, вероятно, еще хуже.



Деревня Гумбу.

14 октября.

Дал Ульсону и Бою по приему хины и, сварив к завтраку по две порции риса, отправился в лес. Птиц много. Как только туземцы привыкнут ко мне, буду ходить на охоту, так как консервы мне противны. Когда я вернулся, застал Ульсона все еще охающим на своей койке. Бой же был на ногах и варил бобы к обеду. Приходил Туй с тремя людьми из Гумбу. Привезенный мной табак начинает нравиться туземцам. Они употребляют его, смешивая со своим.

Единственным лакомством является здесь для меня кокосовая вода. Обыкновенно выпиваю два кокосовых ореха в день.

15 октября.

Из вчерашнего моего разговора с Туем узнал, что горы вокруг залива Астролябии весьма населены. Он называл множество деревень, прибавляя к каждому названию слово «мана», то есть «гора».

17 октября.

У Боя новая болезнь — сильная опухоль лимфатических желез. Ульсон тоже плох. Еле-еле шевелит языком, словно умирающий, вздыхает и охает; вечером же, при заходе солнца, выползает и прохлаждается с непокрытой головой, разумеется украдкой от меня, так как я ему запретил выходить куда-либо без шляпы, особенно при свежем береговом ветре.

Последнюю неделю мне часто приходилось стряпать на нас троих. Я привязан теперь к моим больным и не могу никуда уйти из дому на несколько дней. Туземцы их нисколько не слушаются, между тем как я взглядом заставляю моих соседей останавливаться и повиноваться мне. Замечательно, как они не любят, когда я на них смотрю, а если нахмурюсь и посмотрю пристально — бегут.

23 октября.

Приходил Туй с двумя туземцами. Все были вооружены копьями, луками, стрелами, и у каждого было по топору на плече. Я выразил желание, чтобы гости показали мне употребление лука и стрел, что они сейчас же и выполнили.

Туй показал целый маневр боя. Держа лук и стрелы на левом плече, а копье в правой руке, он отбежал шагов десять, кидаясь в разные стороны, сопровождая каждое движение коротким, резким криком. Он то натягивал тетиву лука, то наступал с копьем, как будто стараясь ранить неприятеля, то прятался за деревьями, иногда нагибался или быстро прыгал в сторону, избегая воображаемой стрелы. Другой туземец, соблазнившись примером, присоединился к нему и стал представлять противника; этот турнир был интересен и довольно характерен.

25 октября.

Ночью чувствовал озноб и проснулся каким-то ослабленным. Все утро одолевала такая лень, что почти ничего не делал. Лень было даже и читать. . . После обеда

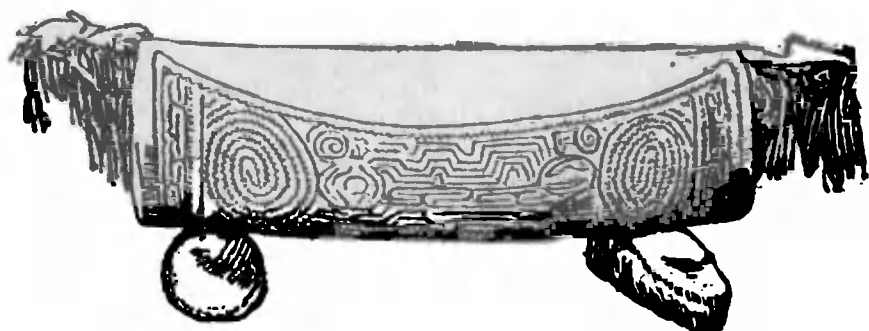
рисовал, но вскоре стемнело — не успел кончить. Снова идет дождь; приходится переносить вещи с одного места на другое. Бой все еще лежит. Ульсон еле-еле двигается...

29 октября.

Несмотря на стоны Ульсона, я заснул. Но не успел проспать и получаса, как снова был разбужен странным воем, который, казалось, то приближался, то опять удалялся. Спросонья я не мог дать себе отчета, что это могло быть. Вышел на веранду. Дождь перестал, и было не слишком темно. Я оделся, сошел к ручью, и мне пришла фантазия пойти по тропинке в Горенду и послушать вблизи пение папуасов, так как этот вой не мог быть ничем иным, как пением туземцев. Надо было сказать Ульсону, что я ухожу. Ему моя фантазия очень не понравилась. Он уверял меня, что если папуасы вдруг придут, то непременно убьют его и Боя, так как оба они больны и защищаться не могут. В утешение я поставил мое двустольное ружье около его койки и уверил, что при первом выстреле вернусь немедленно в Гарагаси. Хотя дождь и прошел, но было пасмурно; однако благодаря взошедшей, хотя и скрытой луне я мог пробираться осторожно по тропинке. Пение слышалось все громче, по мере того как я приближался к Горенду. Очень утомившись от этой прогулки в полутемноте, я сел на пень и стал вслушиваться. Пение или вой, несшийся мне навстречу, был очень прост, напев постоянно повторялся. Время от времени слышались удары папуасского барабана — барума.

Иногда тот же напев, начинаясь медленно, тихо, протяжно, постепенно рос, делался все громче и громче, такт учащался; наконец пение переходило в какой-то почти что нечеловеческий крик, который, внезапно обрываясь, замирал.

Сидя на пне, я раза два чуть было не свалился. Мне казалось, что я вижу какой-то страшный сон. Очнувшись во второй раз и



Барум — сигнальный барабан.

испытывая большое желание спать, я переменял намерение: вместо того чтобы идти вперед, я пошел назад и не помню, как добрался до моей хижины, где тотчас же лег, даже не раздеваясь. Несколько раз еще впросонках слышал отрывки папуасского концерта.

30 октября.

Сегодня я был свидетелем оригинальной ловли рыбы. Был отлив; мелкая рыба, должно быть преследуемая акулами, которых здесь немало, металась во все стороны, выпрыгивая иногда из воды. Из-за деревьев у берега вышел Туй и следил за движениями рыб. Вдруг рыбы, вероятно жестоко преследуемые неприятелем, кинулись к берегу. В несколько прыжков Туй очутился около них. Вода там была немного ниже колен, и дно, разумеется, хорошо видно.

Туй сделал энергичный прыжок, и одна из рыбок оказалась пойманной. Туй ловил их ногой. Он сперва придавил ее ступней, потом поднял, ухватив между большим и вторым пальцем ноги. Согнув колено, он протянул руку и, высвободив добычу, положил рыбу в мешок. После этого, быстро нагнувшись и схватив камень, Туй с силой бросил его в воду; потом, подойдя к тому месту, куда был брошен камень, он, стоя на одной ноге, поднял другую, убитую камнем, рыбку. Все было сделано не только очень искусно, но даже и весьма грациозно. Туй, однако же, человек далеко не молодой — мне кажется, ему лет около 45 или более.

Увидев меня на моем мыске, он пришел в Гарагаси. Я бросил на землю четвертушку бумаги и сказал, чтобы он поднял ее ногой. Я хотел знать, может ли он так плотно прижать большой палец ко второму, чтобы удержать бумагу. Бумага была мигом поднята и, перейдя у него за спиной в руку, была передана мне. То же он сделал с небольшим камнем, который поднял с земли, не останавливаясь ни секунды.

9 ноября.

Дождливые дни для меня очень неприятны. Так как моя келья очень мала, то она служит мне и спальней и кладовой. Когда дождя нет, я провожу целые дни вне ее;

разные углы площадки вокруг дома составляют, собственно, мой дом. Здесь — моя приемная с несколькими бревнами и пнями, на которых могут располагаться гости; там, в тени, с далеким видом на море, — мой кабинет с покойным креслом и со складным столом. Вообще я очень доволен моим помещением.

10 ноября.

Недоверчивость моих соседей доходит до смешного. Они рассматривали мой нож с большим интересом. Я показал им два больших ножа и, шутя и смеясь, объяснил им, что дам эти два больших ножа, если они оставят жить у меня в Гарагаси маленького папуасенка, который пришел с ними. Они переглянулись с встревоженным видом, быстро переговорили между собой и затем сказали что-то мальчику, после чего тот бегом бросился в лес. Туземцев было более десятка и все вооруженные. Они, кажется, очень боялись, что я захвачу ребенка. И это были люди, которые уже раз двадцать или более посещали меня в Гарагаси.

12 ноября.

По ночам здесь гораздо шумнее, чем днем. С полудня до 3 или 4 часов, исключая кузнечиков и весьма немногих птиц, никого не слышно; с заходом солнца начинается самый разноголосый концерт: кричат лягушки, цикады, ночные птицы, к ним примешиваются также голоса разных животных, которых мне еще не удавалось видеть. Почти каждый вечер аккомпанементом к этому концерту являются раскаты грома, который днем раздается редко. Ночью и прибой на рифах слышится яснее; ко всему этому присоединяется еще назойливый писк комаров, а подчас издали долетает завывание папуасов, заменяющее у них песни. Несмотря на всю эту музыку, мне вообще спится хорошо.

17 ноября.

Нового ничего нет. Все по-старому. Утром я зоолог-естествоиспытатель, затем повар, врач, аптекарь, маляр, портной и даже прачка и т. д. и т. д. Одним словом,

на все руки, и всем рукам дела много. Хотя очень терпеливо учусь туземному языку, но все еще понимаю очень мало; больше догадываюсь, что туземцы хотят сказать.

Папуасы соседних деревень начинают, кажется, меньше чуждаться меня. Дело идет на лад; моя политика терпения и ненавязчивости оказалась верной. Не я к ним хожу, а они ко мне; не я их прошу о чем-нибудь, а они меня и даже начинают ухаживать за мной.

Одно досадно: что я еще так мало знаю их язык. Знание языка, я убежден, — единственное средство для преодоления недоверия, а также единственный путь к ознакомлению с туземными обычаями, по всей вероятности очень интересными. Учиться языку мне удобнее дома, чем в деревнях, где туземцы при моих посещениях бывают обыкновенно так возбуждены и беспокойны, что трудно заставить их усидеть на месте. В Гарагаси малейшие признаки нахальства у них пропадают; они терпеливо отвечают на вопросы, позволяют рассматривать, мерить и рисовать себя. К тому же в Гарагаси у меня все под рукой: и инструменты для антропологических измерений, и аппараты для рисования...

Раз, гуляя по лесу, я забрел так далеко, что чуть-чуть не заблудился; но, к счастью, наконец набрел на тропу, которая привела меня к морю, где я сейчас же мог ориентироваться. Это случилось около деревни Мале, куда я, однако ж, не пошел, а направился в Бонгу, по дороге домой. Но дойти до Бонгу мне не удалось: было уже почти темно, когда я добрался до Горенду, где решил переночевать, к великому удивлению туземцев. Придя в деревню на площадку, я прямо направился в большую буамбраму Туя, желая как можно меньше стеснять туземцев и зная очень хорошо, что мое посещение встревожит всех жителей деревни. Действительно, слышались возгласы женщин и плач детей.

Тую я объяснил, что хочу спать у него. Он что-то много мне говорил, кажется, хотел проводить меня при свете факела в Гарагаси, говорил что-то о женщинах и детях.

Я почти что не понял его и, чтобы отделаться, лег на барлу — длинные нары с большими бамбуками вместо подушек — и, закрыв глаза, повторял: «Няварь, няварь» (спать, спать). У меня часов не было, и хотя



Буамбра — хижина, в которой собираются мужчины для совещаний и отдыха.

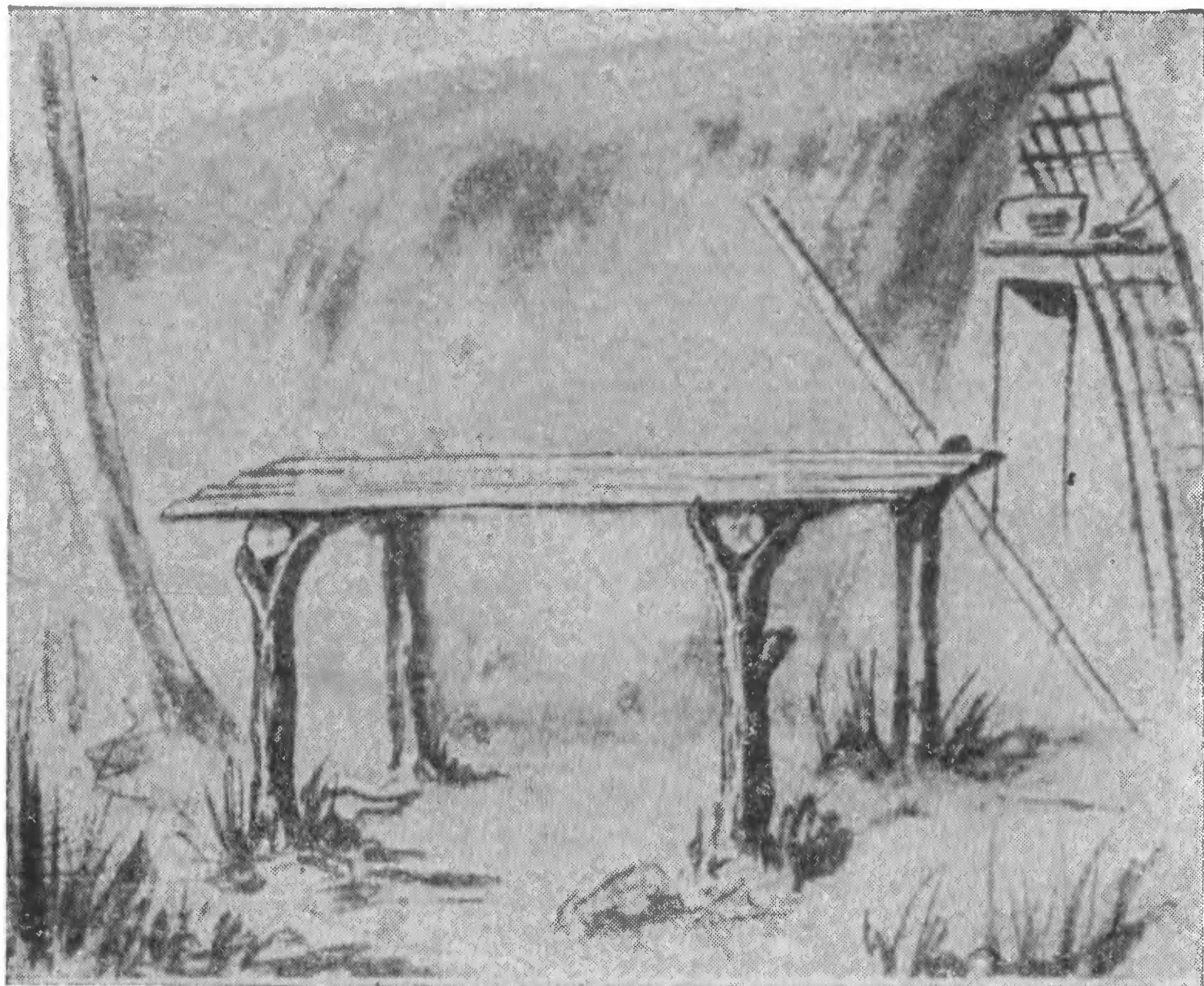
было не поздно, но, утомленный многочасовой прогулкой, я вскоре задремал. Проснулся я, вероятно, от холода, так как спал ничем не покрытый, а ночной ветер продувал насквозь: в этих хижинах нет ни передней, ни задней стен, а только боковые.

Не евши ничего с 11 часов утра, я чувствовал также большой аппетит. Я был один в буамбре, где царил полумрак. Встав, я направился на площадку, к костру, вокруг которого сидели несколько человек туземцев. Между ними был и Туй. Я обратился к нему, указывая на рот и повторяя слово «уяр» (есть), которое он сейчас же понял и принес мне небольшой табир (овальное неглубокое блюдо) с холодным таро и вареными бананами. Несмотря на недостаток соли, я съел несколько кусков таро с удовольствием; бананы я также попробовал, но они показались мне очень безвкусными. Я чувствовал себя настолько освеженным получасовой дремотой и подкрепленным пищей, что предложил двум молодым туземцам проводить меня с факелами до Гараси.

В ночной темноте попасть домой без огня было совершенно невозможно. Туземцы поняли мое желание и были, кажется, даже довольны, что я не остаюсь ночевать. Мигом добыли они несколько факелов из сухих пальмовых листьев, которые связываются для этой цели особенным образом; взяли каждый по копью, и мы отправились. Лес, освещенный ярким светом горящих сухих листьев, представлялся еще красивее и фантастичнее, чем днем. Я любовался также моими спутниками, их быстрыми и ловкими движениями: они держали факелы над головой, а копьем отстраняли нависшие ветви лиан, местами преграждавшие им путь. Один из туземцев шел за мной; оглянувшись на него, я невольно подумал, как бы легко ему было сзади проткнуть меня копьем. Я был не вооружен, по обыкновению, и туземцам это обстоятельство было хорошо известно. Я дошел, однако ж, цел и невредим до Гарагаси, где был встречен крайне встревоженным Ульсоном, почти уже потерявшим надежду увидеть меня в живых.

22 ноября.

Вчера вечером Туй хотел выказать мне свое доверие и попросил позволения ночевать у меня. Я согласился. Уходя, он сказал, что придет позднее. Предполагая, что он не вернется, я уже лег на койку, когда услышал голос его, зовущий меня. Я вышел. Действительно, это был Туй. Вид его при лунном свете был очень характерен и даже эффектен; темное, но хорошо сложенное тело красиво рисовалось на еще более темном фоне зелени. Он одной рукой опирался на копьё, в другой держал дгорающее полено, которое освещало его красноватым отблеском. Плащ или накидка из грубой тапы спускалась с плеч до земли. Стоя таким образом, он спрашивал, где ему лечь. Я указал на веранду, где он может провести ночь, и дал ему циновку и одеяло, которыми он остался очень доволен. Туй улегся. Это было часов около десяти. В половине двенадцатого я встал, чтобы посмотреть на термометр. Луна еще ярко светила; я взглянул на веранду, но Туя там не было, а на его месте лежали только свернутая циновка и одеяло. Видно, голые нары его хижины ему более по вкусу, чем моя веранда с циновкой и одеялом.



Барла — деревянная скамья, на которой папуасы едят и спят.

25 ноября.

Дни проходят, а мое изучение туземного языка подвигается очень туго вперед. Самые употребительные слова остаются неизвестными, и я не могу придумать, как бы узнать их. Я даже не знаю, как по-папуасски такие слова: «да», «нет», «дурно», «хочу», «холодно», «отец», «мать». Начнешь спрашивать, объяснять — не понимают или не хотят понять. Все, на что нельзя указать пальцем, остается мне неизвестным, если только не узнаешь случайно то или другое слово.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Это был утомительный день. С самого раннего утра Николай Николаевич отправился в экскурсию на шлюпке. Он проплыл далеко вдоль берега, мимо лесной полосы,

мимо холмов, за которыми тянулись высокие горы. Струйки дыма вились над ними — должно быть, и там были расположены селения папуасов. Время от времени, причалив к берегу, он бродил по колено в воде, и банки, наполненные медузами, сифонофорами — морскими животными, похожими на причудливые цветы, — редкими видами губок, аккуратно выстраивались на дне шлюпки. Богатство и разнообразие морской фауны поражало его. Усталый, промокший, голодный, но веселый вернулся он домой и лишь после нескольких часов работы за микроскопом, вдоволь насладившись изучением своего богатого улова, прилег в гамак отдохнуть.

Неожиданно погода резко изменилась. Быстро надвигались черные грозовые тучи, стало темно. Николай Николаевич лежал, слегка покачиваясь в гамаке, следя за облаками, любуясь молнией, внезапно озарявшей небо. Вдруг гамак как-то странно качнулся, как будто кто-то невидимый толкнул его совсем в другом направлении. Еще толчок — теперь уже не только гамак, но и крыша и стены дома со скрипом покачнулись, в комнате что-то упало и со звоном покатилося по полу. Николай Николаевич вскочил и бросился к своим приборам.

— Кто там? Ни с места! — заорал Ульсон, с ружьем в руках появляясь на пороге.

— Вы, кажется, собираетесь пристрелить меня, Ульсон! — едва сдерживая смех, сказал Николай Николаевич. Впервые он видел своего слугу в таком воинственном настроении. — Или вы решили сражаться с землетрясением, как Дон-Кихот с ветряными мельницами?

Ульсон бессмысленно уставился на него своими выпуклыми голубыми глазами и опустил ружье.

— Фу! — сказал он, вытирая рукавом лоб. — Не хватало еще землетрясения в нашей жалкой жизни! Что же делать, господин Маклай? Ведь оно может повториться? И, возможно, будет еще сильнее!

— Самое лучшее, что вы можете сделать, — спокойно отвечал Николай Николаевич, — это выпить чай и лечь спать. Уже пора. И постарайтесь не беспокоить Боя: он только недавно уснул после приема хинина.

— О нет, — сказал Ульсон и упрямо покачал головой, — сегодня я спать не лягу. Не так приятно, чтобы во сне на тебя упала крыша или столб! Хорошо, если

умрешь сразу, а не то на всю жизнь калекой останешься! Капитан Эриксон рассказывал мне...

— Ну, как хотите, — поспешно прервал его Николай Николаевич.

У него не было ни малейшего желания слушать бесконечные рассказы об этом капитане, подвиги которого с каждым днем росли в воображении Ульсона.

— У меня к вам будет просьба, — прибавил он, отсчитывая деления анероида и записывая показания в метеорологический журнал. — Раз уж вы действительно решили бодрствовать всю ночь, пожалуйста, сразу же разбудите меня, если вновь почувствуете толчок. Будет очень обидно, если я просплю. Однажды со мной уже был такой случай — в Мессине в 1869 году.

— Проспали землетрясение? — вскричал Ульсон, широко открыв глаза от изумления. — Боже правый! Да ведь это все равно, что проспать собственную смерть!

— Ну, это было бы не так уж плохо, — усмехнулся Николай Николаевич.

Однако ночью Ульсону не пришлось будить его. Он вскочил сам, потому что койка, стены, пол — все заходило, зашаталось, застучало. Чашка с водой упала и разбилась, вода растеклась по полу.

Николай Николаевич зажег лампу. Стрелка анероида показывала 515. Ни разу еще она не поднималась так высоко.

Николай Николаевич вышел на крыльцо.

Ветер задул лампу. Глухой гул слышался где-то глубоко под землей. Лес и горы дрожали под влиянием какой-то могучей силы.

При свете вспыхнувшей молнии он увидел Ульсона, прижавшегося к стене дома.

— Господин Маклай! Господин Маклай! — позвал он слабым голосом. — Вы слышите? Вы слышите? — Он с ужасом показывал рукой на землю, как будто видел перед собой раскрывшуюся пропасть.

— Успокойтесь, Ульсон, — твердо сказал Николай Николаевич и, взяв его под руку, повел в хижину. — Вам надо отдохнуть. Землетрясения больше не будет.

— О, если бы это было так! — вздохнул Ульсон.

Долго еще из-за брезентовой перегородки доносились его вздохи и бормотание, стоны проснувшегося Боя.

Наконец все стихло. Только Николай Николаевич ворочался на своей жесткой койке и не мог заснуть до утра.

А утро после беспокойной ночи наступило необыкновенно ясное, прозрачное. И трудно было себе представить, что еще так недавно черные грозовые тучи мчались по этому чистому, голубому небу, на котором не было теперь ни облачка; что дрожали горы, теперь спокойно и величественно возвышавшиеся в прозрачной утренней дымке; что трещали и ломались тяжелые ветви деревьев, застывшие теперь в неподвижном воздухе, с капельками утренней росы, сверкающими на свежей листве.

«Неужели мне все это приснилось?» — подумал было Николай Николаевич.

Но появившийся откуда-то из-за дома Ульсон быстро убедил его в обратном.

— Она еще колеблется! — многозначительно сказал он и ткнул пальцем в землю.

— Это не земля колеблется, Ульсон, а ваши колени, потому что через полтора часа у вас начнется приступ лихорадки. Посмотритесь в зеркало — вы салатного цвета.

Ульсон трагически поднял руку к небу.

— Вы не верите мне, господин Маклай, — простонал он, — а между тем я говорю истинную правду! Неужели вы ничего не замечаете? Ведь было уже шесть или семь толчков, я сбился со счета? Правда, они не такие сильные, как ночью... — Он вдруг схватил Николая Николаевича за руку. — Вот, вот, чувствуете? Начинается!..

На этот раз Николай Николаевич должен был согласиться. Он ясно почувствовал толчок — совсем слабый, продолжавшийся какую-то долю секунды.

— Да, вы правы. Однако никаких поводов для беспокойства нет. Вы видите, колебания становятся всё слабее. А вот вам я бы советовал лечь, потому что вас знобит и приступ, по-видимому, начнется гораздо раньше, чем я предсказывал.

Действительно, лицо Ульсона совсем позеленело, зубы стучали. Охая и еле волоча ноги, он поплелся к дому. В это время из-за деревьев появился Туй. Он был очень взволнован, размахивал руками и что-то быстро говорил.

На голове у него была кое-как нахлобучена старая, измятая шляпа Ульсона. По-видимому, он счел ее самым ценным имуществом и побоялся, чтобы она не пропала в суматохе.

— Тангрин, тангрин! — повторял он в тоске.

— Ну вот, поймите его! — Ульсон с досадой махнул рукой. — Болтает свои дурацкие слова, и больше ничего!

— Ну, с этим я не согласен, Ульсон, — сказал Николай Николаевич, вынимая из кармана записную книжку. — К нашему лексикону прибавилось еще одно слово, запишем его: тангрин — землетрясение. Вот вам и польза!

ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ

Папуасы начинали привыкать к своему белому соседу. Все чаще и охотнее приходили они в «таль Маклай» — дом Маклая — и уже не старались, как прежде, поскорее сбежать, получив подарок. Теперь они подолгу сидели в Гарагаси, терпеливо позволяя рисовать себя. С легкой дрожью глядя на страшные антропологические приборы, покорно подставляли для измерения свои головы, руки, ноги.

— Маклай негрэнгва! — говорили они, стараясь как можно меньше шуметь, чтобы не помешать ему. — Маклай негрэнгва!

Это означало: «Маклай рисует, Маклай пишет».

Когда наступили прохладные дни, папуасы стали носить с собой тлеющие головни. Живописную картину представляли они, когда, появившись из темного леса, располагались на пнях вокруг хижины в Гарагаси и молча сидели, по очереди обогревая своими «переносными печами» то один бок, то другой, то плечи, то колени. В то же время они зорким взглядом следили за каждым движением загадочного человека, который так неожиданно появился на их острове. До сих пор им никогда не приходилось задумываться, существуют ли еще где-нибудь люди, кроме них, папуасов. Они всегда были твердо уверены, что земля кончается за островами Кар-Кар. И вот внезапно появилось и так же внезапно исчезло огромное шумящее и дымящее чудовище, на котором приехали тамо русс — русские люди, совсем не похожие

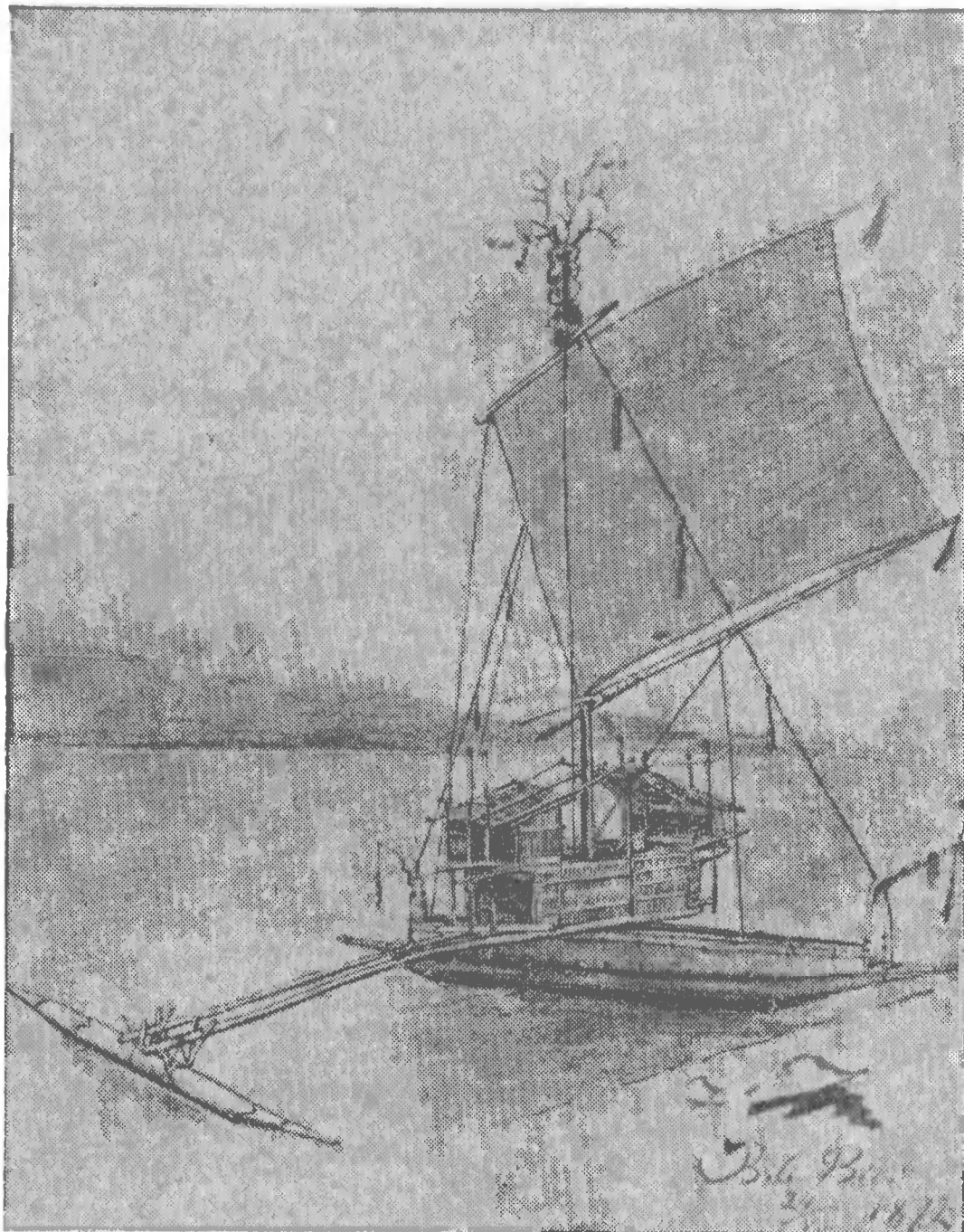
на жителей даже самых отдаленных деревень. Откуда взялись они? Откуда взялся этот человек, который построил себе таль и остался жить на их острове? Может быть, он упал с луны? Он сказал им, что родина его — Россия, но, кто знает, быть может, Россия это и есть луна? Они начинали все больше и больше склоняться к этому предположению. Разве мог бы обыкновенный, родившийся на земле человек вести себя так, как этот тамо русс? А он своим поведением то и дело ставил их в тупик. Вот уже много дней прошло после его приезда, а между тем никто никогда не видел у него оружия. Спокойно ходил он в лес и в соседние деревни, не боясь ни копий, ни стрел, пролетавших мимо.

Они пробовали однажды предложить ему лук и стрелы, но этот странный человек только рассмеялся в ответ и небрежным жестом показал, что не нуждается в таких вещах.

«Быть может. Маклай и вовсе не может умереть?» — ломали себе голову папуасы, но так и не могли разгадать эту загадку.

Они сами не отдавали себе отчета, почему чувство робости и смятения охватывало их каждый раз, когда глаза их встречали взгляд его светлых глаз. Почему они совсем не боялись и не слушались Виля — так называли они Ульсона, — хоть он тоже был белый, между тем как слово «табу», произнесенное тихим голосом Маклая, заставляло их вздрагивать и отдергивать руку?

Молва о новом поселенце, у которого не только лицо, но и руки и даже ноги были белого, как сок кокосового ореха, цвета, летела все дальше и дальше. Из деревень, расположенных за горами Мана-Боро-Боро (большие, большие горы), с островка Били-Били, с самого далекого острова Кар-Кар шли пешком и плыли на пирогах к мысу Гарагаси люди с единственной целью посмотреть на «каарам-тамо» — человека с луны. А белый поселенец уже привык ко всяким неожиданностям и никогда не удивлялся выходкам своих гостей. Надолго запомнилось ему посещение одного маленького туземца с волосами, обмазанными красной глиной, с диким и робким выражением лица — жителя далекой горной деревушки Мар-гум-Мана. Ужас напал на него в первую минуту — он бросился без оглядки бежать. Но пришедшие с ним родичи удержали его. Тогда маленький человечек, поняв,



Большая пирога — ванг — с острова Били-Били.

что ему ничего не угрожает, широко открытыми глазами уставился на хозяина хижины и принялся безудержно хохотать, трясясь всем телом, подпрыгивая и хлопая в ладоши, как ребенок. Глядя на него, начали смеяться и остальные.

Над чем смеялись они? То ли над самим жителем Марагум-Мана, то ли над белым человеком, то ли просто оттого, что смех заразителен?

Появление каарам-тамо в соседних деревнях также теперь не вызывало таких воплей, переполоха и паники, как прежде. О своем приближении он предупреждал громким свистом, и папуасы понимали: Маклай не подкрадывается к ним, не подсматривает, а поступает честно, открыто и хочет видеть лишь то, что они добровольно показывают ему. При звуке кин-кан-кана — так

почему-то Туй прозвал его свисток — женщины с детьми успевали спрятаться, а мужчины продолжали спокойно заниматься своим делом. Иногда он заставлял их в часы отдыха, когда они, важно восседая на высоких помостах перед хижинами, жевали бетель, перекидываясь подчас друг с другом редкими словами. Он подсаживался к ним, они угощали его вареным таро, горячим сладким картофелем — дегарголем, печеными бананами.

В ближайшей от Гарагаси деревне, Горенду, Маклай бывал чаще, чем в других. Здесь у него уже было много приятелей: Туй, его сын Бонем, молодые папуасы — Лалу, Корой, Саул, Дигу, Мале. К нему обращались с разными просьбами: одному нужен был гвоздь; другому — кусок красной тряпки; у третьего болела рука, и надо было перевязать ее; у четвертого — нога, и он просил подарить ему башмак. Одним словом, дела было много, и нередко толпа папуасов провожала гостя до самого дома.

ГАТЕССИ

Одной из важных задач, которые ставил перед собой Николай Николаевич, было исследование волос папуасов. Путем тщательного и добросовестного изучения он надеялся опровергнуть утверждение полигенистов, что волосы папуасов обладают какими-то особыми, присущими лишь «низшим» расам свойствами, как, например: растут пучками, образуют на голове сплошную, плотную шапку. Для того чтобы опровергнуть полигенистов, надо было собрать большую коллекцию волос. И в этом-то деле Николаю Николаевичу пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями. Волосы были главным украшением папуасов, их гордостью. Уходу за волосами они уделяли много времени и внимания. Один красил их красной глиной — суру — в рыжий цвет, другой, наоборот, чтобы придать им более темный оттенок, натирал землей, третий мазал бурой глиной. Перед каждым праздником мужчины долго и терпеливо взбивали свои волосы большим гребнем, и таким образом получалась высокая, пышная прическа — та самая «шапка», которая была одним из доказательств полигенистов. И чем искуснее были уложены на затылке локоны — гатесси, — чем



Гость из деревни Марагум-Мана.

пышнее была прическа, чем больше перьев, гребней, цветов и листьев было воткнуто в нее, тем большее одобрение и восхищение своих соплеменников вызывал ее обладатель. Кроме того, по распространенному среди папуасов поверью, волосы и ногти теснейшим образом связаны с человеком, и достаточно врагу уничтожить их, чтобы причинить болезнь или смерть их обладателю.

«Как заставить папуасов пожертвовать хоть одной прядью, хоть одним драгоценным локоном?» — ломал себе голову Николай Николаевич и долго ничего не мог придумать.

Даже Туй, который был доверчивее и покладистее других, в смертельном страхе отскакивал при виде ножиц, поднесенных к его волосам. Убеждения были напрасны. Оставалось одно: пойти на хитрость.

Однажды на глазах у изумленного Туя он отрезал прядь своих волос и протянул ему со словами:

— Вот Маклай дает Тую в подарок свои волосы, потому что Туй хороший человек. Маклай надеется, что Туй также подарит ему в знак дружбы один локон.

Туй в нерешительности топтался на месте. Трудную задачу задал ему белый приятель. Он вовсе не хотел обидеть его, но слишком рискованно было принести в жертву свои гатесси.

«Быть может, так поступают на родине Маклая, в той далекой стране — России? — размышлял он. — И, быть может, в этом нет ничего дурного?»

— Или Туй не хочет обменяться с Маклаем волосами, потому что Маклай дурной человек? — спросил Николай Николаевич, заметив его замешательство.

Эти слова решили дело. Точно с размаху бросаясь в воду, Туй шагнул вперед и, стараясь не смотреть на ножницы, покорно подставил голову. Чтобы не слишком огорчить приятеля, Николай Николаевич срезал с его затылка самый маленький локон. Начало было положено. С таким трудом доставшийся образчик папуасских волос был аккуратно завернут в бумагу и занесен в коллекцию под номером первым с надписью: «Волосы папуаса Туя — жителя деревни Горенду. Возраст — около 45 лет».

Туй, с грустью следивший за судьбой своих гатесси, понемногу начал приходить в себя. Убедившись, что с его волосами обращаются бережно, он, в свою очередь, решил выполнить долг вежливости. Сорвав с дерева лист, он тщательно завернул в него полученную прядь волос, заткнул ее за браслет и, по своему обыкновению, быстро исчез, не говоря ни слова.

После этого происшествия папуасы несколько дней не появлялись в доме Маклая. Они выжидали, не случится ли чего-нибудь с Туем. Но Туй по-прежнему был здоров и даже наловил в эти дни больше рыбы, чем обычно. Тогда папуасы один за другим стали приходить в Гарагаси и охотно давали в обмен свои гатесси. Коллекция Николая Николаевича быстро пополнялась. Внимательно и последовательно изучал он различные образцы папуасских волос и не находил ни одного из тех свойств, которые приписывали им полигенисты. Оставалось только проверить, не растут ли у папуасов волосы пучками. Неожиданный случай помог ему в этом.



Корой из деревни Горенду.

Однажды утром Ульсон доложил, что на кухне (кухня теперь была устроена в отдельном шалаше) Николая Николаевича дожидается «этот шпион Туй».

— Посмотрим, что ему понадобилось так рано, — сказал Николай Николаевич, но при входе в шалаш в недоумении остановился.

На скамейке сидел какой-то незнакомый папуас. Николай Николаевич не мог даже припомнить, видел ли он его когда-нибудь. Должно быть, это был житель далекой деревни, которого Туй привел, чтобы познакомить с белым поселенцем. Но куда же исчез сам Туй?

— О-о-о! — держась за живот, неожиданно захохотал Ульсон.

Николай Николаевич с удивлением посмотрел на него.

— Не понимаю причины вашего веселья, — сказал он сердито и вдруг заметил на скамейке рядом с папуасом старую шляпу Ульсона. — Не может быть... — пробормотал он, вглядываясь в лицо гостя. Что-то очень знакомое мелькнуло в этой нелепой физиономии, на которой были сбриты усы и половина бороды. — Туй! Боже мой, неужели это ты?

— О-о-о! — снова захохотал Ульсон.

Туй (это был он) добродушно улыбался, протягивая Николаю Николаевичу осколок стекла и показывая пальцем на свою верхнюю губу и подбородок.

— Вот оно что! Ты побрился этим осколком? Какой же ты молодец, Туй! — Николай Николаевич был в восторге от сообразительности своего приятеля. — Ну, Ульсон, берегите разбитые бутылки, на них теперь будет большой спрос!... Туй, дорогой мой, ты даже представить себе не можешь, какую услугу ты оказал мне! — Он достал из сумки увеличительное стекло и принялся внимательно разглядывать бритый подбородок Туя.

— Так, так, очень хорошо! Я был убежден в этом, — приговаривал Николай Николаевич.

А Туй терпеливо подставлял лицо, недоумевая, чем ему удалось так заинтересовать своего белого друга.

«Должно быть, Маклай тоже хочет научиться брить бороду стеклом», — решил он.

— Положительно, нет ни малейшего признака распределения волос пучками! — с торжеством сказал Николай Николаевич и положил увеличительное стекло обратно в сумку. — Спасибо за помощь, Туй! — Он крепко пожал ему руку. — Ульсон, дайте ему в награду еще несколько осколков, пусть сбрит себе вторую половину бороды. Да принесите зеркало — ему интересно будет полюбоваться на свою физиономию.

Ульсон как-то странно посмотрел на Николая Николаевича и, против обыкновения, охотно бросился выполнять поручение.

Туй долго разглядывал себя в зеркало, потом, видимо очень довольный собой, вернул его Ульсону.

— Билен! — сказал он и с удовлетворением мотнул головой. — Билен, ае!

Это означало: «Хорошо, очень хорошо!»

— Быть может, господин Маклай тоже хочет заглянуть сюда? — сказал Ульсон и протянул зеркальце Нико-



Дигу из деревни Горенду.

лаю Николаевичу. При этом он снова как-то загадочно посмотрел на него — не то насмешливо, не то с любопытством.

— Что это вы так разглядываете меня, Ульсон? — удивился Николай Николаевич. — Можно подумать, что мы с вами впервые встретились.

Машинально поднеся зеркальце к лицу, он так и покатился со смеху. Давая свои волосы в обмен на гатесси папуасов, он и не заметил, как прядь за прядью выстриг неровными зигзагами всю левую половину головы. Смешные вихры торчали в разные стороны.

— Вот, оказывается, у кого волосы растут пучками! — говорил Николай Николаевич. — Хорошо бы послать полигенистам портрет «белого папуаса» — у них было бы над чем подумать! Пожалуй, они бы не догадались, что левая половина моей головы пострадала по той простой причине, что я держал ножницы в правой руке. Теперь надо будет постараться исправить этот промах.

ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Наступил декабрь — тяжелое время для обитателей маленькой хижины на мысе Гарагаси. Дни стояли пасмурные, прохладные, солнце все реже проглядывало из-за туч. Дождь барабанил по крыше, пробивая ее то в одном, то в другом месте. Хозяева не успевали чинить. Вода ручьями протекала в комнату, заливая стол, книги, рукописи. Николай Николаевич спал теперь, укутавшись в непромокаемый плащ поверх одеяла. Каждый вечер в течение нескольких часов подряд сверкала молния, оглушительные раскаты грома сотрясали воздух, ветер с воем врывался сквозь щели, настежь распахивал двери, гасил лампу, раскидывал по мокрому полу исписанные листки. В хижине стало сыро, вещи в корзинах истлели, в сухарях завелись черви.

А вдобавок ко всему не унималась лихорадка — самый злой и коварный враг поселенцев. Это была совсем другая болезнь, чем та, с которой Николай Николаевич был уже знаком. Изнурительные приступы ее повторялись все чаще и чаще, подкрадывались незаметно, на несколько дней приковывали к постели. Жестокий озноб сменялся сильным жаром, голова болела и кружилась, ноги подкашивались, и часто больной испытывал странный обман чувств: все тело, руки, ноги, казалось, начинали расти, становились огромными, голова тянулась все выше и выше, достигая почти потолка. Это были очень неприятные ощущения.

Бывали дни, когда маленькая хижина превращалась в настоящий лазарет, и тогда, пересиливая болезнь, еле волоча ноги, Николай Николаевич принимался ухаживать за двумя другими больными. Бой был так плох, что уже не вставал с постели. Молча, безропотно переносил он свои страдания, и лишь изредка слышались его жа-

лобные стоны. Без труда, как ребенка, Николай Николаевич приподнимал его с койки, и сердце сжималось у него от жалости, когда худые, холодные руки Боя доверчиво обвивались вокруг его шеи.

Он теперь горько раскаивался, что взял с собой и подверг опасности этого мальчика. С какой охотой Бой согласился ехать с ним! Когда они научились немного понимать друг друга, он рассказывал Николаю Николаевичу, как плохо жилось ему на родном острове Ниуе, как приходилось с утра до вечера, не разгибая спины, работать на плантациях, чтобы прокормить себя и маленькую сестренку, как он убежал на Уполу, спасаясь от работорговцев. Он мечтал, что вернется за сестренкой, которая осталась у тетки, увезет ее далеко-далеко, в неизвестную страну, где у них будет много бататов и где не надо будет бояться злых людей... Но, видно, не суждено было сбыться этим мечтам.

Если бы можно было вернуть время назад, думал Николай Николаевич, он не сделал бы этой ошибки, а отправился бы на Новую Гвинею один, без слуг. Ульсон был плохим помощником. Даже в промежутках между приступами лихорадки он не желал ничего делать и только слонялся из угла в угол, бледный, с блуждающими глазами, предоставляя своему хозяину работать за троих.

А работы было немало. Даже такое простое дело, как вскипятить чай, превращалось в эти ненастные, темные вечера в сложную, подчас невыполнимую задачу. Сколько надо сил, чтобы раздуть погасший от дождя костер, чтобы набрать сухих ветвей, принести воду из ручья, то и дело останавливаясь, ожидая молнии, потому что иначе собьешься в темноте с тропинки! Ноги скользят по мокрой земле, оступаешься, струи дождя текут по спине, холодно, снова оступаешься, хватаешься за куст, колешься...

Другой, пожалуй, пришел бы в отчаяние, но для Николая Николаевича это лишь маленькие неудобства. Они быстро забываются — стоит лишь заметить что-нибудь интересное или залюбоваться природой. А любоваться и наслаждаться ею он готов был всегда, даже в эти трудные минуты.

«Сверкает яркая молния, освещает своим голубоватым блеском далекий горизонт, белый прибой, капли

дождя, весь лес, каждый листок, даже шип, который сейчас уколол руку. Только одна секунда — и опять все черно, мокро и неудобно, но этой секунды достаточно, чтобы красотой окружающего возвратить мне мое обычное хорошее расположение духа», — так писал Николай Николаевич в один из этих декабрьских вечеров, сидя в своей хижине и наслаждаясь горячим чаем, добытым с большим трудом и казавшимся ему по этой причине особенно вкусным.

«Лампа догорает, чай допит. От капающей воды становится сыро в моей келье, надо завернуться поскорей в одеяло и продолжать свое дальнейшее существование во сне...»

ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДЫ

— Бой скоро умрет, и Виль умрет, а Маклай останется один. — Туй поднял вверх один палец и многозначительно посмотрел на Николая Николаевича. — А когда Маклай останется один, придут люди из Бонгу и Гумбу. — Он перебрал по очереди все пальцы на руках и на ногах, показывая этим, что придет много людей. — Они придут и убьют Маклая.

Красноречивым жестом показав, как Маклаю проколют копьем сначала шею, потом грудь, живот и голову, Туй уселся на пень возле хижины и начал жалобно, нараспев причитать:

— О Маклай! О Маклай!

«Как это скучно, как надоело быть постоянно настороже! — думал Николай Николаевич. — Удастся ли мне когда-нибудь преодолеть враждебность папуасов. Я не сомневаюсь, что Туй говорит правду — соседи мои, видно, серьезно заняты этим вопросом».

— Ты ошибаешься, Туй! — твердо сказал он вслух. — Бой не умрет, и Виль не умрет, и никто не убьет Маклая. Иди спокойно домой и передай это своим соседям.

Но Туй медлил и недоверчиво качал головой.

— О Маклай, — сказал он, понизив голос и оглядываясь по сторонам, не слышит ли кто-нибудь, — отдай нам Боя...

— Отдать вам Боя? — удивился Николай Николаевич. — Это еще что за новости?

— Отдай нам Боя, Маклай, мы вылечим его! — убежденно повторил Туй. — В Гумбу есть один человек, он обещал вылечить его, а иначе Бой умрет, Бой моен! — Он подозрительно покосился на комнату Боя и, поднявшись на ступеньку, попытался заглянуть в окно.

— Назад! Табу!

И Туй тотчас же соскочил на землю.

— Иди домой и скажи всем в Горенду, что Маклай не отпустит Боя. Понял? И не будем больше об этом говорить. Слово Маклая одно — балал Маклай худи!

— Балал Маклай худи, — со вздохом повторил Туй.

Он знал, что белый сосед не изменит своему слову. После минутного раздумья он медленно зашагал к лесу.

«Интересно было бы узнать, для чего понадобился папуасам Бой? — спрашивал себя Николай Николаевич. — Как противник он уже не страшен для них. Как союзник против меня? Тоже, пожалуй, поздно. Во всяком случае, Туй хорошо сделал, что предупредил меня. Надо сейчас же собрать все мои заметки и записи, чтобы в случае опасности немедленно зарыть их в землю. Пожалуй, следует также прихватить небольшой запас чистой бумаги, на тот случай, если я останусь в живых, а хижина будет разграблена или сожжена... Хорошо, что Ульсон не слышал нашего разговора и не видел этой пантомимы. Вряд ли она придавала бы ему бодрости».

Поздняя ночь. Тишина в хижине на мысе Гарагаси. Умолкли стоны маленького полинезийца. Никогда больше он уже не вернется на свой родной остров. Неподвижно лежит он, скрестив на груди руки, поджав, по привычке, ноги, и кажется, что он крепко спит, утомившись от дневных трудов. Неровный свет лампы освещает строго-спокойное, посветлевшее лицо, на котором застыла тень улыбки. Что обрадовало, что пригрезилось бедному юноше перед смертью? Быть может, сестренка, которую он увозит в дальние страны, чтобы зажить новой, счастливой жизнью? Кто знает?

Молча стоит у его постели Николай Николаевич. Бледный, встрепанный Ульсон растерянно бродит по комнате, осторожно ступая босыми ногами, точно боясь разбудить умершего или потревожить спокойствие ночи.

Давно уже ясен был исход болезни, и все же эта смерть кажется для них неожиданной.

— Да исполнится воля господня! — шепчет Ульсон. — Что же мы теперь будем делать, как будем хоронить его?

— По морскому обычаю, — тоже почему-то шепотом отвечает Николай Николаевич. — Мы должны этой же ночью бросить тело в море. Надо торопиться.

— О, зачем же в море, господин Маклай! — ужасается Ульсон. — Лучше выроем ему могилу и похороним его здесь, в Гарагаси, и посадим цветы на его могиле. Я сейчас сбегая за лопатами.

— Это невозможно, Ульсон. Могила должна быть очень глубокая, чтобы ее не разрыли собаки. Вы забываете, сколько времени и труда надо потратить, чтобы вырыть глубокую яму в этом твердом коралловом грунте. Мы с вами не справились бы до утра, а утром придут папуасы. Мне бы очень не хотелось, чтобы они узнали о смерти Боя. Идите на берег, готовьте шлюпку, я сейчас догоню вас. Поверьте, другого выхода нет.

Ульсон медлит, растерянно смотрит на Николая Николаевича и понуро идет к двери.

— О, наша жалкая жизнь, наша жалкая жизнь! — бормочет он, спускаясь вниз по лестнице.

...Непроглядная, черная тропическая ночь. Дождь перестал, ветер улегся. Николай Николаевич и Ульсон несут к берегу завернутое в мешок тело Боя.

— Тяжело! Кто бы мог подумать? — шепчет Ульсон. Ноги скользят по мокрой глинистой земле.

— Скорее в шлюпку!..

— Ну, кажется, всё!

Нет, не всё. Не так просто при отливе столкнуть в воду тяжелую шлюпку.

— Еще одно усилие, только одно!

— Наконец-то!

Маленький полинезиец Бой отправляется в свое последнее плавание. Осторожно, бесшумно скользит по морю шлюпка.

— Он был хороший парень, хотя мы с ним и ссорились иногда, — вздыхает Ульсон.

— Да, жаль. Бедный мальчик! Он, кажется, хотел мне что-то сказать перед смертью.

Все дальше и дальше от берега отплывает шлюпка. Но что это? В черноте ночи на море показался огонек,

за ним второй, третий... десятый. Это пироги папуасов vyplывают из-за мыса Габина. Всё ближе, ближе... Одиннадцать пирог. Длинные столбы света скользят от ярких факелов по спокойной поверхности моря. От каждого взмаха весел вода светится тысячами искр.

— Какая красота! — говорит вдруг Николай Николаевич, невольно залюбовавшись этой картиной и забывая о Бое, о грозящей опасности и обо всем на свете. — Как жаль, что нечем зачерпнуть воду! При таком спокойном море поверхностные слои его, вероятно, полны богатой и разнообразной жизнью. Можно было бы завтра понаблюдать под микроскопом...

«Впрочем, наступит ли для нас это «завтра»?» — мысленно прибавляет он.

— Господин Маклай, если они увидят, что мы бросаем Боя в море, они подумают, что мы убили его. Не лучше ли нам повернуть обратно к берегу и спрятать тело в лесу?

— Не успеем. Давайте сильнее грести, может быть, удастся ускользнуть.

Два-три сильных взмаха — и лодка внезапно останавливается.

— Мы на рифе или на мели...

А папуасы все ближе и ближе, вот уже слышны их голоса. Яркие факелы освещают их темные лица. В каждой пироге по три человека. Они вооружены копьями, луками, стрелами, и, уж конечно, превосходство сил будет на их стороне, если они заметят маленькую шлюпку, беспомощно стоящую среди моря.

— Сейчас я спрыгну в воду и подтолкну шлюпку. — Николай Николаевич перекидывает ноги за борт.

— Ради создателя, господин Маклай, — в ужасе шепчет Ульсон, — не делайте этого, умоляю вас! Ведь здесь акулы!

— Давайте тогда попробуем найти причину. — И, перегнувшись через борт, Николай Николаевич погружает руку в воду. — Вот оно что! Веревка застряла между камнями. Скорее нож!.. Ну вот... Теперь за весла!

Шлюпка снова медленно движется вперед. Папуасы, занятые рыбной ловлей, не замечают ее. Опасность миновала. Все меньше и меньше становятся огни факелов, превращаются в маленькие светлые точки и наконец исчезают за мысом Габина.

НЕ ЗАЖИГАЙ МОРЯ!

— Имейте в виду, Ульсон, — сказал на следующее утро за чаем Николай Николаевич, — папуасы ничего не должны знать о смерти Боя. Не говорите при них об этом ни слова. И пусть в вашей комнате все остается без перемен.

— О господин Маклай! — Ульсон развел руками. — Очень мало надежды, что нам удастся скрыть от папуасов эту печальную вестъ. Ведь они будут спрашивать, они так любопытны... А вот, кстати, ваш приятель Туй. Он долго не заставил себя ждать. Смотрите, каких красавцев с собой привел. Да спасет и помилует нас господь!

Из-за деревьев появился Туй, а с ним два незнакомых папуаса.

Они были одеты по-праздничному и, видимо, присланы для официальных переговоров. У одного лицо и волосы были вымазаны красной глиной, у другого — черной. У первого в прическе и за браслетами торчали красные цветы, у второго — перья.

— Я сейчас поговорю с ними, а вы не произносите ни слова, Ульсон, иначе вы всё напортите.

— Хорошо, я буду молчать, — покорно сказал Ульсон.

— Ну, здравствуйте, приятели. Э-а-ба! — Николай Николаевич кивнул гостям.

— Э-мем, — нехотя ответил Туй.

— Э-мем, — повторили его спутники.

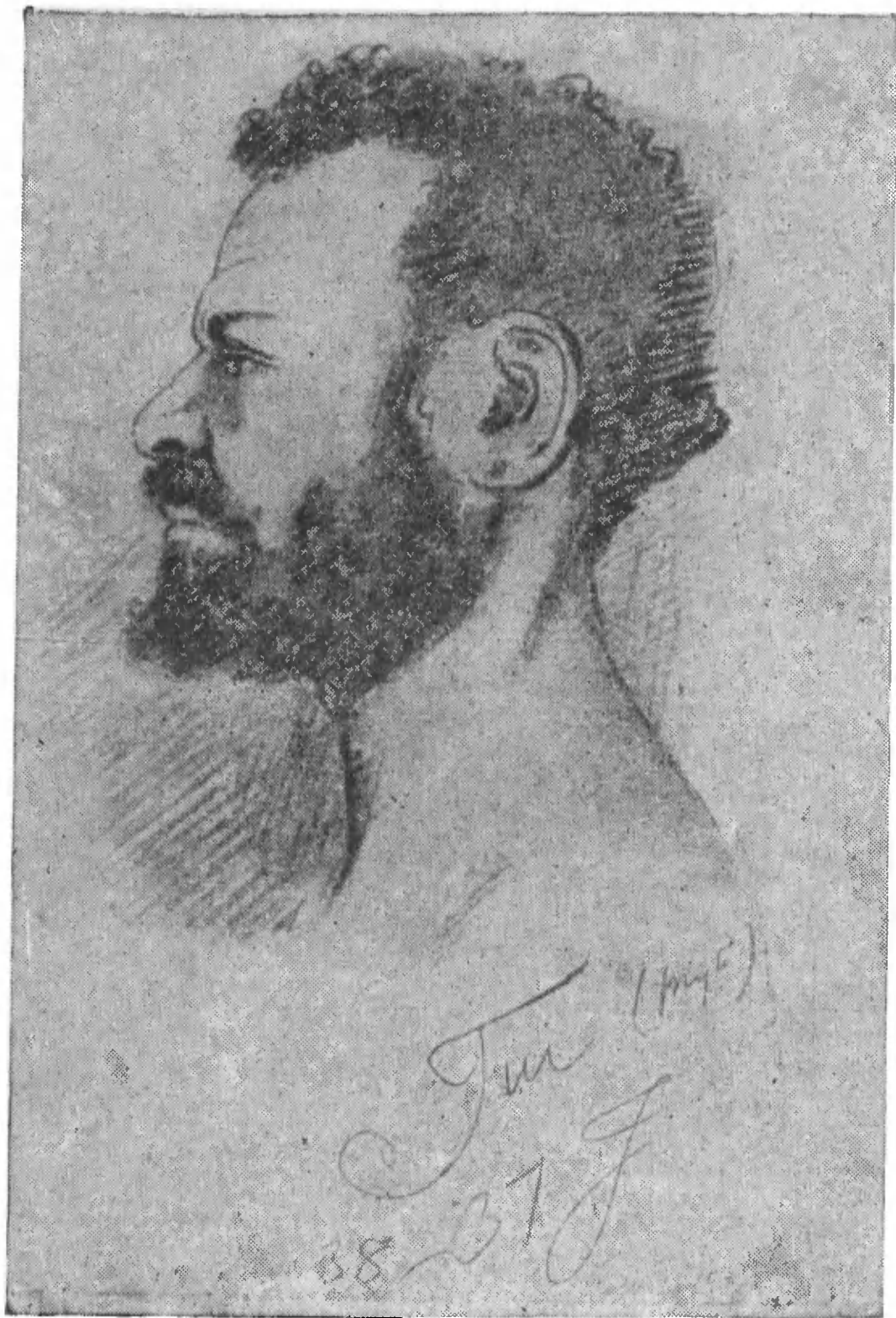
Туй был взволнован. Он обежал вокруг хижины, поднялся было на ступеньку, потом спрыгнул, подозрительно покосился на комнату Боя и начал быстро и горячо говорить.

— О Маклай, вот я привел человека, — он подтолкнул вперед своего спутника с красным лицом, — который обещал вылечить Боя. А этот человек, — он подтолкнул второго спутника, с черным лицом, — поможет нам отнести его в Гумбу. Отдай нам Боя.

— Боя нет, — сказал Николай Николаевич. Он уже начинал терять терпение. — Бой арен!

— Бой арен? — переспросил Туй и растерянно посмотрел на спутников. — Но где же он?

Николай Николаевич ничего не ответил и, устало махнув рукой, поднялся на крыльцо, желая показать, что



Туй, друг Миклухо-Маклая.

разговор окончен. Обманывать папуасов он не хотел, а правду говорить было небезопасно.

«Пусть понимают как хотят», — устало подумал он.

Но папуасы не уходили. Они долго, внимательно вглядывались в далекий горизонт, качали головой, что-то серьезно вполголоса обсуждали.

— Он улетел в Россию, да? — спросил наконец Туй.

— На луну? — прибавили его спутники.

Очевидно, когда Николай Николаевич махнул рукой, они решили, что он указывает им направление, по которому улетел Бой. По этой причине они и вглядывались так внимательно в даль.

— Скажи, Маклай, а скоро он вернется? — продолжал Туй.

Спутники его подошли поближе и с детским любопытством уставились на Николая Николаевича. Эти два туземца — один с красной физиономией, другой — с черной, с перьями и цветами в волосах, напомнили ему вдруг детские игры в «индейцев».

«Дети, большие дети... И обращаться с ними надо, как с детьми. Занять чем-нибудь их воображение и попытаться отвлечь их мысли от Боя...»

Взгляд Николая Николаевича рассеянно скользнул по столу: недопитые чашки чая, печеные бананы, бутылочка со спиртом, которым он обмывал Ульсону царапины на руках...

— Не удивляйтесь, Ульсон, — вдруг весело сказал он, — сейчас я буду выступать в роли фокусника.

Ульсон вздрогнул и с беспокойством посмотрел на хозяина — уж не помешался ли он после беспокойной ночи?

Николай Николаевич взял со стола чайное блюдечко, налил в него несколько капель спирта и поставил на ступеньку.

— Попрошу поближе, почтеннейшая публика, — обратился он к гостям и поманил их пальцем.

Папуасы подошли и с величайшим интересом следили за каждым его движением.

— Вот видите, перед вами пустой стакан. — И, как самый заправский фокусник, он поднял стакан и перевернул его вверх дном. Потом налил в него воды из чайника, отпил немного и протянул стакан папуасам.

— Можете убедиться, обыкновенная вода! — Он показал знаками, чтобы они тоже попробовали.

Папуас с черным лицом робко взял стакан, сделал несколько глотков и передал своему краснолицему товарищу.

— Иа, — сказал он и кивнул головой.

— Иа, — глотнув, подтвердил краснолицый и возвратил стакан Николаю Николаевичу.

— Совершенно верно, иа, — повторил Николай Николаевич.

По-папуасски это означало «вода».

— А теперь смотрите! — Он налил воду в блюдечко со спиртом и поднес к нему зажженную спичку.

Синее пламя поднялось над блюдцем. Папуасы открыли рты, со свистом втянули воздух и отступили шага на два от крыльца. Николай Николаевич слегка качнул блюдце, брызги горящего спирта полетели по ступенькам и по земле.

— Горит, вода горит! — в ужасе закричали папуасы и бросились бежать.

Туй немного помедлил — хотел, видимо, что-то спросить, но потом решил последовать их примеру.

— Подействовало! — улыбнулся Николай Николаевич. — Теперь мы с вами можем спокойно допить чай, Ульсон.

Но Ульсон, казалось, от удивления совсем потерял дар речи и только растерянно моргал голубыми глазами.

— Придите в себя, Ульсон. Или вы все еще подозреваете, что я сошел с ума? Уверяю вас, я пока в здравом уме. Мне просто хотелось чем-нибудь занять наших гостей, чтобы они поскорее забыли о Бое.

— О-о-о! О-о-о! Как здорово у вас это получилось! — И Ульсон громко захохотал, должно быть впервые за много дней.

— А все-таки допить чай нам с вами, пожалуй, не придется. Посмотрите, сколько зрителей ведет к нам Туй! — Николай Николаевич показал рукой в сторону леса.

Папуасы под предводительством Туя приближались к хижине. Здесь были жители Горенду, и их гости из Бонгу, и даже несколько человек с островов Били-Били и Кар-Кар.

Николай Николаевич теперь уже умел распознавать их по убранству. Так, у ближайших к Гарагаси соседей украшениями служили цветы, листья, перья; более далекие соседи, жившие у открытого моря и занимавшиеся ловлей рыбы и морских животных, вешали на себя украшения из рыбьих костей, раковин, щитов черепах. Лицо и все тело они мазали черной глиной — куму, в противоположность жителям Бонгу, которые красились красной глиной — суру.

— О Маклай! — торжественно начал Туй (он тоже уже успел принарядиться: за травяные браслеты были заткнуты ярко-красные цветы, а в шевелюре торчали два белых петушиных пера). — О Маклай, все эти тамо, —

он обвел рукой толпу, — просят тебя показать, как горит вода. И я тоже очень прошу тебя, — закончил он после небольшой паузы.

— Ну что ж, Туй, я готов с радостью исполнить вашу просьбу.

Николай Николаевич снова зажег спирт, и, вероятно, ни один фокусник в мире не мог бы похвастать бóльшим успехом: толпа замерла, крики ужаса вырвались у одних, другие бросились на землю, закрыв лицо руками. Самые храбрые неподвижно стояли и не отрываясь глядели на волшебное блюдце. Лишь когда «вода» погасла, они стали понемногу приходить в себя.

— Не зажигай моря, Маклай!

— Можешь ли ты сделать тангрин, Маклай?

— Скажи, Маклай, далеко ли до твоей родины — луны?

— Все ли там люди такие, как ты?

— Есть ли там свиньи?

— Какие там дома?

— А деревья там высокие?

— Есть ли на луне женщины — нангели?

— На всех ли ты звездах побывал, Маклай?...

Николай Николаевич едва успевал отвечать, да и что было отвечать на эти вопросы?

Он заверил папуасов, что не зажжет моря, что не его вина будет, если случится тангрин — землетрясение, объяснил, что на его родине живут разные люди — и хорошие и плохие, так же как и среди папуасов есть тамо борле и тамо билен. Потом он роздал им табак, красные тряпки, бутылки и пригласил почаще приходить в таль Маклай.

— А теперь, — сказал он, — идите домой, потому что Маклай устал и хочет отдохнуть. От ваших разговоров у Маклая разболелись уши.

— Э-а-ба, Маклай! Приходи к нам в Горенду!

— Э-ме-ме! К нам в Били-Били!

— В Гумбу!

— В Кар-Кар!

— В Бонгу!...

На прощание они пожимали ему левую руку и вешали на шею ожерелья из раковин и рыбьих костей.

ИЗ ДНЕВНИКА

1 января 1872 года. Понедельник.

Новый год встретил двенадцатью выстрелами из двух револьверов и потом, выпив целый кокос за здоровье родных и друзей моих, лег спать. Ночью была сильная гроза и шел проливной дождь. Ветер также был силен. Множество лиан, подрубленных еще в сентябре людьми с «Витязя», упало в кустарник возле моего дома. Одна сухая лиана сажени четыре длиной, висевшая над моей хижиной, рухнула с большим шумом, пробила большую дыру в крыше и разбила один из термометров, тот самый, которым я мерил обыкновенно температуру воды. Это для меня большая потеря. Теперь осталось только два: один под верандой и другой — закопанный в землю. Досадно — придется сократить метеорологические наблюдения. Думал, что шести термометров для Новой Гвинеи достаточно, — оказалось, что нет.

3 января. Среда.

Туй принес сегодня очень маленького поросенка, которого собака загрызла, но не успела съесть. Маленькое, худое животное заинтересовало меня... Я вскрыл череп, зарисовал кору мозга, а туловище отдал Ульсону, который сразу принялся чистить его, скоблить и варить. Глядя на Ульсона, заботливо готовившего поросенка и жадно съевшего львиную долю, можно было легко заключить, что люди по природе животные плотоядные. Интересно было наблюдать, с каким удовольствием ел он не только мясо, но обгладывал кости. Сегодня он менее болтлив, чем обычно, и не вздыхает о невзгодах нашей жизни. Да, кусок мяса — важная вещь!

6 января.

Приступ лихорадки!

7 января. Воскресенье.

Дождливый, холодный день. Нахожусь при самом начале второго приступа, дрожь пробирает понемногу,

голова начинает кружиться все чаще и чаще. Только крепко подпирая лоб рукой, я в состоянии писать.

Не папуасы, не тропический жар и не труднопроходимые леса стерегут берега Новой Гвинеи. Защищающий ее от чужих нашествий могучий союзник — это бледная, холодная, дрожащая, а потом сжигающая лихорадка! Она подстерегает нового пришельца при первых лучах солнца и при палящем зное полудня, она готова захватить неосторожного и при догорающем свете дня; черная, тихая или бурная ночь, чудный блеск месяца не мешают ей атаковать беспечного человека. Она сторожит его везде изменнически, он даже не чувствует ее холодных объятий... Но это только на время; уже очень скоро точно свинец вливается в его ноги, голова туманится. Холодная дрожь пробирает, трясет его. Мозг начинает изменять ему; образы, то громадные и чудовищные, то печальные и тихие, сменяются перед его закрытыми очами. Холод, мороз переходят в жар, палящий, сухой, нескончаемый... Образы переходят в какую-то скачущую фантастическую пляску...

Моя голова слишком тяжела, а рука слишком дрожит, чтобы продолжать писать. Только 9 часов вечера, но лучше мне лечь...

8 января. Понедельник.

Лихорадка.

9 января. Вторник.

Лихорадка.

10 января. Среда.

Лихорадка.

11 января. Четверг.

Пять дней подряд досаждала мне лихорадка. Вчера и сегодня чувствую себя лучше, но еще плохо хожу. Не стану подробно описывать мое состояние за эти пять дней. Скажу только, что голова несносно болела, и я при этом был так слаб, что, для того чтобы сделать три шага, я



Папуас из деревни Бонгу.

с постели своей осторожно опускался на пол и полз, поддерживая одной рукой голову. Так я мог выползти на веранду и сделать три дневных метеорологических наблюдения.

Для того чтобы ложку лекарства поднести ко рту, я одной рукой поддерживал другую, и то обе они недолго могли держать такую тяжесть. Вчера не мог еще ходить, сегодня медленно двигаюсь, и опухоль на лбу и возле глаз (от лихорадки) понемногу проходит.

Увеличивали неприятность частые посещения местных жителей, заставлявшие меня вставать и появляться с книгой у дверей, показывая, что я занят. Чтобы сократить их визиты, я делал серьезное лицо и бросал им немного табака. Я считаю нерациональным, чтобы они узнали о моей болезни, так как они одного меня боятся.

С Ульсоном не считаются, несмотря на то что он с ними частенько грубо обращается.

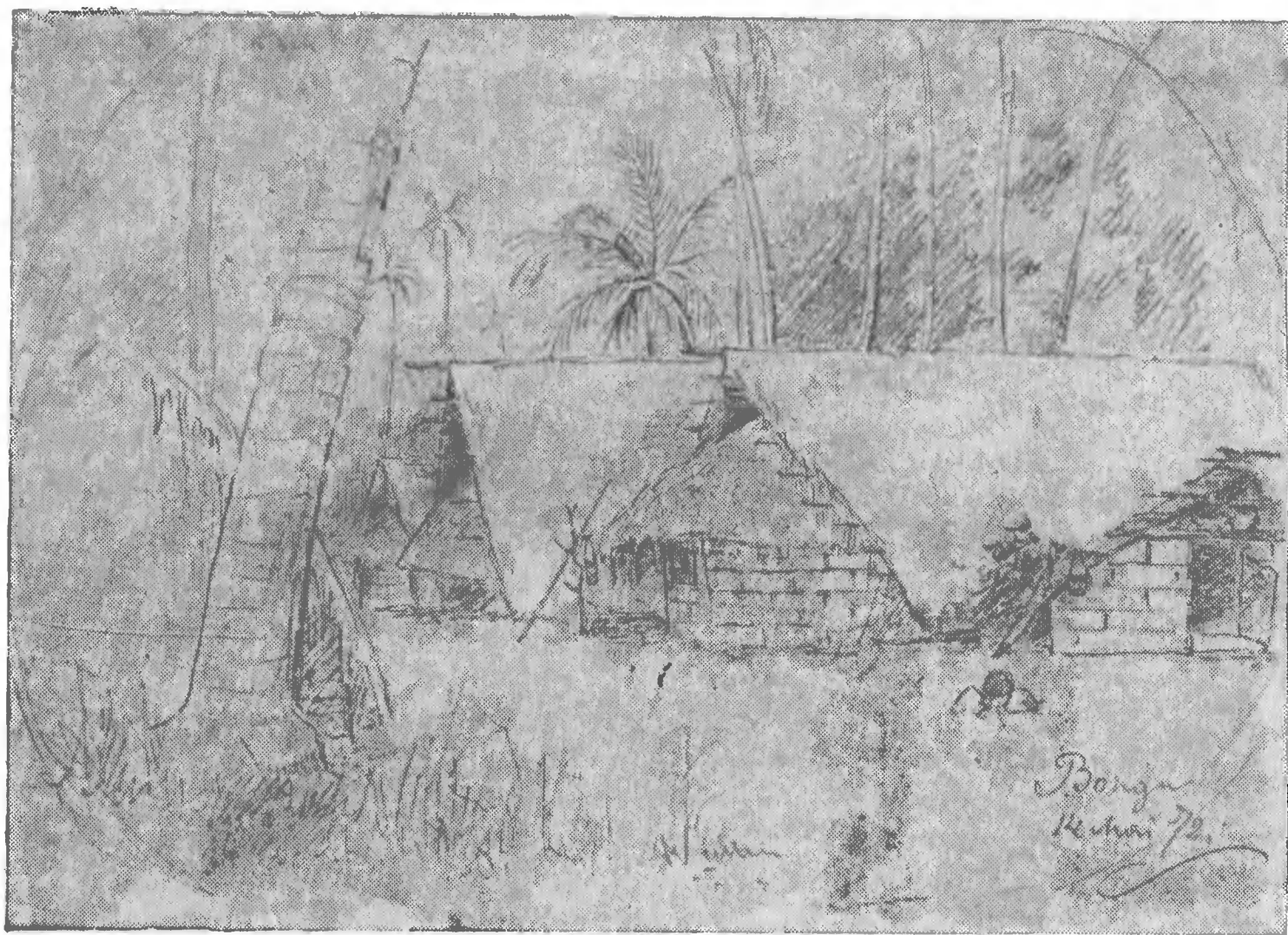
Другой неприятностью был Ульсон, вечно хныкающий о нашем положении, о том, что с нами будет, если я долго проболую. Когда я болею, от него нет ни малейшей пользы. Я и сам не люблю, когда со мной нянчатся во время болезни, и почитаю за лучшее оставаться в это время одному, но Ульсон заходит слишком далеко. Он за эти пять дней ни разу не спросил меня, хочу ли я есть, и мне пришлось приказывать ему вскипятить немного воды для чая.

12 января. Пятница.

Я совершенно здоров и был в состоянии проделать кое-какую анатомическую работу на веранде.

13 января. Суббота.

Около 12 часов пришли несколько человек из деревни Бонгу с приглашением прийти к ним. Один из пришедших сказал, что очень хочет есть. Я ему отдал тот самый кокос, который он мне принес в подарок. Сперва топором, а потом костяным ножом — донганом — он отделил зеленую скорлупу ореха и попросил у меня табир — деревянное блюдо. Не имея такового, я принес ему глубокую тарелку. Держа кокос в левой руке, он ударил по нему камнем, разломил его на две почти равные части и воду вылил в тарелку. К нему подсел другой папуас, оба достали из своих мешков яруры — раковины — и стали выскребывать ими свежее ядро ореха, а натертую массу длинными ленточками опускать в кокосовую воду. В короткое время вся тарелка наполнилась белой вкусной кашей. Выскобленные половинки скорлупы превратились в чашки, а яруры — в ложки. Кушанье это было приготовлено так опрятно, инструменты так просты и целесообразны, что я должен был отдать предпочтение этому способу перед всеми другими. Туземцы называют это блюдо «монки-ля». После этой закуски папуасы попросили дать им барабан, который они же в начале знакомства подарили мне. Держа одной рукой барабан, папуас ударял другой по краям натянутой шкуры, при этом он очень ловко делал прыжки, сгибая колени и



Деревня Бонгу.

снова выпрямляясь. Затянутую им песню подхватили хором другие. Танец был еще тем своеобразен, что у всех за поясом по бокам были заткнуты зеленые ветки.

Наплясавшись, папуасы отправились домой, приглашая меня сейчас же следовать за ними в шлюпке и обещая много кокосов и сладкого картофеля. Я был в нерешительности, отправляться ли мне в Бонгу сегодня или завтра, так как собирался дождь, но Туй убедил меня ехать сейчас же, говоря, что меня ожидают сегодня в Бонгу. Мы отправились.

Пошел дождь, и прибой у открытого берега Бонгу был силен. Несколько туземцев, стоявших по пояс в воде, ожидали меня, чтобы перенести на берег. Один из мальчиков побежал в деревню, чтобы возвестить, что шествие приближается. Я шел впереди, за мной гуськом человек двадцать пять туземцев. Дождь продолжался, и мы приливне вошли в деревню.

Кроме жилых частных хижин, в которых живут отдельные семьи, в папуасских деревнях встречаются и другие постройки — для общественных целей. Это большие



Резной деревянный идол — телум
(остров Били-Били).

сараяобразные здания. Меня сперва заставили по порядку обойти все эти сараи. В каждом ожидала меня группа папуасов, и в каждом я оставлял табак и гвозди для мужчин и полоски красной бумажной материи для женщин.

Обойдя наконец всю деревню, я уселся отдохнуть на нарах большой барлы (общественного сарая); вокруг меня собралось человек сорок туземцев.

Отдохнув немного, я направился далее, чтобы поискать, не найду ли чего-нибудь интересного. Между тем Ульсон и один из папуасов принимали ответные подарки туземцев: сладкий картофель, сушеную рыбу, кокосы, сахарный тростник, бананы.

В одной барле я нашел то, что искал уже давно, а именно — несколько фигур, вырезанных из дерева. Самая большая из них стояла посередине барлы, около нар, другая — около входа, третья, очень ветхая, валялась на земле. Я срисовал копии со всех

трех, разговаривал с туземцами, которые расспрашивали, есть ли такие «телумы» в России и как они там называются.

Солнце уже было низко, когда я направился к шлюпке, обмениваясь рукопожатиями и провожаемый возгласами: «Э-ме-ме!» Когда мы добрались домой и вынули все подарки из шлюпки, оказалось, что Ульсон очень разочарован поездкой.

— Мало дают. Кокосы старые, рыба жестка, как дерево, бананы зеленые, женщин не показывают, — ворчал он, отправляясь на кухню доваривать бобы к обеду.

Так встретил я русский Новый год, 1872-й, в Новой Гвинее.

8 февраля. Четверг.

Сегодня погода особенно приятная: слегка пасмурно, тепло, совершеннейший штиль. Полная тишина прерывалась только криком птиц и почти постоянной песней цикад. По временам проглядывал луч солнца. Освеженная ночным дождем зелень в такие минуты блестела и оживляла стены моей хижины. Далекие горы казались голубыми, и серебристое море блестело заманчиво между зелеными рамами. Потом опять все тускнело и успокаивалось. Глаз также отдыхал. Одним словом, было спокойно, хорошо...

Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, то есть не возвращаться никогда в Европу...

Каждый день я наблюдаю замечательное движение листьев. У одного растения из семейства лилий они гордо поднимаются по утрам или после дождя, а в жаркие солнечные дни уныло опускаются вдоль ствола, касаясь земли. Жалеешь, что не хватает глаз, чтобы все видеть кругом, и что мозг недостаточно силен, чтобы все понимать.

9 февраля. Пятница.

Туй, кажется, начинает интересоваться географией. Он повторял за мной имена частей света и стран, которые я ему показывал на карте. Вероятно, он считает, что Россия лишь немногим больше, чем Бонгу или Гумбу.

МАКЛАЙ — ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Было еще почти темно, когда Николай Николаевич встал в это утро и вместе с Ульсоном отправился на берег чинить шлюпку. Она давно уже протекала и грозила вовсе выйти из строя. Работа была трудная, надо было торопиться, пока солнце еще не поднялось высоко.

— Макла-ай, Макла-ай! — раздался в утренней тишине чей-то голос.

Николай Николаевич прислушался, с беспокойством вглядываясь в даль.

— Кто бы это мог быть так рано?

— Смотрите, кто-то бежит по берегу, машет руками, — сказал Ульсон.

По открытому берегу, размахивая руками и крича, бежал человек. Когда он приблизился, Николай Николаевич узнал его. Это был молодой папуас Лалу, житель Горенду.

— О Маклай, о Маклай! — запыхавшись от волнения и быстрого бега, кричал Лалу. — Иди скорее в Горенду! Меня послал Туй! С Туем несчастье!

— Что с ним случилось? Говори скорее, Лалу!

— О-о-о! — застонал Лалу. — Туй рубил дерево, оно упало и пробило ему голову, и вот теперь Туй лежит и умирает. Туй моен, Туй моен!

— Скорее бежим в Горенду, Лалу! Я захвачу с собой все, что нужно для перевязки. Может быть, удастся его спасти!

Почти бегом они добежали до Горенду. Николай Николаевич свистом дал знать о своем приближении, но, к удивлению своему, не услышал в ответ ни привычного женского визга, ни детского плача. Деревня была пуста, двери хижин закрыты и плотно заложены камышом. Только две-три собаки, лениво вытянувшись, дремали в тени деревьев.

— Все мужчины и женщины, — объяснил Лалу, — уже ушли на плантации работать.

Туй лежал на циновке в своей хижине. Голова его была повязана листьями и травой. Он был очень бледен, это сразу бросалось в глаза, несмотря на темный цвет кожи. Возле Туя суетился семилетний сын его Лялай, и на полу сидел дед Буа, по старости, должно быть, уже не выходивший на работу.

— Я знал, что ты придешь, Маклай! — радостно сказал Туй.

Николай Николаевич промыл и перевязал рану. Маленький Лялай помогал ему, а дед Буа одобрительно побрякивал, следя за перевязкой.

— Аye-аye! — приговаривал он.

Это означало: «здорово», «ловко».

— О Маклай, ты хороший человек — тамо билен! — сказал Туй, заметно повеселев.

Он сделал Лялаю знак рукой, и мальчик принес большой пучок сахарного тростника.

— Возьми это, прошу тебя, — сказал Туй.

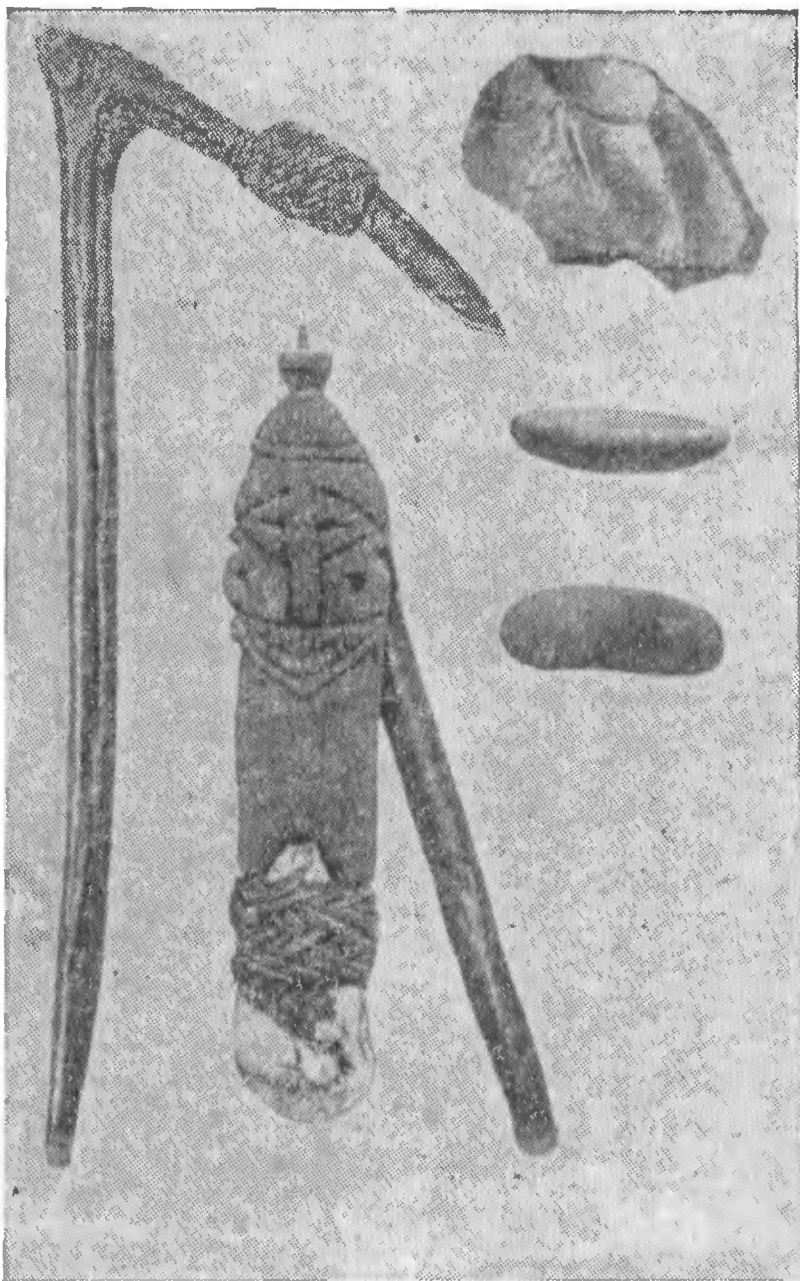
Николай Николаевич принял подарок, но взамен него, несмотря на возражения, отдал Лялаю пачку табаку. Этим он хотел показать, что платы за лечение не берет.

— Лежи смирно, Туй, не вставай, — сказал он на прощание. — Завтра я снова приду к тебе и сделаю перевязку.

— Прощай, э-ме-ме, — сказал Туй и протянул ему руку. — Приходи поскорее.

Николай Николаевич был уже на пороге, когда странное зрелище остановило его внимание. Над самой дверью, на веревке, привязанной к крыше, болтался огромный жук. Он энергично двигал ногами, стараясь освободиться от петли, плотно стягивавшей его поперек туловища.

— Это мой жук, — услужливо объяснил Лялай. — Я поймал его, но ты можешь взять его, если хочешь. Я подарю тебе его. Он очень вкусный. И этот кобум возьми, он тоже вкусный, вот попробуй!



Каменные топоры и точильные камни.

И не успел Николай Николаевич опомниться, как Лялай сунул ему в руку паука.

— Э, да ты, я вижу, хороший охотник, у тебя большой запас дичи! Нет, кобум мне не нужен, съешь его сам. А вот жука я, пожалуй, возьму, он пригодится мне — правда, не для еды, а для коллекции. Это какой-то редкий вид, он попадаетеся мне впервые. Спасибо за подарок!

— Если ты не будешь слушаться и будешь ходить по солнцу, ты умрешь! Слышишь, Туй? — Николай Николаевич уже несколько часов подряд прикладывал больному припарки из льняного семени.

В этот день он застал Туя в плохом состоянии. Ранагноилась, все лицо распухло, веки отекали, он едва мог открыть глаза.

— Не уходи, Маклай, я хочу поговорить с тобой, — сказал Туй, когда Николай Николаевич собрался домой. — Я хочу поговорить с тобой и с ними. — Туй показал рукой на многочисленных посетителей, которыми постепенно наполнялась хижина.

Навестить больного пришли не только ближайшие соседи, но и жители Бонгу и Гумбу. Расположившись вокруг его циновки, они курили, обсуждали свои дела, жевали бетель, дружелюбно поглядывая на белого соседа. Видимо, они были довольны тем, что он столько внимания и времени уделяет их товарищу.

— Да, я буду говорить, — повторил Туй. — Я скажу, что Маклай человек хороший — тамо билен. Он не подкрадывается к нам, не подглядывает. Он не хочет пугать наших женщин и предупреждает их о своем приходе свистом кин-кан-кана. И это очень дурно с нашей стороны, что мы велим женщинам прятаться от него. Нангели не должны бояться его, потому что Маклай человек хороший — тамо билен.

— Ты верно говоришь, Туй. Мы и не боимся Маклая и не будем больше от него прятаться, — раздался вдруг за спиной Николая Николаевича женский голос, и, обернувшись, он увидел старую, очень некрасивую женщину с морщинистым лицом и длинными, спускавшимися на лоб прядями волос.

Это была жена Туя. Она так добродушно улыбалась и так приветливо кивала Николаю Николаевичу, что не-

ожиданно для самого себя он подошел и крепко пожал ей руку. И тотчас же к хижине со всех сторон стали сходиться женщины. Они появлялись, как будто вырастая из-за каждого дерева, каждого куста; по очереди подходили, пожимали руку белому гостю и подносили ему бананы, пучки сахарного тростника, а мужчины представляли ему своих жен, сестер, дочерей. Казалось, все были очень довольны, что знакомство наконец состоялось, что никого не надо больше прятать и некому больше прятаться.

Солнце уже садилось, темнота быстро наступала, и несколько человек взялись проводить Николая Николаевича до дома. Придя в Гарагаси, они неторопливо сложили подарки на землю и долго о чем-то совещались, озабоченно качая головами и разглядывая склонившиеся над самой крышей надломленные ветром деревья.

— О Маклай, — сказал один из них, выступая вперед, — твой дом стал совсем плох, крыша протекает, деревья могут каждую минуту упасть и убить тебя. Мы очень просим: переселись к нам в деревню. Все жители Горенду быстро построят тебе новый таль, гораздо лучше и больше твоего, и тебе будет удобно в нем жить. Согласись, и мы завтра же начнем строить!

— Спасибо, друзья! Мне кажется, что вы преувеличиваете. Мой таль не так уж плох, как вы говорите. Он еще послужит мне.

— Подумай, Маклай!

— Э-ме-ме, Маклай!

— Э-а-ба!

Издаля́ка доносились их прощальные возгласы.

— Надо сознаться, что наш таль и в самом деле требует большого ремонта, — задумчиво сказал Николай Николаевич после ухода папуасов. — По ночам сквозь крышу я люблюсь луной... Но все же я предпочитаю остаться в Гарагаси. Мне кажется, что мы стеснили бы наших соседей, если бы переселились в деревню...

— Вы и так уже почти переселились к ним, господин Маклай, — обиженно сказал Ульсон. — Вы пробывали у них сегодня целый день. Я чуть не умер от беспокойства. Я был уверен, что с вами случилось несчастье!

— Напротив, Ульсон, у меня сегодня счастливый день. Я ждал его целых пять месяцев. Он достался мне нелегкой ценой. Кажется, мне удалось наконец преодолеть недоверие папуасов. Надеюсь, что это только начало!

НОЧНОЙ ПРАЗДНИК

Болезнь Туя тянулась долго — почти целый месяц. Рана плохо заживала. Это беспокоило Николая Николаевича, и он ежедневно, а иногда и по два раза в день бывал в Горенду. Он очень устал, приступы лихорадки, как нарочно, особенно часто мучили его в это время. Но едва лишь кончался приступ, как он вставал с постели и, еле волоча от слабости ноги, отправлялся проводить больного. Наконец труды его увенчались успехом — Туй начал поправляться. Только теперь Николай Николаевич разрешил себе небольшой отдых и мог заняться своими научными делами.

Однажды ночью он проснулся от страшного шума. Из Горенду неслись отчаянные завывания, удары барума, свист и звуки труб.

«Что у них опять случилось?»

Он положил на ухо подушку, но уснуть было невозможно. Концерт становился все громче. За перегородкой проснулся Ульсон. Он ворочался на койке, ругая дикарей и свою «жалкую жизнь».

Николай Николаевич вышел на крыльцо.

«Что за чудеса!» — Он с удивлением прислушался.

В завываниях туземцев ему послышалось его имя.

— Макла-ай, Макла-ай! — звенело в воздухе.

«Я брежу! Должно быть, снова приступ!»

— Маклай, Маклай! — раздалось на этот раз где-то уже совсем близко.

И в полумраке Николай Николаевич узнал Бонема, старшего сына Туя.

— Бонем, ты звал меня?

— О Маклай, я пришел за тобой! — Бонем остановился у крыльца и поднял руку.

Он был по-праздничному разукрашен. Зеленые и красные листья торчали у него за поясом и за браслетами на обеих руках. Он показался Николаю Николаевичу очень красивым, похожим в этот предутренний час на какое-то фантастическое, сказочное видение.

— Мы все, жители Горенду, Бонгу и Гумбу, просим тебя прийти на наш ночной праздник, — сказал Бонем. — Я пришел за тобой.

В лесу было совсем темно, сквозь густую зелень еще не проникал слабый свет утренней зари. Спотыкаясь



Бонем — старший сын Туя.

о корни деревьев, Николай Николаевич шел вслед за Бонемом. Недалеко от Горенду их встретил Туй.

— Выпей с нами кеу и поешь аяна, Маклай, — сказал он и повел гостя куда-то вперед по узкой тропинке.

Они вышли к большой, просторной площадке, обрывистыми уступами спускавшейся к морю и с трех сторон окаймленной вековыми деревьями. Перед горящими кострами на циновках и на голой земле сидели и лежали папуасы. Одни тянули из маленьких деревянных чаш мутно-зеленый напиток кеу, в промежутках между глотками строя отчаянные гримасы, показывавшие, как горек, невкусен и в то же время приятен этот пьянящий напиток. Другие, видимо уже отдавшие ему должное, сидели, неподвижно глядя в одну точку отуманенными, невидящими глазами; третьи спали, блаженно растянувшись на земле, раскинув руки.



Папуас, играющий на флейте.

Музыканты, состоявшие главным образом из молодежи, неистово били в барабаны, трубили, высоко поднимая вверх длинные бамбуковые трубы, дули что было силы в мунки-ай — музыкальный инструмент, издававший резкий, звонкий свист и представлявший собой не что иное, как просверленную в нескольких местах скорлупу кокосового ореха.

Несколько отъявленных любителей этой раздирающей уши музыки отбивали такт ногами и во весь голос тянули слова какой-то весьма несложной песни:

Бом, бом мараре,
Мараре, мараре,
Бом, бом мараре.
О-о-о е-е-е,
О-о-о е-е-е...

«Какой богатый материал для художника! — думал Николай Николаевич, вглядываясь в знакомые лица,

освещенные красноватым отблеском костров. — Как жаль, что здесь нет Оли...»

— Маклай, Маклай! — раздались возгласы.

И он пожалел, что приходится быть участником праздника, а не просто зрителем и наблюдателем.

— Поешь аяна, Маклай!

— Попробуй буама, это очень вкусно!

— Выпей кеу!

— Отведай орлана!

И Николай Николаевич ел буам — желтовато-белую массу, поданную ему на огромном деревянном блюде — табире; закусывал аяном, покорно поливая его орланом — кислым, острым соусом с весьма неприятным запахом; послушно глотал мутно-зеленый кеу. Банановые листья служили скатертью; скорлупа кокосовых орехов — чашками и тарелками; обточенные бамбуковые палочки и кости — вилками; раковины — ложками.

«Посмотрели бы мама и Оля, — снова подумал Николай Николаевич, — как их «белый папуас» управляется со всеми этими инструментами, и, пожалуй, не поверили бы своим глазам». И он невольно улыбнулся, живо представив себе их милые, родные лица с одинаковыми удивленными глазами.

Уже наступало утро. Первые лучи солнца золотили верхушки деревьев, по спокойной серебристой поверхности моря и по вершинам далеких гор разливался розовый свет. Николай Николаевич собрался было домой, но сидевшие рядом с ним Лалу и Бугай из Бонгу удержали его, объяснив, что это только начало праздника, что впереди еще самое главное — торжественный обед и что он очень обидит Туя и всех жителей Горенду, Бонгу и Гумбу, если не останется с ними обедать.

Вскоре на площадке по-



Музыкальные инструменты папуасов: барабан (слева) и погремушка орлан-ай (справа).

явилась целая процессия, состоявшая из жителей всех трех деревень. Они несли корзины с аяном, кокосами, бау. Двое мужчин тащили привязанную за ноги к палке огромную свинью. Это, по-видимому, было главным предметом пира.

— Буль, буль! — приветствовали ее появление радостные крики.

Свинья была положена на землю посередине площадки, и один из туземцев, сказав над ней длинную речь, убил ее ударом копья. Вслед за этим началось приготовление праздничного обеда. Николай Николаевич был поражен ловкостью, быстротой и сообразительностью, с которыми папуасы взялись за дело. Не было ни толкотни, ни криков, ни сутолоки, соблюдалось строгое разделение труда. Одни чистили аян и скребли кокосовые орехи, другие, вооружившись костяными ножами — донганамми, — резали мясо, третьи устанавливали длинный ряд котлов — для каждого гостя был предназначен особый. Юноши собирали дрова для костров, разносили в высоких бамбуковых стволах пресную и морскую воду, наливали ее в котлы, наполняли их аяном и бау.

Когда все мясо было разрезано и лежало на банановых листьях, на середину площадки вышел Туй:

— Бугай, тамо Бонгу!

— Саул, тамо Гумбу!

— Буа, тамо Горенду!

Громким голосом он вызывал по очереди каждого гостя и вручал ему порцию мяса, которую тот опускал в свой котел.

— Маклай, тамо русс! — И Николай Николаевич получил от Туя самый лучший кусок мяса.

«Вот так задача!..» — Он остановился в раздумье.

По-видимому, по примеру прочих гостей, надо было заняться приготовлением обеда. Это было не очень-то заманчиво. Ему и дома достаточно надоело это занятие...

— Маклай! — Кто-то легонько дотронулся до его плеча.

Николай Николаевич обернулся. Это был Бонем. Он, видимо, догадался о колебаниях белого гостя и решил взять его под свое покровительство.

— Я сам сварю для тебя буль, — сказал он с добродушной улыбкой и, взяв мясо из рук Николая Николаевича, тотчас же принялся за дело.

— Иди погуляй. — Он махнул рукой в сторону леса. — Когда услышишь мунки-ай, возвращайся обратно.

Солнце уже высоко поднялось, становилось жарко. Николай Николаевич чувствовал себя очень усталым. Голова болела и кружилась — то ли от бессонной ночи, то ли от приближающегося приступа лихорадки, то ли от зеленого напитка кеу. Он был очень благодарен Бонему и с удовольствием отправился побродить по лесу. Мимоходом он заглянул в Горенду. Здесь были одни только женщины и дети — доступ на площадку, где пировали мужчины, был им строжайше запрещен. Николай Николаевич побеседовал с ними, роздал по несколько бусинок и поспешил обратно на площадку, откуда уже доносился отчаянный свист мунки-ай.

Первым ему встретился дед Буа, который, сидя в тени дерева, с большим усердием занимался приготовлением кеу. Он переливал зеленоватую жидкость из одной чашки в другую, смотрел на свет, пробовал, нюхал.

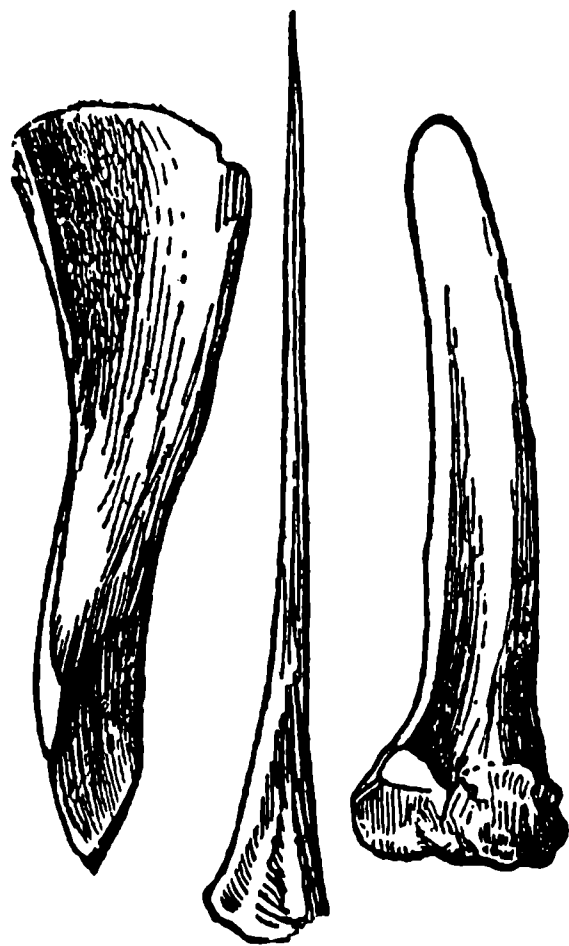
— Иди скорее, Туй, — сказал он, поднимая на Николая Николаевича свои мутные, старческие глаза. — Маклай тебя ищет.

Николай Николаевич остановился и с удивлением посмотрел на старика.

— Ты бы прилег отдохнуть, Буа, — сказал он, — должно быть, ты очень устал.

Но Буа снова погрузился в свое занятие и не обращал больше на него никакого внимания. Махнув рукой, Николай Николаевич пошел дальше. Папуасы приветливо кивали ему, что-то кричали, и ему снова показалось, что его называют Туем.

«Быть может, я сошел с ума! — Он с беспокойством провел рукой по лбу. — Однако, какой странный бред!»



Костяные изделия папуасов (слева направо): ложка, вилка и нож.

Он обрадовался, увидев Бонема, пробиравшегося к нему сквозь толпу.

— Обед уже готов, Туй, — сказал Бонем. — Пойдем скорее.

— Опять Туй! — Николай Николаевич крепко схватил его за руку. — Да что вы сегодня, сговорились все, что ли? Разве ты не знаешь, что я Маклай, а не Туй?

— О конечно, я знаю, — спокойно отвечал Бонем. — Но ты спас Туя, ты вылечил его, ты ухаживал за ним во время болезни, и теперь...

— ...и теперь, — продолжал подоспевший в эту минуту Туй, — теперь я буду делать все, что ты мне прикажешь, и все, что ты захочешь, и теперь меня будут звать Маклай, а тебя — Туй, потому что мы с тобой такие друзья, каких нет на свете!

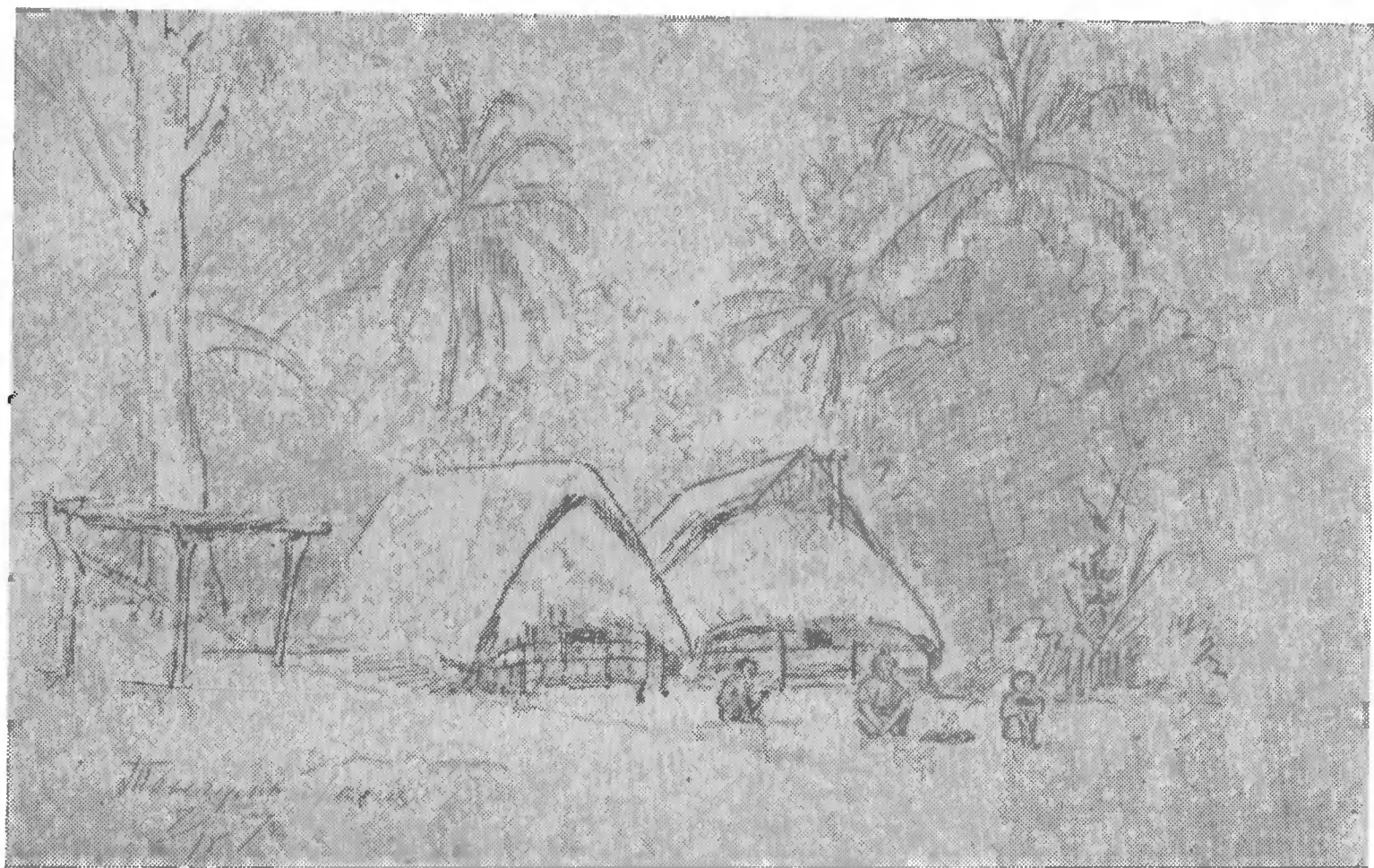
— Вот оно что! — пробормотал Николай Николаевич. — Значит, и здесь, как в Полинезии, существует обычай обмена именами... Ну, если так, если уж мы с тобой такие друзья, то позволь мне уйти домой. У меня разболелась голова.

— Хорошо, иди, — сказал Туй, немного огорченный, — только захвати с собой свой котел. Я поставлю его в корзину, а когда ты съешь обед, ты повесишь ее на дерево перед твоим домом, и, если кто-нибудь спросит, откуда она у тебя, ты ответишь: «Буль и аян от Туя из Горенду».

С каждым днем папуасы все больше привязывались к белому соседу.

— Маклай гена! Маклай идет! — радостно кричали юноши, издалека заведя его.

Женщины перестали дичиться, и он совсем забросил свой кин-кан-кан. Они выбегали к нему навстречу, рассказывали о своих делах, приносили лечить больных детей. Мужчины сопровождали его в далеких экскурсиях. Вооруженные копьями и топорами, они были надежной охраной. Иногда походы продолжались по нескольку дней, и тогда Николай Николаевич брал с собой Ульсона (тот боялся один оставаться дома), закладывал двери своей хижины по-папуасски — камышом — или просто завязывал веревочкой и всегда по возвращении находил все в полной сохранности.



Горная деревня Теньгум-Мана.

Он побывал в Били-Били, и на острове Кар-Кар, и за горами Мана-Боро-Боро и видел при восходе солнца их снежные вершины; он посетил Богатим, и Теньгум-Мана, и Колику-Мана — самые отдаленные от Гарагаси деревушки, до которых еще не докатилась молва о белом человеке. Друзья, сопровождавшие его, знакомили с ним жителей, останавливали, если те в страхе бросались бежать, хвалили тамо руса, уговаривали не прятать от него женщин. Они всюду рассказывали о его храбрости, о чудесном исцелении Туя, о том, что Маклай может вылечить от любой болезни и может, если захочет, зажечь море, изменить погоду, вызвать землетрясение — тангрин — и о многих чудесах и диковинных вещах, которые они увидят, если приедут в таль Маклай. Новые знакомые давали обещание непременно побывать в Гарагаси, и нередко дело кончалось тем, что, взвалив на плечи корзину с аяном или привязав к палке свинью, они отправлялись провожать гостя и доставляли подарки до самого дома.

А тамо рус раздавал им бутылки и гвозди, табак и красные тряпки, стеклянные бусы и заверял их, что такие же подарки ждут каждого, кто посетит Гарагаси.

— Маклай, — говорил он, — приходит к вам не за аяном и не за свининой — он приходит к вам для того, чтобы повидать вас, и ваши хижины, и ваши деревни, и леса и горы, в которых вы живете. И если ваши тамо будут хорошо поступать с Маклаем, то и Маклай будет всегда хорошо поступать с ними.

— Маклай хорош, и наши тамо хороши! — хором кричали в ответ папуасы и уходили, довольные гостеприимством хозяина, обещая вскоре вновь посетить Гарагаси.

МАКЛАЙ С НАМИ!

— Марагум — Горенду!

Папуас, вооруженный луком и стрелами, нагнал Николая Николаевича на тропинке возле деревни Гумбу и прокричал ему в ухо эти слова. При этом он ударил себя рукой в грудь, запрокинул голову, высунул язык и, не останавливаясь, побежал дальше.

Николай Николаевич ускорил шаг. Он знал, что таким образом папуасы изображают смерть или убийство. Беспокойство его усилилось, когда за первым папуасом последовал второй, третий, четвертый. Все бежали быстро, и поравнявшись с ним, изображали то же, что первый. Он подходил уже к Гумбу, когда до слуха его донеслись частые, тревожные удары барума. Вся деревня была в смятении. Мужчины вытаскивали из хижин оружие, бежали куда-то, женщины и дети кричали и плакали, собаки выли. Никто не отвечал на расспросы, и со всех сторон только слышалось:

— Марагум — Горенду!

Наконец Николай Николаевич увидел в толпе знакомого папуаса Бугая, жителя деревни Бонгу. Воинственно подняв над головой лук и стрелы, он мчался мимо.

— Что случилось, Бугай? Говори скорее!

— Люди Марагум хотят напасть на Горенду! А потом они придут в Бонгу, и в Гумбу, и в таль Маклай! Они придут и всех убьют! — И Бугай побежал дальше.

Это было очень неприятное известие. Николай Николаевич вспомнил, что уже раньше слышал разговоры

о жителях горной деревушки Марагум-Мана, которые были не в ладах с его соседями из Горенду. Недаром вот уже несколько недель он видел возле каждой хижины в Горенду гору стрел и копий, приготовленных для встречи неприятеля. Надо было поскорее вернуться домой и предупредить Ульсона.

Когда он подходил к Гарагаси, навстречу ему из-за кустов и деревьев бросились какие-то люди.

«Горцы? — подумал Николай Николаевич. — Они опередили меня!»

Однако вместо горцев он увидел знакомые перепуганные физиономии Туя, Бонема, Лалу и еще нескольких жителей Горенду.

— О Маклай, мы пришли просить, чтобы ты защитил наших женщин и детей. Разрешите нам прислать их в Гарагаси! — сказали все хором.

«Пожалуй, теперь самое время познакомить моих соседей с огнестрельным оружием», — подумал Николай Николаевич.

До сих пор он не решался это сделать, боясь подозрительности и недоверия папуасов.

— Ну что ж, можете прислать женщин и детей. Я думаю, что смогу защитить их вот этой штукой. — Он показал на ружье.

Папуасы с уважением смотрели на табу — так называли они ружья и вообще все предметы, до которых им не разрешалось дотрагиваться. Видимо, они были довольны, что белый сосед приготовился как следует встретить неприятеля. Однако, когда он выстрелил в воздух, они перепугались не на шутку.

— О Маклай, унеси скорее табу в дом! — закричали они и, заткнув уши, повалились на землю. — Не надо стрелять! Стреляй только в Марагум-тамо!

— Иди с нами на Марагум, Маклай! Мы будем делать все, что ты прикажешь! — говорили они, опомнившись от первого испуга. — Марагум-тамо убегут в горы, если узнают, что Маклай с нами!.. Э-ме-ме, Маклай! Э-а-ба!

Они ушли успокоенные, уверенные в надежной защите.

«Не слишком ли они большого мнения о моем могуществе? — думал Николай Николаевич, с грустью глядя им вслед. — Это несколько не льстит мне, скорее наобо-

рот — огорчает. Досадно, что и здесь есть люди, которые мешают спокойной жизни. Чего доброго, придется вмешаться в чужие дела...»

Он зарядил ружья и револьверы, положил их на стол и плотно закрыл дверь в хижину:

— Оставайтесь в комнате, Ульсон, и загородите дверь ящиками.

— Пусть господин приказывает, я буду делать все, что господин мне прикажет, а иначе я совсем не буду знать, что мне делать, — лепетал Ульсон, дрожа от страха.

— Я буду передавать вам с веранды ружья и револьверы, а вы будете заряжать их. Постарайтесь только, чтобы у вас не тряслись руки. Напрасно вы так волнуетесь. Уверяю вас — одного выстрела будет достаточно, чтобы разогнать врагов.

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

«По последним сведениям, г. Миклухо-Маклай скончался в Новой Гвинее. Было бы очень желательно, чтобы кто-нибудь из знавших покойного составил его биографию. Г-н Миклухо-Маклай редкий тип мученика науки, пожертвовавшего жизнью для изучения природы...»

В Новую Гвинею покойный поехал на шесть лет, получив пособие лишь 1200 рублей от Географического общества. Он избрал именно этот остров потому, что он менее всего исследован в естественноисторическом отношении из всех островов Тихого океана. Ученые труды г. Миклухо-Маклая оценены и за границей. Одно время он был доцентом Иенского университета...»

«По частным сведениям из Гонконга, недавно скончался посланный Географическим обществом на Новую Гвинею молодой естествоиспытатель Миклухо-Маклай. Потеря прискорбная, так как покойный подавал большие надежды и обнаруживал замечательную энергию и любовь к географическим и зоологическим исследованиям. Он остался на Новой Гвинее, среди пустынной природы и дикарей, совершенно одиноким. Говорят, он встретил большие затруднения в своих исследованиях».

Кипа газет лежит на столе в кабинете Географического общества, где собрались члены совета. «Крон-

штадтский вестник», «Петербургские ведомости», «Правительственный вестник», «Одесский вестник» — вот уже больше недели столичные и провинциальные газеты одна за другой помещают сообщение о смерти Миклухо-Маклая.

Мрачно нахмутив косматые седые брови, Федор Петрович Литке перечитывает строки этого печального известия. Давно уже беспокоит его судьба молодого исследователя. Географическое общество не раз обращалось к морскому министерству, напоминая о его обещании послать за Миклухо-Маклаем на Новую Гвинею какое-нибудь военное судно, курсирующее в Тихом океане. Скоро исполнится два года с тех пор, как «Витязь» снялся с Кронштадтского рейда, а морское ведомство до сих пор ограничивается лишь обещаниями. И вот теперь весь Петербург, вся страна взволнована известием о гибели отважного путешественника. В Географическое общество летят телеграммы и письма.

Старый адмирал вспоминает свою первую встречу с Миклухо-Маклаем. Тихий голос, бледное, не по возрасту утомленное лицо, глаза мягкие и в то же время полные решимости и воли... Он и сам не понимает, как удалось тогда этому юноше заставить его, старого, опытного моряка, пойти навстречу этим слишком опасным планам. Но как поступить теперь? Быть может, еще не поздно? Он снова перелистывает газеты. Достоверно ли это сообщение? Откуда взялось оно? «Кронштадтский вестник» первый напечатал его, остальные сразу же подхватили. По мнению Остен-Сакена, этот слух идет из Одессы...

— Надо действовать, — говорит он глухим голосом.

— Не послать ли запрос в Австралию? — предлагает один из членов совета.

— Это бесполезно, — говорит Семенов. — Еще в ноябре мы послали письмо в Батавию, научному обществу. Мы просили их сообщить, нет ли известий о Миклухо-Маклае в ближайших к Новой Гвинее голландских колониях. Однако до сих пор мы не получили ответа.

— Я сам поеду в морское ведомство. — Литке решительным взглядом обводит присутствующих. — Я буду требовать, чтобы оно послало телеграмму командующему Тихоокеанской эскадрой.

... Тихо в квартире Миклухо на Галерной. Екатерина Семеновна в тоске бродит по комнатам. Странной кажется ей эта тишина, пришедшая на смену молодым голосам, веселому смеху, привычной живой суете большой семьи. Как это случилось, что дети так быстро выросли? Сережа окончил юридический и живет теперь в Киеве. Миша уже поступил в Горный институт и уехал на летние каникулы к дяде на Украину. Володю редко отпускают из корпуса, а на будущий год он уже будет мичманом и уйдет в далекое плавание. Он мечтал встретиться с братом где-нибудь в Тихом океане. Перед отъездом Коли братья сговорились непременно отыскать друг друга. Но, видно, не сбудутся их мечты... Вот прошло уже больше месяца после сообщения в газетах, и до сих пор нет больше никаких сведений, опровергающих эти страшные слухи. Морское ведомство все еще медлит с отправкой судна на Новую Гвинею.

«Неужели нет надежды? Неужели мы больше никогда не увидим его? — спрашивает себя Екатерина Семеновна. — И никогда не узнаем правды!»

Она садится за письменный стол, привычным движением разворачивает географическую карту — по-прежнему свернутые трубочками, они заполняют весь стол, — но работа не клеится сегодня. С портрета в деревянной рамке из-под сурово нахмуренных бровей решительно смотрят на нее глаза любимого сына. Эта фотография снята перед самым отъездом на Новую Гвинею. Сколько хлопот, трудов и забот свалилось тогда на него! Как она боялась за его здоровье! А он успокаивал ее... Он всегда был добрым, нежным сыном. Но все же он должен был пожалеть себя, пожалеть мать, сестру... А Оля не верит в его гибель!

«Пора бы ей уже прийти!» — Екатерина Семеновна с беспокойством смотрит на часы.

Оля теперь дает уроки, занята целые дни. Здоровье ее тревожит Екатерину Семеновну. Этот сухой, отрывистый кашель по ночам... Надо бы ей поменьше работать, поберечь себя. Но Оля и слышать об этом не хочет.

Екатерина Семеновна снова берется за работу. Быть может, быстрее пройдет время. Но вот наконец знакомый звонок.

— Оля, милая, что так поздно?

— Сейчас расскажу, мама. — Оля снимает на ходу

шляпку. — Я задержалась в Географическом обществе... Нет, нет, не пугайся, ничего плохого, наоборот — скорее хорошее.

— Оленька!

— Во-первых, отдан приказ немедленно направить на Новую Гвинею клипер «Изумруд»; а во-вторых, сегодня получено письмо из Батавии. Оттуда сообщают, что во всех ближайших к Новой Гвинее пунктах никаких сведений о смерти Миклухо-Маклая нет. Так и написано, я сама читала. Письмо помечено третьим июня.

— Третье июня! С тех пор прошло два с половиной месяца!

— Не надо, мама! Мамочка! — Оля крепко обнимает мать. — Вернется наш Коля! Не может он умереть прежде, чем не увидится с нами, прежде, чем не закончит начатое дело! Я твердо верю в это, поверь и ты, мама! Только с такой уверенностью и можно жить!..

БЕРЕГ МАКЛАЯ

После трудного и опасного перехода по неизвестным водам, лавируя между коралловыми рифами, военный клипер «Изумруд» медленно входил в залив Астролябии. И чем ближе подплывал он к берегу Новой Гвинеи, тем большее волнение охватывало экипаж.

Жив ли Миклухо-Маклай, путешественник, которого матросы и офицеры хорошо помнили по тем мимолетным встречам, когда клипер «Изумруд» и корвет «Витязь» одновременно стояли в портах Рио-де-Жанейро, Вальпараисо, на островах Зеленого Мыса? Притихшие, словно ожидая чего-то необыкновенного, толпились на палубе офицеры, направив на берег бинокли и подзорные трубы. Один офицер, к которому товарищи то и дело обращались с вопросами, был, казалось, взволнован больше других. Он то опускал, то снова подносил к глазам бинокль, отирая пот, струившийся с лица, невпопад отвечая на вопросы. Это был Ракович, переведенный с «Витязя» на «Изумруд». Как человек, уже однажды побывавший в этих неизвестных, опасных местах, он мог оказаться полезным командиру клипера, а в случае смерти Миклухо-Маклая указать место, где должны быть зарыты его бумаги.

Весь экипаж «Витязя» оплакивал своего бывшего пассажира, когда было получено известие о его гибели. Богомолов чуть не заболел от огорчения, узнав, что на «Изумруд» назначен не он, а Ракович.

И вот теперь, приближаясь к берегу, на котором пятнадцать месяцев назад «Витязь» оставил своего пассажира, Ракович вспоминал первое знакомство с этим неприветливым, мрачным островом, встречу с папуасами, постройку хижины, прощание с путешественником. Приспустив флаг, Миклухо-Маклай отдал тогда салют уходящему «Витязю», и всем на борту стало не по себе, как будто они были в чем-то виноваты перед этим отважным человеком с бледным лицом и тихим голосом.

Все эти картины одна за другой теснились в памяти Раковича, он рассеянно слушал разговоры офицеров.

— Нет сомнения, он погиб, — говорили одни.

— Однако никто не знает, откуда взялось известие о его смерти, — возражали другие.

— Оно было напечатано в австралийской газете, — утверждали третьи. — Купеческое судно, побывавшее здесь, нашло в живых лишь слугу Маклая.

— Чего там гадать! Теперь уже близко, скоро узнаем.

«Да, теперь уже близко, — повторял про себя Ракович. — Вот здесь «Витязь» бросил якорь...»

— Я вижу! Там, там! — раздался вдруг отчаянный крик. И один из гардемаринов спрыгнул или, вернее, свалился откуда-то сверху чуть ли не на головы офицерам.

— Там, раз... раз... — повторял он, задыхаясь и показывая рукой на берег.

— Гардемарин Петров! Придите в себя! — прикрикнул на него командир. — Что вы видите?

— Там раз... развевается на дереве... — еле выговорил наконец гардемарин.

— Флаг! Тот самый, который мы ему оставили! Он жив! — закричал Ракович. — Скорее, скорее!

Точно повинувшись команде Раковича, клипер прибавил ходу. Показалась крыша дома.

— Быть может, только слуга остался в живых?

— Да, может быть.

— Люди на берегу!

— Туземцы!

— Две пироги отчалили от берега! Они плывут к нам! Пироги быстро приближались. Уже можно было раз-

личить гребцов, разукрашенных цветами и перьями. Но что это? В первой пироге стоял во весь рост человек в соломенной шляпе, рубаше, высоких штиблетах, с кинжалом и револьвером за поясом, с походной сумкой через плечо.

— Европейец!

— Настоящий Робинзон Крузо!

— Машет нам шляпой!

— Это не он!

— Это он! Маклай!

— Макла-ай! Ура-а!...

И далеко разнеслось дружное «ура».

— Ура-а! — с вант кричали матросы.

— Ура! — вторили им с мостиков офицеры.

А тем временем «Робинзон Крузо» приближался к судну, гребя единственным веслом, потому что гребцы, напуганные шумом и суматохой, бросились с остальными веслами в море и что было силы удирали к берегу.

Ошеломленный неожиданностью встречи, утомленный внезапно нахлынувшими воспоминаниями, новостями, приветствиями, расспросами, дружескими рукопожатиями, Николай Николаевич сидел за обедом в офицерской кают-компании. И все вокруг казалось ему таким странным, что иногда он ловил себя на мысли: уже не сон ли это?

Странно было видеть столько дружеских лиц, слышать родную речь, странно было сидеть на мягком диване, и странным на вкус казался суп, заправленный настоящей солью, а не морской водой, и чай с сахаром, которого он уже давно не пробовал.

Потрясенные офицеры слушали простой рассказ этого усталого, изможденного человека о его жизни среди дикарей.

— Удивительные вещи вы рассказываете!

— Похоже на сказку!

— Вы говорите, что туземцы называют вас человеком с луны?

— Да. При этом они убеждены, что луна и Россия — одно и то же. Вообще они немного преувеличенного мнения о моем могуществе. Несколько месяцев назад, например, мне чуть не пришлось ввязаться в междоусобную

войну. Дело кончилось благополучно, так как нападавшие, узнав, что Маклай против них, прекратили военные действия.

— Я все еще не могу поверить, что вижу вас! — повторял Ракович. — Какое счастье! Ведь у нас почти не было надежды... Хотелось бы поскорее сообщить витязям радостную весть.

— Не могу понять, откуда взялся этот слух, в котором, впрочем, нет ничего невероятного. Как видите, жизнь в здешних местах подвержена всяким случайностям. Достаточно одного неосторожного шага или даже жеста... Вы говорите, Михаил Николаевич, — прибавил он, обращаясь к командиру, — что получили телеграмму от морского ведомства? Стало быть, в Петербурге известно о моей «гибели»?

— Разумеется. Сообщение было напечатано в газетах.

— Это меня очень огорчает. Ведь у меня в Петербурге мать, сестра, братья...

— Из ближайшего же порта мы отправим им телеграмму. Надо поторопиться. Мы не должны задерживаться здесь. Переезжайте сегодня же к нам на клипер, Николай Николаевич. Мы постараемся вас удобно устроить, а перевозку вещей можно поручить офицерам. Они в точности выполняют все ваши распоряжения.

Николай Николаевич удивленно посмотрел на командира:

— А почему вы думаете, Михаил Николаевич, что я поеду с вами на клипере? Это далеко еще не решено.

— Признаться, мне и в голову не приходило, что вы захотите еще остаться здесь! — Командир пожал плечами.

— Все это для меня так неожиданно... Я не успел ничего обдумать. Если бы вы, Михаил Николаевич, сочли возможным уделить мне небольшой запас провизии и взяли моего слугу Ульсона и мои письма до ближайшего порта, я, пожалуй, предпочел бы еще остаться здесь и продолжать свои наблюдения. Мне предстоит еще много сделать по антропологии и этнологии папуасов.

Офицеры молча переглядывались. Должно быть, мозг путешественника не выдержал лишений, болезни, голода. Этого следовало ожидать...

— Поедьте с нами, Николай Николаевич! Вы убьете

себя, если останетесь здесь! Не делайте этого, умоляю вас! — горячо уговаривал его Ракович.

— Если бы у меня была надежда вновь посетить этот берег...

— Полагаю, что вы сможете вернуться сюда через некоторое время, если уж вы так стремитесь, — сказал командир. — Я слышал, что вскоре голландское судно отправляется в экспедицию с научной целью на Новую Гвинею. Без сомнения, голландцы не откажутся принять вас в качестве пассажира.

— Вот это меняет дело, Михаил Николаевич! Быть может, мне и стоило бы поехать с вами, чтобы привести в порядок свои заметки, а кстати и отдохнуть немного. Разрешите мне дать вам ответ завтра. Я должен многое обдумать.

РАЗЛУКА

Три ночи подряд гремят барумы в деревнях вокруг Гарагаси, созывая жителей на прощальные пиры в честь тамо руса. Три ночи тамо рус, прощаясь, ходит из деревни в деревню. Целые дни он занят сборами к отъезду, а ночи посвящает своим чернокожим друзьям. Туй, Лалу, Бугай, Бонем всюду сопровождают его, факелами освещая путь. Ноги стерты до ран, но он идет, преодолевая боль, потому что никого не хочет обидеть. А если иногда силы покидают его, друзья несут его на носилках из бамбуковых палок. Люди из самых отдаленных мест толпами спешат в Бонгу, Горенду и Гумбу, чтобы повидаться в последний раз с тамо русом.

— Не уезжай от нас! Не покидай нас! — молят они. — Кто защитит от врагов наших женщин и детей? Кто спасет нас, если случится тангрин — землетрясение? Мы знаем, у тебя в Гарагаси очень плохой дом — сквозь крышу протекает дождь, сквозь щели дует ветер. Но теперь в каждой деревне мы построим для тебя таль — просторный и светлый. Ты будешь приходить к нам в гости и сможешь ночевать в своем собственном тале, а мы будем приносить тебе аусь и сахарный тростник, бананы и таро. Остайся, Маклай, не покидай нас!

— Я так и знал, что ты уедешь, Маклай, — говорит Туй, едва удерживая слезы, — я понял это уже тогда,

когда увидел биарам боро — большой дым, который поднимался с моря. Ты сказал мне, что это жители Кар-Кара жгут унан, а я знал, что это не унан, а корвета рус, который пришел за тобой и который увезет тебя от нас на луну, в твою Россию.

— Что же делать, что же делать, Туй, — отвечает ему тамо рус, — я и сам рад бы остаться, но обстоятельства вынуждают меня уехать.

Если бы Туй мог понять, тамо рус объяснил бы ему, что он принял это решение лишь потому, что надеется вскоре снова вернуться сюда и продолжать свои исследования; что ему непременно надо отдохнуть и хоть немного восстановить свое расстроенное здоровье; и, наконец, что «Изумруд» может простоять на Новой Гвинее только три-четыре дня, а за такой короткий срок невозможно привести в порядок черновые заметки, составить отчет в Географическое общество, написать академику Бэру об антропологии папуасов. Все это очень трудно объяснить папуасам.

— Я вернусь, я непременно вернусь к вам, друзья! — говорит им тамо рус. — Вы ведь знаете, слово Маклая — одно!

— Слово Маклая — одно, балал Маклай худи! — успокаиваясь, повторяют папуасы. — Мы верим тебе, Маклай!

Они верят Маклаю. Они так верят ему, что, пересиливая страх, решаются подплыть к «Изумруду», а несколько человек — самых отважных — даже поднимаются на палубу. Правда, для этого тамо рус должен подпоясаться веревкой, и, лишь держась за концы ее, папуасы чувствуют себя в безопасности. Офицеры и матросы «Изумруда» с изумлением наблюдают эту необычайную картину. Тамо рус водит своих друзей, терпеливо объясняя им назначение различных предметов, а они с детским любопытством разглядывают машины, смотрятся в зеркала, стучат по клавишам рояля, с опаской обходят страшные дула пушек.

— Топор, гвоздь, бутылка! — в восторге кричат они по-русски при виде вещей, с которыми впервые познакомились в доме Маклая и названия для которых еще нет в папуасском языке.

— Буль! Большая свинья! С зубами на голове! — в изумлении перешептываются они возле клетки с бычком,



Дерево с медной доской, прибитой
в память пребывания Н. Н. Миклу-
хо-Маклая в Гарагаси.

который путешествует на «Изумруде» в качестве живого запаса провизии для команды.

— Бик, бик, — повторяют они вслед за Маклаем, стараясь запомнить название этой странной буль борорус — большой русской свиньи.

Наступает день разлуки. Папуасы растерянно бродят вокруг опустевшей, полуразрушенной хижины, разглядывая прибитую к дереву медную доску с непонятной для них надписью:

Витязь. Сент. 1871.

Миклухо-Маклай.

Изумруд. Дек. 1872.

Не решаясь подплыть близко к судну, они с берега смотрят на палубу и среди толпящихся на ней чужих людей видят лишь знакомую фигуру в соломенной шляпе.

— Э-ме-ме, Макла-ай! Э-а-ба! Возвращайся скорее!

— Э-а-ба, я вернусь! Я непременно вернусь!

«Изумруд» снимается с якоря. Далекие удары барума доносятся из деревень, возвещая о том, что человек с луны покинул берег, который на всех географических картах отныне будет называться Берегом Маклая.





ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАН

Петербург. Ясный апрельский день. В весеннем прозрачном воздухе блестит, поднимаясь над городом, тонкий шпиль Петропавловской крепости. Нева вскрылась, и грязно-серые льдины весело несутся вниз по течению, обгоняя друг друга, кружась и с треском ломаясь. Мосты разведены. Народ толпится на набережных. Мальчишки, облепив парапеты, свесившись вниз, часами следят за ледоходом.

По Английской набережной, пробиваясь сквозь толпу, торопливо шагает почтальон. Сегодня в его сумке необычная почта — два конверта, сплошь покрытые иностранными печатями. Он знает, с каким нетерпением ждут этих писем в доме № 18 по Галерной улице. Не раз случалось ему видеть, как в усталых глазах маленькой

седой женщины надежда сменялась горьким разочарованием, когда, перебирая почту, она не находила письма, которого ждала с таким волнением. Старый почтальон и рад бы услужить ей, но — увы! — это не в его власти. И вот наконец!

Почтальон поднимается по лестнице. Третий этаж. Слышно, как по квартире разносится дребезжащий звук колокольчика. Торопливые шаги.

— Вот, извольте! Послал бог радости!

Он видит, как дрожит протянутая рука, вспыхивает бледное лицо. Тихонько закрыв за собой дверь, почтальон медленно спускается по лестнице.

А Екатерина Семеновна долго стоит неподвижно, не в силах оторваться от знакомого почерка, которого не видела, кажется, целую вечность.

«Остров Тернате, 5 февраля...» В комнате светло, но она подходит ближе к окну, отодвигает занавеску. Февраль... Письмо шло больше двух месяцев. Быть может, сын уже в пути. Ведь она так просила его вернуться домой.

«Письмо ваше получил. Оно меня очень порадовало. Хотелось бы мне очень хотя бы на короткий срок повидать вас, но придется еще подождать. — Листок дрожит в руке, мелкие буквы плывут, как в тумане. — Неужели вы бы захотели, чтобы я начатое бросил, захотели бы, чтобы оправдалось мнение многих, что русский человек хорошо начинает, но у него не хватает выдержанности, чтобы так же кончить. Как только смогу — сейчас же к вам! Слова никогда не забываю. О пятнадцати месяцах очень трудной жизни на Новой Гвинее прочтете в письме моем Географическому обществу. Замечу только, что благодаря моей нервной и крепкой натуре, которую вы понимаете, потому что сами обладаете ею, я перенес все хорошо, здоров и готов на все, что потребуется для новых путешествий и исследований».

Значит, разлука еще не кончилась. Сын не захотел послушать ее совета, не захотел приехать домой, повидаться с матерью, сестрой, братьями; пожить с ними; посидеть вот здесь, за этим столом, в этих комнатах; полюбоваться из окон Невой, в прохладном Петербурге отдохнуть от палящего зноя тропиков, от дикарей; поправить расстроенное здоровье. Он успокаивает, пишет, что здоров, но разве чужие люди в далеком краю позаботятся

о нем так, как это сделала бы она! Впрочем, на что она надеялась? Разве она не знает своего сына? «Слова никогда не забываю»! А ведь он и не обещал вернуться ранее, чем через три года.

«Я останусь еще в этих странах около года, потом побываю в Австралии и вернусь на каком-нибудь из русских военных судов... Мне удалось многое сделать по разным отраслям науки, не говоря уже о счастье, доставшемся мне на долю, наблюдать и жить посреди самого первобытного из человеческих племен, потому что до меня никто положительно не был в этом месте Новой Гвинеи, и папуасы воображали себя единственными жителями земного шара».

Все тот же Коля! Ничто не изменило его. Чего бы она не отдала, чтобы хоть взглянуть на него, услышать любимый тихий голос.

Бегут минуты, движутся стрелки на стенных часах. Екатерина Семеновна не замечает времени. Вновь и вновь перечитывает она эти дорогие ее сердцу строки. Но вот в передней раздается звонок. Это Оля. Бедная девочка, она так ждет брата!

— Оленька, вот, наконец-то! — Екатерина Семеновна протягивает дочери письмо.

Лицо Оли вспыхивает, потом бледнеет. Счастливая минута. Она так долго ждала ее.

«Хорошо, что продолжаешь рисовать! Не ленись! Не хорошо так много думать обо мне и все ждать меня! Кончу что начал — сейчас приеду...»

Оля растерянно проводит рукой по лбу, машинально поправляет непослушную прядь волос. Значит, напрасны были их надежды. Снова все ждать да ждать!

«Думаю, что и в тебе есть решимость и воля достичь того, что назначил себе; уныние и малодушие ведут только к самой глупой жизни... Придумай для матери и для себя какое-нибудь подходящее хорошее местожительство, непременно в деревне, не близко от города.

Увидишь, какое громадное влияние имеет на человека окружающая природа... Володе скажи, чтобы приезжал за мною в Японию; Мише, чтобы рисовал и читал; наука и стремление двигать ее — хорошая вещь в жизни. Знаю по опыту».

Оля поднимает глаза, встречает печальный взгляд матери.

— Не надо грустить, мама! — Она нежно обнимает Екатерину Семеновну. — Коля прав. Ведь и мы с вами не захотели бы, чтобы он бросил начатое, чтобы пропали его труды, пропало справедливое дело. Еще совсем недавно мы с вами желали только одного: узнать, что он жив. Этого нельзя забывать, мама! Он жив, он вернется к нам как только сможет, и мы должны помогать ему, а не мешать. Терпели долго, потерпим еще!

— Ты права, Оленька, тысячу раз права! — С удивлением, с гордостью Екатерина Семеновна смотрит на дочь. Когда она успела вырасти? Кажется, только что бегала с бантом на пушистой головке.

«Он жив, слава богу!»

Никогда не забыть того полного тоски и отчаяния времени, когда не оставалось уже почти никакой надежды. Никогда не забыть того зимнего февральского дня, когда в распахнутой шубке, вся запорошенная снегом, Оля влетела и, схватив в объятия мать, закружилась с нею по комнате. И радостные слезы вместе с таявшими снежинками текли по ее покрасневшимся щекам...

В тот день морским ведомством была получена от командира клипера «Изумруд» телеграмма, в которой сообщалось, что путешественник жив и найден на Новой Гвинее.

— Ты права, Оленька! Мы должны ждать. Мы будем терпеливы.

СЛАВА

Долог путь русского военного клипера «Изумруд». Новая Гвинея, Молуккские острова, Филиппинские, Малые Зондские, Большие Зондские.

На Новой Гвинее клипер простоял всего лишь пять дней, а по уходе почти весь экипаж заболел лихорадкой — восемьдесят четыре матроса, пятнадцать офицеров. Стоны, пылающие лица, безумные глаза, возгласы: «Пить, пить!»

Надеясь, что перемена климата прекратит вспышку этой изнурительной болезни, командир клипера, капитан Кумани, отдает приказ взять курс на север, и «Изумруд» из Тернате направляется к Филиппинским островам.

И лишь человек, проведенный на Новой Гвинее не пять дней, а пятнадцать месяцев, спокойнее и бодрее всех. В промежутках между приступами лихорадки он ухаживает за больными, составляет для Географического общества отчет о своем пребывании на Новой Гвинее; пишет статью об антропологии папуасов; во время стоянок клипера предпринимает экскурсии в глубь островов. Несмотря на печальные обстоятельства, он не может скрыть своей радости, когда «Изумруд» берет курс на Филиппинские острова. Быть может, теперь удастся наконец ответить на вопросы академика Карла Бэра, включенные в программу исследований. «Я бы советовал вам заехать на Филиппинские острова, — писал тогда Бэр, — и отыскать там остатки черного первобытного населения, тщательно их исследовать и употребить все возможное старание, чтобы привезти с собой несколько черепов».

Действительно ли негритосы Филиппинских островов брахицефалы, то есть имеют укороченную форму черепа? Принадлежат ли они и папуасы к одной расе? Вот два основных вопроса, на которые ждал ответа Карл Бэр.

Пока «Изумруд» стоит на рейде в Маниле, Николай Николаевич переплывает на туземной рыбацкой пироге Манильский залив и отправляется с проводником в горы острова Люсона. Здесь находятся кочевья первобытного племени негритосов. Два с половиной дня он проводит в негритосской переносной деревеньке, состоящей из нескольких шалашей, крытых пальмовыми листьями; знакомится с населением, которое встречает его приветливо и радушно; с их образом жизни, языком, привычками; рисует их портреты; измеряет им головы; любителю плясками и слушает их песни, уносящие его к людям, которых он полюбил, на берег, ставший милым его сердцу, — Берег Маклая.

Он возвращается на борт «Изумруда» и немедленно принимается писать ответ Карлу Бэру.

«Первого взгляда на негритосов мне было достаточно, чтобы признать их за одно племя с папуасами, с которыми я прожил пятнадцать месяцев на Новой Гвинее... Не только их лица, но и их обращение с женщинами и детьми, манера говорить, сидеть, их пляски и песни живо напоминали мне папуасов Новой Гвиней... Я думаю, что между многими разновидностями папуасского племени находятся и такие, которые, подобно негритосам Люсона,

брахицефальны или у которых размеры черепа приближаются к брахицефальной форме».

Он пишет эти строки в маленькой каюте «Изумруда». А слава, опередив его, уже летит по всему миру.

«Миклухо-Маклай и его слуга найдены живыми на острове Новая Гвинея» — телеграмма, посланная капитаном Кумани морскому ведомству, на другой же день появляется во всех петербургских газетах. В Австралии, в Европе, в Азии — повсюду разносится весть о чудесном спасении и возвращении русского путешественника, прожившего пятнадцать месяцев среди самых страшных дикарей, в местах, где до сих пор не осмеливался высадиться ни один мореплаватель.

И все двери открываются перед этим человеком. В течение восьми дней пышно и торжественно принимает его в своем дворце султан Тидорский и в знак дружбы дарит ему папуасского мальчика Ахмата, а своему сыну, новорожденному принцу, в честь гостя дает имя «Маклай». Вице-король Кантонский приглашает его к себе, а на следующий день сам отдает ему визит с «настоящими китайскими церемониями». Редко кому выпадает на долю видаться с этим высоким мандарином. Генерал-губернатор Голландской Индии, обладающий здесь неограниченной властью, оказывает ему покровительство и гостеприимство. Экипаж «Изумруда» гордится своим пассажиром. И лишь он сам сдержанно и подчас иронически относится ко всем этим пышным знакам внимания, поклонам, уверениям, любезностям.

«Меня везде в высшей степени любезно и предупредительно встречают, так как много здесь болтали в прошлом году о моем путешествии и предполагаемой смерти».

«Благодаря разным английским газетам, которые меня сперва похоронили, а потом возвестили о моем воскрешении из мертвых, все стараются знакомиться со мной, что доставляет мне иногда изрядную скуку».

«Губернатор принял меня с особой любезностью, что мне было бы совершенно индифферентно, если бы он и его семья не оказались людьми очень симпатичными, что меня отчасти удивило, так как его здесь, в колониях, очень боятся».

Скупыми, сдержанными словами говорит он о своей шумной известности в письмах к матери и Мещерскому.

Все это интересует его, лишь поскольку может служить дальнейшим его планам.

А планов много — хватило бы только сил и здоровья! В недалеком будущем он предполагает отправиться на юго-западный берег Новой Гвинеи — Папуа-Ковиай, еще почти не исследованный. Голландские военные корабли хоть и заходили туда, но ни один европеец не провел там достаточно времени, чтобы ознакомиться с жителями. Слава их — самая дурная, но ведь это никогда не останавливало Николая Николаевича. Ближайшая его задача — изучить антропологию и этнологию туземцев, сравнить их с жителями северо-восточного берега Новой Гвинеи — Берега Маклая. Пользуясь своим опытом, он сможет теперь в более короткий срок познакомиться со своими будущими соседями.

Через несколько месяцев в эти края предполагается голландская экспедиция. Николай Николаевич надеется присоединиться к ней. Он уже заручился согласием генерал-губернатора: «Г-н Маклай будет на голландском военном судне *most welcome guest* — самым желанным гостем».

«Апрель, не помню которого. 1873 год, — пишет он из Гонконга Мещерскому. По-видимому, в хлопотах нет даже времени заглянуть в календарь. — Я бы так много мог передать вам, но писать положительно трудно при моей деятельной жизни, которую веду со времени ухода из Новой Гвинеи. Хотелось бы очень провести хотя бы денек с вами!.. Пишите! Моя участь решена: я иду — не скажу, по известной дороге (дорога — это случайность), но по известному направлению, и иду на все, готов на все. Это не юношеское увлечение идеей, а глубокое сознание силы, которая во мне растет, несмотря на лихорадки. Про удовлетворение этого стремления говорить нечего: его нет и быть не может. Приходится довольствоваться тем, что можешь сделать.. Я предприму в конце 1873 года вторую экспедицию на Новую Гвинею. О подробностях узнаете из газет. Пришлите мне вырезки из русских газет о моей смерти; говорят, что где-то помещали мой некролог».

По всему миру летит слава русского путешественника, а денег по-прежнему нет, по-прежнему тяжелым грузом лежит на нем забота о «глупых грошах», от которых зависит успех его научных исследований.

И снова с болью в сердце приходится обращаться к матери:

«Мне неприятно и тяжело быть в необходимости писать вам, дорогая моя, о деньгах... Но, видя успех моих предприятий в научном отношении и чувствуя силу идти на все, мне очень не хотелось бы зависеть от кого-нибудь, кроме вас, касательно этих глупых грошей! Помню и знаю очень хорошо, что я больше всех между братьями тратил и трачу. Эта мысль, не зная положения ваших дел, становится мне с каждым годом тяжелее».

«Пожалуйста, узнайте от моих, высланы ли деньги,— просит он Мещерского. — У меня нет более ни гроша. К тому же здесь — хотя все и кланяются и уверяют в уважении, почтении, удивлении и симпатии ко мне — обращаться за деньгами мне было бы крайне трудно и прискорбно. Я к тому же болен (лихорадка, ревматизмы)».

Однако ни болезнь, ни нужда не могут остановить Николая Николаевича. Он готов к новым трудностям, к новым испытаниям. Отдохнуть, набраться сил — и в дорогу!

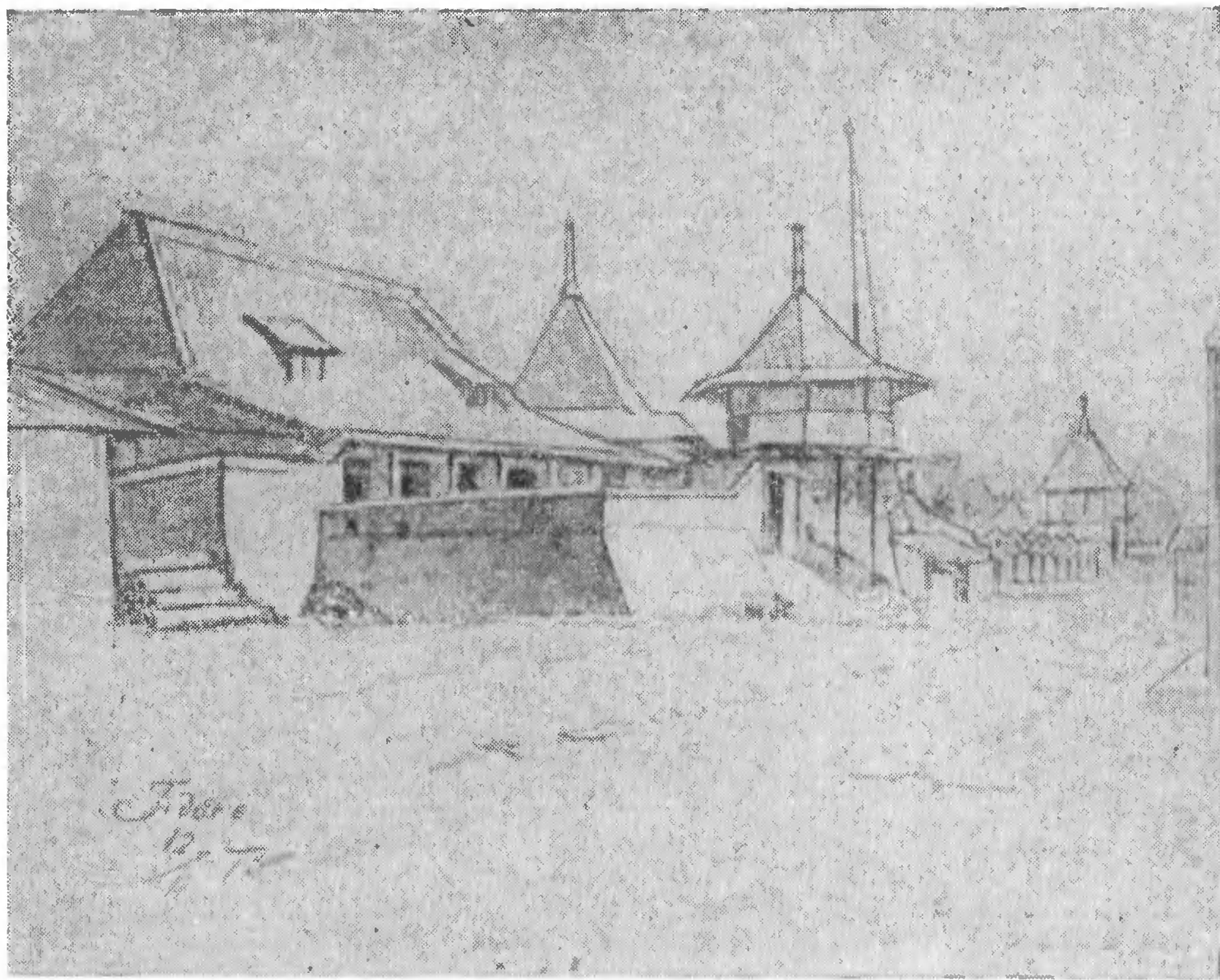
АХМАТ

«Мы, Али, султан Тидорский и пр. и пр., настоящим удостоверяем, что предъявитель сего русский путешественник г-н Маклай получил от нас в полную собственность папуасского мальчика, по имени Ахмат, десяти лет от роду.

Отныне мальчик этот обязан во всем повиноваться своему новому господину, всюду сопровождать его и служить ему верой и правдой в течение всей своей жизни.

Дано сие в Тидоре, января 20-го, 1873 года».

Так появился у Ахмата новый хозяин. До сих пор хозяев у него было много, и самым главным из них был султан Тидорский. Но он-то как раз доставлял Ахмату меньше всего огорчений. Ахмат видел его редко. Хуже были другие: повар, садовник, дворцовые слуги, надсмотрщики на плантации. То надо было принести на кухню перцу, или гвоздики, или мускатного ореха, то поливать цветы в саду, то заменить заболевшего рабочего



Улица в Тидоре.

на рисовых плантациях. Иной раз он не успевал поестъ, а по вечерам валился от усталости, засыпая где-нибудь на голой земле.

Ахмат не был лентяем. Если работа ему нравилась, он выполнял ее охотно и старательно. Но уж если ему что-нибудь было не по душе, ничто не могло удержать его — он убегал и прятался, не страшась ни угроз, ни побоев, которыми угощали его многочисленные хозяева.

Родителей своих Ахмат не помнил. Все его товарищи росли так же, как и он, терпели голод и побои, спали на голой земле, и ни у кого из них не было родителей.

Разве мог знать Ахмат, что он, так же как и другие дети, был похищен во время набегов тидорцев на соседние острова; что набеги эти, так называемые хонгии, под видом сбора дани совершались для того, чтобы похищать туземцев, обращать их в рабство и, таким образом,

доставлять бесплатных работников для султана Тидорского; что гонимые страхом туземцы, не зная покоя, скитались в своих маленьких лодках из одной бухты в другую, боясь подолгу оставаться на одном месте.

Какова была судьба родителей Ахмата? Быть может, они продолжали скитаться, быть может, были похищены и проданы в рабство, быть может, убиты? Ахмат ничего не знал. Он работал, терпел колотушки, и ему даже во сне не снилось, что жизнь его может когда-нибудь перемениться.

И все же она переменялась. Это началось с того дня, когда в дворцовом саду он встретил иностранца с белым лицом и вьющимися каштановыми волосами. Он столкнулся с ним на дорожке и от неожиданности чуть не уронил с головы тяжелую корзину с фруктами. Первым побуждением Ахмата было бежать без оглядки, но вместо этого он стоял неподвижно, открыв рот от изумления. А незнакомец тем временем подхватил корзину и помог донести ее до кухни. На прощание он ласково улыбнулся Ахмату, знаками показал, что не сделает ему ничего дурного, и потрепал по курчавой голове. Тут только Ахмат решился заглянуть ему в глаза, но тотчас же поспешно отвел взгляд. Таких светлых, голубовато-серых глаз он еще не видел ни у одного человека.

После этого случая Ахмат стал часто встречать иностранца. Как нарочно, он постоянно попадался ему на дороге. То поможет поднять тяжелую корзину, то вместе с ним собирает мускатные орехи, то вдруг начнет измерять ему голову, грудь, плечи, то внимательно перебирает и рассматривает его курчавую шевелюру. Ахмат снисходительно относился к причудам своего нового знакомца. Он знал теперь, что иностранец и был тот самый Маклай с Новой Гвинеи, который гостил во дворце султана Тидорского и о котором так много говорили на кухне.

Гость с Новой Гвинеи пробыл во дворце султана восемь дней, а на девятый взял Ахмата за руку и отвел на корабль, который унес их в широкое море, оставив далеко позади берег Тидора, и сверкающий на солнце белый дворец султана, и трудное, безрадостное детство Ахмата.

Как и почему это произошло, Ахмат не знал и не спрашивал. Но теперь у него был один-единственный

хозяин — Маклай, был большой плавучий дом «Изумруд» и два закадычных друга: черный лохматый пес Изумрудка, принадлежавший команде, и маленькая южноамериканская обезьянка Манька.

Манька уже два года жила на «Изумруде» и была общей любимицей. Капитан Квашнин купил ее у английского матроса. «Monkey» — по-английски значит «обезьяна», а русские матросы тотчас же переименовали ее в Маньку. В знак особого внимания капитан Квашнин подарил ее Маклаю. К Ахмату Манька с первых же дней знакомства отнеслась покровительственно и дружелюбно. Она взбиралась к нему на плечо, быстро перебирала пальчиками его густую курчавую шевелюру, бесцеремонно засовывала ему палец в рот, закатывала глаза, уморительно цокала.

И среди матросов у Ахмата было теперь много приятелей. Когда «Изумруд» отплыл от берегов Тидора, многие еще не оправились от лихорадки. Ахмат носился от одного больного к другому, поднося кружку с водой к запекшимся губам, поддерживая пылающие головы, укрывая одеялами людей, дрожавших в жестоком ознобе.

— Спасибо, братишка! — говорили одни, более молодые.

— Спасибо, сынок! — говорили другие, постарше — бородатые и усатые.

Ахмат понимал, что они благодарят его, хотя и не знал еще тогда русского языка. Впрочем, научился он говорить по-русски быстро. Учителей у него было много. И Маклай, который каждый день задавал ему урок, а потом никогда не забывал спросить, и офицеры, и матросы, которым это занятие доставляло видимое удовольствие.

— А ну, что это такое? — спрашивает усатый боцман, тыча пальцем в жестяную кружку.

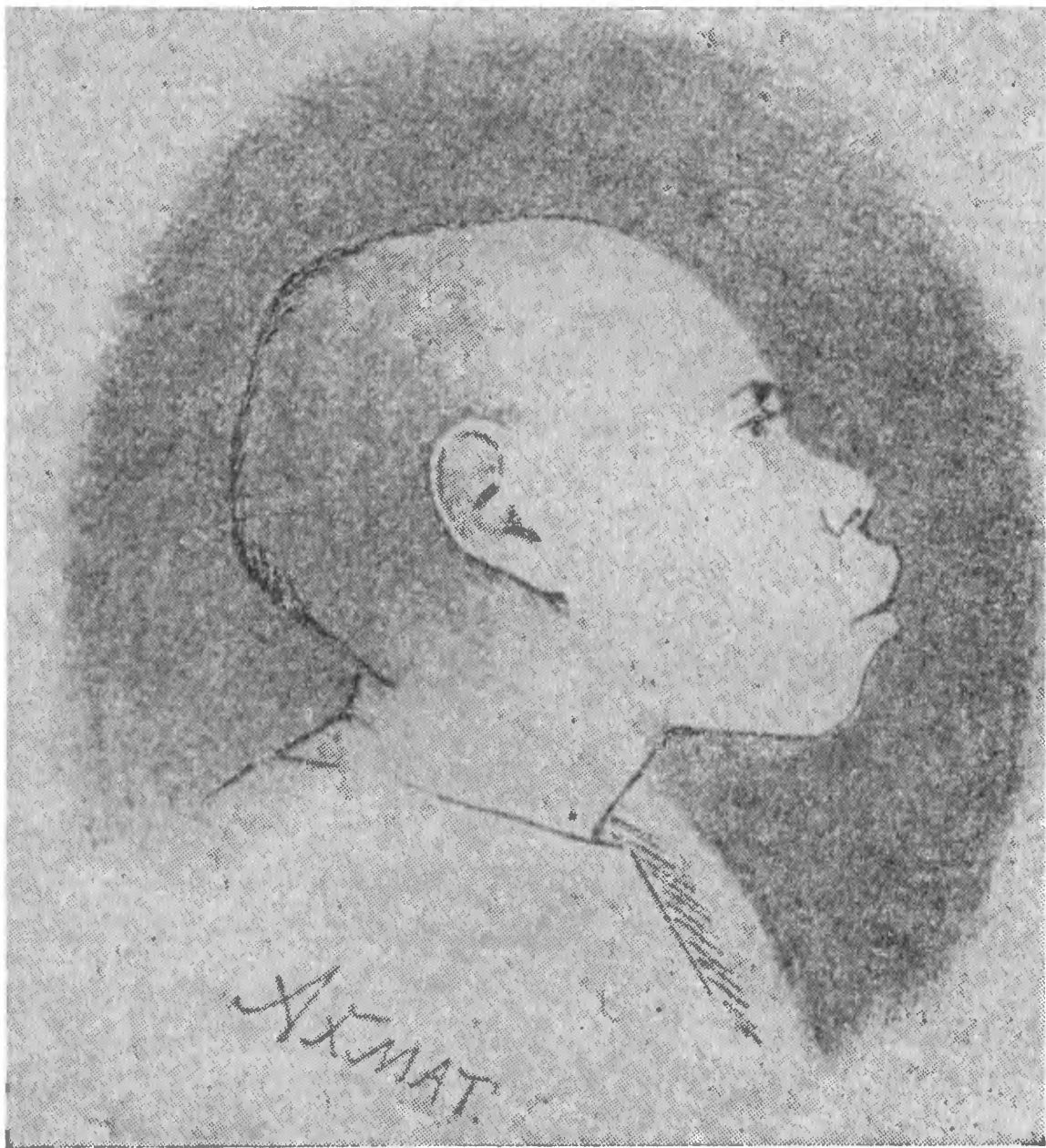
— Клуска, — бойко отвечал Ахмат.

И боцман одобрительно хлопал его по спине.

— Смышленный парень, честное слово! — говорил он. — А это что такое? А это? ..

Так продолжалось до тех пор, пока Ахмату не надоело отвечать и под каким-нибудь предлогом, а иногда и без предлога он исчезал из-под самого боцманского носа.

Новый хозяин никогда не бил Ахмата, но, странное



Маленький друг Ахмат.

дело, послушаться его было почему-то труднее, чем повара, садовника и даже надсмотрщика на плантациях. Это не значит, что Ахмат всегда слушался своего хозяина. Он по-прежнему не любил делать того, что было ему не по нраву. Однако светлые глаза Маклая почему-то смущали его. Иногда он искренне желал, чтобы, как в былые времена, ему дали тумака или посадили фонарь под глазом. Любил ли Ахмат своего хозяина? Над этим он не задумывался. Но часто он видел сны, в которых злой и коварный враг нападал на Маклая, а он, Ахмат, защищал его с оружием в руках. Издав воинственный клич, он бросался на поверженного врага, а проснувшись, видел склонившегося над ним Маклая, который тормозил его, добродушно приговаривая:

— Ну-ну, полно, Ахмат! Опять тебе какая-то ерунда приснилась.

Были и другие сны. Отражая атаки врага, Ахмат получал иногда яростный удар в грудь и падал, готовый умереть за своего хозяина. Открыв глаза, он обнаруживал, что противником была всего лишь обезьянка Манька, которая, раскачавшись, прыгала откуда-то сверху прямо на грудь своему приятелю. Ахмат гладил Маньку и рассказывал ей на ухо о том, как он только что спас жизнь Маклаю. Манька внимательно слушала и понимающе моргала своими карими глазками.

БЕЗ ЗАБОТ

Небольшой горный городок Бюйтензорг расположен на острове Ява близ столицы голландских колоний Батавии.

Buiten-zorg означает по-голландски «без забот». Это название как нельзя больше подходит к этому светлему городу, с чистым, целительным воздухом, с садами и тенистыми парками. Бюйтензорг совсем не похож на болотистую, туманную, сырую Батавию, которую недаром еще в XVIII веке прозвали «могилой европейцев». Должно быть, именно по этой причине резиденция генерал-губернатора находится в Бюйтензорге, тогда как все правительственные учреждения сосредоточены в Батавии.

Огромный белый бюйтензоргский дворец стоит в тенистом парке, к которому примыкает ботанический сад. Вокруг дворца в парке разбросано много павильонов. Они расположены далеко один от другого, так что при желании обитатели их могут никогда не встречаться друг с другом. В одном из таких павильонов — самом уединенном — по приглашению генерал-губернатора Лаудона живет Николай Николаевич Миклухо-Маклай со своими спутниками: мальчиком Ахматом и обезьянкой Манькой.

В конце мая клипер «Изумруд» зашел на Яву, чтобы высадить своего единственного пассажира. Но еще задолго до этого времени долетела сюда слава Миклухо-Маклая. Когда генерал-губернатор узнал, что в маленьком домике на окраине Бюйтензорга поселился русский путешественник, он немедленно направил к нему своего адъютанта с настоятельной просьбой переехать во дворец.

— Господин Маклай, — передал адъютант, — сможет по своему вкусу выбрать помещение, где никто его тревожить не будет, где он будет совершенно свободен и, если пожелает, сможет даже ни с кем не видеться.

Николай Николаевич подумал и принял приглашение.

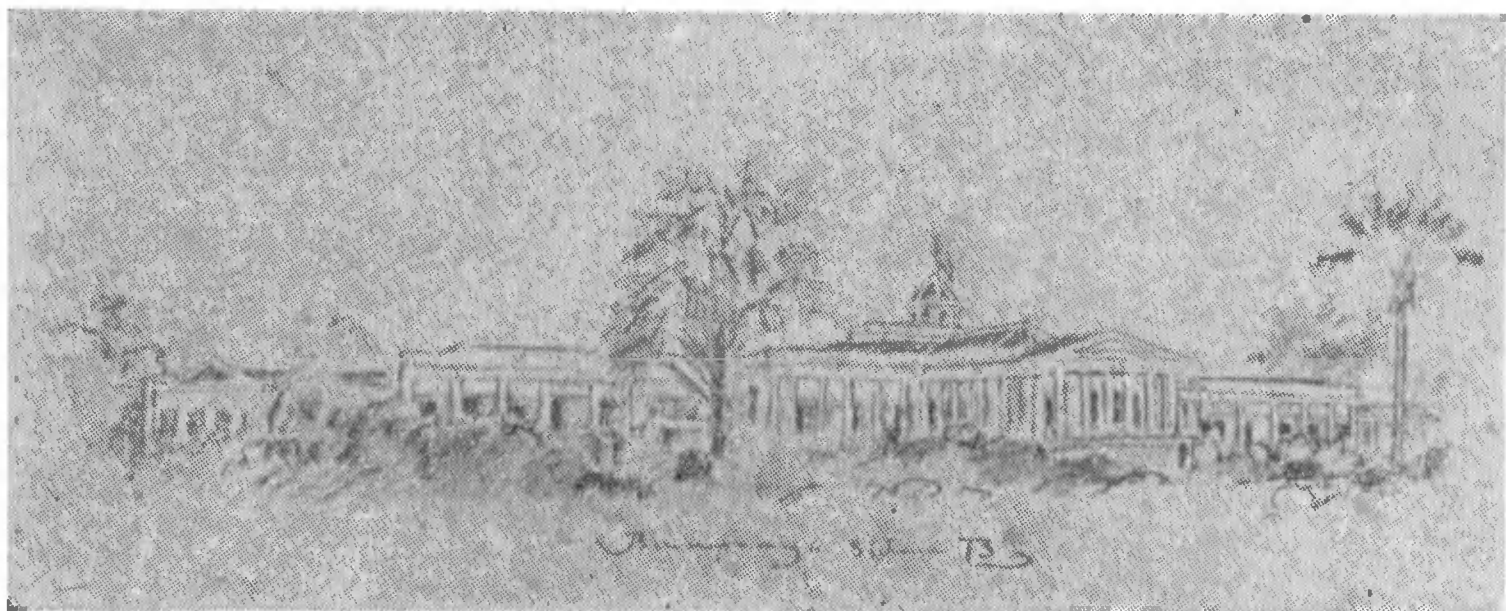
— Надо сознаться, Ахмат, здесь не так уж удобно, — сказал он своему маленькому слуге, задумчиво обводя взглядом низкие комнатки. — Тесно, душно, за обедом ходить далеко. Да еще эта лихорадка, ревматизм. А из России ни писем, ни денег. Кто знает, быть может, и в самом деле нам удастся пожить без забот. Как ты думаешь? Этот домик я пока оставляю за собой...

— Маленький иностранец уезжает, маленький иностранец уезжает от нас! — провожая карету, кричали мальчишки, собравшиеся со всей улицы.

Новый жилец за короткое время успел завоевать их доверие и дружбу. Школьники, рано утром отправляясь в классы и возвращаясь после занятий домой, делали крюк, чтобы пройти мимо его домика и заглянуть через забор. Он зазывал их к себе, показывал фокусы, а черный мальчик приносил клетку с уморительной обезьянкой.

И вот «маленький иностранец» живет во дворце генерал-губернатора. Так же быстро, как буйтензоргских ребятишек, он покори́л все семейство Лаудонов. Сам генерал-губернатор, его жена и пять дочерей души не чают в своем госте. Уже после первых дней знакомства им начинает казаться, что они давным-давно знают и любят его. С удивлением убеждаются они, что этот тихий, скромный человек умеет прекрасно держаться в обществе, что он обладает неисчерпаемым запасом какого-то особого, ему одному присущего юмора, которым проникнуты все его интереснейшие рассказы. Они и сами не заметили, как чужестранец из далекой, загадочной страны, о которой они имели лишь смутное представление, стал их лучшим другом. Им хотелось бы, чтобы этот больной, усталый человек чувствовал себя у них как дома. По молчаливому уговору лишь ему одному разрешено не подчиняться правилам этикета, которые строго соблюдаются в буйтензоргском дворце.

После обеда, когда гости удаляются, он на правах близкого друга семьи остается в гостиной и охотно слушает игру на рояле старшей дочери генерал-губерна-



Буйтензорг.

тора — Адриенны, которая мечтает стать настоящей пианисткой, и забавную болтовню младшей — восьмилетней Мэри.

И сам путешественник удивлен не меньше своих хозяев. Он никак не ожидал встретить такое внимание и заботу со стороны чужих людей, да еще в семье генерал-губернатора, перед которым трепещут, который здесь, в колониях, пользуется неограниченной властью. После трудной жизни на Новой Гвинее, после долгого, утомительного плавания Николай Николаевич словно попал в волшебную страну, где угадывается и тотчас же исполняется каждое его желание. В любую минуту к его услугам карета или лошадь для верховой езды, а главное — книги! Книги, которые он может беспрепятственно брать в батавской библиотеке!

— Вот мы с тобой и живем без забот. Не правда ли, Ахмат? Однако времени для отдыха у нас мало. Надо торопиться.

Надо торопиться, а работа идет медленно. Несмотря на отдых, здоровье не восстанавливается, приступы лихорадки не прекращаются, мучат ревматические боли. И все чаще приходит в голову грустная мысль, что надо подготовить мать и сестру «ко всякой случайности».

Директор буйтензоргского Ботанического сада Шеффер помогает Николаю Николаевичу разбирать новогвинейские коллекции. Вдвоем работа идет лучше — удалось уже определить немало видов растений, вывезенных

с Берега Маклая. В особенности заинтересовало доктора Шеффера растение кеу, из листьев которого черные друзья Николая Николаевича добывают свой любимый темно-зеленый напиток.

Незаметно проходит день в Бюйтензорге. В 7 часов вечера обед, и ничего не поделаешь, чтобы не огорчать добрую госпожу Лаудон, приходится надевать фрак, лакированные ботинки, завязывать белый галстук и натягивать лайковые перчатки. Ахмат с сочувствием смотрит, как, кряхтя и вздыхая, Николай Николаевич совершает этот сложный обряд.

— Ничего, Ахмат, в конце концов это не такое уж большое неудобство. Наши хозяева так добры, они прощают мне многое. А кроме того, я надеюсь, что скоро мы с тобой снова отправимся в страны, где нет ни фраков, ни белых перчаток. По правде говоря, я уже начинаю скучать по этим странам.

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА

Давнишней мечтой Екатерины Семеновны было имение на Украине. Еще в первые годы замужества Николай Ильич привозил ее к себе на родину, в Стародуб, Черниговской губернии, и в Нежин, где он учился в лицее. Он рассказывал ей о своем детстве, о юности, они бродили по зеленым улицам, среди фруктовых садов; любовались морем желтых подсолнухов, выше человеческого роста; слушали певучую украинскую речь и строили планы будущей жизни. Они мечтали, что накопят деньги и купят имение с большим фруктовым садом. А за садом — степь, непременно степь, — так хотелось Екатерине Семеновне. Они будут приезжать с детьми, а потом, быть может, и совсем переселятся в свое имение, если Николаю Ильичу удастся переменить службу.

Но время шло, денег было мало, а северная природа села Рождественского хоть и не напоминала украинскую, но все же имела свою прелесть. И Екатерина Семеновна убеждала себя, что эта природа даже ближе ей — уроженке Воробьевых гор.

А потом — серое петербургское небо, болезнь и смерть мужа, маленькие дети, которых нужно было вырастить и воспитать, постоянные заботы, неустанный труд. И меч-

ту о фруктовом саде, о степных просторах, о подсолнухах пришлось похоронить вместе с молодостью.

Но вот дети выросли, разбрелись по свету, дома осталась только дочь. И Екатерина Семеновна снова стала возвращаться к своей давнишней мечте. Все сбережения, как и при жизни Николая Ильича, были вложены в акции пароходного общества «Самолет». Понемногу сбережения эти таяли, и наилучший способ сохранить их, а быть может, и увеличить Екатерина Семеновна видела в покупке имения.

А тут еще Коля в каждом письме настойчиво советовал уехать из Петербурга, переменить климат, поселиться где-нибудь на юге. Правда, он имел в виду Италию, мечтал пожить там с матерью и сестрой, предлагал снять или купить «хоть полуразвалившуюся» виллу где-нибудь под Флоренцией или на Капри. «В Италии не дороже жить, чем в Петербурге,— убеждал он их.— Там не нужно дров и нужно меньше тряпок, хотя, я знаю, вы обе этим добром не изобилуете».

Екатерина Семеновна только качала головой, читая эти письма, и говорила с доброй улыбкой:

— Узнаю Колю! Он весь в этих строках! Для него Италия, Новая Гвинея, Австралия — всё рукой подать!

Украина — это было реальнее. Тем более, что старший сын Сергей жил и работал теперь в Киеве. Он мог посодействовать не торопясь подыскать подходящее, недорогое имение.

Зимними вечерами вдвоем с дочерью они мечтали о том, как хорошо иметь свой угол, куда можно будет уехать, погреться на солнце, отдохнуть от петербургских туманов. Они обсуждали, какой у них будет дом, сад, какое хозяйство; как на доходы от имения — потому что должно же имение давать доходы — они смогут регулярно посылать деньги Коле.

— Не будь он так стеснен в деньгах, он непременно приехал бы повидаться с нами! — убежденно говорила Екатерина Семеновна.

Оля оживлялась и, охваченная желанием поскорее помочь любимому брату, начинала торопить мать.

— Это было бы прекрасно, мама! Коля должен знать, что он никому не обязан, что это его собственные деньги, потому что ведь акции принадлежат одинаково

всем нам. Кроме того, я охотно отдам ему свою долю, в его руках она принесет гораздо больше пользы. Все равно я не брошу уроков, было бы скучно сидеть без дела. А потом... может быть, и я поеду вместе с Колей. Ему нужен помощник, он много раз писал мне об этом...

— Нет уж, уволь, Оленька! Ни за что не отпущу, довольно с меня! — решительно обрывала Екатерина Семеновна.

А Оля, смеясь, обнимала мать:

— Ну не буду, не буду!

И вот акции пароходного общества «Самолет» были проданы, а на вырученные деньги с помощью Сергея Николаевича куплено имение Малин — в ста двадцати девяти верстах от Киева и в тридцати пяти верстах от уездного города Радомысля.

Но все пошло совсем по-другому, чем мечтали Екатерина Семеновна с дочерью. Имение требовало больших забот, опыта, которого у них не было, а о доходах не могло быть и речи! В разговорах матери с дочерью все чаще стали мелькать слова, которых прежде и вовсе не было в их обиходе: засуха, падеж скота, векселя, проценты. И жизнь стала еще труднее, еще сложнее, чем прежде. Появлялись всё новые и новые долги, грозившие полным разорением, и уже не было никакой возможности не только регулярно посылать деньги Николаю Николаевичу, но хотя бы, как прежде, выручать его время от времени. Квартира на Галерной оказалась теперь слишком дорогой, они переехали в худшую — на Малый проспект Васильевского острова. Екатерине Семеновне приходилось проводить много времени в Малине. Она тосковала по дочери, тревожилась о ее здоровье. А Ольга Николаевна действительно работала не по силам. Она похудела, побледнела, стала редко писать брату. Огорчать его невеселыми семейными делами она не хотела, а лгать не могла.

«Очень, очень нехорошо забывать так брата. Где вы? Что вы? Я положительно не знаю...

Трудно разве писать? Скучно? Времени нет? Сердишься? За что?...

Мать и ты меня совершенно забываете, что положительно весьма нехорошо!.. Неужели тебе трудно порадовать брата твоего (белого папуаса) длинным письмом...

Ты еле-еле пишешь мне один раз в три года; я же пишу почти с каждой почтой... Право, Оля, скверно, что ты мне не пишешь. Я не имею ни малейшего понятия, что с вами».

Горько было получать эти справедливые и в то же время несправедливые упреки. Что могла она ответить брату? Что она также писала ему длинные письма, а потом, перечитав, оставляла неотправленными? Что и ее письма иногда были полны упреков, потому что и ей временами казалось, что брат пишет слишком редко, что он забыл мать и сестру, что не хочет приехать повидаться с ними? Что она взвалила на себя непосильную работу и что заработанных денег не хватает даже для уплаты долгов? Она могла бы еще написать, что всей душой сочувствовала брату в его благородном деле; что не переставала хлопотать перед Географическим обществом о помощи ему. И, наконец, о том, как она тоскует, ждет и всегда помнит о нем. О том, что каждый разговор ее с матерью непременно начинается с одной и той же фразы: «Когда вернется Коля...»

И вместо всего этого лишь изредка доходили до Николая Николаевича, а иногда и терялись в пути сдержанные, короткие письма, по которым он не мог верно судить о жизни матери и сестры.

ПРОЩАЙ, БЮЙТЕНЗОРГ!

Вот уже скоро полгода, как Николай Николаевич живет в Бюйтензорге. Голландская экспедиция, на которую он рассчитывал, отменена, и придется самому добираться до Новой Гвинеи. Но не это обстоятельство задерживает Николая Николаевича. Он давно был бы уже в пути, если бы не здоровье, из-за которого приходится все откладывать и откладывать отъезд. К прежней лихорадке, приступы которой так и не прекращались, присоединилась новая — не менее мучительная. Эта лихорадка, свирепствующая на Яве и других островах Малайского архипелага, носит английское название «денге» и голландское — «кнокелькурс», что означает «костная лихорадка». Приступы ее сопровождаются нестерпимой болью в суставах. И Николай Николаевич принужден подолгу неподвижно лежать в постели.

Каждый день его навещает домашний врач Лаудонов. Он внимательно осматривает больного, прописывает лекарства и озабоченно качает седой головой.

— Вы храбрый человек, господин Маклай, но вы убьете себя, если снова предпримете одно из ваших фантастических путешествий. Послушайтесь моего совета. Вам надо вернуться в Европу, или, если хотите, поезжайте в Австралию. Австралийский климат будет для вас полезен.

Николай Николаевич терпеливо выслушивает старого доктора, а после его ухода говорит погрустневшему Ахмату:

— Старик сильно преувеличивает, уверяю тебя, Ахмат! Конечно, досадно, что я подхватил эту лихорадку «денге». Денег у нас с тобой по-прежнему нет, а вот «денге» тут как тут. По правде сказать, я предпочел бы обратное.

Ахмат силится улыбнуться. Он с тревогой смотрит на осунувшееся лицо своего хозяина. В белых подушках оно выглядит совсем желтым, глаза и щеки провалились. И вместо ответа Ахмат только осторожно поправляет сбившееся одеяло или подносит к губам больного чашку с водой.

А Николай Николаевич с нежностью смотрит на маленького, преданного слугу и думает о том, что в свое время султану Тидорскому пришла на ум счастливая мысль подарить ему этого доброго, смышленного, хотя и не очень послушного мальчика.

...15 декабря. Последний день пребывания в Бюйтен-зорге. Последние приготовления к отъезду. Последние корректуры статей. Письма в Европу — секретарю Географического общества, Мещерскому. Матери и сестре он напишет с дороги — из Сурабайи или Макассара. Из письма Мещерского, полученного несколько дней назад, Николай Николаевич узнал о покупке имения и о связанных с этим денежных затруднениях. Было бы очень тревожно уезжать, ничего не зная о матери и сестре, — давно уже он не получал от них ни строчки. Но все же он очень раздосадован. И не оттого, что рушатся его планы. Он даже почувствовал облегчение, с тех пор как узнал, что на помощь из дому рассчитывать больше не придется. Это лучше, чем неопределенность и тяжелые мысли о том, что, быть может, он живет на счет матери и

сестры, а такие мысли в последнее время нередко приходили ему в голову. Он уверен, что найдет способ выйти из материальных затруднений. Тем более, что на Новой Гвинее деньги не потребуются, а о возвращении еще рано думать. Старый доктор не без основания считает, что есть шансы вовсе не вернуться — климат там убийственный даже для здорового человека, да и папуасы этого берега не слишком гостеприимны.

А вот мать и сестра! Как они справятся со всеми этими запутанными делами? Он не раз предостерегал Екатерину Семеновну. Но что мог он поделать? Она не послушалась его — имение было ее давнишней мечтой. Теперь остается только пожелать, чтобы ей не пришлось раскаяться.

Ровно в полночь к одному из дальних павильонов Бюйтензоргского дворца подается карета. Сам генерал-губернатор, его жена и все пять дочерей собрались, чтобы проводить гостя. Он пожелал выехать так поздно, чтобы провести еще несколько часов со своими новыми друзьями.

Госпожа Лаудон сама заглядывает в карету — удобно ли там, достаточно ли подушек, одеял, обо всем ли позаботились слуги. Старшие дочери дарят отъезжающему на память свои портреты. А младшая, Мэри, отдает ему свою любимую маленькую черепаху — на счастье!

— Когда я вырасту, вы возьмете меня с собой в путешествие, господин Маклай? . .

Лошади трогают. Николай Николаевич стоит на подножке. Девушки машут платочками, похожими в темноте на стайку белых птиц. Потом птицы становятся всё меньше, меньше, превращаются в светлые точки и, наконец, исчезают в черном ночном воздухе. Николаю Николаевичу грустно расставаться с новыми друзьями, с Бюйтензоргом, где он провел шесть месяцев беззаботной жизни. Не вернуться ли, пока не поздно? Они будут рады. Да и старый доктор одобрит его поступок. Однако это было бы малодушием. Жизнь коротка, а впереди еще самая большая часть его трудной задачи.

Все быстрее катятся колеса. Вниз, под гору, идет однообразная, скучная дорога — на Батавию, «могилу европейцев».

Прощай, Бюйтензорг! До новой встречи!

ИЗ ДНЕВНИКА

16 декабря.

К рассвету мы въехали в Батавию. На дворе дома резидента я был встречен слугами, которые уже ожидали меня. Вещи были перенесены в телегу, и тощая, крысообразная кляча повезла их к пристани...

В гавани пестрая толпа теснилась около нагруженных и нагружающихся барок и шлюпок. Два небольших пароходика ожидали: один — отвезти, другой — привезти пассажиров с рейда, так как один пароход — «Король Вильгельм III» — отправлялся в Самаранг, Сурабайю и Молуккский архипелаг, другой — «Нева» — должен был привезти европейскую почту из Сингапура...

Перебравшись на пароход «Король Вильгельм III», я простился с резидентом Батавии, поручив ему отправить телеграмму в Бюйтензорг.

Остался с моими двумя спутниками — Ахматом и обезьянкой.

17 декабря.

Вчера вечером пришли в Самаранг. Но ни один пассажир не решился съехать на берег. Прибой очень силен, и нередко бывают несчастные случаи с шлюпками и шаландами около берега.

Я весь этот день, как и вчерашний, чувствовал себя нехорошо и провел в покойном своем кресле, которое еще в Бюйтензорге снабдил особенной подушкой для головы.

19 декабря.

Пришли в Сурабайю. Отправился на берег.

20 декабря.

Целый день оставался в комнате, сидел или лежал на диване. Узнал несколько обычаев, которые, между прочим, исчезают понемногу...

Вечером видел доктора Джемса, который нашел состояние очень неудовлетворительным и настоятельно со-

ветовал вернуться в Европу или отправиться в Австралию. Уверял, что не выдержу путешествия на Новую Гвинею. Я решил, однако, иначе. Увидим!..

23 декабря.

Макассар.

Отправился в гостиницу к г. Бекари и, не застав его дома, остался ждать его. Послышались скоро шаги, и человек невысокого роста с оживленным, приятным лицом вошел в комнату. Мне было интересно расспросить его о многом. Главная задача его путешествий — собирание ботанических и зоологических коллекций.

27 декабря.

Пришли в Купанг. По болезни не мог съехать. Довольно печальный городишко, однако же не бедный. Много китайцев.

30 декабря.

Ночью пароксизм... Голова болит. Лень, хандра. Думаю часто о Бюйтензорге. Целый день порядочная качка...

Дели довольно красивое местечко, много зелени, горы. Пароксизм помешал мне съехать, но между людьми, которые в пирогах окружали пароход, нашелся один с характерной папуасской физиономией и волосами, которые в виде шиньона возвышались над головой. Капитан и несколько пассажиров заставили его взойти на палубу, где я его срисовал. Форма черепа оказалась долихоцефальная. Цвет кожи коричневый, волосы курчавые, с немного большими завитками, чем у папуасов Берега Маклая. Интересно было бы познакомиться с обычаями этих людей.

31 декабря.

Пассажиры забавлялись игрой в карты, шампанским и фейерверком. Я встретил Новый год в каюте при сильной лихорадке.

1874 год.

3 января.

Утром Амбоина. На пароходе познакомился с резидентом г. Ван-Бус-Летхес, который, прочтя письмо губернатора, пригласил меня жить у него в Бату-Гадья.

15 января.

Чувствуется боль во всем теле, сильно вспух. Колотье и боль печени более чем чувствительны. Днем нет положительно никакой охоты что-либо делать. Ночью не знаешь, как лечь и повернуться без боли, не могу к тому же спать.

Думаю сделать завещание.

21 января.

Вот уже более недели, как почти все время провожу лежа или в постели, или в длинном кресле. Лихорадка, печень и раны на ногах поочередно или иногда все сразу надоедают положительно.

Лень за что-либо приняться.

14 февраля.

Мне был предоставлен казенный кутер, так называемый «крюйзбот», для переезда из Амбоины на остров Серам-Лаут, откуда я надеялся найти возможность отправиться на Новую Гвинею.

В Амбоине я нанял двух слуг амбоинцев: Давида Хукому, человека лет тридцати пяти, в качестве охотника и главного доверенного, и Иосифа Лописа, лет двадцати восьми, как повара...

Первый уже сопровождал ранее нескольких естествоиспытателей и умеет готовить чучела птиц. Второй в этом отношении еще неопытен, но открытая физиономия его мне понравилась...

В 11 часов вечера выехал из Бату-Гадья... Был на кутере в 11 часов 45 минут, так что ровно в 12 часов был поднят якорь, и мы отправились. Я сейчас же спустился в каюту и лег.

18 февраля.

Сильная качка. Толчемся и плохо подвигаемся вперед.

19 февраля.

К 8 часам утра открылся остров Гесир... Несколько малайских лодок приблизились к кутеру, и главные начальники окрестных деревень — радья Муда-Кильвару, радья Амур, Оран-Кая-Кваус, майор Гесира — пожелали узнать о причине прихода судна. Показав письмо от резидента, я объяснил дело, которое меня привело сюда, и сказал, что мне сегодня же необходимо малайское прау с экипажем 15—20 человек, для того чтобы отправиться в Новую Гвинею. Я прибавил, зная характер малайцев, которые делают что-нибудь лишь в случае полнейшей необходимости, что мне нужно все это сегодня же, и, не отпуская начальников на берег, стал расспрашивать и записывать, сколько каждый из них может доставить мне людей. Я отдавал свои приказания от имени резидента Амбоины и генерал-губернатора Нидерландской Индии. Анакода (малайский шкипер кутера), имея в виду то обстоятельство, что, если я скоро найду себе подходящее судно, он будет в состоянии скорее вернуться в Амбоину, поддакивал каждому моему слову, и мы вместе привели начальников в такое лихорадочное состояние, что они, чтобы отделаться от такого кошмара, согласились сегодня же показать мне несколько подходящих для путешествия прау и сегодня же доставить мне, если захочу, всю команду.

Мне надо было выбрать «капала-оран» — главного над экипажем, и, осмотрев внимательнее физиономии начальников, из которых один по письменному приказанию из Амбоины должен был сопровождать меня на Новую Гвинею, я выбрал того, чья физиономия показалась мне самой красивой и интеллигентной, хотя и довольно плутоватой. Радья Амар, которого я хотел взять с собой, однако же отговорился тем, что никогда не был на Новой Гвинее. Он предлагал, поддерживаемый остальными начальниками, другого, бывшего не раз на Новой Гвинее, именно Сангиля, брата майора Гесира.

К 5 часам я съехал на берег в сопровождении анакоды, Давида и Ахмата. Меня встретили майор, его брат,

радя Амар и толпа малайцев. Мы осмотрели три прау. Одно было слишком велико, другое — ветхо, третье более подходило к моим требованиям. Это был так называемый урумбай, принадлежавший деревне Гесир. Майор Гесира соглашался предоставить его в мое распоряжение за вознаграждение, но в том случае, если я возьму с собой его брата. Я посмотрел на Сангиля. Физиономия у него была некрасивая, с хитрым, но не глупым выражением. Предпочитая иметь дело с плутоватыми, но не глупыми людьми, я почти сейчас же решил, что дело с урумбаем может быть улажено...

Я объявил майору Гесира, что осмотрю его урумбай на другой день, и, простившись с начальниками, вернулся на кутер.

20 февраля.

Писал письма в Европу, в Батавию, на Амбоину, вел длинные переговоры об урумбае, людях и провизии.

22 февраля.

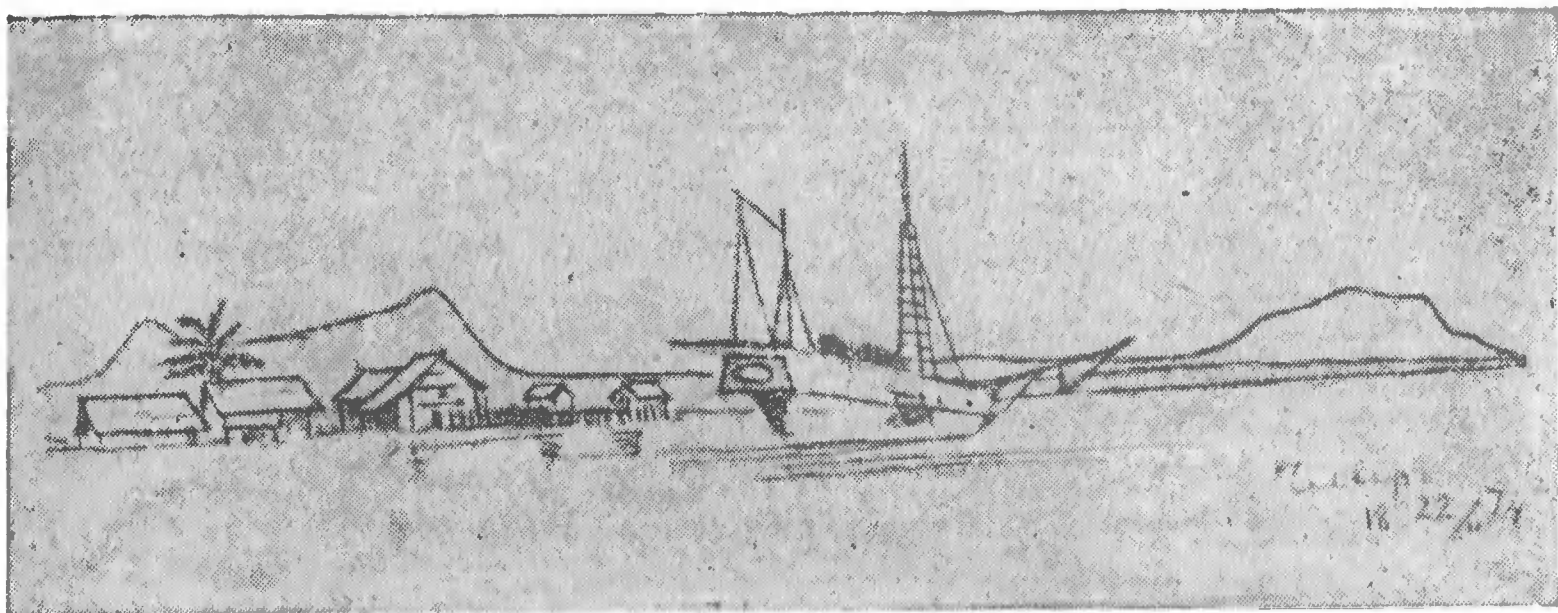
Экипаж урумбая оказался довольно смешанным: между моими слугами были люди из Амбоины, бугисы, метисы малайско-папуасского происхождения и два чистокровных папуаса.

23 февраля.

Отправляюсь сегодня на Новую Гвинею. Отправляюсь потому, что, если теперь не решусь, пожалуй, вторая экспедиция на Новую Гвинею никогда не удастся.

РАССКАЗ АХМАТА

С тех пор как мы выехали из Бюйтензорга, нет нам удачи. Недаром мне так не хотелось уезжать. В ту ночь я чуть было не выпрыгнул из кареты. И я непременно сделал бы это, если бы не Маклай. Я не мог оставить его одного! Ведь Манька не человек, хоть все понимает. Всю ночь до утра она жалобно пищала и ручками старалась раздвинуть железные прутья клетки. А в Бюйтензоре



Остров Гесир.

она жила на воле, бегала по парку, прыгала по деревьям, и Мэри ей всегда приносила что-нибудь вкусное...

Так ехали мы все трое — очень грустные, хотя в карете было тепло и мягко. Маклай все выглядывал из окошка, как будто и ему, как нам с Манькой, хотелось вернуться. Но я знал, что он этого не сделает, потому что слово Маклая — одно. Я сам слышал: старый доктор уговаривал его вернуться на родину, в его Россию. Иначе он не выдержит и умрет. Так говорил доктор, и этому легко можно было поверить: Маклай лежал желтый, худой. Он не жаловался. Маклай никогда не жалуется. Но я знал, что ему плохо. И я так жалел его, как никогда никого не жалел.

Маклай отвечал доктору, что не пришло еще время возвращаться на родину и что, если он теперь уедет, вся его работа пропадет даром. Я был рад, что Маклай не послушался доктора. Он говорит, что взял бы меня с собой в Россию. Его мать и сестра добрые, и мне было бы хорошо с ними. Но я не хочу в Россию. Там все люди белые. Что я стану там делать — один черный среди белых.

В Амбоине Маклай нанял двух слуг: Иосифа Лописа — повара и Давида Хукому — охотника, а в Гесире — урумбай и семнадцать человек команды. Главным он назначил Сангиля. Из-за него и пошли все несчастья. Сангиль — плохой человек. Да и остальные не лучше. Но откуда мы могли это знать? Мы подняли якорь и через несколько дней увидели перед собой берег, а на берегу высокие горы. Это и была Новая Гвинея. Мы бы

никогда ее не увидели, если бы не Маклай. Он спас нас всех.

Когда нам оставался всего лишь день пути, поднялась сильная буря. С самого утра все небо было в серых тучах, ветер валил с ног. Я сидел на борту и ел бобы. Руки у меня были заняты. Вдруг налетел ветер — я не удержался и упал в море. Но я не испугался и сразу выплыл — Иосиф бросил мне канат. Я быстро взобрался на борт. Вода так и текла с меня. В этом не было ничего смешного. Однако вся наша команда хохотала. Я тоже смеялся, чтобы они не подумали, что я трус. Но скоро нам стало не до смеха. Тогда все узнали, кто — храбрый, кто — трус.

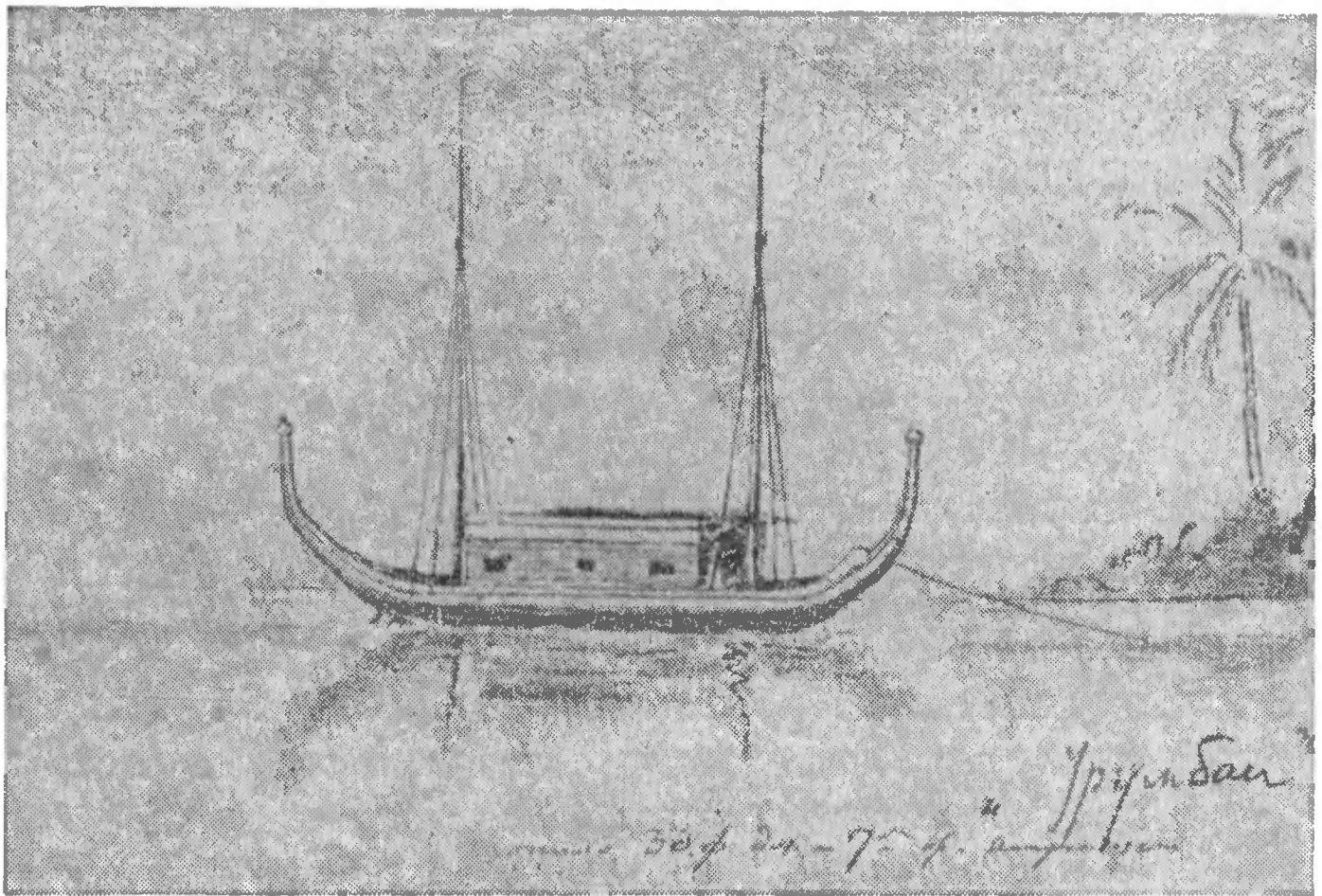
Ветер дул все сильнее, погасил фонарь, волной унесло шлюпку. Лил дождь. Вода перекачивалась через борт, врывалась через окна в каюту. Мы вычерпывали воду ведрами. Стало совсем темно, только молнии сверкали на небе. Наш урумбай бросало, как маленькую щепку. Он трещал, скрипел, накренялся и снова выпрямлялся. Вспыхнула молния. Я увидел, что рулевой бросил руль, упал на колени и закрыл лицо руками. Маклай подбежал к нему, одной рукой схватил за волосы, а другой поднес револьвер к виску:

— Завтра будешь молиться! А теперь берись за руль, иначе я всажу в тебя пулю! — Он выстрелил в воздух, а рулевой схватился за руль.

Маклай всю ночь командовал, пока небо не прояснилось. Вот какой у меня хозяин! Иногда мне приходит в голову, что в нем два человека. Один тихий и добрый, а другой — суровый и строгий. Я не могу смотреть ему в глаза, даже если ни в чем не виноват. Быть может, на его родине, в России, у всех людей такие глаза?

Маклай сначала хотел поселиться на каком-нибудь маленьком острове, и мы несколько дней подряд выбирали место для постройки дома. Жители с копьями и луками выплывали нам навстречу в пирогах. Но Сангиль заговаривал с ними на их языке, и они нас не трогали. Некоторые даже поднимались к нам на борт.

Однажды вечером мы подошли к острову Наматоте, бросили якорь, а наутро переправились в шлюпке на берег. Нас было четверо: Маклай, Сангиль, Давид и я. Маклай взял револьвер, Сангиль — старый топор, а мне



Урумбай, на котором Миклухо-Маклай шел к южному берегу Новой Гвинеи.

дали нести рваную циновку. Но я, конечно, сунул под циновку свой нож.

На берегу Маклай долго стоял и смотрел куда-то вдаль. Потом сказал:

— Посмотри, Ахмат, какая красота!

Я посмотрел, но ничего не увидел. Вокруг были только высокие горы, да лес, да море. Или глаза Маклая видели то, чего не видели мои?

— Как жаль, что в этих прекрасных местах легче умирать, чем жить, — сказал он.

Тогда я не понял этих слов. Зато потом они часто мне вспоминались.

И вот в это ясное, солнечное утро на этом тихом острове мы встретили двух людей, с которыми лучше бы нам не встречаться. Это были радья Муда и начальник острова Мавары. Его называли «капитан Мавары». Радья Муда был высокий, с маленькими злыми глазками. На нем была красная куртка и красные штаны. Капитан Мавары был в желтой куртке, с белым платком на голове. У него был огромный, отвратительный нос. Маклай заговорил с этими людьми, но я видел, что и ему они не понравились.

— Я хочу посмотреть на ваши горы, деревья, на ваши дома и плантации, — сказал Маклай. — Посмотреть на ваших людей.

Радья повел Маклая в свой дом. Маклай осмотрел дом. Что он сказал радье, я не знаю, но мы сели на урумбай и отчалили от острова Наматоте.

Мы построили хижину на небольшом мыске Айва, у самого моря, на уступе скалы.

— Здесь никто нам не будет мешать, — сказал Маклай. — И мы никому мешать не будем. И до соседних деревень недалеко.

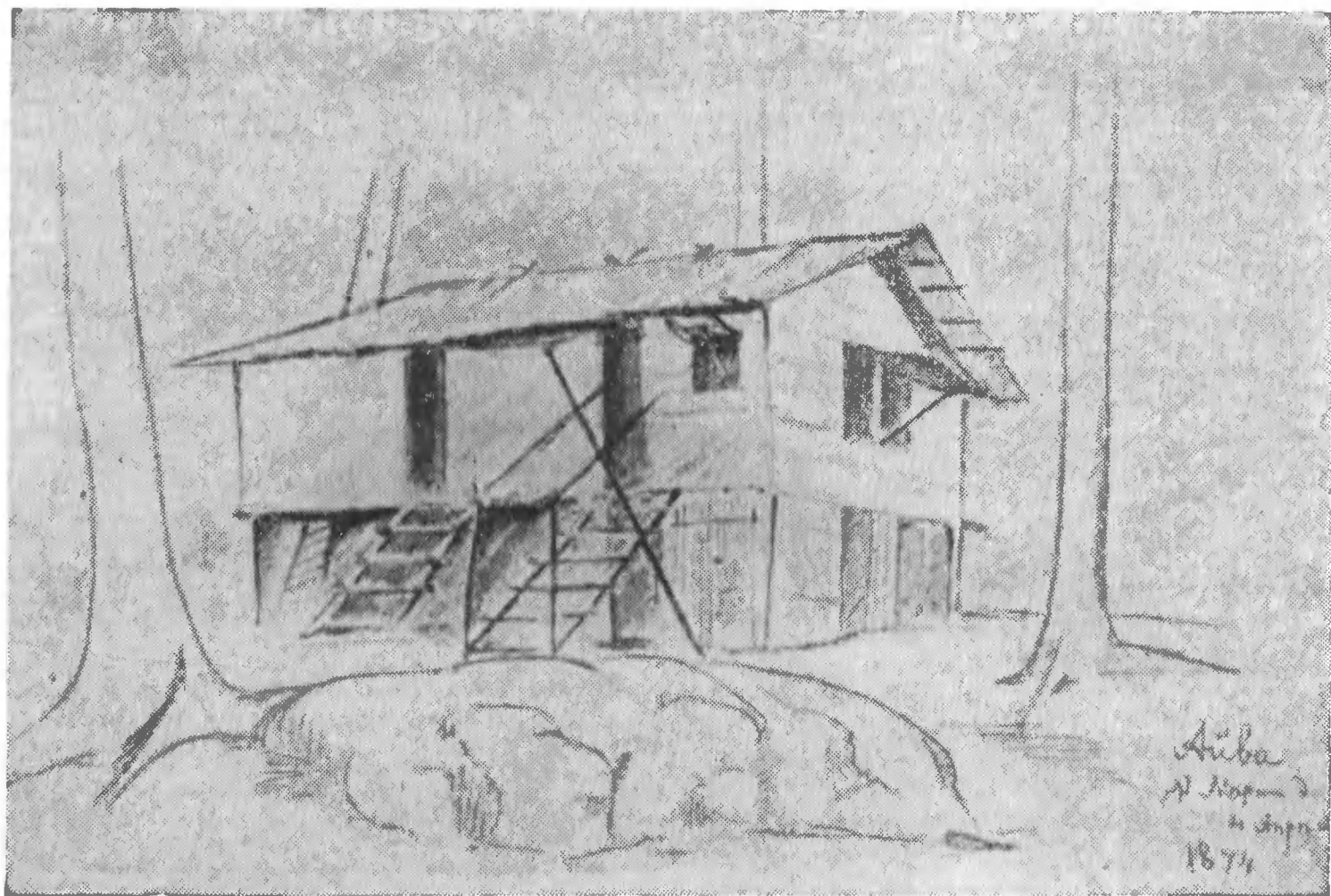
Едва мы принялись за работу, как пришли наши соседи и стали помогать нам. Они рассказали о своей жизни, и можно было понять, что хорошего нам здесь ждать нечего. Все соседние деревни постоянно воюют друг с другом, и все они боятся алифуру. Алифуру живут в горах. Иногда они спускаются к берегу, грабят и вырезают целые деревни. От этих рассказов наши люди тряслись как в лихорадке. По ночам из деревень до нас доносились протяжные, жалобные крики. Мы думали, что это воют собаки. Но потом узнали, что так перекликаются между собой деревни, для того чтобы алифуру не напали на них неожиданно.

Время шло. Мы жили на Айве, и никто нас не трогал. Иногда алифуру появлялись, но бродили где-то вдалеке. Многие из наших соседей переселились на Айву. Они думали, что здесь алифуру не посмеют напасть на них, потому что побоятся Маклая.

Каждый день Маклай ходил в соседние деревни. Он брал с собой меня, Иосифа или Давида, а иногда Мойбирита. Ему он доверял больше, чем другим. Он рисовал жителей, измерял им головы, плечи, записывал слова их языка. А потом он задумал поплавать на урумбае вдоль берега. Он хотел побывать в горной стране Лакахии и на озере Камака-Валлар, где живет племя вуоусирау, и на реке Утанате, где живут карлики-людоеды. Наши соседи нам рассказали, что они очень любят человеческий мозг.

Слушать эти рассказы было не очень-то приятно. Но я ничуть не испугался, когда Маклай сказал, что возьмет меня с собой.

— Пусть те, кто боится, остаются на Айве сторожить дом и вещи, — сказал Маклай.



Хижина Н. Н. Миклухо-Маклая на мысе Айва.

Но за два дня до отъезда я заболел лихорадкой. По ночам моя голова горела, как в огне; я думал — она расколется пополам. Вдруг она начинала расти, тянулась все выше. Руки тоже были не мои. Они были огромные, и каждый палец страшный, как нос капитана Мавары. Я начинал кричать и тогда видел перед собой лицо Маклая. Он поил меня горьким лекарством, что-то говорил мне, но я ничего не понимал, а только просил его покрепче держать мою голову, чтобы она не разломилась, и руки, чтобы они не росли. Днем мне становилось легче, но я был так слаб, что не мог не только ходить, но и сидеть. Я очень боялся, что Маклай уедет без меня, а он успокаивал меня и даже два раза откладывал отъезд. Но дни проходили, а я поправлялся очень медленно. Тогда я сам сказал Маклаю, чтобы он не ждал меня.

И вот урумбай поднял якорь и унес в море Маклая, а нас осталось на Айве семь человек.

Перед отъездом Маклай позвал Иосифа Лописа и сказал ему:

— Иосиф, я назначаю тебя начальником. Следи, чтобы Ахмат аккуратно принимал лекарства, и корми его

как можно лучше. Я разрешаю тебе брать для него из наших запасов все, что он пожелает.

Это все мне потом рассказал Иосиф. Он очень заботился обо мне, заставлял глотать горькую хину и вкусно кормил. Я начал поправляться и даже помогал Иосифу. Первое время все было спокойно, хотя мы стали замечать, что наши люди шепчутся, переглядываются, исчезают куда-то по ночам. Соседи наши, как и при Маклае, часто навещали нас. Приходила жена радьи Айдумы с маленькой дочкой Ваймати. Мы любили Ваймати. Ей еще не было пяти лет, но она была очень смышленная девочка. Маклай, бывало, играл с нею и показывал разные фокусы, а она совсем не боялась его и весело хохотала.

Однажды, в дождливое туманное утро, с берега донесся до нас шум и громкие крики. Иосиф приказал нам приготовиться, выдал оружие, порох, пули, и мы стали ждать. Потом крики умолкли, и мы подумали, что наши соседи попросту повздорили между собой. Вдруг где-то совсем близко от нашего дома слышались стоны и детский плач. Мы с Иосифом бросились туда и в кустах увидели жену радьи с маленькой Ваймати. Они лежали на земле, прижавшись друг к другу. Обе были залиты кровью. Мы перенесли их в хижину, положили на циновку. Оказалось, что ранена только мать. Мы перевязали ей раны. Иосиф дал ей глотнуть рома из фляжки. Она пришла в себя, но говорила, что все равно умрет, и просила спасти Ваймати. Голос ее был так слаб, что мы едва разбирали слова. Но все же она успела рассказать о том, что произошло.

Ранним утром все мужчины отправились ловить рыбу, в деревне оставались только старики, женщины и дети. Они еще спали, когда неожиданно появились люди Бичару, Наматоте, Мавары — с копьями, с лицами, вымазанными черной глиной. Их было много — должно быть, больше ста человек. С криками ворвались они в шалаш радьи, где были только его жена и маленькая дочь, и стали требовать, чтобы радья вышел к ним, что все равно они найдут его и убьют. Напрасно жена радьи уверяла, что мужа нет дома, напрасно просила пощадить ее и девочку. В ответ они ударили ее копьем в грудь. Когда она очнулась, в шалаше уже никого не было. Вещи были разграблены, а маленькая Ваймати сидела

на полу и плакала. Мать схватила ее на руки и ползком добралась до нашего дома.

— Они не посмеют прийти сюда: они боятся Маклая. — Эти слова мы скорее поняли по ее губам, чем расслышали.

Между тем к нашей хижине, кто ползком, кто едва волоча ноги, стали добираться и остальные жители. Одни были ранены, другие еле живы от страха. Они шли к нам, потому что надеялись найти защиту в доме Маклая. И, клянусь, мы защитили бы их, хоть Маклая и не было с нами! Мы защитили бы их, если бы не измена наших людей! Слишком поздно мы поняли, что означают их переглядывания и перешептывания! Эти люди не побоялись напасть на наш дом. Они знали, что из семи человек четверо будут на их стороне. Они ворвались к нам и стали добивать раненых и грабить вещи. Иосиф приказал стрелять, но стреляли только мы трое: он сам, я и Мойбирит. Он один из всей команды остался верен Маклаю.

Однако их было слишком много, и втроем мы с ними справиться не могли. Иосиф подал нам знак, и мы осторожно выскользнули из хижины. Никто не заметил нашего бегства: все были заняты грабежом. Мы бросились к берегу, нашли нашу лодку и изо всех сил налегли на весла. Подплыв к большому падуакану, который стоял на якоре, мы поднялись на борт и рассказали анакоде о том, что произошло. Мы просили его послать вместе с нами на берег шлюпку с вооруженными людьми.

— Ты сделаешь доброе дело и не пожалеешь об этом, — сказал ему Иосиф, — потому что наш хозяин — Маклай.

И анакода согласился. Уже начинало темнеть, когда мы добрались до нашего дома. Оттуда выбегали люди. Одни тащили на плечах узлы с вещами, другие вели пленных. Высоко подняв копья, они трясли ими в воздухе и кричали. Мы вгляделись и — страшно сказать, что мы увидели! На копьях торчали человеческие головы. Мы узнали окровавленную головку нашей маленькой Ваймат. Больше терпеть мы не могли. Мы бросились на них, они трусили и побежали к лесу. В толпе были радья Муда и капитан Мавары. А ведь они обещали Маклаю заботиться о нас. Мы не стали преследовать их, а поспешили к хижине.

Вся комната была залита кровью, пол завален убитыми. Несколько человек еще оставались в хижине. Они копались в вещах Маклая и были так заняты, что не сразу заметили нас. На полу валялись пустые бутылки, разбитые банки, на столе была рассыпана хина — драгоценная хина, которую так берег Маклай.

Разбойники увидели нас и так испугались, что упали перед нами на колени. Они были храбры, когда воевали с женщинами и детьми, а теперь тряслись от страха, и лица у них были серы, как пепел. Мы не стали убивать их.

— Уходите, — сказал им Иосиф. — На таких, как вы, даже пули жалко!

Сначала они не поверили, потом осторожно, ползком выбрались из дома и бросились бежать. И тогда один за другим пришли наши люди. Они притворялись, что боятся, ахали, охали и рассказывали небылицы о том, как они спаслись от грабителей. Но мы им не верили. Иосиф приказал собрать остатки вещей, и мы все вместе отправились на падуакан.

Мы просили анакodu выйти в море навстречу Маклаю, но анакода не согласился. Он разрешил нам остаться на падуакане до возвращения Маклая, а потом он уйдет на другие острова, потому что ему эти места не по душе.

Несколько дней мы прожили на падуакане и однажды утром увидели далеко в море черную точку. Это был наш урумбай. Мы бросились в шлюпку — Иосиф, Мойбирит и я, а когда поднялись на борт, ни один из нас не мог вымолвить ни слова. Иосиф долго тряс Маклаю руку, а потом бросился на шею своему другу Давиду, и мне показалось, что он плачет. А ко мне на плечи прыгнула Манька. Я совсем забыл о Маньке. Она обнимала меня, прижималась, заглядывала в глаза. Я тоже обрадовался ей.

Мы рассказали Маклаю о том, что у нас случилось: о маленькой Ваймати и ее матери, о людях, убитых и раненных в нашей хижине; о капитане Мавары и радье Муда. Маклай молча слушал, лицо его побелело, а таких глаз я еще никогда у него не видел.

— Клянусь, эти негодяи ответят мне за кровь девочки и несчастной женщины и за всех, нашедших смерть в моем доме!

Так сказал Маклай, и мы знали, что слово Маклая — одно.

Мы не вернулись на Айву. Мы построили новый дом на острове Айдуме, у самого берега моря, на мысе Умбурмета. Весть о том, что Маклай поселился в Умбурмете, сразу же разнеслась далеко. Каждый день к нашему берегу подплывали пироги с жителями Айвы, Айдумы, Горама. От них мы узнали, что наш дом на Айве сгорел и что горцы из Телок-Камрау и Бичару снова приходили на Айву, чтобы убить Маклая.

Наши люди были очень напуганы и стали просить Маклая отправить их на урумбае домой. Тогда Маклай позвал Иосифа и Давида и спросил их: согласны ли они остаться с нами, если он отпустит урумбай?

— О, не делай этого, Маклай! — закричали Давид и Иосиф. — Не отпускай людей. Здешние жители опасны и злы. Они могут убить человека из-за пустой бутылки или старой тарелки. Если они узнают, что нас осталось только четверо, нам несдобровать! Что будут делать наши бедные жены и дети, если мы погибнем?!

— Ну хорошо, — сказал Маклай, — будь по-вашему. Я думал, что вы храбрее других, но, видно, страх заразителен. Вы даже забыли о том, что у горцев нет пирога и они не могут сюда добраться. Или вы думаете, что они поплывут по морю, как рыбы, или полетят за нами, как птицы?

Давид и Иосиф переглянулись.

— Ты прав, Маклай, мы об этом не подумали, — сказал Иосиф, — но все-таки мы боимся.

— Мы боимся, — повторил Давид. — Ночуй вместе с нами на урумбае, Маклай. Мы слышали, что люди Наматоте и Мавары грозятся напасть ночью на хижину Маклая и убить его.

— Нет, — ответил Маклай, — я останусь, а вы идите ночевать на урумбай. И возьмите с собой Ахмата, он еще слаб после болезни.

— Оставь меня здесь, Маклай, — попросил я. — Я уже здоров и никого не боюсь.

Но Маклай не позволил.

— Идите на урумбай и спите спокойно, — сказал он нам на прощание.

Несколько ночей прошло благополучно. Мы ночевали

на урумбае, а Маклай — в хижине. Все было тихо, враги не появлялись.

Но вот однажды среди ночи мы заметили в море большую пирогу. К нашему урумбаю часто подходили пироги из Айвы, Айдумы и других островов. Но на этот раз гребцы не отозвались на наш оклик. Они налегли на весла и стали быстро грести к берегу. При свете луны мы увидели их лица.

— Смотри, Ахмат! — Иосиф крепко схватил меня за руку. — Это капитан Мавары! Клянусь, я узнал его проклятый нос!

Пирога плыла быстро, я не успел разглядеть носа капитана Мавары, но тоже узнал его.

— Они плывут к берегу!

— Они убьют Маклая!

— Маклай, Маклай! Макла-ай! Проснись, Маклай, опасность! Враги, Макла-ай!..

Так звали мы Маклая, а я кричал ему по-русски, чтобы враги не поняли. Но Маклай ничего не отвечал нам.

Мы бросились в шлюпку и поплыли к берегу. Начало уже светать, когда мы добрались до хижины. Здесь все было тихо, а Маклай крепко спал — мы с трудом растолкали его.

— Где же пирога капитана Мавары?

— У берега, мы видели ее.

— А радья Муда тоже здесь?

— Нет, мы его не видели.

— Очень жаль. Хорошо бы захватить их обоих.

— О Маклай! — закричал Иосиф. — Опомнись, господин! Ты задумал опасное дело! Разбойники хитры и злы, как змеи. Не так легко справиться с ними.

— А я и не говорил, что легко, — ответил Маклай.

Иосиф думал, что можно напугать Маклая. Но я знал его лучше.

— Ахмат, помоги мне собрать книги и вещи, — сказал Маклай. — Мы поймаем этих двух негодяев, а потом уйдем отсюда... Давид, заряди ружье, ты останешься в хижине. Иосиф, Ахмат и Мойбирит, идите за мной! Вы не боитесь?

— Нет, не боимся, — ответили мы.

А Мойбирит прибавил:

— Если ты пойдешь первый.

— Хорошо. Возьми эту веревку, Мойбирит, она пригодится. Ни о чем не спрашивайте, не кричите, только выполняйте все, что я прикажу.

И мы двинулись за Маклаем. Люди Мавары разгуливали по берегу, разжигали костры, ставили на огонь горшки с едой. Мы встретили Сангиля и еще нескольких человек с нашего урумбая. Никто, конечно, не подозревал, зачем мы пришли.

Большая пирога стояла у берега. Она была покрыта циновкой, как крышей, и не было видно, есть ли там кто-нибудь.

Маклай медленно подошел к ней:

— Здесь капитан Мавары?

Ответа не было, и я обрадовался. Я подумал, что мы с Иосифом ошиблись и приняли кого-то другого за капитана Мавары.

— Капитан Мавары, выходи! — крикнул Маклай.

Ответа снова не было. Вокруг стало тихо.

— Выходи, говорю тебе! — Маклай сорвал циновку.

И тут мы все увидели капитана Мавары. Но что с ним сделалось! Согнувшись, он сидел на дне пироги и трясся.

— Саламат, туан! Привет, господин! — еле-еле проговорил он и поднял руку, как будто боялся, что его ударят.

— А-а, вот где ты, храбрый капитан! — сказал Маклай. — Видно, ты хорошо воюешь только с женщинами и детьми! Отвечай: где твой друг, радья Муда?

— Не знаю, господин, — слабым голосом отвечал капитан. Между тем он был вдвое больше и сильнее Маклая. Он трясся всем телом, а его огромный нос побелел, как у мертвеца.

Между тем подошли остальные и окружили нас. Я был уверен, что они сейчас на нас бросятся. Но в эту минуту произошло чудо. Маклай схватил огромного капитана за горло и приставил револьвер к его лбу.

— Свяжи ему руки, Мойбирит! — приказал он. — Вот, смотрите все на этого человека, — продолжал Маклай, когда капитан был связан. — Он взялся сторожить мой дом на Айве, а вместо этого привел врагов и грабил мои вещи. На его глазах убивали женщин и детей, искавших приюта в моем доме... Правду ли я говорю? Отвечай, капитан Мавары!

— Правда, господин!

— Ты, Мойбирит, и ты, Иосиф, возьмите под руки этого храбреца и отведите его на урумбай. Мы доставим его в Амбоину. Пусть его судят там по закону.

И мы доставили капитана Мавары в Амбоину, хоть это стоило нам немало труда. Он притворялся послушным и кротким, а сам предлагал нашим людям большой выкуп, если они помогут ему бежать. Но Маклай раскрыл все его планы — один за другим...

На этом кончается рассказ Ахмата.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Можно ли рассматривать жителей Папуа-Ковиай как особую расу, не родственную папуасам Берега Маклая? Являются ли те и другие разновидностью одной и той же расы? Зависят ли особенности жителей обоих берегов от разных географических условий, образа жизни, обычаев, языка? Таковы были вопросы, которые ставил перед собой Николай Николаевич, отправляясь в путешествие на юго-западный берег Новой Гвинеи.

Он провел несколько месяцев среди жителей этого берега, изо дня в день, последовательно изучая их антропологические особенности, быт, обычаи. Наконец он с уверенностью мог ответить, что «жителей берега Папуа-Ковиай никоим образом нельзя отделять от папуасов восточного берега Новой Гвинеи. Нет даже достаточных оснований выделить их как особую разновидность той же расы». Казалось, цель была достигнута. Можно вернуться на Яву, отдохнуть, поправить расшатанное здоровье, начать другую работу и больше не думать о жителях Папуа-Ковиай. Так, пожалуй, и поступил бы любой другой ученый. Но так не мог поступить Николай Николаевич.

Он изучал цвет кожи туземца, его волосы, зубы, но видел в нем прежде всего человека — несчастного, страдающего, гонимого страхом; человека измученного, обманом проданного в рабство. Он записывал свои научные наблюдения, а сам неустанно и мучительно думал о том, как помочь этим бедным людям.

— Откуда ты идешь? — спрашивал он встречного.

— Ищу чего-нибудь поесть, — был обычный ответ.

И Николай Николаевич спешил накормить голодного.

Он видел оторванных от родителей маленьких детей — худых, голодных, покрытых нарывами и язвами. Дрожа от негодования, он давал себе слово сделать все, что было в его силах, чтобы защитить их.

На обратном пути, в Амбоине, лежа в госпитале, Николай Николаевич обдумал, а по приезде в Бюйтензорг представил генерал-губернатору докладную записку: «О политическом и социальном положении папуасов берега Папуа-Ковиай».

Он рассказал о том, что пришлось ему видеть собственными глазами: об опустошительных междоусобных войнах; о разбойничьих нападениях — хонгиях, организуемых султаном Тидорским; о похищении туземцев, обращении их в рабство, о грабежах и убийствах. О том, как, гонимые страхом, папуасы вместе с семьями принуждены скитаться в своих маленьких лодках — прау, пробираясь из одной бухты в другую, часто оставаясь на одном месте всего лишь несколько часов. В ответ на все эти бесчинства жители Папуа-Ковиай, в свою очередь, не упускают случая обмануть приезжих купцов или напасть на них при первом удобном случае. «Здесь обман — в порядке вещей и является чем-то вроде торговой традиции».

Он рассказал о торговле живым товаром. Каждое прау, прибывшее из Макассара или Серама, увозит с Новой Гвинеи детей для продажи. С гневом и возмущением писал он о жестоком обращении малайцев с похищенными детьми. «Это малоценный товар, и потеря его не грозит особыми убытками».

Единственный выход, который мог бы привести к решительной перемене в жизни папуасов, он видел в небольшой колонии европейцев, «достаточно сильной для того, чтобы поддерживать справедливость и наказывать виновных».

«Для меня было бы большим удовлетворением, — заканчивал он, — если бы эти несколько строк могли содействовать хоть некоторому облегчению печальной участи туземцев».

В Бюйтензорге Николай Николаевич был снова дружески принят в семействе Лаудон. Он лично передал генерал-губернатору свою записку и стал ждать ответа.

Прошло немного времени, и Лаудон сам завел разговор со своим гостем.

— Я внимательно прочитал ваше послание, господин Маклай, — сказал он. — Вы затронули много важных вопросов, и я благодарен вам за это. Должен сознаться, что мы не слишком осведомлены об этой стране, хоть она и принадлежит правительству Голландии. Однако то, что вы предлагаете, связано с большими трудностями...

— Я готов немедленно подтвердить свои слова на деле, ваше превосходительство, — отвечал Николай Николаевич. — Если бы я мог располагать двумя десятками яванских солдат и одной канонерской лодкой, я бы взялся без помощи европейцев в течение года основать колонию на этом побережье Новой Гвинеи. И, смею вас заверить, я добился бы прекращения междоусобных войн, равно как и торговли людьми!

— Но вы бы взяли на себя слишком трудную задачу, мой дорогой господин Маклай, — возразил Лаудон.

— Я знаком со страной, с населением и могу быть полезнее, чем кто-либо другой, — решительно продолжал Николай Николаевич. — В случае вашего согласия я бы поставил лишь следующие условия: во-первых, полная моя самостоятельность; во-вторых, отказ от какого бы то ни было вознаграждения со стороны голландского правительства.

С возрастающим изумлением смотрел Лаудон на своего тихого, вежливого гостя. И впервые за все время знакомства он подумал о том, что, пожалуй, не даром слава этого человека облетела весь мир.

— Ваше предложение столь необычно... — сказал он немного растерянно. — Оно застало меня врасплох. Надо подумать, посоветоваться. Я не задержу ответа, обещаю вам!

И через несколько дней ответ был получен:

«Голландское правительство не имеет намерения расширять свои и без того обширные колонии».

Что мог сделать один русский против правительства, которому подвластно было население берега Папуа-Ковиай? Ему оставалось только пожалеть бедных папуасов, которые, вероятно, еще очень долго будут голодать, грабить и убивать друг друга.

«Быть может, все к лучшему, — успокаивал он себя. —

Мне пришлось бы на целый год оторваться от научных занятий, а год — это не так мало!»

— Я хотел бы надеяться, ваше превосходительство, — сказал он Лаудону, — что вы найдете иной способ помочь несчастным папуасам и что записка моя не затеряется в канцелярских архивах.

ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ

Цель нового научного похода — на Малайский полуостров — тесно связана с предыдущими путешествиями. В горах полуострова Малакки живут племена, принадлежность которых к той или иной расе не установлена. Мнения ученых по этому вопросу крайне неопределенны, противоречивы и не вызывают доверия. Одни отождествляют эти племена с малайцами, другие утверждают, что они сильно отличаются от малайцев, третьи предполагают, что они папуасы или родственны папуасам. Однако ни один из ученых не видел и не изучал этих племен, а все они ссылаются лишь на путешественников, сведения которых также весьма поверхностны и односторонни.

Путешествие предстоит трудное и опасное. На всякий случай Николай Николаевич перед отъездом составил завещание:

«Контора нотариуса Клейна, Батавия.

Сегодня, в пятницу, 20 ноября 1874 года, перед нами, Иоганном-Рудольфом Клейном, нотариусом, проживающим в Батавии, кавалером ордена Нидерландского Льва и св. Сильвестра, в присутствии свидетелей, поименованных ниже и нам известных, предстал г. Николай Миклухо-Маклай, натуралист, русский дворянин, проживающий в С.-Петербурге, в настоящее время проездом в Батавии, нам известный, каковой, желая сделать завещание, продиктовал нам свои распоряжения, из коих следует:

Я отменяю все завещательные распоряжения, сделанные или предпринятые ранее.

Я завещаю:

1. Его сиятельству князю Александру Мещерскому в С.-Петербурге — все мои книги, рукописи, рисунки, чертежи, заметки — на память о нашей дружбе.

2. Музею антропологии императорской Академии наук в С.-Петербурге — мою коллекцию черепов.

3. Императорскому Русскому Географическому обществу — мои антропологические, этнологические и зоологические коллекции, за исключением черепов, которыми я уже распорядился.

4. Моему маленькому слуге, папуасу, по имени Ахмат, тысячу рублей серебром, выдачу которых я поручаю исполнителю моего завещания г-ну Анкерсмиту, или прошу его передать эту сумму г-ну резиденту Тернате, с тем, чтобы она выплачивалась Ахмату по мере надобности, не оставляя его в нужде...

Я постараюсь принять необходимые меры, чтобы моя голова была сохранена и переслана г-ну Анкерсмиту, которого прошу переправить ее в С.-Петербург в Музей антропологии, которому я ее завещаю.

С того момента, как моя смерть будет установлена, я прошу г-на Анкерсмита собрать все обстоятельства и подробности, какие он сможет получить, и сообщить о них г. секретарю императорского Русского Географического общества в С.-Петербурге.

5. Я называю и назначаю полной наследницей всего моего имущества, владений и прав, которые не упомянуты мною выше, Ольгу Николаевну Миклухо-Маклай, мою сестру, проживающую в России, без каких-либо ограничений, за исключением вышеназванных дарствований, для нее обязательных.

Я назначаю исполнителями моего завещания: в России — его сиятельство князя Александра Мещерского в С.-Петербурге и в Индии — г-на Хендрика Яна Анкерсмита, главу фирмы «Думмлер и К^о».

В случае разногласий относительно моего завещания мнение его сиятельства князя Александра Мещерского будет решающим...

Ввиду того что все вышеизложенное было продиктовано и записано без свидетелей, завещатель повторил свои распоряжения в присутствии г-на Виллема-Августа Иеллингхауза, кавалера ордена Нидерландского Льва, резидента Батавии, и Альфонса-Губера Марии Микельсена, кандидата-нотариуса, проживающего в Батавии».

И вот — Батавия, Сингапур, Иохор-Бару, столица княжества Иохорского. Отсюда начинается путешествие по Малайскому полуострову. По приглашению махарадхи

Иохорского Абу-Бакира Николай Николаевич переезжает во дворец и проводит там две недели, отдыхая от шума и сутолоки постоянных дворов Батавии и Сингапура. К его удивлению, Абу-Бакир — человек широко образованный, много путешествовавший по Европе. С интересом и волнением узнает он о намерении русского путешественника пересечь Иохор с запада на восток, от устья реки Муар до устья Индау. Еще ни один человек — ни европеец, ни малаец — не отваживался на такое путешествие.

— Я могу только приветствовать вашу решимость, господин Маклай, — говорит махарадья. — Все это очень близко к моим собственным планам и желаниям. Мы сами еще плохо знаем свою страну, и вы могли бы оказать нам большую услугу. Однако я должен предупредить вас — вы задумали трудное и опасное дело. Места у нас дикие, а подчас и непроходимые. У нас даже нет географических карт.

— Ну что ж, если их нет теперь, то они будут, когда я вернусь. Я занесу свой путь на карту, — отвечает Николай Николаевич и отправляется в путь, получив от Абу-Бакира грамоту, которая будет охранять его в путешествии.

«Предъявитель сего, — сказано в этом листке, украшенном звездой и полумесяцем и скрепленном большой государственной печатью, — европеец, по имени Маклай, отправляется в Муар, и все помулу (начальники деревень), и каждый, кто встретит этого господина, должен оказать ему поддержку в случае затруднительного его положения. Я надеюсь, что все окажут ему помощь и предохранят от опасностей во время его путешествия, даже если это будет вопросом жизни и смерти.

Цель путешествия этого господина — исследовать различные племена, делать зарисовки, и в этом деле все помулу и все люди Муара обязаны помогать ему.

Дано сие в Иохор-Бару, в 7-й день Дзулькады.

Абу-Бакир, махарадья Иохора».

В каждом селении помулу читают этот листок, а те, кто не умеет читать, довольствуются внушительным видом большой государственной печати Иохора. Охотно или неохотно они дают путешественнику проводников до следующего селения. Только верный Ахмат и повар —

яванец Сайнан остаются постоянными спутниками Николая Николаевича.

Кроме охранной грамоты махарадьи Иохорского, у Николая Николаевича есть и другие рекомендательные письма — от губернатора Сингапура. Но этих писем лучше не показывать. Малайцы с недоверием и подозрительностью относятся к своим хозяевам, и можно, чего доброго, прослыть за английского шпиона.

Каждый раз, приближаясь к деревне, Николай Николаевич посылает вперед проводников, чтобы предупредить о своем приходе. «К вам идет дато русс — русский дворянин Маклай, — говорят посланные. — Он путешествует по всем странам малайским, чтобы узнать, как в этих странах люди живут, как живут князья и бедняки, люди в селениях и люди в лесах; дато русс Маклай хочет видеть не только людей, но и животных, деревья и травы».

Небывалый гость, желающий все видеть и все изучить, приводит в изумление туземные власти, которые любезно встречают его, но еще любезнее провожают.

Декабрь и январь — самое дождливое в Иохоре время. Ручьи и речки вышли из берегов, леса затоплены, и часто приходится пробираться по пояс в воде. Путешественники идут по 10—11 часов в день, а по ночам слышат рев тигров и тяжелую поступь слонов. Длинными ножами — парангами они рубят лианы, прокладывают тропинки в непроходимом лесу, перекидывают мосты, связывают плоты. Во многих местах реки запружены рухнувшими деревьями. Приходится проплывать под ними, лежа в пироге. Порой, переходя ручей или болото по тонким скользким стволам, карабкаясь, прыгая, балансируя, чтобы сохранить равновесие, Николай Николаевич завидует искусству канатоходцев и отдает должное их мужеству и хладнокровию.

Лес кишит комарами, сколопендрами, пиявками, которые десятками впиваются в ноги — обувь не защищает от них. Вся одежда насквозь пропитана водой, а переодеться не во что, потому что и мешки с вещами также промокли. Все чаще повторяются приступы лихорадки. Болеют все — и Николай Николаевич, и Ахмат, и повар Сайнан, и проводники. Запас хинина кончается. Подходят к концу и съестные припасы. Все чаще приходится вспоминать свои «папуасские привычки» и вместе с Ахматом



Н. Н. Миклухо-Маклай с Ахматом во время путешествия по Малайскому полуострову.



Юноша из племени оран-утан.

отправляться в лес на поиски съедобных листьев, цветов и растений, которые, как уверяет Ахмат, очень вкусны, если их посолить. Иногда на отдыхе этот добрый мальчик устраивает пир и печет вкусные пироги из тертых орехов, собранных в лесу.

В верховьях реки Муара и его притока, Палона, Николай Николаевич находит дикие лесные племена оран-утанов. Название «оран-утан» здесь вовсе не связано, как в Европе, с представлением о большой человекообразной обезьяне. Малайцы называют так людей, живущих в лесу, «лесных людей». «Оран» значит по-малайски «человек», «утан» — «лес». Подобных названий много: «оран-букит» — человек холмов, «оран-улу» — речной человек, «оран-лаут» — человек, живущий у моря.

Все эти племена постепенно вымирают, вытесняемые малайцами и китайцами, которые захватывают лучшие,

наиболее плодородные земли, заставляя лесных людей уходить в глубь джунглей. Чистокровных туземцев становится все меньше.

Николай Николаевич знакомится с этими дикими лесными племенами; изучает их язык, который все больше и больше заменяется малайским; делает антропологические измерения; рисует портреты лесных людей, а если времени мало, просто сравнивает их лица с лицом Ахмата. Он приходит к заключению, что племена орангутан Иохора — смешанного происхождения, с примесью малайской крови, но сохраняют следы папуасской расы.

Пятьдесят дней длится путешествие по Иохору — от устья реки Муар до устья Индау и обратно. В начале февраля Николай Николаевич возвращается в Сингапур и Иохор-Бару. Ему кажется, что он прочел только «начало интересной, старой, с наполовину стертыми строками книги». Надо продолжать поиски, продолжать изучение лесных племен. Он уже намечает план нового научного похода — в Пахан и Кеду, — похода, который, быть может, откроет перед ним следующие страницы этой увлекательной книги, «читать которую с каждым днем становится все труднее».

Короткий отдых, недолгие сборы, и снова в путь — так рассчитывал Николай Николаевич. Но лихорадка в который уже раз рушит планы. Она отодвигает на несколько месяцев второе путешествие по Малайскому полуострову. Однако эти месяцы полны энергичной работы. Надо пересилить болезнь, не поддаваться ей. Вернувшись в Сингапур, он принимает приглашение губернатора сэра Эндрью Кларка и вместе с ним отправляется на яхте в Бангкок — столицу королевства Сиамского. Быть может, морской воздух поможет избавиться от приступов лихорадки.

Девять дней — небольшой срок, но все же, пока губернатор занят делами, Николай Николаевич успевает осмотреть этот своеобразный город, с его пагодами, развалинами, статуями Будды, домами, напоминающими древние храмы. С сожалением и досадой смотрит он на старинное здание королевского дворца, испорченное европейскими пристройками казарменного типа. Это, видимо, вполне соответствует вкусам молодого короля.

Услышав о пребывании в столице русского путешественника, король назначает ему аудиенцию. Но Николаю Николаевичу неинтересен этот человек, во всем слепо подражающий европейской моде. Он отказывается от свидания. Король не обижается. Узнав от своих министров о желании гостя приобрести для анатомических исследований молодого слона (а слоны в Сиаме принадлежат только королю), он приказывает выбрать слоненка и дарит его путешественнику. После некоторого размышления Николай Николаевич принимает королевский подарок. Слоны особой ценности в Сиаме не имеют, а анатомия их мозга интересна.

Та же яхта доставляет Николая Николаевича обратно в Сингапур. Одолеть лихорадку не удалось, здоровье стало еще хуже. Русский вице-консул Вампоа приглашает его пожить на загородной вилле. Вампоа — китаец. Его сад в китайском стиле, дом, гостеприимство, замечательная кухня известны русским морякам. Вилла Вампоа упоминается даже в описаниях среди достопримечательностей города.

Николай Николаевич принимает любезное приглашение вице-консула и переезжает в маленький домик, расположенный в саду и предназначенный для гостей. Он надеется отдохнуть и спокойно пожить в этом уютном китайском домике. Однако уже через несколько дней он принужден бежать оттуда и снова искать гостеприимства у своего приятеля — махарадхи Абу-Бакира.

Часть дома, именно та, в которой намеревался работать Николай Николаевич, построена над прудом. «Направо, налево — вода. Под полом — тоже вода, — в отчаянии описывает он свое положение в письме к секретарю Географического общества. — Днем это обстоятельство не стесняет меня, не говоря о гигиенических условиях: сырости во всем доме, испарений почти что стоячей воды; но вечером и ночью главное неудобство такой архитектуры проявляется в сильнейшей степени. Жители описанного пруда — многочисленные лягушки с очень звучными голосами — положительно доводят меня до невозможности работать. К нескончаемым руладам лягушек присоединяются голоса стаи собак, сторожащих сад и дом, и пронзительный хор мириад комаров, которые, привольно развиваясь в пруду, наполняют по вечерам голодными стаями мостообразную комнату, где я стараюсь



Молодая женщина из лесного племени оран-сакай.

работать. Я пытался не обращать внимания, думал привычкой одолеть это серьезное неудобство, но нестерпимые концерты одолели — я положительно терял под влиянием их связь мыслей, не мог думать, ни даже понимать, что читаю».

Но на этот раз и в Иохор-Бару Николай Николаевич не находит покоя. Дворец перестраивается — в первом этаже кирпичный пол заменяется мраморным, в стенах прорубаются новые двери, вводятся европейские усовершенствования и удобства. К тому же вся эта работа производится арестантами, закованными, во избежание побега, в тяжелые цепи.

«Звон и бряцание цепей сопровождают каждый шаг, каждое движение этих рабочих... Прибавьте работу каменщиков, стукотню плотников и слесарей, громкие разговоры и смех многочисленной прислуги махарадьи... Я с завистью вспоминаю покойную и тихую жизнь в моей келье на Берегу Маклая в Новой Гвинее».

Но лихорадка крепко приковывает Николая Николаевича к этим шумным местам. Все помехи и неудобства приводят к результатам, неожиданным для него самого. Он возвращается к старой мысли о необходимости создания зоологической станции, где ученые смогут найти убежище для спокойной работы. О такой станции мечтали они вместе с доктором Дорном, путешествуя по берегам Красного моря. Теперь, вновь увлеченный этой идеей, Николай Николаевич со страстной энергией приступает к ее осуществлению — выбирает для будущей станции место на высоком мысе в проливе Селат-Тебрау, ведет переговоры с Абу-Бакиром о продаже участка земли, сам чертит план дома и даже нанимает рабочих для постройки его.

«Тампат-Сенанг» — место покоя, так будет называться этот дом, с трех сторон окруженный водой, а четвертой примыкающий к девственному лесу. Он будет открыт для каждого исследователя природы. Две комнаты с верандами, библиотека, скромная мебель, посуда — вот все, что требуется для этого уединенного убежища. Николай Николаевич намерен распорядиться, чтобы и после его смерти дом не был продан и чтобы он не имел никакого другого назначения.

Переговоры с махарадьей о продаже земли затягиваются, а время не ждет, давно уже пора собираться в дорогу — здоровье понемногу восстанавливается. И Николай Николаевич решает отложить постройку станции до своего возвращения.

Он отправляется знакомым путем — через Иохор, к берегам реки Пахана, где живут дикие люди оран-сакай — по рассказам малайцев, злые и опасные. Впрочем, Николай Николаевич не без оснований предполагает, что опасны они главным образом для малайцев, которые в течение нескольких веков пытаются «приручить» этих лесных людей, продавая их в рабство.

Пыкан — столица княжества Паханского. Радья Па-



Улица в Пыкане — столице княжества Паханского.

хана, или, по-местному, бандахора Паханский, дружелюбно встречает гостя и, прочитав грамоту Абу-Бакира, обещает сделать все: дать проводников, гребцов, носильщиков. Но, узнав, что путешественник намерен посетить диких оран-сакай, бандахора приходит в ужас.

— Я могу отвечать за свой народ, — говорит он, — но за этих людей можно поручиться не больше, чем за тигров или слонов. Их отравленные стрелы не щадят ни людей, ни животных!

— Но именно это племя интересует меня чрезвычайно, — возражает Николай Николаевич и продолжает свой путь.

По настоятельной просьбе радьи он оставляет ему расписку, в которой удостоверяется, что русский путешественник, по имени Маклай, по своей воле отправился к диким людям, несмотря на уговоры и предостережения бандахоры Паханского, который будет совершенно неповинен, если опасения его оправдаются...

Путешествие трудное, еще труднее первого, но все оправдано блестящими результатами. Николай Никола-

евич находит племя диких оран-сакай, которое по всем признакам можно отнести к чистокровным папуасам.

Что же касается малайцев, то за последние три месяца он получил более верное представление об их характере, социальном и политическом положении, чем за три года пребывания в голландских колониях Малайского архипелага.

«Я не потерял этот год, и результаты стоят жертвы времени, здоровья и денег», — пишет он сестре из Сингапура.

Почти целый год потрачен на исследование Малайского полуострова. Материалов накопилось немало: антропологические и этнологические наблюдения, дневник, который велся исправно, несмотря на трудности пути, коллекция зарисовок, путевые заметки, которые могут пополнить скудные географические сведения о полуострове.

Отчего же медлит Николай Николаевич? Отчего не принимается за подготовку к печати этих ценных научных материалов? Чем он озабочен? Какие мысли осаждают его? Отчего так спешно покидает он, почти бежит из Сингапура?

Довериться он может только товарищам по Географическому обществу.

«Не одни неудобства пребывания в большом торговом городе, но еще другое обстоятельство (которое не нахожу причины умолчать) решили мой выезд из Сингапура... Вторжение белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, наконец, или порабощение, или истребление последних находятся в совершенном противоречии с моими убеждениями, и я не мог ни в коем случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев.

Я знал, что некоторые из радий, которых гостеприимством я пользовался, уверившись, что я не англичанин, а человек из большой, но далекой страны, не считали нужным слишком не доверять и притворяться относительно меня; я почел бы сообщение моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право назвать такой поступок шпионством. Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об этом путешествии что-либо касающееся теперешнего поло-

жения, социального или политического, Малайского полуострова.

Будучи в Сингапуре, я боялся невольно, мимоходными замечаниями даже, повредить делу малайцев и решил вернуться на Яву».

ДРУЗЬЯ В ОПАСНОСТИ

Не только судьба малайцев и лесных людей была причиной тревоги, охватившей Николая Николаевича по возвращении в Сингапур. В опасности были его друзья, в опасности Берег Маклая! В первой же попавшейся ему на глаза газете он прочитал о намерении Англии в самом ближайшем будущем занять восточную половину Новой Гвинеи, а следовательно, и Берег Маклая. И хотя в этом известии не было ничего неожиданного, оно застало его врасплох. Он не ожидал, что все произойдет так быстро. Что предпринять? Как защитить своих простодушных черных друзей? Расставаясь с ними, он обещал вернуться, если им будет грозить опасность.

Он должен сдержать слово и немедленно отправиться к ним. Но путешествие до Новой Гвинеи займет немало времени — англичане могут опередить его. Да и что сможет сделать он один? Вот если бы русское правительство согласилось прийти на помощь! Небольшая русская колония помогла бы папуасам отстоять независимость. Он был первым белым человеком, ступившим на папуасскую землю, и было бы несправедливостью, если бы этой землей завладели англичане.

Надо немедленно, еще до отъезда, пока к его услугам почта и телеграф, снестись с Петербургом. Ну, а в случае отказа придется действовать самому. Как? Это подскажут обстоятельства.

«Известие о намерении Англии занять половину Новой Гвинеи и вместе с тем, вероятно, Берег Маклая не позволяет мне остаться спокойным зрителем этой аннексии, — написал он Петру Петровичу Семенову. — Я достиг большого влияния на туземцев... Вследствие настойчивых просьб людей этого берега я обещал им вернуться, когда они будут в беде. Теперь, зная, что это время наступило и что им угрожает большая опасность (так как я убежден, что колонизация Англии кончится

истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово...

Замечу, что мое решение твердо и я не отступлю ни от моего слова, ни от решения».

Из Сингапура Николай Николаевич переехал в Бюйтензорг и с нетерпением стал ждать ответа. Теперь в этом «беззаботном» городе у него было много забот. Ахмату становилось все хуже. Жестокие приступы лихорадки повторялись все чаще и чаще. Не было почти никакой надежды, что удастся взять его с собой на Берег Маклая.

Николай Николаевич работал по десять — двенадцать часов в сутки — готовил к печати научные статьи, приводил в порядок коллекции, чтобы отправить их в Россию. Не забывая о папуасах Берега Папуа-Ковиай, он просил нового генерал-губернатора вспомнить о его докладной записке, «покойшейся в архивах». Во имя человечности и справедливости убеждал он его принять меры, «чтобы облегчить печальное существование жителей Берега Папуа-Ковиай».

Со всей энергией Николай Николаевич принялся за подготовку к путешествию на Берег Маклая: наводил справки о предполагаемых торговых рейсах в Тихом океане, использовал все свои прежние знакомства и связи. Он писал в Россию письмо за письмом — снова Семенову, Остен-Сакену, секретарю Географического общества Вильсону. Прошло несколько месяцев, ответа не было. Впрочем, любой ответ не изменил бы его намерения. Медлить больше нельзя было. В середине февраля с Черибонского рейса на Яве должна отправиться небольшая торговая шхуна «Морская птица». Ее маршрут — Каролинские острова, острова Пелау, острова Адмиралтейства. По уговору с владельцем шхуны Шомбургом, шкипер доставит Николая Николаевича на Новую Гвинею. На Берегу Маклая он начнет подготовку к созданию единого папуасского союза, в который должно войти все разрозненное население берега. Союз этот будет своими силами бороться с колонизаторами и отстаивать свою независимость. Он надеялся, что товарищи по Географическому обществу поймут его побуждения и не будут возражать против нового путешествия, полезного и с научной точки зрения. Теперь в программу его исследований, кроме антропологии папуасов, войдет

общественная сторона их быта. Именно она и будет главным предметом изучения.

«Тихий океан, 1°30' с. ш. и 138°1' в. д.

17 марта 1876 года.

Покидая в декабре 1872 года Новую Гвинею, несмотря на общие и настоятельные просьбы туземцев остаться у них, я обещал им вернуться, когда узнаю, что возвращение мое может быть для них полезным.

Последнее время, когда вторжение европейской колонизации со всеми ее опасностями грозит моим черным друзьям, я думаю, наступило время исполнения моего слова, которое сдержать я должен и хочу, несмотря на то что решение это отрывает меня от чисто научных занятий и что я вполне сознаю всю серьезность и трудность предприятия, которое предпринимаю один и без ничьей помощи.

Я нахожусь в настоящую минуту на пути к Берегу Маклая, где думаю поселиться с целью, согласно моему обещанию, стараться, чем и как могу, быть полезным туземцам, то есть не допустить, насколько будет возможно, чтобы столкновение европейской колонизации с черным населением имело бы слишком губительные последствия для последних.

Я надеюсь, что общественное мнение всех честных и справедливых людей будет для моего дела достаточным покровительством и охраной против непрерывных притязаний правительств и против несправедливых и насильственных поступков разных европейских эксплуататоров и искателей обогащения и личных выгод всеми средствами и путями.

Если, несмотря на все старания, мои усилия окажутся тщетными, научные исследования и наблюдения в этой, мне уже отчасти знакомой стране, вознаградят, может быть, мои жертвы: времени, здоровья и средств; если нет — сознание, что сдержал данное слово, будет достаточной наградой моего предприятия.

Надеюсь, что мои друзья знают меня достаточно, чтобы не принять мое решение за легкомысленный поступок, и не изменят прежней дружбы и симпатии ко мне, узнав, что, несмотря ни на что, я держу слово и возвращаюсь в Новую Гвинею не единственно как естествоиспытатель, а также как и «покровитель» моих

черных друзей Берега Маклая, что решился защищать, насколько могу, их правое дело: их независимость в случае европейского вторжения (которого неминуемое следствие — гибель туземцев), хотя сознаю, что их дело — дело слабого против сильного».

Это письмо Николай Николаевич отправил с пути Мещерскому с просьбой передать для напечатания в «Известиях Географического общества» и в газете «Голос». Однако Мещерскому не удалось исполнить просьбу друга — в печати письмо не появилось.

„МОРСКАЯ ПТИЦА“

Более четырех месяцев длилось это мучительное путешествие. Николаю Николаевичу не раз приходила в голову мысль бежать со шхуны куда глаза глядят, остаться на одном из островов Тихого океана, лишь бы не видеть того низкого обмана, того преступного обращения с населением, свидетелем которых ему приходилось быть. Очень скоро он убедился в том, что и шкипер, ирландец О'Киф, и торговцы — тредоры, плывшие на шхуне, были самые отъявленные негодяи и мошенники, жестокие и грубые.

Он приходил в отчаяние от своего бессилия, видя, как, вооружившись револьверами и ружьями, они отсыпали бисер маленькими, величиной с наперсток, мерками, получая в обмен на это жемчуг, перламутровые раковины, щиты черепах. Простодушные островитяне, уверенные, что они совершают выгодную сделку, теснились в пирогах вокруг шхуны, взбирались на борт, крича и отталкивая друг друга.

Иногда шкипер приказывал спустить на них собаку — огромного водолаза. В панике люди взбирались на ванты, кидались в море, удирали в пирогах и вплавь, бросив на палубе свои драгоценные товары. А шкипер и тредоры развлекались этим веселым зрелищем. В иных местах туземцы, привыкшие к посещениям белых, требовали вина, и тогда их охотно спаивали, отбирая у них драгоценности.

Немногим лучше было и обращение шкипера с матросами. За время путешествия несколько человек бежали со шхуны, не получив даже заработанных денег;

и товарищи завидовали им, считая счастливыми. Однажды дело дошло до того, что матросы в пылу ссоры чуть не бросили шкипера за борт, и Николай Николаевич должен был признаться самому себе, что считал бы эту меру вполне заслуженной и справедливой. От жителей острова Вуап он слышал, что О'Киф во время последнего своего приезда на их остров нанял туземцев для ловли трепанга, увез их в открытое море, а потом выбросил за борт всех заболевших от голода и непосильной работы.

Жизнь на шхуне была невыносима — постоянные крики, брань, споры, драки. Чтобы отвлечься, Николай Николаевич во время стоянок занимался наблюдениями над папуасской толпой. Он измерял головы туземцев, рисовал их портреты.

Бывали дни, когда он вовсе не выходил из своей каюты. Мысль, что шкипер может причинить немало неприятностей и горя его друзьям, не давала ему покоя. Он начинал серьезно подумывать о том, чтобы высадиться на одном из лежащих по пути островов и дожидаться другого судна. Однако рискованно было ввериться воле случая. Кто знает, когда представится возможность выбраться оттуда? И после долгих колебаний он решил все же продолжать плавание на «Морской птице». Он постарается принять решительные меры, чтобы шхуна не слишком долго задержалась на Берегу Маклая.

Так плыл он к своим черным друзьям, вверив жизнь ненадежным людям, без денег, без верного Ахмата, оставшегося в Бюйтензorge, одинокий и, казалось бы, забытый соотечественниками.

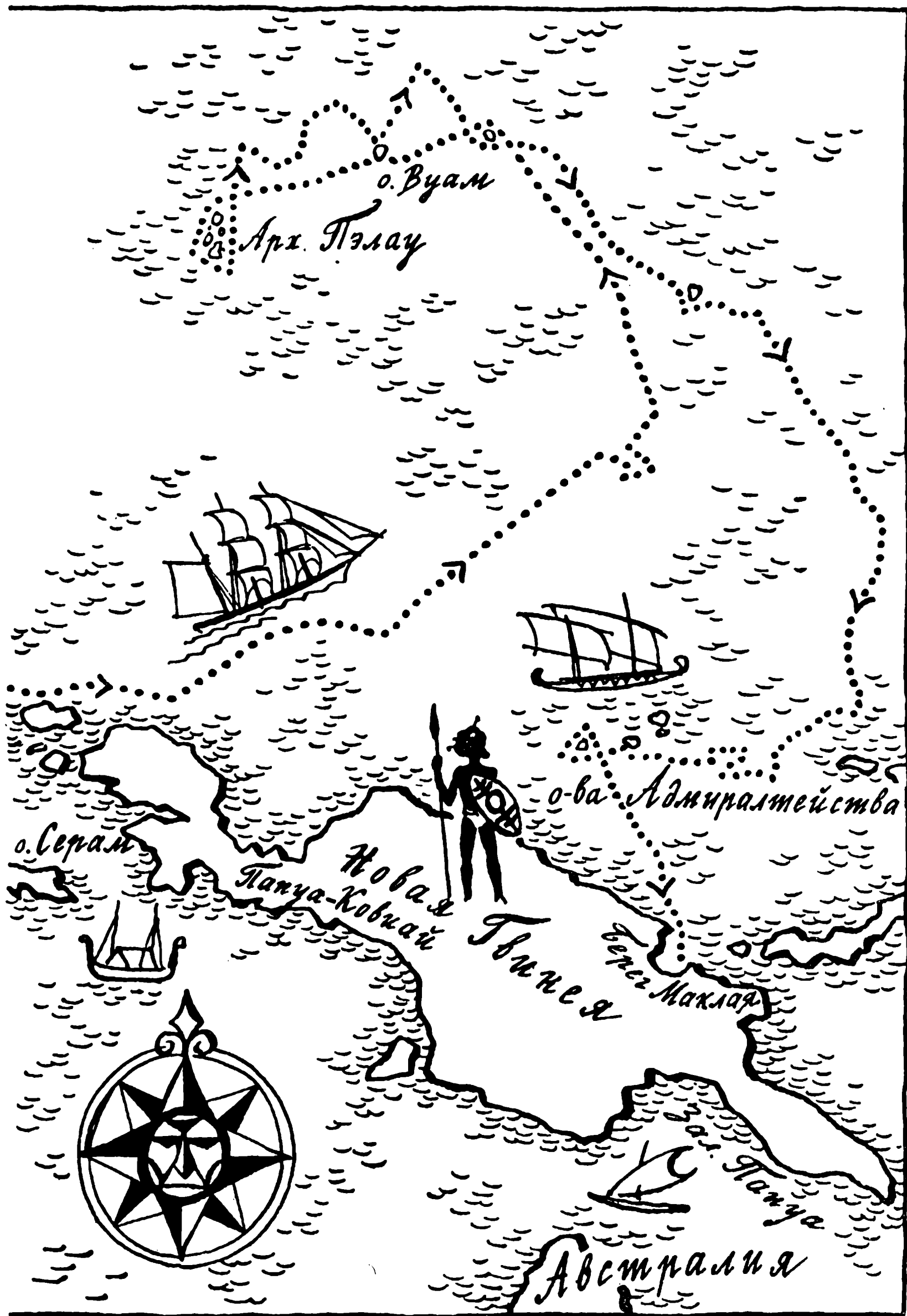
А между тем на далекой родине имя знаменитого путешественника не сходило со страниц газет и журналов. Печатались большие статьи, биографические очерки, отчеты его путешествий, отрывки из дневников. Журналы «Нива», «Пчела», «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация» помещали его портреты на титульных листах.

«Имя Миклухо-Маклая принадлежит к числу тех русских имен, которыми мы, русские, по справедливости можем гордиться...»

«Своей неустрашимостью и самоотвержением ради науки он успел уже приобрести очень громкую известность не только у нас, но и во всей Европе...»

Путь
шхуны
„Морская
птица”





«Глубокий интерес, возбуждаемый отважными исследованиями нашего славного путешественника, естественным образом вызывает желание ближе ознакомиться с личностью Н. Н. Миклухо-Маклая...»

«Считаем необходимым объяснить значение возвращения нашего смелого, неутомимого путешественника на остров, где он провел больше года среди туземного населения — папуасов, — извещала своих читателей газета «Голос». — Г. Миклухо-Маклай обещал им возвратиться, когда узнает, что возвращение его может быть для них полезным и необходимым... Голландцы давно уже заявляли свои притязания на западную часть острова, а в 1871 году на южном берегу высадились лондонские «миссионеры», и вслед за ними появились там же искатели золота из Австралии. Наконец, в последнее время к берегам Новой Гвинеи отправилась английская разведочная экспедиция, и не может быть сомнения, что независимость острова подвержена большой опасности.

Если посреди всех разнообразных своекорыстных интересов, которые сталкиваются теперь на Новой Гвинее, нашему соотечественнику Миклухо-Маклаю удастся сплотить в одно целое разбросанное население северо-восточного берега и образовать самостоятельную колонию, — это будет во всяком случае большая заслуга перед человечеством. Для нас же может быть утешительной мысль, что представителем бескорыстных, истинно человеческих стремлений в этих далеких странах является русский гражданин».

МАКЛАЙ ВЕРНЕТСЯ

Папуасы ждали Маклая. Четыре раза уже возвращалось время дождей и туманов и четыре раза наступала пора зноя и засухи с тех пор, как большой корабль унес в море их друга. Но папуасы ждали терпеливо.

— Балал Маклай — худи. Слово Маклая — одно! — повторяли они — Маклай обещал, значит, вернется.

Они были так спокойны, что даже перестали бояться врагов. Ведь если бы им грозила опасность, Маклай нашел бы способ добраться до их острова. Он сказал, что не оставит их в беде. Быть может, он смотрит на их



Маленький Туй — внук Туя.

берег с луны, из своей России, видит, что все спокойно, и поэтому не торопится? Правда, за время его отсутствия несколько раз начиналось землетрясение — тангрин, но от него пострадали только горные деревни, расположенные за горами Мана-Боро-Боро. А в Горенду и Бонгу всего лишь несколько больших деревьев унесло в море. Впрочем, Маклай никогда и не говорил, что может остановить тангрин, это папуасы сами так думали.

Иногда кое-кто начинал сомневаться в том, что Маклай сдержит слово, но это были чаще всего женщины, а они, как известно, склонны к слишком быстрым суждениям.

— Посмотри, наши внуки уже подросли, мы с тобой состарились, а Маклая все нет, — с грустью говорила Тую

его жена Каллоль. — Должно быть, у него на луне много друзей и он забыл про нас.

— Видно, ты такая же глупая, как и другие женщины, — спокойно отвечал ей Туй. — Или ты думаешь, что у Маклая нет никаких дел в его России? Он очень занят и потому не может приехать к нам. Закончит свои дела и приедет. Он сказал нам: «Я вернусь». Но ведь он не говорил, когда это будет. И надо ждать.

Однако украдкой Туй с огорчением смотрелся в осколок зеркала и старательно замазывал черной глиной — куму — серебристые пряди, появившиеся в его шевелюре.

Да, конечно, время бежало быстро. Старики старились, дети подрастали, юноши становились взрослыми. Сын Туя, Лялай, когда-то угощавший Маклая пауком — кобумом, превратился в стройного, сильного юношу. А внук Туя — маленький Туй, который при Маклае ковылял, переваливаясь на кривых ножках, — был теперь ловким, живым мальчиком, лазал по деревьям и помогал своему отцу Бонему в охоте и рыбной ловле.

Жизнь шла своим чередом. У жителей прибрежных деревень появилось много вещей, которых они раньше никогда не видели: железный топор, который назывался «топор Маклай», железный «нож Маклай» и «лопата Маклай». Только теперь они поняли, как неудобно пользоваться каменными топорами, ножами и лопатами и как трудно обрабатывать ими землю.

На их плантациях зрели огромные, сочные, сладкие плоды, которых никогда раньше не знали папуасы и которые назывались «арбуз Маклай», «дыня Маклай», «тыква Маклай», потому что Маклай дал им семена этих плодов и научил выращивать их.

И, когда на праздник приходили в береговые деревни люди из далеких мест, они слушали удивительные рассказы о каарам-тамо — белом человеке, спустившемся с луны прямо в Горенду и сделавшем столько добра для тамо Горенду, тамо Бонгу, тамо Били-Били.

— Так же, как и вы, мы не умели раньше хорошо обрабатывать землю, — говорили жители этих деревень своим гостям, — и земля наша не могла прокормить нас. Но вот пришел Маклай и дал нам железо. Он сказал нам: «О люди Горенду, люди Бонгу, люди Били-Били! Идите с моими топорами, с моими ножами на плантации, обрабатывайте ваши поля, выращивайте плоды и ешьте

их. А ваши каменные топоры никуда не годятся, бросьте их».

И гости с восхищением пробовали вкусные плоды, с любопытством и завистью рассматривали бусы, пестрые платки, яркие ленты — подарки Маклая; любовались блестящими жестяными банками из-под консервов. Они пили кеу из прозрачных стеклянных бутылок, в которых, оказывается, гораздо лучше, чем в глиняных, сохраняется этот драгоценный напиток. А если бутылка разобьется, объясняли им словоохотливые хозяева, из нее получается много острых осколков, которыми брить бороды удобнее, чем бамбуковыми пластинками.

В Гарагаси по-прежнему стоял таль Маклай — дом Маклая. Кокосовые пальмы, посаженные хозяином, так разрослись, что дома почти не было видно. Папуасы бережно охраняли его и лишь от одного врага не могли уберечь — от белых муравьев. Свай и стены были так изъедены ими, что, казалось, стоило дотронуться рукой — и дом рухнет. Но двери были плотно закрыты и заложены крест-накрест бамбуковыми палками. Дом ожидал своего хозяина, который вернется, непременно вернется, — в этом не было никакого сомнения!

Часто родители приводили в Гарагаси детей, которые были еще слишком малы, чтобы помнить Маклая, и рассказывали им о тамо биле — хорошем человеке, который жил в этом доме, любил детей, лечил их и заботился обо всех жителях их родного острова.

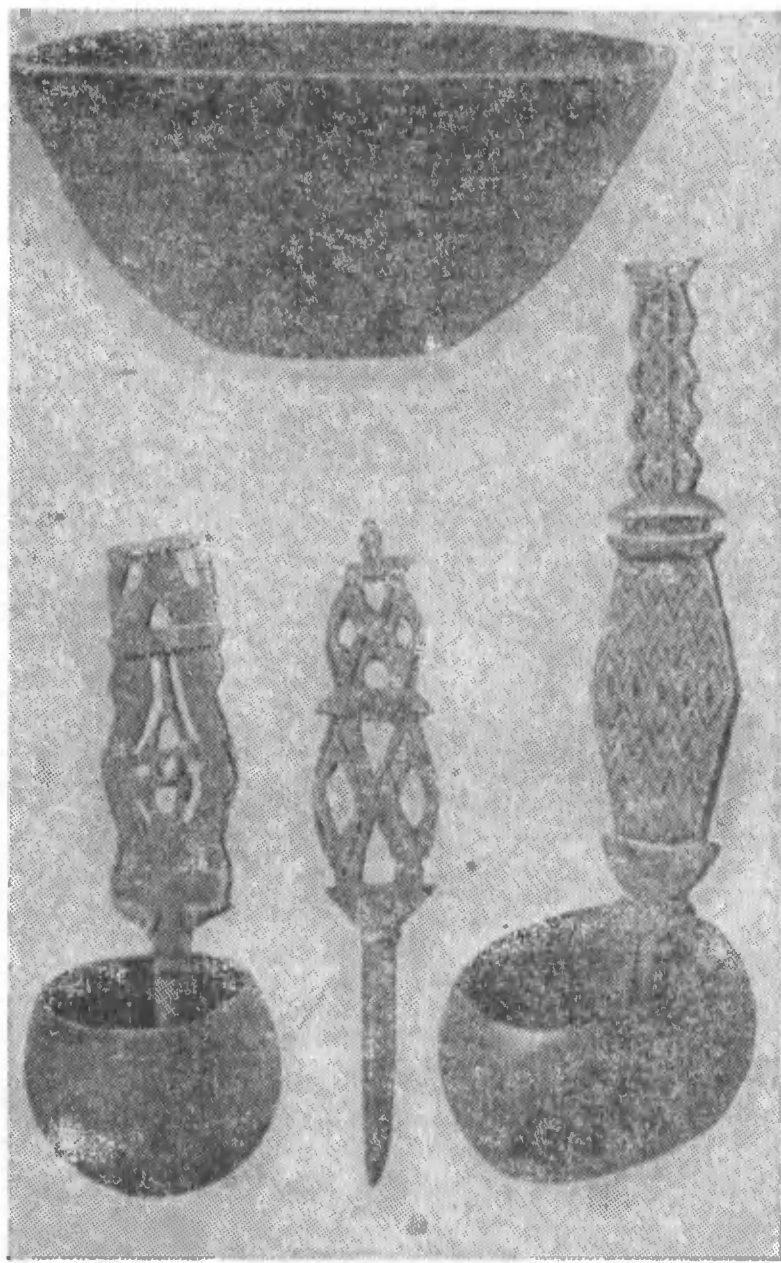
— Вы скоро сами увидите его, — говорили они. — Он придет. И тогда мы построим для него новый дом, крепкий и просторный.

Они подводили детей к огромному кенгару, на котором еще держалась медная доска, прибитая матросами «Изумруда».

— Это дерево — табу, — говорили папуасы своим детям. — На него нельзя лазать и нельзя дотрагиваться до этой доски — ее повесили тамо рус, друзья Маклая.

ОХОТА

Знойная сухая пора подходила к концу. Приближалось время охоты — веселое время, наступление которого всегда с нетерпением поджидали папуасы.



Миска, сплетенная из стеблей ротанга. Внизу — ковши из скорлупы кокосового ореха и резная ручка для ковша.

— Пора!—торопили юноши. — Скоро ли мы будем жечь унан?

— Скоро, теперь уже скоро, — успокаивали их старики, обводя внимательным взглядом светло-зеленые поляны и склоны гор покрытые высокой, в человеческий рост, колючей травой — унаном.

Скоро унан станет совсем сухим, и тогда пламя пожара промчится по нему и выгонит из лесных убежищ диких свиней — буль, и рыжевато-серых кенгуру — тиболей, и пятнистых белых и черных кускусов — мабов.

Унан — друг папуаса. Он помогает ему не только в охоте. Не беда, что со щитом в руках приходится прокладывать себе путь в этой густой, колючей траве.

Не беда, что подчас исколото лицо, руки, ноги, все тело. Зато унан — надежный защитник, если надо уйти от врага. Упругие стебли поднимутся, сомкнутся над головой, и примятой травы как не бывало — врагу никогда не найти своей жертвы в светло-зеленом море унана.

И от палящего зноя унан укроет утомленного путника. Пригнать его высокие стебли, лечь, и нигде, даже дома, на собственной циновке, не спится так хорошо, как на этих жестких пружинящих стеблях. А темной ночью — на суше или на море — зажженные пучки сухого унана, подобно факелам, освещают путь.

Уже в четвертый раз после отъезда Маклая вспыхнул унан. Его зажгли жители Горенду, Бонгу, Гумбу.

Из каждой деревни вслед за убегающим пламенем навстречу друг другу пестрой цепью шли охотники, по-праздничному разукрашенные. Перья казуара и райской птицы торчали в их густых шевелюрах, алые цветы китайской розы и желто-красные листья заткнуты были за ручные браслеты — сагю. С натянутыми луками, с копьями наперевес они медленно двигались вперед по обгорелой земле, внимательно следя за направлением пожара.

Пламя несло по ветру, то взлетая вверх огромными языками, то змейками вилось по земле, оставляя за собой груды легкого пепла. Столбы буро-белого дыма высоко поднимались в воздухе, застилая небо, и лишь временами пелена дыма разрывалась, открывая вид на ближний лес и далекие горы. Сухой унан трещал, вспыхивал, мелким дождем искр рассыпался по воздуху; пепел залетал в рот, в нос, в глаза.

В охоте принимали участие не только взрослые мужчины, но и мальчики. Держа наготове свои маленькие луки и копья, они вглядывались в даль, готовые ринуться вперед при первом же появлении зверя. Здесь были сыновья Бугая, и младшие братья Лалу, и сын Саула, и внуки деда Буа, и Лялай — младший сын Туя. Он был самым главным из юных охотников — немногие юноши так метко бросали копья или стреляли с берега в рыбу.

В этот день было убито несколько кенгуру — тиболей, много мелких мабов — кускусов — и несколько диких свиней.

Но все же охотников постигла неудача — они упустили самую завидную добычу. Огромный кабан ушел от преследования. Копья и стрелы летели ему вслед, когда он бежал по обгорелой поляне, вонзались в землю вокруг него, но он каким-то чудом миновал их. Наконец несколько стрел попало ему в шею, копье задело бок, а он все бежал, оставляя на черной земле кровавые следы. Несколько раз кабан поворачивал к преследователям свою громадную черную морду и, глухо рыча, показывал страшные клыки. Так его и не догнали, он скрылся в чаще.

— О, — вздыхали охотники, — был бы с нами Маклай и его ружье, тогда бы этот буль боро — большой кабан — не посмеялся над нами и не удрал от нас! Он ле-



**Участник ночного праздника ай
в обрядовом костюме.**

жал бы мертвый, и мы резали бы на куски его мясо для ночного ая.

Ночной праздник ай все же состоялся. Не успело солнце опуститься за далекие горы, как из Горенду понеслись звуки барума, сзывавшие соседей на пир, которым, по обычаю, завершалась охота. Юноши — маласси — разжигали костры, в больших котлах варился сладкий картофель, куски свинины пеклись над огнем, сало шипело, трещало, зеленоватые брызги пламени рассыпались во все стороны, освещая лица собравшихся. Здесь были мужчины всех трех деревень: и охотники, и гости, пришедшие попить вместе с ними, поесть вкусной свинины, запить ее зеленым кеу, полакомиться сладким монки-ля. Юноши подавали гостям все эти вкусные блюда. Женщинам строго запрещено

было даже подходить к пирующим, потому что самые звуки музыки ночного праздника могут принести им и детям непоправимый вред. В этом не было никакого сомнения.

Впрочем, эту музыку было трудно не слышать. Музыканты изо всей силы дули в длинные бамбуковые трубы ай-кабрай, и многоголосые протяжные звуки, похожие на вой собачьей своры, разносились далеко вокруг. Губные гармошки — монки-ай — визжали, надрывая

уши; били барабаны — окамы; гремели погремушки — орлан-ай; пронзительно свистели бамбуковые флейты — тюмбины. И под этот невообразимый хаос звуков одни пели и танцевали, нетвердо держась на ногах; другие, утомившись от выпитого и съеденного, крепко спали, растянувшись на циновках; третьи, собравшись в кружок, вели задушевные беседы — о птицах, о зверях, о звездах, о луне, о горестях и радостях, о врагах и друзьях, о Маклае.

— Маклай — это человек! — заплетающимся языком говорил дед Буа. — Помните, как он подстрелил буль боро — кабана еще большего, пожалуй, чем тот, который сегодня убежал от нас! Маклай не побоялся — он подбежал совсем близко и воткнул ему нож в бок. Я сам видел, своими глазами! Конечно, может быть, Маклай и вовсе не может умереть, но, когда буль так страшно зарычит, любой храбрец испугается.

— Когда на меня напал кабан, Маклай залечил мои раны, — сказал Саул. — Он не ленился каждый день приходить ко мне в Бонгу, хотя сам был болен и слаб. Он спас мне жизнь, я никогда не забуду этого.

— А разве мне он не спас жизнь! О Маклай, о Маклай! — завопил вдруг Туй и опрокинул в рот горлышко бутылки, как будто хотел залить зеленым кеу горечь разлуки.

Прошла ночь — душная, без единого ветерка, тропическая ночь. Заря занялась на востоке, освещая остатки пира, спящих людей. Бледная, прозрачная луна еще висела на краешке неба, как будто и ей не хотелось покидать праздник.

Погасли костры, умолкли утомившиеся музыканты, лишь изредка раздавались кое-где сонные возгласы, бормотание, храп, несложный мотив песенки: «Бом-бом-мараре... горима-рима-рима...»

И вдруг... Или это только приснилось папуасам? Причудилось от выпитого кеу? Они ясно слышали свист — знакомый, долгожданный свист, отозвавшийся во всех сердцах.

Протирая глаза, вскочил на ноги Туй, за ним остальные. Свист повторился. Сомнений не оставалось: это был кич-кан-кан — свисток Маклая.

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!

Снова гремит барум в Горенду, далеким эхом разносятся гулкие, частые удары. Что за тревога? Что случилось? Еще не кончился ночной праздник, а люди Горенду опять сзывают своих соседей! Уж не война ли? Не горцы ли напали на пирующих? Быть может, началось землетрясение? Из Бонгу, Гумбу, Богатим людской поток устремляется в Горенду. Бегут мужчины, бегут женщины, бегут старики и дети.

Нет, это не война и не землетрясение. Из уст в уста передается радостная весть:

— Маклай вернулся!

— Маклай снова с нами!

— Э-а-ба, Маклай! Здравствуй, друг! Здравствуй, брат!...

Десятки рук тянутся к Маклаю. Женщины приветствуют его, пожимая левую руку и выражая этим высшую степень доверия. Женщинам и детям не полагается присутствовать на празднике, но тут уж не до правил — Маклай вернулся!

Люди обнимают друг друга, плачут от радости, смеются.

— Я знал, что ты вернешься к нам, Маклай! — Слезы текут по черным, морщинистым щекам Туя. — Моя жена не верила, но я говорил ей: «Он вернется, потому что слово Маклая — одно. Балал Маклай — худи!»

— Да, Туй говорит правду! Я думала, что ты забыл нас среди друзей в твоей России. — Старая Каллоль долго трясет Маклаю руку, и радость светится в ее добрых глазах.

— Нет, я не забыл вас, я бы давно вернулся к вам, если бы не болезнь. Ведь я так и не был еще на своей родине, хотя, поверьте, очень соскучился по родным и друзьям. Что поделаешь, мне кажется, я здесь нужнее. — Последние слова он произносит, отвечая скорее собственным мыслям, чем старой Каллоли.

— Где стоит твой корабль, Маклай?

— Мы не видели дыма, мы жгли унан, и дым пожара заслонил от нас небо и море.

— Где твои спутники, русские люди — тамо русс? Почему они не пришли вместе с тобой на наш праздник?

— Или ты не на корабле приплыл к нам? Может быть, ты опять спустился с луны на наш остров?

— Нет, я не спустился с луны, — отвечает Маклай. — Я приплыл к вам на шхуне «Морская птица».

— «Морская птица»! — Возглас удивления проносится по толпе. — Вы слышите, Маклай прилетел к нам на птице!

— Морская птица принесла его к нам прямо с луны!

— К сожалению, это не птица, а обыкновенная и довольно дрянная шхуна, — отвечает Маклай, — и командует ею один очень плохой человек, шкипер О'Киф. Кроме шкипера, на шхуне есть еще много плохих людей — тамо борле. И я постараюсь, чтобы они как можно меньше времени провели на вашем острове. Принадлежит эта шхуна англичанам, и русских людей на ней нет... Спасибо вам, милые друзья мои, — продолжает Маклай, — что вы ждали меня, верили мне и не забыли меня. Я рад, что вижу вас живыми, здоровыми. Ты немного постарел, Туй, но это не беда, ты стал даже красивее. Бонем, Лалу, Саул, Бугай — все старые знакомые! Каин, и ты здесь! Как там у вас на Били-Били?..

— Били-Били, Били-Били, — радостно повторяет Каин и кивает головой. Он очень польщен, что Маклай помнит его.

— Посмотри, Маклай, ты узнаешь, кто это? — Молодая женщина сажает Маклая на руки девочку лет четырех.

Он растерянно держит ребенка.

— Ведь это Мария! — с гордостью говорит женщина. — Ты дал ей имя, и мы с мужем гордимся этим. Мария очень умная девочка.

— Мария? Да, в самом деле... — Он вспоминает, что незадолго до отъезда ему пришлось дать имя новорожденной.

Родители настойчиво просили его об этом: «Назови ее каким-нибудь русским именем, — говорила мать. — Это принесет ей счастье!» Он назвал ее Марией.

И вот теперь Мария сидит на руках у чужого дяди и громко ревет, скривив свои толстые папуасские губки. Удивительно ли? Ведь ей впервые приходится видеть такое белое лицо и такие белые руки, как у этого дяди.

— Не надо реветь... Маша, мы еще с тобой подружимся. — Маклай передает девочку матери.

— Лялай, ты ли это? Старый приятель! Да какой же ты стал молодец! — С искренним восхищением он оглядывает стройную фигуру мальчика. — А это Туй? Маленький Туй на кривых ножках? Вырос-то как! Просто не узнать. И ноги прямые.

— Что же вы все замолчали? Рассказывайте, рассказывайте скорее. Я хочу знать, как вы жили здесь без меня.

Обстоятельно и подробно папуасы рассказывают о важных событиях, происшедших за время их разлуки. Старый Моте умер, и Калеу умер, у Бугая умерла жена, у Лако — ребенок. Все это грустные новости, и не следовало бы вспоминать о них в такой веселый день. Но Маклай должен знать все — и плохое и хорошее. Нет, враги не нападали на их деревни — должно быть, они боялись Маклая. А вот землетрясение было, и за горами Мана-Боро-Боро было немало убитых и раненых. А в Горенду только несколько больших деревьев упало в море.

— Ведь это ты о нас позаботился, да, Маклай? Ты ведь можешь остановить тангрин, если захочешь, не правда ли? — Они заглядывают ему в глаза. Неужели Маклай и теперь не сознается в своем могуществе?

Но Маклай не собирается вводить в заблуждение этих доверчивых взрослых детей.

— Нет, — разочаровывает он папуасов, — я не могу остановить тангрин, так же как прекратить дождь или заставить ветер дуть в другую сторону. А вот от людей я постараюсь защитить вас, черные друзья мои. Я буду бороться за вас, буду бороться вместе с вами, лишь бы хватило сил.

Папуасы доверчиво кивают, хоть и не могут понять, о каких людях толкует Маклай. Должно быть, о врагах, о тамо борле. Но теперь, когда Маклай с ними, им нечего бояться.

„СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО“

Дом Маклая стоит теперь в Бугарломе, на маленьком пустынном мыске близ деревни Бонгу. Снова, как в былые времена, в таль Маклай тянутся вереницы



Уголок в хижине Н. Н. Миклухо-Маклая в Бугарломе.

посетителей. У каждого неотложные дела. Кому нужен гвоздь, кому — бутылка, кому — консервная банка, у кого болит нога, кому необходимо пожаловаться на соседа или жену, а кому просто хочется поболтать с Маклаем. Они идут к нему со всеми своими повседневными нуждами и заботами, уверенные, что он все рассудит и во всем разберется по справедливости. Как будто он лишь вчера расстался с ними, как будто не было четырех лет разлуки.

И Николай Николаевич разбирает ссоры, лечит больных, раздает подарки. Он всматривается в дружеские, приветливые лица и вспоминает о том времени, когда на каждом шагу встречался с недоверием и подозрительностью, когда одно неосторожное слово могло привести к гибели. А теперь ему кажется, что после долгих странствий он вернулся наконец домой, к друзьям, к близким.

На душе у него хорошо и спокойно, и даже тропический климат больше не тревожит его. Он вовсе не удивляется, когда при температуре плюс 21 градус папуасы дрожат всем телом и греются возле своих переносных печей. Скорее ему странно вспомнить, что такая погода в Петербурге казалась ему теплой.

«Поистине я становлюсь настоящим жителем тропиков», — замечает он про себя.

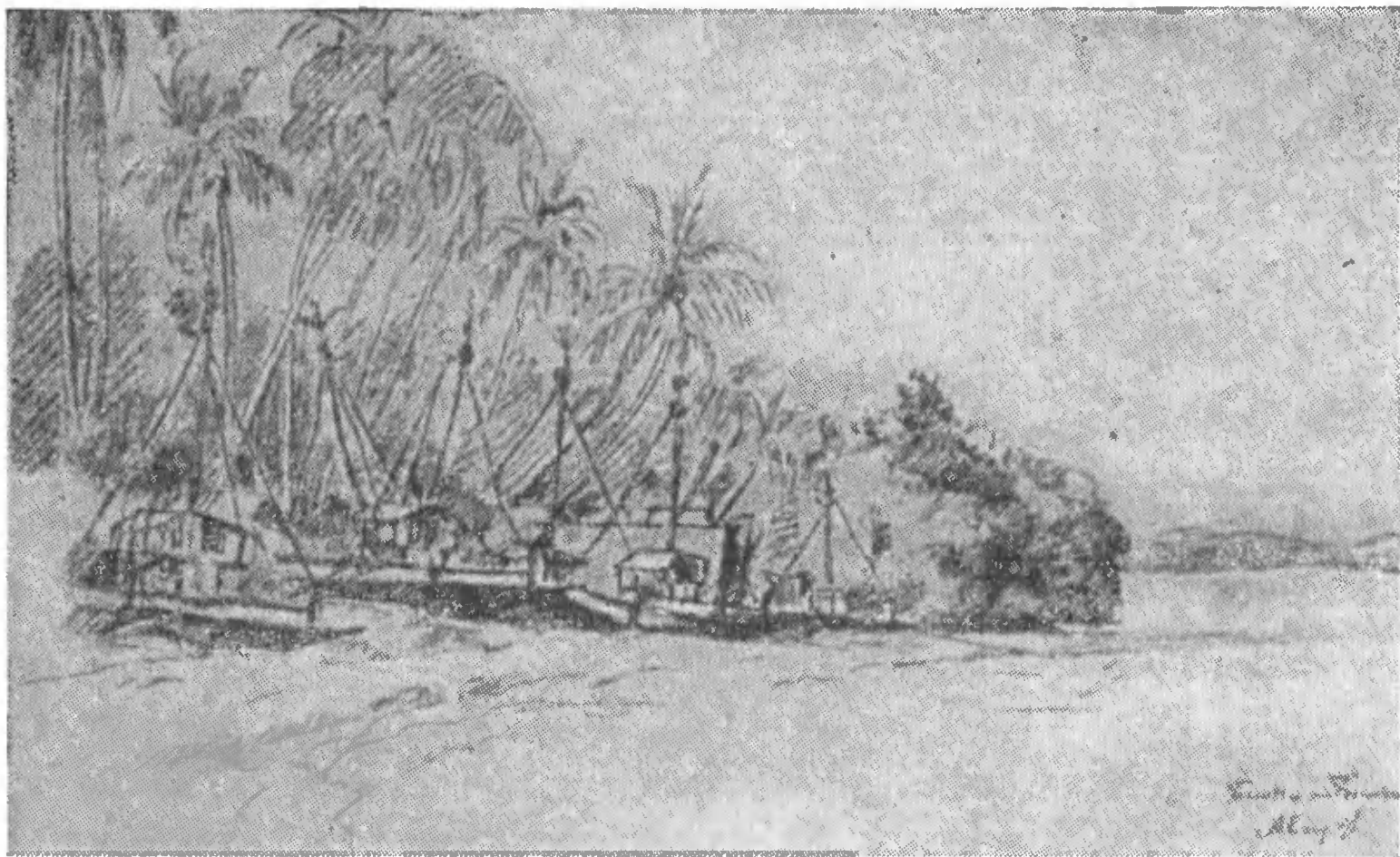
Дом в Бугарломе гораздо больше и удобнее, чем в Гарагаси. В нем два этажа. В верхнем — спальня Николая Николаевича и веранда. В нижнем — кабинет, комната для анатомических занятий и склад припасов. В отдельной хижине, рядом с домом, помещаются слуги — яванец Сале, исполняющий обязанности повара, и Мебли, уроженец одного из островов Пелау.

К складной мебели, привезенной из России, прибавилась теперь мебель из Батавии и Сингапура. Ящики изпод книг и медикаментов превращены в шкафы. Пол устлан китайскими циновками. Возвращаясь после далеких, утомительных экскурсий, Николай Николаевич отдыхает в своем уютном доме, который он ни за что не променял бы на самую удобную европейскую квартиру.

Вокруг дома посажены кокосовые пальмы, а на открытой площадке зреет кукуруза, тыквы, бананы, мангис, папайя, арбузы. Уход за всей этой плантацией был бы не по силам Николаю Николаевичу и его слугам. Но время от времени с веранды несутся звуки гонга, оповещающие соседей, что Маклай нуждается в их помощи. И жители Бонгу охотно являются на зов и присылают своих жен, которые теперь не боятся Маклая, а работают гораздо лучше своих мужей. Зато при сборе урожая Маклай щедро дарит им плоды и семена для их собственных плантаций.

Соседство с Маклаем вызывает постоянную зависть. Время от времени к нему являются жители других деревень с просьбой переехать к ним. А в селении Айру, на острове Били-Били, построили для Маклая дом, и он с удовольствием ночует и живет по нескольку дней в этом прохладном полутемном «собственном» доме.

Соседи сопровождают Маклая во время далеких экскурсий в глубь острова и помогают ему сговариваться с населением. Диалекты разных местностей очень отли-



Остров Били-Били.

чаются друг от друга. Маклай, изучивший язык лишь прибрежных деревень, нуждается в переводчике, попадая в далекие селения.

В иных местах еще ничего не знают о белом человеке и со страхом встречают его. Тогда переводчики с большой охотой рассказывают о необыкновенном могуществе своего друга, превозносят его достоинства и советуют потрясенным слушателям непременно посетить таль Маклай, чтобы убедиться и своими глазами посмотреть на необыкновенные вещи, окружающие белого человека. И нередко бывают случаи, когда хозяева недолго думая собираются в путь...

Время идет — день за днем, месяц за месяцем. Николай Николаевич рассчитывал пробыть на Новой Гвинее всего лишь полгода. Он уговорился с представителем торговой фирмы Шомбургом, что шхуна, которая в сентябре-октябре по делам фирмы направится на острова Агомес, зайдет за ним на Берег Маклая. Но, по-видимому, для людей коммерческих не так много значит слово.

Проходит полгода, год, вот уже скоро полтора года, а шхуны все нет. Каждый день он ждет ее, ждет и в то же время боится ее прихода, потому что работа так ин-

интересна и так трудна, что приходится дорожить каждой минутой. Дни кажутся короткими, и почти никогда не удается к вечеру закончить то, что начато утром.

Правда, запас провианта, рассчитанный на пять-шесть месяцев, давно уже кончился, и пришлось перейти на пищу папуасов. Это вредно отражается на здоровье — малейшая царапина, укол или ушиб, в особенности на ногах, превращаются в долго не заживающие раны. Но зато это дает возможность сделать еще одно научное наблюдение, а именно: проследить действие пищи туземцев на организм европейца.

Понемногу приходит к концу и запас необходимых вещей, которых уже никак нельзя позаимствовать у папуасов: бумаги, чернил, перьев, карандашей.

Ко всем этим заботам присоединяется тревога о близких. Шхуна должна привезти почту из России — перед отъездом Николай Николаевич сообщил сингапурский адрес родным, друзьям, знакомым. Сколько писем должно было там накопиться! Как давно — вот уже почти три года — он ничего не знает о матери, о сестре. Они стали так скупы на письма. В особенности после покупки Малина. Николай Николаевич не одобрял этой затеи. Братья едва ли занимаются имением: у Сергея уже своя семья, Володя, должно быть, в плавании, Миша учится. Все заботы ложатся на слабые плечи двух женщин. Где они теперь: в Петербурге? В Малине? Отчего перестали писать? Сердятся на него? За что? Времени нет? Нашлось бы, если бы захотели. Здоровы ли, думают ли о нем? Или забыли своего «белого папуаса»? Быть может, он провинился перед ними? Но в чем? Ведь они всегда сочувствовали его делу.

Как бы ища ответа, он снова и снова вглядывается в портреты матери и сестры, которые и здесь, в Бугарломе, стоят на его письменном столе. По-прежнему ласково смотрят на него любящие, грустные глаза матери. По-прежнему немного исподлобья, строго и нежно глядит на него Оля. Какая она теперь? Изменилась, должно быть, повзрослела. Продолжает ли рисовать? Занимается ли музыкой? Бывает ли в концертах? Не вышла ли замуж? Как это печально, что он годами ничего не знает о самых близких, самых дорогих для него людях. Иной раз кажется, так и полетел бы к ним, будь у него крылья. Хоть бы взглянуть на них! Но крыльев нет, а путешествие зай-

мет слишком много времени. Жизнь коротка! Впереди еще самая большая и трудная часть той задачи, которую он поставил перед собой. Отступать — не в его правилах, не в его характере.

«Да ведь вы и сами не похвалили бы меня за это, не так ли, милые мама и Оля? Ну, значит, не о чем и говорить!»

Итак, время идет — в работе, в походах, в заботах о доверчивых, простых людях, которые окружают его и которые так нуждаются в его защите. Отношения с папуасами теперь наилучшие, но все еще приходится преодолевать немалые трудности. Для того чтобы узнать что-нибудь новое, тот или иной обычай или обряд, нужно появиться как бы случайно. Стоит только предупредить о приходе — и все меняется. Лишь притворяясь глубоко равнодушным, Николаю Николаевичу удается наблюдать жизнь туземцев. По полшага, по четверть шага — утомительно медленно движется он вперед к намеченной цели; то под видом безразличия, то хитростью добывая крохотные частички интересующих его наблюдений, поставив за правило верить только своим глазам.

И вот — это происходит постепенно — ни одно радостное и ни одно печальное событие не обходится без Маклая. «Совершенно случайно» он с толпой своих приятелей — мальчишек — спешит на свадьбу четырнадцатилетнего Мукау и пятнадцатилетней Ло. Он присутствует при том, как бедную невесту, с головы до ног обмазанную красной глиной — суру, с расчерченным белой известью личиком, все, кому не лень, оплевывают нажеванной, заговоренной от болезней и несчастий кашей — оним-отар. В числе родственников и близких друзей он провожает невесту в дом жениха и надевает на шею маленькой Ло свой подарок — стеклянные бусы «невиданной красоты». Он слушает длинную торжественную речь одного из тамо боро о правилах поведения будущей хозяйки и матери семейства. Для того чтобы наглядно показать, к чему может привести неповиновение мужу, оратор, накрутив на палец прядь волос невесты, время от времени с силой дергает их. И Николай Николаевич от души жалеет бедную девочку, которая во время этой процедуры ежится, вскакивает и горько всхлипывает от боли. Сидя в ряду самых почетных гостей, Маклай пирует на свадебном пиру, запивая мутным кеу вкусные кушанья — инги.



Невеста из деревни Бонгу.

А когда короткие, отрывистые удары барума возвещают, что кто-нибудь из жителей умер, Маклай «случайно» оказывается в толпе, которая спешит к дому умершего, откуда уже несутся причитания и вопли женщин. Удивительные похоронные представления разворачиваются перед его глазами: пантомимы горя и отчаяния, разыгрываемые вдовой, вдовцом или ближайшими родственниками; траурные пляски; заупокойные речи и

песнопения; воинственные крики, удары топора по деревьям, как бы направленные против смерти и выражающие высшую степень беспомощности и печали.

«Аламо-амо — уже солнце село, — поет муж, сраженный кончиной жены. — Уже солнце село, а она все еще спит. Уже стемнело, а она все не приходит. Я зову ее, но она не отзывается. Аламо-амо, аламо-амо».

И вместе с родными и близкими, друзьями и знакомыми Маклай в знак траура мажет себе лоб черной глиной — куму.

— Ты чтешь память наших покойников, — говорят ему растроганные папуасы. — Ты хороший человек — тамо билен. Спасибо тебе, Маклай! — И от всей души они крепкожимают ему левую руку.

— Недаром у нас говорится — левая ближе к сердцу, — говорит он, отвечая на эти рукопожатия.

Но, чем дольше живет Николай Николаевич среди папуасов, чем больше сближается с ними, тем все чаще и чаще посещают его невеселые размышления об их будущей судьбе. Удастся ли сплотить папуасские племена в одно целое? Папуасы еще смутно представляют себе грозящую им опасность. Много труда надо потратить, чтобы убедить их в этом. Не окажет ли он плохую услугу туземцам, облегчив своим знанием страны, обычаев, языка доступ сюда европейцев?

«А если рассматривать вторжение белых как неизбежность в будущем, — спрашивает он себя, — кому отдать предпочтение — миссионерам или тредорам?»

И он приходит все к тому же выводу: ни тем, ни другим. Ни тем, ни другим, потому что первые под маской просвещения занимаются в сущности тем же, чем вторые, или прокладывают им путь. Их доводы известны. «Темные расы, — говорят они, — должны исчезнуть как низшие, более слабые и уступить место высшей, более сильной белой расе».

Между тем беспристрастное наблюдение приводит к совсем иным выводам. Вполне естественно, что различные страны, с различными условиями жизни, различным климатом и географическим положением не могут быть заселены людьми одного типа, с одинаковым цветом кожи, с одинаковыми особенностями. Существование различных рас вполне соответствует законам природы, и представители их должны пользоваться одинаковыми

правами. Поэтому истребление первобытных народов следует признать не чем иным, как применением грубой силы. Против этого обязан протестовать каждый честный человек.

НЕ ХОДИ В ГОРИМУ, МАКЛАЙ!

Коды-Боро был самый почтенный, самый уважаемый человек в деревне Богатим. Оттого его и звали Коды-Боро, а не просто Коды. Без его совета не решались никакие дела — ни малые, ни большие. И дом у него был самый большой в деревне, а в этом доме часто бывали гости, потому что Коды-Боро был гостеприимный хозяин. Само собой разумеется, что среди гостей самым почетным был Маклай. Когда он приходил в Богатим, то уж непременно навещал Коды и часто оставался у него ночевать. Ему нравился этот спокойный человек с доброй улыбкой и уверенными, неторопливыми движениями. Они были давнишними приятелями и любили побеседовать друг с другом. Одним лишь Коды порой досаждал Николаю Николаевичу — он любил сватать и вбил себе в голову, что непременно должен женить Маклая. Он то и дело подбирал для него самых красивых девушек на деревне, так и норовил завести длинейший разговор о достоинствах каждой. К уверениям, что Маклай жениться не собирается, он относился с недоверием — значит, невеста не по вкусу! Ну что ж, подыщем другую.

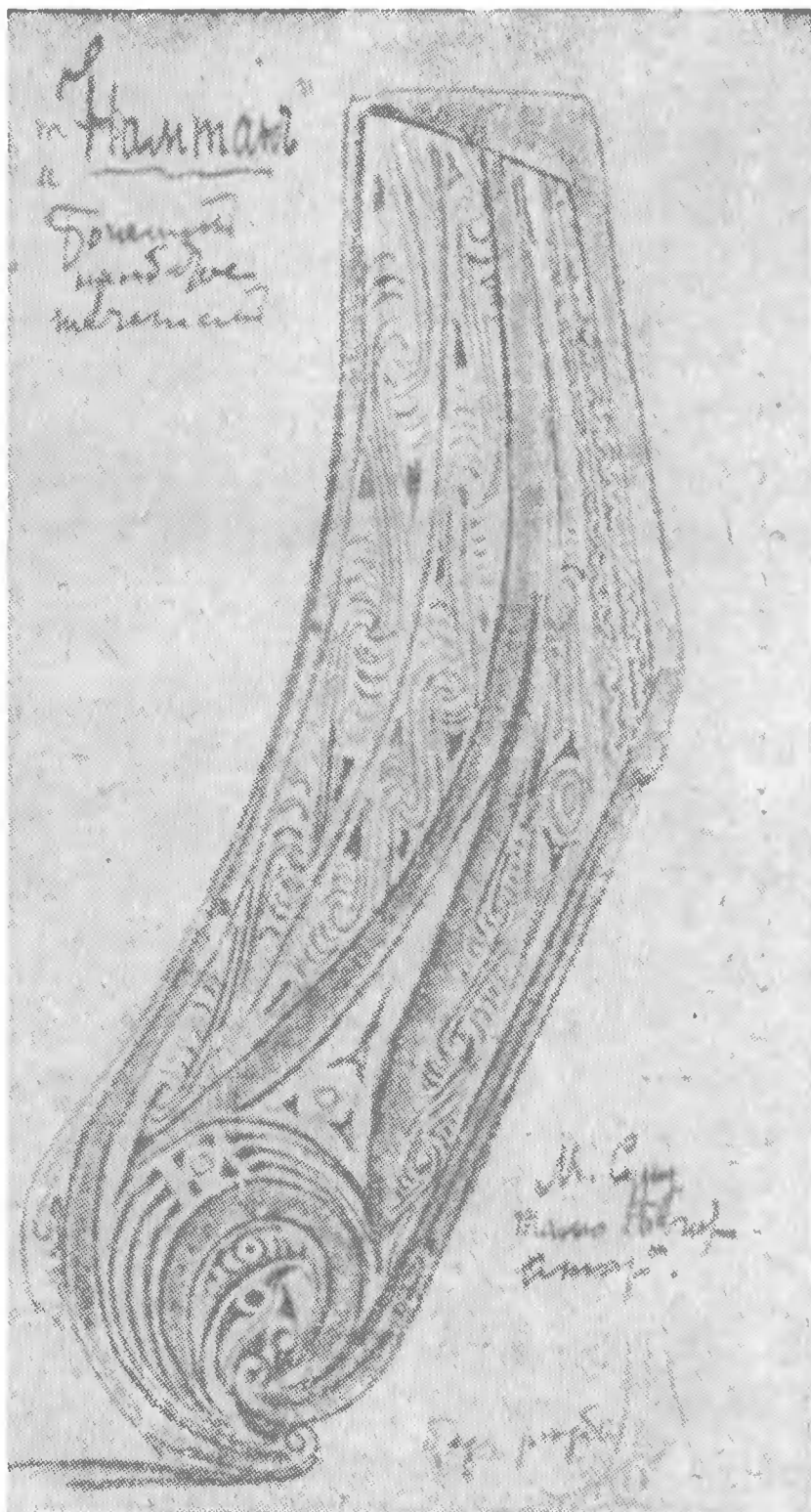
В этот вечер, возвращаясь из далекой экскурсии, Николай Николаевич зашел в Богатим. Он решил здесь переночевать, чтобы с рассветом, еще до наступления жары, добраться до дому.

Он сидел на барле возле хижины Коды-Боро. На деревянном блюде дымился перед ним картофель — дегарголь, вареный бау, сладкий мунки-ля — великолепный ужин для усталого путника. Сам хозяин, сидя на пороге, внимательным взглядом следил за гостем. По вкусу ли ужин? Не подать ли еще чего-нибудь? Не хочет ли гость выпить немного кеу?

Нет, гость был всем доволен. Он отдыхал, любясь торжественной красотой июльского вечера. Солнце огромным пылающим шаром быстро опускалось за далекие горы Мана-Боро-Боро, освещая пурпурным светом

их суровые вершины, верхушки деревьев, выцветшие, побелевшие от солнца крыши из пальмовых листьев. Только что повеяло прохладой, и казалось, вся природа радовалась наступавшему вечеру. Птицы летели на ночлег. Как разнообразен их многоголосый хор! Николай Николаевич различал в нем все больше и больше знакомых голосов: гортанный, переливчатый рокот диких голубей; заунывный стон кукушки — дум, неуклюжей птицы с небольшими крыльями и длинным хвостом; она плохо летает и предпочитает бегать по земле, как курица; короткий, резкий крик быстро летающих попугаев — лори; громкий, неприятный голос черного какаду; зловещий, издалека слышный шум полета огромной птицы — носорога, которая выбирает для ночлега верхушки самых высоких деревьев. Папуасы называют эту птицу «наренг». Жалобная, мелодичная песенка райской птички — коко. «Кокониу-кеу, коко-ниу-кеу», — поет она свою колыбельную.

Вот и теперь Николай Николаевич едва не уснул, убаюканный ее пением. Сквозь дремоту он услышал, что кто-то произнес его имя. Он приоткрыл глаза — на пороге по-прежнему сидел Коды-Боро, а рядом с ним — его старший сын Ур. Они беседовали вполголоса, жевали бетель. До слуха Николая Николаевича доносились лишь отдельные слова, да и те разобрать было трудно. Но вот



Резная доска (деревня Богатим).

Коды снова назвал имя Маклая, и тревога прозвучала в его голосе.

«О чем это они? — подумал Николай Николаевич и тотчас же успокоил себя. — Должно быть, Коды опять принялся за сватовство и беспокоится, что невеста не понравится гостю».

Дремота прошла, он чувствовал себя отдохнувшим. Пока еще не совсем стемнело, можно было занести на карту вершины хребта Мана-Боро-Боро. В этот вечер они были особенно ясно видны. Лучше всего сделать это с другого конца деревни. Заодно он повидается с жителями, побеседует с ними. Он давно не был в Богатим.

— Ты куда, Маклай? — Коды-Боро схватил его за руку и тревожно заглянул в глаза. — Только в Гориму не ходи, прошу тебя!

— Да я и не собираюсь в Гориму, — удивился Николай Николаевич. — Я буду у тебя ночевать, а завтра утром вернусь в таль Маклай.

— Это хорошо, — успокоившись, сказал Коды.

— Постой, постой, — заинтересовался Николай Николаевич, — а отчего мне не ходить в Гориму?

Коды нахмурился, помолчал, а потом нехотя процедил сквозь зубы:

— Люди Горимы борле — плохие люди.

— Почему ты так думаешь? — По лицу своего приятеля Николай Николаевич сразу понял, что не так легко будет добиться ответа.

Сын Коды, Ур, сидел на пороге и кивал головой, желая показать, что он во всем согласен с отцом.

— Ну мы еще поговорим с вами об этом, — уходя, небрежно заметил Николай Николаевич. По опыту он знал, что это был наилучший способ узнать правду.

В деревне горели костры, весело потрескивали сухие ветки, в воздухе стоял запах жареного, печеного, пряного — папуасы готовили ужин.

Николай Николаевич переходил от одного костра к другому. Всюду были знакомые лица, все искренне радовались гостю.

— Поешь аяна, Маклай!

— Попробуй, какой вкусный буам!

— Отведай кале!

Когда Николай Николаевич вернулся, Коды-Боры еще не спал. Он хлопотал у гаснувшего костра, гремел посудой и мурлыкал песенку все про ту же Гориму:

Гори-има-рима-рима-рима.
О-о-о-о, е-е-е-е.
Гори-има-рима-рима-ри-има...

И так без конца.

— Входи, входи, Маклай! — сказал он приветливо.

Николай Николаевич прошел на отведенную для гостей половину хижины — буамбрамру, разделся и лег на нары.

— Коды, поди сюда! — позвал он.

Песенка оборвалась. И голова Коды-Боро показалась в дверях.

— Подойди поближе. Сядь сюда. — Николай Николаевич показал на скамью рядом с собой.

Коды покорно сел.

— Ну теперь выкладывай. Отчего люди Горимы скверные?

Коды медлил с ответом. Разговор этот, видимо, был ему неприятен.

— Если ты мне не скажешь, я вернусь домой, возьму шлюпку и поеду прямо в Гориму.

— О Маклай, не делай этого! — взмолился Коды. — Поверь мне, люди Горимы плохие, они могут убить тебя.

— Что ты знаешь о них? О чем тебе рассказал Ур?

Коды вздохнул. Разве можно что-нибудь скрыть от Маклая! Все равно он узнает. Да и надо ли скрывать то, о чем рассказал отцу Ур?

— Хорошо, Маклай, я скажу, но обещаю, что ты будешь осторожен.

— Обещаю. Говори все, что знаешь.

— Так вот слушай. Сегодня Ур ходил к родителям своей жены в деревню Мале, и там встретил жителей Горимы. Ур слышал, как они говорили: люди Бонгу глупые, они давно могли убить Маклая и забрать его вещи. Все знают, как много хороших вещей в доме Маклая. А теперь двое людей из Горимы хотят приехать в Бугарлом, убить Маклая и увезти с собой столько вещей, сколько смогут. И вот Ур пришел ко мне и сказал: надо предупредить Маклая. Я и прошу тебя, не ходи в Гориму! Быть может, в Бугарлом они не придут. Ведь они боятся

твоего табу-ружья.— Коды помолчал, потом прибавил:— И пожалуйста, пусть никто не знает о нашем разговоре. Люди Горимы — борле, они будут мстить Уру.

— Даю тебе слово. Скажи мне, как зовут этих двух смельчаков из Горимы?

— Одного — Абуи, другого — Малу.

— Спасибо, Коды. Вот, возьми табак, я принес его для тебя. И ложись спать, уже поздно. Будь спокоен, никто не убьет меня и никто не посмеет тронуть Ура.

Коды-Боро взял табак и ушел на свою половину. Вскоре из-за бамбуковой перегородки слышался его мирный храп.

Николай Николаевич долго не мог уснуть. Рассказ Коды скорее огорчил его, чем напугал. Вероятнее всего, это была просто болтовня. Но болтовня опасная. Она могла скверно повлиять на его соседей. «Зачем ждать, пока люди Горимы заберут вещи Маклая, мы лучше сделаем это сами!» — так могут рассудить люди Бонгу. А казалось, что теперь, после долгого знакомства, между ним и туземцами уже не должно быть таких недо-разумений.

— Завтра же отправлюсь в Гориму, — решил он, засыпая.

С первым криком петуха он был уже на ногах. В пред-рассветном сумраке едва вырисовывались предметы, составлявшие незатейливое убранство буамбрамры. Коды-Боро безмятежно похрапывал за перегородкой. Стараясь не шуметь, Николай Николаевич оделся, уложил вещи в ранец и перевязал его крест-накрест белой ниткой — это означало, что до возвращения хозяина никто не должен его трогать. Позавтракав остатками вчерашнего ужина и захватив с собой несколько кусков холодного бау и одеяло, сопровождавшее его во всех походах, он вышел из дома.

Деревня еще спала. На земле чернели следы вчерашних костров. У хижин, растянувшись, спали собаки.

«Ох, сейчас залают, переполошат всю деревню!»

Но, видно, у собак вчера тоже был утомительный день. Одни так и не проснулись, другие, приоткрыв сонные глаза, посмотрели на Николая Николаевича и, сладко потянувшись, продолжали прерванный сон.

Никто из жителей не встретился ему по дороге, и только старый Калеу, чинивший лодку на морском берегу, окликнул его.

— Куда ты идешь, Маклай?

— К реке Киор, — отвечал Николай Николаевич. Ему и вправду предстояло переправиться через эту реку. И он был рад, что не пришлось лгать. А говорить о Гориме ему не хотелось.

Он шел по берегу моря, потом свернул в лес. Несколько раз сбивался с пути, пробираясь по путаным тропинкам. Возвращался, потом снова шел вперед. Солнце палило невыносимо. По пояс в воде он перешел вброд Киор, потом другую, мелкую речку. Башмаки промокли, разбухли, по острым камням, которыми было усеяно дно, невозможно было ступить босыми ногами.

Было уже далеко за полдень, когда показались вдалеке белые крыши хижин.

Деревня Горима была расположена на небольшом мыске. Но, увы, пробраться туда по топкому, заросшему мангровыми деревьями берегу нечего было и думать. Оставалось только обогнуть мысок с моря. Но для этого нужна была лодка...

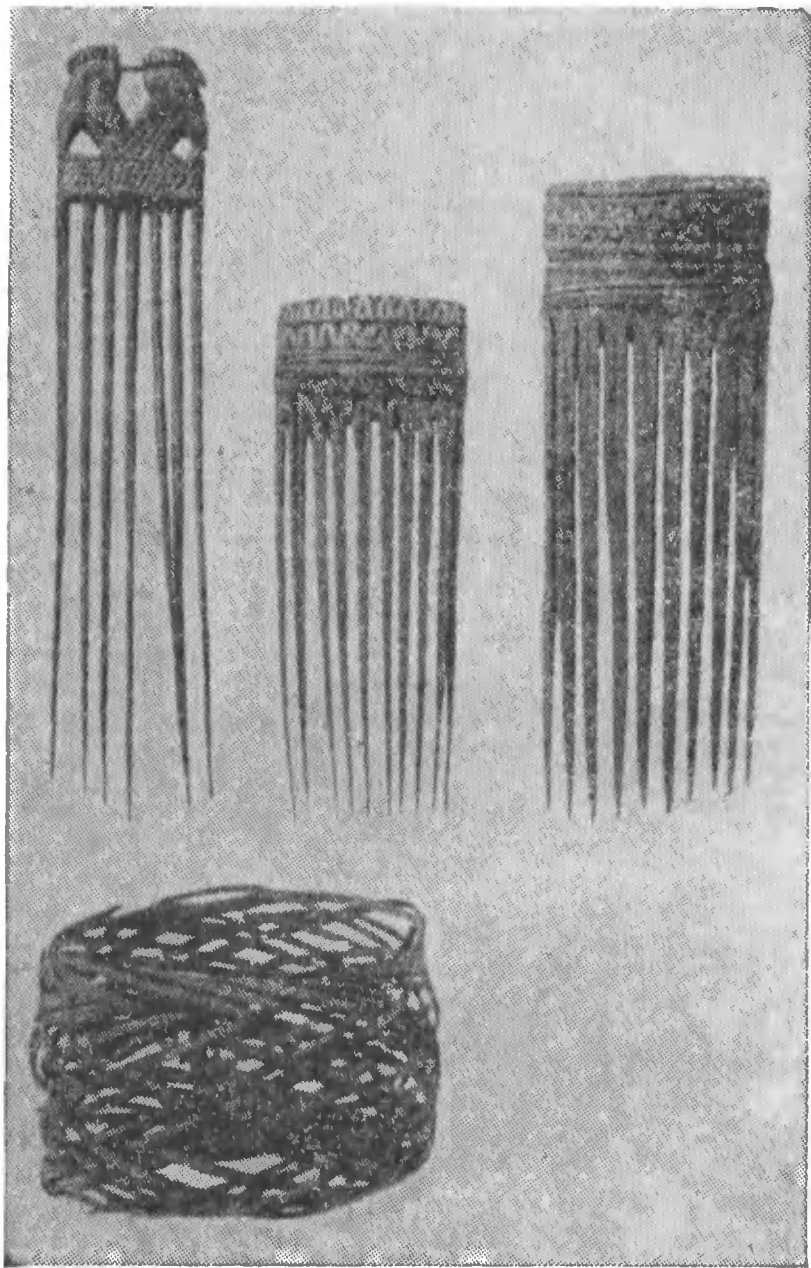
Николай Николаевич долго стоял в раздумье. Досадно возвращаться назад, проделав такой трудный путь. Он внимательно огляделся. Не было заметно никаких следов человека. И вдруг на песчаном берегу он увидел пустую пирогу. Вероятно, хозяева были где-нибудь поблизости. Он решил ждать.

В скором времени послышались голоса, и из леса вышли двое юношей и старик. Удивление, растерянность, страх отразились на их лицах, когда возле пироги они увидели незнакомого да еще вдобавок белого человека. Они открыли рты, едва подавив крик, а потом все разом бросились обратно в лес.

— Стойте, стойте, я вам не сделаю ничего дурного! — закричал Николай Николаевич. — Вы из Горимы?

Только услышав название своей родной деревни, они остановились. Старик почему-то поднял голову кверху и на несколько мгновений застыл в этой позе. Был ли это утвердительный или отрицательный ответ, кто знает?

— Я иду в Гориму. Я не враг, вы видите, у меня нет оружия. Я хочу повидать людей Горимы, посмотреть на



Бамбуковые гребни и браслет
из ротанга.

ваши хижины, узнать, что растет на ваших полях. Но я не могу пройти по берегу. Возьмите меня к себе в лодку.

Старик опустил голову и тупо уставился на Николая Николаевича. Глаза его не выражали ничего. И тут только Николай Николаевич вспомнил, что язык Горимы совсем не похож на язык Бонгу и соседних деревень. Старик и его спутники попросту не поняли ни слова.

— Вот досада! — пробормотал Николай Николаевич.

Но надо было как-то выходить из положения.

Он дал каждому из своих новых знакомцев по куску табака.

— Я — Маклай! — сказал он и ткнул себя пальцем в грудь. — Слышите? Мак-лай! Отвезите меня в Гориму. — Знаками он показал на себя, на пирогу, на деревню.

Старик снова поднял голову кверху. На этот раз это означало согласие.

Плыли долго — оказалось, что до Горимы далеко. Солнце опустилось уже совсем низко, когда пирога причалила к берегу. Жители еще издали увидели белую шляпу и белую куртку незнакомца. Волнение охватило их. Они подбегали к морю, возвращались обратно в деревню, снова бежали на берег и, наконец, застыли в ожидании.

Между тем гость спокойно вылез из пироги, дал своим спутникам еще по куску табака, по гвоздю и направился в деревню. Толпа последовала за ним. На пло-

щадке перед хижинами уже горели костры — должно быть, готовился ужин. Тут только Николай Николаевич почувствовал, что страшно голоден. Он показал пальцем на рот и похлопал себя по животу. Папуасы поняли — гость голоден, надо накормить его. Очень скоро перед ним появилось деревянное блюдо с горячим таро. Он принялся за него с каким-то ожесточением. Вероятно, это была самая большая порция, какую ему пришлось одолеть за всю свою жизнь.

Но вот ужин закончен, пора подумать о ночлеге. Ночевать на открытом воздухе было небезопасно — как бы не начался приступ лихорадки.

Николай Николаевич положил руку под голову и закрыл глаза.

— Горима, — сказал он.

Папуасы поняли: гость хочет остаться ночевать в Гориме. Они повели его к пустой буамбрамре. Все устраивалось как нельзя лучше. Оставалось только поговорить начистоту с жителями Горимы, объяснить им цель своего прихода. Но как это сделать? Знаками было бы слишком сложно. Где найти переводчика? Неожиданно в толпе мелькнуло знакомое лицо. Это был папуас, несколько раз приходивший в таль Маклай. Он прекрасно говорил на языке Бонгу. Николай Николаевич даже вспомнил его имя.

— Кале, здравствуй, поди-ка сюда!

— Э-а-ба, здравствуй, Маклай! — сказал Кале и подошел поближе.

— Вот что, Кале: я подожду здесь, а ты позови всех тамо боро Горимы. Скажи им, что Маклай хочет говорить с ними.

Кале ушел. Вскоре у буамбрамры собрались самые почтенные люди деревни.

— Вот, — сказал Кале, — я привел к тебе всех тамо боро. В деревне не осталось ни одного.

— Спасибо, Кале. А теперь подбрось в костер сухих щепок. Так будет светлее, и мы будем лучше видеть друг друга.

Костер ярко вспыхнул, осветив лица собравшихся. Они с интересом поглядывали на гостя. Зачем потревожили их в такое неурочное время?

Николай Николаевич сел на скамью возле костра. Кале встал рядом с ним и приготовился переводить.

Прежде всего нужно было назвать тех, ради которых он пришел в Гориму.

— Здесь ли Абуи и Малу? — спросил он спокойным голосом.

Несколько мгновений туземцы молча переглядывались. Потом вышел вперед бородатый старик и сказал:

— Вот Абуи. — Он показал рукой на высокого, широкоплечего папуаса. — А Малу не пришел. Он остался дома.

— Позовите Малу!

— Малу, Малу! — пронеслось по рядам.

Кто-то побежал в деревню, и вскоре явился Малу.

— Абуи и Малу, — сказал Николай Николаевич, — подойдите сюда!

Кале перевел.

Медленно и неохотно они подошли к костру. Абуи был средних лет, с горбатым носом и редкой бородкой. В ушах у него болтались большие черепаховые серьги. Малу — помоложе и поменьше ростом. Перья казуара, воткнутые в густую черную шевелюру, придавали ему воинственный вид.

— Сядьте... — Николай Николаевич показал им место рядом с собой, у самого костра.

Папуасы недовольно поежились, но все же уселись.

— А теперь слушайте, зачем я пришел к вам. Вчера я был в Богатим и узнал, что два человека из Горимы — Абуи и Малу — хотят убить меня. Вот я и пришел, чтобы посмотреть на них.

Пока Кале переводил, Николай Николаевич пристально разглядывал Абуи и Малу. Они отвернулись, встретившись с ним взглядом.

— То, что они задумали, очень дурно, — продолжал Николай Николаевич. — Ведь я никогда ничем не обидел ни Абуи, ни Малу, да и вообще никого из вас. Вот это я и хотел сказать вам. А теперь я лягу спать. Я шел из Богатим целый день и очень устал. Если Абуи и Малу действительно хотят убить меня, то пусть они это сделают ночью. Потому что завтра с рассветом я уйду из Горимы.

Подождав, пока Кале закончит перевод, Николай Николаевич вошел в буамбраму, взобрался на нары и, завернувшись в одеяло, закрыл глаза. Ему и в самом деле очень хотелось спать. Сквозь дремоту он слышал возгласы, в которых не раз упоминалось его имя.

Солнце уже всюду светило сквозь бамбуковые стены буамбрамы, когда Николай Николаевич проснулся.

— Цел и невредим, — сказал он и для достоверности потрогал голову, руки, ноги.

Он вышел из буамбрамы и первым, кого увидел, был давешний его недруг Абуи. Он сидел на земле у порога. Рядом с ним лежала почтенных размеров свиная туша. При появлении Николая Николаевича Абуи поспешно вскочил и знаками объяснил, что свинью эту он принес в подарок гостю и что он, Абуи, очень просит принять от него этот дар в знак дружбы. А ввиду того что свинья очень тяжелая, он и Малу сами отнесут ее в Богатим.

Вскоре явился и Малу. Приятели привязали свиную тушу к бамбуковой палке, взвалили ее на плечи и двинулись в путь.

Дойдя до Богатим, Абуи простился и вернулся домой, а Малу непременно пожелал проводить гостя до самого таль Маклай.

Таков был благополучный конец этой печально начавшейся истории, которая долго потом передавалась из деревни в деревню, из уст в уста, прославляя храбрость Маклая — человека с луны.

„ОЧЕНЬ ДАЛЬНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ“

Береговые жители не любили ходить в горы.

«Дороги в горах опасны, — говорили они, — там после тангрина много обвалов и трещин, легко сорваться в пропасть; горцы плохие люди — тамо борле, они не только убьют, но еще и съедят. Да и вообще не наше это занятие — карабкаться по горам».

Зато они охотно посещали соседние деревни. Жители островов Били-Били и Ямбомбы ежегодно совершали плавания вдоль берега. На больших парусных вангах они везли глиняные горшки своего производства, секрет которого был известен только им. Останавливались в каждой деревне и меняли свои «вабы» на другие товары. Маршрут плавания был всегда один и тот же, с конечным пунктом — деревней Телят.

«Это очень, очень, очень далеко!» — говорили островитяне. Они прекрасно изучили путь — течения, направление и периодичность ветров, удобные гавани — словом,

лучших мореходов нечего было и желать. Николай Николаевич решил этим воспользоваться. Ему давно хотелось побывать в деревне Телят.

Для подготовки к этой экспедиции пришлось прожить некоторое время на Били-Били, где после долгих споров, уговоров и колебаний были наконец наняты два больших ванга с поместительными хижинами-каютами. Один принадлежал старому приятелю Николая Николаевича, Каину, другой — Кисему, энергичному, но чрезвычайно болтливому жителю Били-Били.

— Мы все сделаем, как ты пожелаешь, Маклай, — сказал Каин. — Мы будем останавливаться в каждой деревне и ждать столько времени, сколько тебе потребуется. Но плыть придется только по ночам: днем дуют противные ветры, с которыми трудно бороться.

Тихим июльским вечером ванги отплыли от Бугарлома. На первом — Николай Николаевич с Каином и приятелем его Гасаном. В хижину-каюту свободно поместилось все необходимое для экспедиции: провизия, стол, складное кресло, гамак и даже висячая керосиновая лампа. На второй ванг вместе с Кисемом, его сыном и изрядным количеством глиняных вабов погрузился повар Сале с кухонными принадлежностями.

Один за другим, подгоняемые попутным ветром, ванги медленно двигались вдоль берега. Они обогнули мыс Тевалиб — коралловый риф, похожий на черную, изъеденную прибоем стену; над ним поднимался мрачный, первобытный лес. За мысом расстилался низкий песчаный берег, на котором среди деревьев белели крыши хижин покинутой деревни Бай. После нападения врагов жители перенесли ее в лес, за реку Говар. Днем, пока ванги отдыхали на песчаной отмели, Николай Николаевич с Гасаном побывали и в этой новой лесной деревне. Все было интересно: и лес, совсем не похожий на леса Бонгу, — с причудливыми, незнакомыми деревьями, с разнообразными видами кустарника; и сама деревня Бай с плантациями табака и бананов. Кокосовых пальм не было: они могли бы послужить приманкой для неприятеля — так объясняли туземцы. И деревня Мегу, о которой Николай Николаевич слышал еще в Бонгу. По какой-то неизвестной причине почти все жители ее вымерли. И самое большое селение — Сингор, славившееся выделкой украшений из раковин. Эти украшения —



Каин с острова Били-Били.

сюаль-боро — очень ценятся папуасами всего Берега Маклая. Их носят на груди в виде больших медальонов. Николаю Николаевичу с трудом удалось получить один сюаль-боро в обмен на два больших ножа и изрядное количество безделушек.

После четырех ночей плавания за высокими коралловыми рифами показалась деревня Телят — предел морских странствий жителей Били-Били. «Очень, очень, очень дальнее» расстояние оказалось не таким уж дальним. Ванги были вытащены на берег. Толпа туземцев обступила приезжих. Незнакомец, прибывший с людьми Били-Били, вызывал особое любопытство. У него было

белое лицо и белые руки. Что касается ног, то вовсе нельзя было увидеть, какого они цвета, потому что они были тщательно обернуты тряпками и зашнурованы тесемками, державшимися на каких-то крючках, похожих на собачьи зубы, — так, должно быть, представлялись туземцам башмаки и гамаша Николая Николаевича.

Он, в свою очередь, внимательно разглядывал туземцев. По типу лица они мало отличались от жителей Бонгу, а одежда их походила на одежду людей Били-Били, разве что украшений из раковин и рыбьих зубов было больше. Но вот что удивило его. В толпе он увидел старика с совершенно белой, седой головой. Это был первый случай за все время его знакомства с папуасами. Обычно они скрывали седину, тщательно выдергивали каждый седой волос или мазали голову черной глиной. А этот старик как будто даже гордился своей белой шевелюрой.

— Видел ли ты когда-нибудь белого человека? — спросил его Каин, который взялся быть переводчиком.

— Нет, — ответил старик, — но я слышал, что в Бонгу живет Маклай. Наши люди рассказывали мне о нем.

— Я — тот самый Маклай, о котором ты слышал, — сказал Николай Николаевич и дал старику стальной нож и двойную порцию табака. Почему-то он почувствовал нежность к этому седому папуасу.

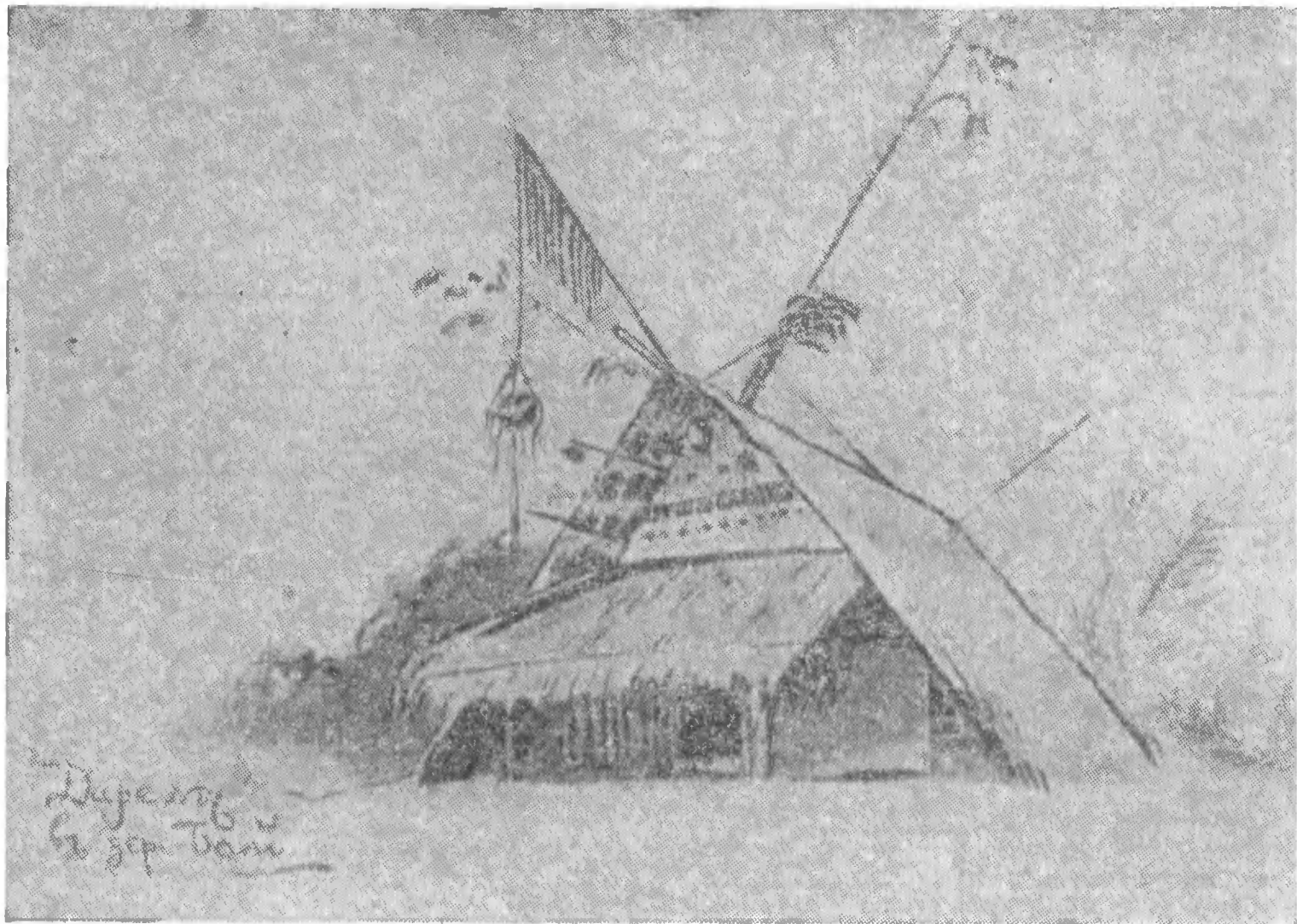
Впрочем, он сразу же поплатился за свою расточительность. Всем остальным тоже захотелось получить по ножу. Но ведь ни у кого из них не было ни седых волос да и вообще никаких других особенностей, которые стоили бы такого дорогого подарка!

— Кто хочет получить нож, — объявил Николай Николаевич, — пусть принесет что-нибудь в обмен.

И туземцы охотно тащили деревянные блюда — табиры, каменные топоры, ожерелья из свиных клыков — буль-ра. В течение нескольких часов коллекция Николая Николаевича заметно пополнилась.

Ночь он решил провести в гамаке на морском берегу — предоставленная для гостей буамбрамра, носившая здесь название «дарем», показала ему не особенно опрятной.

И вот тут-то для жителей деревни Телят начались неожиданности, надолго поразившие их воображение.



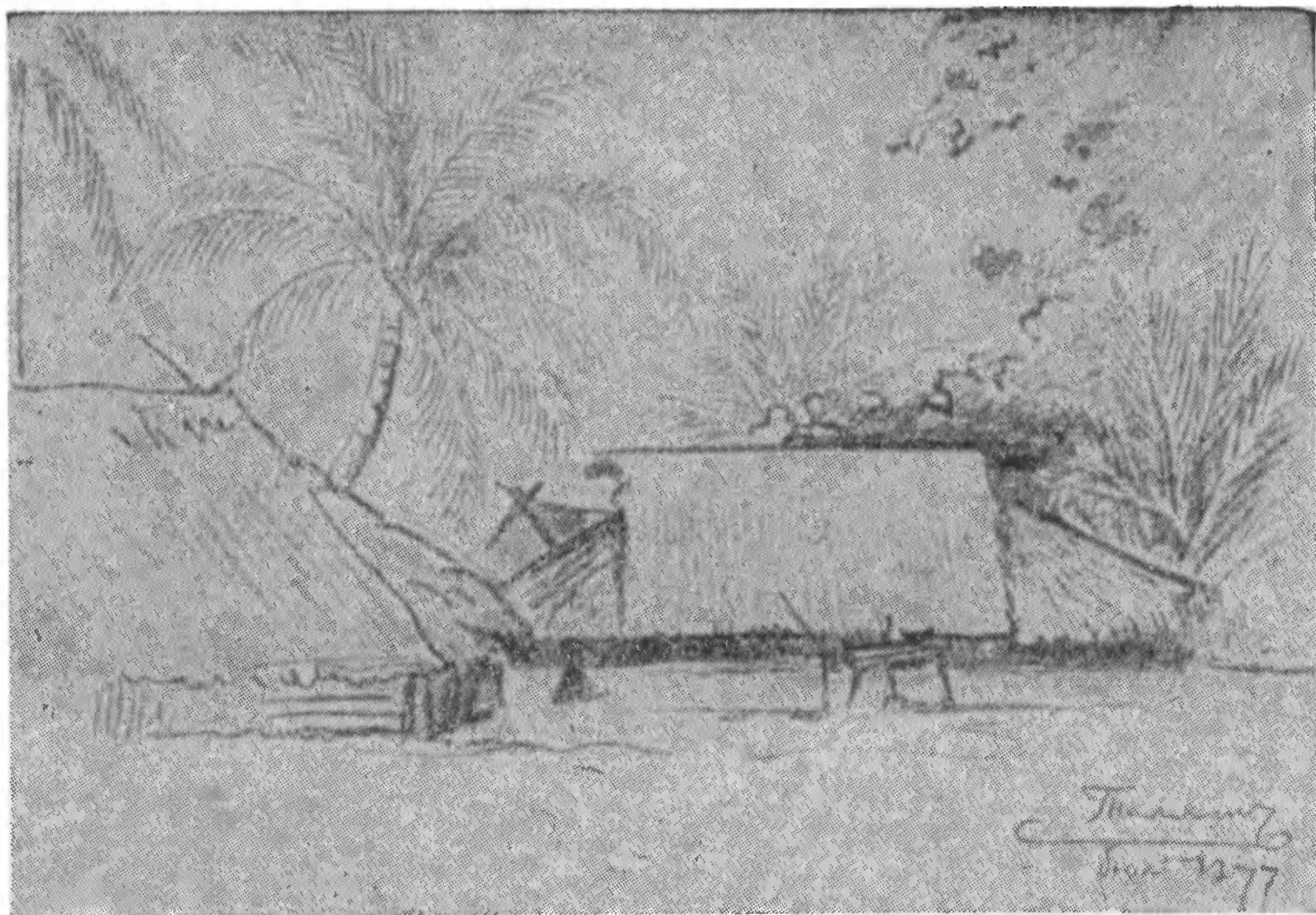
Дарем — общественная хижина в деревне Бай.

Складной табурет, стол, кресло и, в особенности, прикрепленная к ветвям дерева висячая керосиновая лампа, свет которой можно было по желанию то уменьшать, то усиливать, — все это привело их в неистовый восторг. К счастью, восторг этот выражался совершенно бесшумно. Всунув два пальца в рот, они прищелкивали языком и подносили к носу сжатый кулак левой руки. Должно быть, непосвященному европейцу и в голову бы не пришло, что эти странные жесты выражают удивление. Но у Николая Николаевича был уже большой опыт за плечами.

— Маклай запивает инги (еду) горячей водой, Маклай запивает инги горячей водой!.. — пронесся по толпе изумленный шепот, когда на складном столе появился ужин и горячий чай.

Но вот повар Сале убрал со стола. Николай Николаевич, сняв башмаки, улегся на гамак, а толпа все не расходилась.

Только когда Сале погасил лампу, туземцы ушли и увели с собой Каина. Должно быть, они надеялись от



Деревня Телят.

него получить объяснение тех чудес, свидетелями которых они только что были.

Наутро Николай Николаевич обошел деревню. Она была очень живописна. Хижины ютились в тени и прохладе деревьев. Вокруг площадки поднимались огромные стволы кенгаров, тут же на земле сушились золотистые орехи. За деревней тянулись большие плантации бананов.

С самого утра все мужское население было уже на работе. Далее, за плантациями, открывалась широкая бухта. Женщины собирали на берегу морских животных. Отсюда в бинокль были хорошо видны хижины трех прибрежных деревень, расположенных на северо-восток от деревни Телят. Обидно было, находясь так близко, не побывать в них.

Однако, когда вечером Николай Николаевич завел об этом разговор с Каином и Кисемом, они наотрез отказались вести дальше ванги. И море за деревней Телята, и берег, и жители береговых деревень — все казалось им одинаково страшным.

— Каин, я дам тебе топор, даже два топора, ножи,

вот этот красный коленкор, бусы. Поверь мне, ничего плохого не случится с нами, — уговаривал Николай Николаевич своего старого приятеля.

Но Каин упрямо качал головой. Ни все эти несметные богатства, ни уговоры, ни просьбы — ничто не помогало.

— Нет, — твердил он, — нельзя.

— Почему нельзя? Объясни, прошу тебя.

— Убьют! Всех нас убьют.

— Съедят, — подтвердил Кисем.

— Убьют и съедят! — повторили они в один голос.

— А я вам говорю, что не убьют. Вы ведь знаете, с этой штукой можно быть спокойным. — Николай Николаевич вынул из сумки револьвер.

— Спрячь поскорей свой табу, Маклай! — попросил Каин, с опаской глядя на револьвер. — Все равно убьют! Маклай один, а их много.

— Съедят! — прибавил Кисем и задрожал всем телом.

Убеждения были бесполезны. Ванги двинулись в обратный путь.

БЕДА В ГОРЕНДУ

Дома Николая Николаевича встретила тревожная весть. В Горенду случилось несчастье. Из сбивчивых рассказов Мебли, остававшегося в Бугарломе, он узнал следующее. Один из жителей Горенду, Вангум, здоровый молодой человек, лет двадцати пяти, заболел и через два дня умер. Все население Горенду и Бонгу было в смятении. Родители и многочисленные родственники покойного требовали, чтобы все мужчины немедленно отправились в поход против горцев. По их глубокому убеждению, виновником смерти Вангума был кто-нибудь из жителей горных деревень Теньгум-Мана или Энглам-Мана.

Николай Николаевич был озабочен. Он старался всегда как можно меньше вмешиваться в дела папуасов, но на этот раз, по-видимому, вмешательства не избежать.

На следующий день после его возвращения в таль Маклай явились представители жителей Горенду и Бонгу. Они просили Маклая принять участие в походе против горцев.

— Ты наш друг, — сказали они, — ты должен нам помочь отомстить за смерть Вангума.

— Но кто же, по-вашему, его убийца? Где он живет? Как его имя?

— Маклай, — сказал, выступая вперед, старый Бугай, — мы не говорим, что Вангума убили. Кто-то из горцев приготовил «оним», от которого бедный Вангум заболел и умер. И потом... — Бугай замялся на мгновение, — мы сами не знаем, кто именно сделал это и в какой деревне живет этот злой человек. Поэтому мы и решили напасть сначала на Теньгум-Мана, а потом на Энглам-Мана. Тогда уж никакой ошибки не будет.

— Ты ведь понимаешь, Маклай, — поддержал Бугая Саул, — если мы не побьем мана-тамо, они придут сюда и убьют нас. Или приготовят оним, от которого мы все умрем. А может быть, и ты умрешь вместе с нами, Маклай! — Он заглянул в глаза Николаю Николаевичу. — Все может быть, — прибавил он уже менее уверенно.

— Вот что я отвечу вам, тамо Бонгу и тамо Горенду. Вы можете поступать как хотите. Можете напасть не только на эти две, но и на другие деревни. Это ваше право. Но Маклай помогать вам не будет. Маклай считает, что вы затеяли дурное дело. Горцы ни в чем не виноваты. Вы должны жить с ними в мире. Быть может, очень скоро настанет время, когда вам придется всем вместе воевать против общего врага. Послушайтесь Маклая, бросьте оружие!

— О Маклай, — завопили в один голос папуасы, — неужели ты откажешься помочь нам! — Они ни на минуту не задумались над его словами.

— Мы сделаем все, что ты прикажешь, только иди вместе с нами на мана-тамо!

— Тебя просят твои друзья, люди Горенду и люди Бонгу!

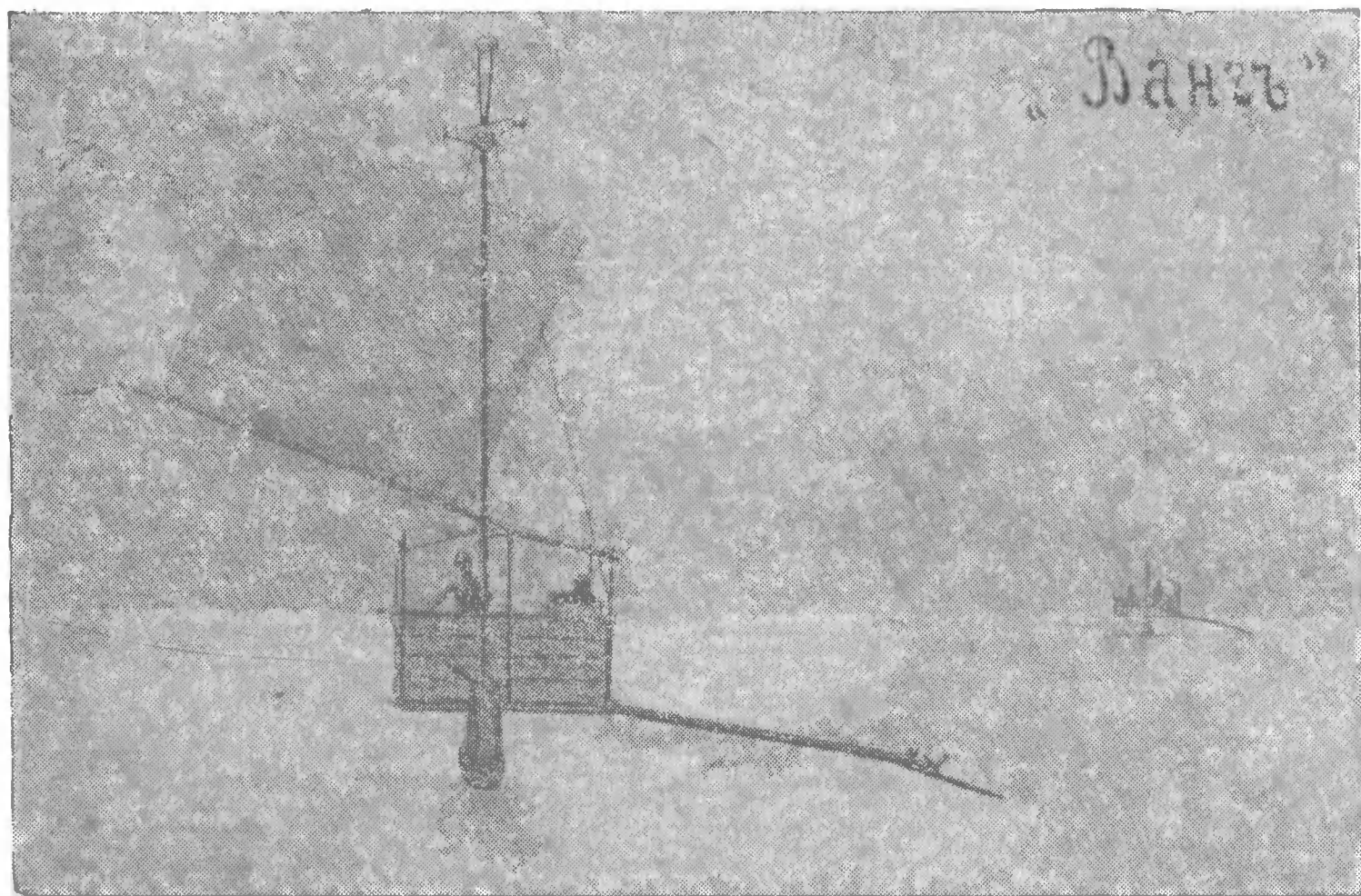
Николай Николаевич встал и поднял руку:

— Маклай балал кере — Маклай говорил довольно!

Он вошел в хижину, оставив гостей в полном недоумении.

Папуасы переглянулись, потоптались на месте и, по-нуру опустив головы, пошли прочь.

Прошло несколько дней. Вангума похоронили, а тревога в Горенду и Бонгу все не затихала. Однако поход в горы пока не состоялся — то ли из-за отказа Маклая,



Ванг — пирога с острова Били-Били.

то ли по причине разногласий между жителями. Так по крайней мере утверждали Мебли и Сале, которые под тем или иным предлогом в эти дни часто наведывались в обе деревни. Николай Николаевич начал надеяться, что все обойдется благополучно.

И вот однажды прибежал Сале и, едва переводя дух, рассказал о новой беде, случившейся в Горенду и даже в той же самой семье. В это утро отец Вангума с младшим сыном, девятилетним Дигу, отправились ловить рыбу. По дороге мальчика ужалила змея. Обезумев от горя, отец на руках донес его до дома.

— Но яд, должно быть, очень сильный — никакие средства не помогают. Маленький Дигу умирает! — закончил свой рассказ Сале.

— Скорее, Сале, скорее! Где мои инструменты? Нашатырный спирт, бинты. Бежим, быть может, нам еще удастся спасти мальчика!

В этот день у Николая Николаевича сильно распухла и болела нога. На попутной пироге они морем добрались до Горенду. Первыми встретились им два знакомых папуаса. Очень взволнованные, они бежали по направлению к Бонгу.

— Маленький Дигу умер, — прокричали они, не останавливаясь. — Надо скорее идти в горы, жечь хижины мана-тамо!

— Мы опоздали, Сале, какое несчастье!

В Горенду уже раздавались короткие удары барума, возвещавшие о смерти мальчика. Из хижины с воплями отчаяния выбегали женщины; мужчины приводили в порядок оружие. Тихую, уютную деревню нельзя было узнать. Эта вторая смерть в одной и той же семье потрясла всех. Жажда мести, отчаяние, страх, возмущение овладели людьми. Даже самые спокойные требовали крови горцев, обвиняя их в гибели Вангума и Дигу.

— Оним! Колдовство! Мана-тамо барата! Идем жечь хижины горцев!.. — только и слышалось со всех сторон.

Если не проучить коварных врагов, все жители Горенду погибнут — таково было общее убеждение. Война теперь казалась неизбежной. О ней толковали старики, о ней кричали женщины, о ней болтали дети. Мужчины мрачно потрясали копьями. На Маклая поглядывали враждебно. Он отговаривал их от похода, он был против войны! А между тем, кто знает, быть может, не случилось бы этого второго несчастья, если бы на горцев напали вовремя.

Один лишь старый Туй по-прежнему приветливо встретил своего друга и крепко пожал ему левую руку. Но и он был озабочен и грустен.

— Беда, — говорил он, вздыхая, — беда!

— Скажи мне, Туй, ты тоже считаешь, что обоих братьев убили горцы? Ведь оба даже никогда не были ни в Теньгум-Мана, ни в Энглам-Мана, а горцы не приходили сюда, это все знают.

— О Маклай, — снисходительно глядя на своего наивного друга, отвечал Туй, — разве, для того чтобы погубить человека, надо обязательно видеться с ним? Нужно только приготовить оним. Мана-тамо просто украли в Горенду объедки бау или аяна, изрезали его на кусочки, заговорили и сожгли. Вот и всё. Этого вполне достаточно, чтобы заболели и умерли все жители Горенду.

Он помолчал немного, потом, наклонившись к самому уху Николая Николаевича, сказал таинственно:

— О Маклай, если ты захочешь, ты спасешь нас всех! Приготовь оним. Такой оним, чтобы сильный тангрин

разрушил все горные деревни и чтобы погибли все мана-тамо. А в наших деревнях чтобы тангрина не было. Сделай это, Маклай, ну что тебе стоит? — Он заглянул в глаза другу.

— Я сегодня очень устал, Туй. У меня болит нога, а от ваших разговоров разболелась и голова. Мы поговорим завтра. Я пойду домой.

Утомленный, огорченный, Николай Николаевич отправился в обратный путь кратчайшей тропинкой. При лунном свете лес был еще красивее, чем днем. Ничто не нарушало торжественной тишины природы, и казалось невероятным, что, быть может, завтра эта мирная картина сменится воинственными криками, стонами умирающих, эта земля обAGRится невинной кровью...

Он шел мимо Бонгу. Здесь никто не спал. Все были охвачены тревогой.

— Теперь ты должен согласиться, Маклай, — сказал попавшийся ему навстречу Саул. — Ты видишь, без войны не обойтись!

Поздним вечером из Горенду вернулся Мебли.

— Война начнется очень скоро, — таинственно сообщил он. — Может быть, завтра. Люди Горенду и Бонгу решили напасть на Теньгум-Мана. Но они боятся, что ты им помешаешь, и поэтому они начнут войну втайне от тебя. Я случайно подслушал и бросился скорее домой, чтобы предупредить тебя. Только не выдавай меня, Маклай! — Мебли был очень взволнован, и, несмотря на ночную прохладу, пот катился по его темному лбу.

— Ты хорошо поступил, что рассказал мне об этом. Не тревожься, иди спать, Мебли. Утро вечера мудренее — так говорят на моей родине, в России! Быть может, нам еще удастся что-нибудь сделать. Я подумаю.

И он думал. Давно уже смолкли голоса обоих слуг, обсудивших перед сном во всех подробностях вопрос об ониме — смертоносном колдовстве, которое на родине повара Сале называется «доа», а на родине Мебли — «олау».

Он думал о том, что нельзя сидеть сложа руки, когда рядом, в пяти минутах ходьбы от его дома, затевается война против ни в чем не повинных людей. И это теперь, когда туземные племена должны объединиться перед грозившей им общей опасностью — вторжением белых. Но как остановить этих людей, обезумевших от

жажды мести, страха перед неизвестностью, страха смерти? Они знают, что Маклай против войны, и нельзя молчать теперь, когда вопрос о войне решен окончательно. Если он уступит на этот раз, придется уступать и впредь. На сильное чувство надо воздействовать чувством еще более сильным.

Уже наступило утро. Розовые лучи рассвета проникали в хижину, заливая ее бледным, нежным светом. Как в далеком детстве, знакомые предметы преображались, приобретая таинственный, волшебный смысл. Сон переплетался с действительностью. Вот и знакомый диван, кресло, тяжелый копировальный пресс в углу. Вместо хижины на Новой Гвинее — Петербург, кабинет отца. Как поступил бы на его месте Николай Ильич? Можно не сомневаться, он не позволил бы свершиться несправедливому делу.

— Я сделаю все, что в моих силах! Tengo una palabra!

МАКЛАЙ ЗАПРЕЩАЕТ ВОЙНУ

Жители Бонгу готовятся к походу. Никто не работает на полях, никто не занимается домашними делами. Женщины, оставив без присмотра детей, в волнении бегают из хижины в хижину, спеша поделиться новостями, опасениями, страхами. На площадке возле мужской буамбрамы собрались старейшины обеих деревень — тамо боро — и молодые участники будущего похода. Громкие, возбужденные голоса разносятся далеко вокруг. Обсуждается план нападения на Теньгум-Мана. Кто пойдет? Кто останется? На какой день назначить выступление и как скрыть это от Маклая? Если Маклай узнает, поход может сорваться — в этом никто не сомневается ни в Горенду, ни в Бонгу. Быть может, он переменил свое мнение? Ведь должен он понять наконец, что после второго несчастья — смерти маленького Дигу — война неизбежна.

— Может быть, попытаться еще раз поговорить с ним? — предлагает Саул. — Кто осмелится сказать, что Маклай тамо борле — плохой человек? Никто. Я уверен, он согласится помочь нам, когда поймет, что мы правы.

— Нет, — прерывают Саула несколько голосов, — не надо говорить Маклаю!

— Он не будет помогать нам!

— Он только помешает!

И вдруг в толпе раздается чей-то растерянный, удивленный возглас:

— Маклай гена — Маклай идет!

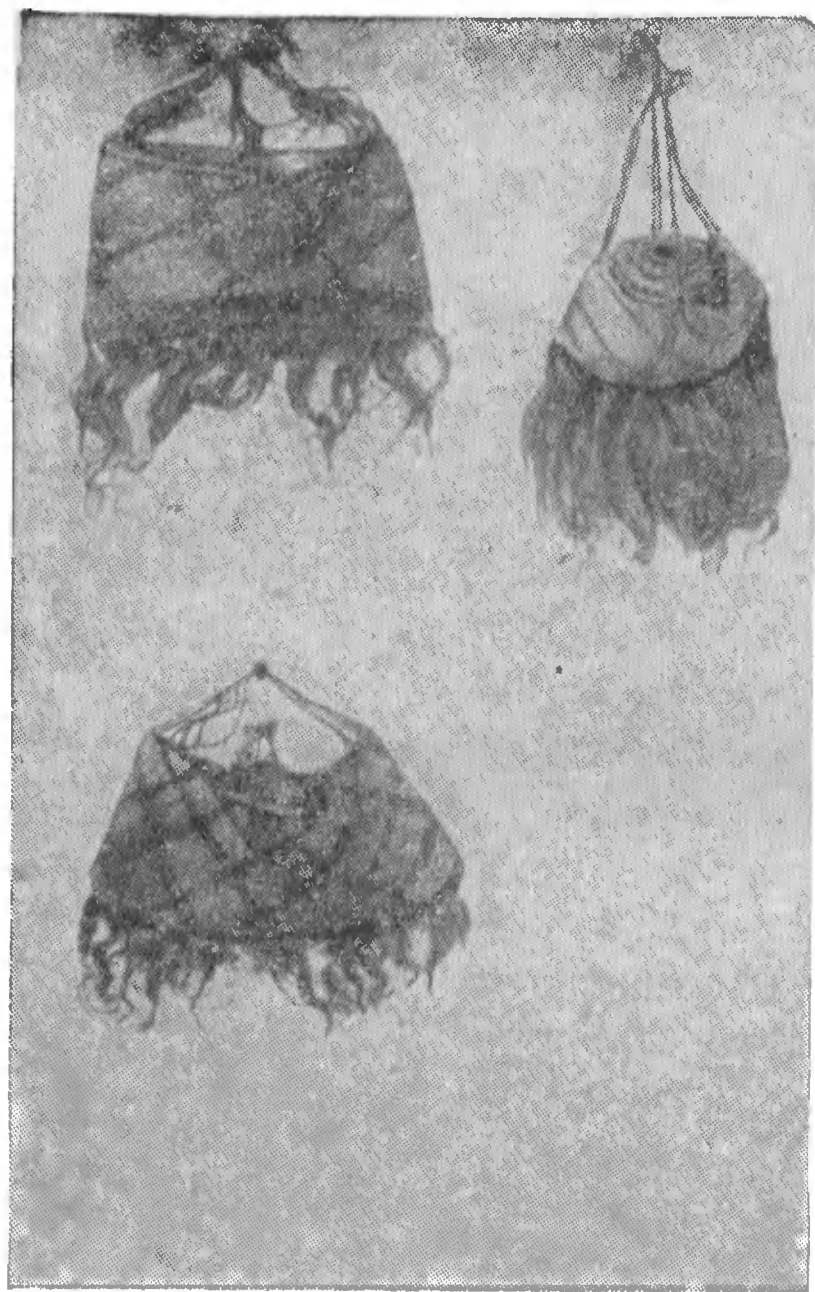
Тихо становится на площадке перед буамбрамрой, на полуслове обрываются речи, все взгляды обращаются к Маклаю. С каким известием он пришел? Что он скажет своим друзьям? Неужели не поможет им в беде?

А Маклай идет своей обычной походкой, не торопится, словно ничего и не случилось. Как будто в обычный для прогулки час — перед заходом солнца — он пришел побеседовать с соседями, посидеть с ними, потолковать о повседневных делах. Толпа в изумлении расступается перед ним. Он проходит в буамбрамру, а за ним следуют все тамо боро. Молодые люди остаются на площадке у входа. Из уважения к старшим и к Маклаю они не решаются войти в дом. Тамо боро важно усаживаются на нары и начинают разговор. Они говорят по очереди, горячо, взволнованно, убежденно. Они доказывают, что война неизбежна, необходима, что теперь, когда умерло уже двое в одном семействе, не остается никаких сомнений, что это дело рук горцев. Они должны понести наказание за преступление.

Последний из тамо боро заканчивает свою речь, и тогда встает Маклай.

— Послушайте меня, люди Бонгу и люди Горенду, — начинает он, и его спокойный голос звучит резким контрастом с громкими, возбужденными голосами папуасов. — Послушайте, что скажет вам Маклай. Так же как и вы, я сожалею о смерти Вангума и Дигу — оба они были молоды и здоровы и могли бы прожить еще большую жизнь. Они были общими любимцами. (Кто-то горестно охает при этих словах.) Так же как и вы, Маклай очень жалеет стариков — отца и мать: у них нет других детей, они стали так одиноки! И все же Маклай повторяет то, что говорил раньше: войне не быть! А если вы не послушаетесь и отправитесь в горы, с вами случится несчастье. Маклай предупреждает вас об этом, потому что он ваш друг!

Мертвая тишина наступает в буамбрамре. Молчит толпа на площадке у входа. Наконец раздается чей-то сдавленный голос:



Сумки из волокон лианы.

— Какое несчастье? Что с нами будет? Скажи, Маклай!

— Сами увидите. А теперь мне пора домой. — Он спокойно кивает им и уходит.

Онемевшая толпа расступается перед ним. Но не успевает он дойти до конца деревни, как тишина сменяется все нарастающим гулом голосов. Точно разом зажужжал огромный потревоженный улей.

— Маклай говорит — войне не быть! Маклай говорит — войне не быть!.. — летит по деревне молва.

Маклай идет, не останавливаясь, не поворачивая головы. Знакомая лесная тропинка ведет к дому. Вот уже скоро и Бугарлом. Но

что это? Позади слышится топот, чье-то прерывистое дыхание. Его догоняют.

— Маклай, Макла-а-а-ай! — Это Саул. На подмогу ему спешат еще двое.

— Скажи, Маклай... — от быстрого бега Саул едва переводит дух, — скажи, если люди Горенду и люди Бонгу отправятся в горы, не случится ли землетрясение — тангрин?

— Маклай этого не говорил.

— Да, но Маклай сказал, что случится большая беда, если мы пойдем на Теньгум-Мана, а тангрин — самая большая беда. Больше и придумать нельзя. Люди Бонгу, Горенду, Гумбу, Богатим, Били-Били — все, все боятся тангрина. Скажи, Маклай, будет тангрин или нет? Да или нет? — Он заглядывает Маклаю в глаза.

Маклай пожимает плечами.

— Навалобе — может быть, — неопределенно отвечает он.

Саул и подоспевшие туземцы многозначительно переглядываются и бегом пускаются в обратный путь.

— Я говорил, — уже издалека доносится голос Саула, — я говорил: если пойдем на Теньгум-Мана — будет тангрин!

Маклай смотрит им вслед, улыбается и легкими шагами направляется к дому.

— Задал же я им загадку, — весело говорит он вслух, — пусть погадают! У страха глаза велики, авось их воинский пыл поостынет.

Несколько дней Николай Николаевич не показывался ни в Горенду, ни в Бонгу, и соседи не приходили к нему. От Сале и Мебли, ежедневно бегавших за новостями, он знал, что приготовления к войне прекратились. То ли поход был отложен на время, то ли отменен — этого узнать не удавалось.

Наконец явился Туй. Он был грустен и озабочен.

— Горенду басса — конец Горенду! — объявил он и, тяжело вздыхая, сел на землю возле веранды.

— Почему? — удивился Николай Николаевич. — Что ты придумал, Туй?

— Нет, я не придумал, это правда, — отвечал Туй, печально качая головой. — Мы все уходим из Горенду, мы не будем больше там жить, потому что мы боимся. Двое уже умерло, умрут и все остальные. Умрут не только люди, но и собаки, и свиньи, и деревья, и травы. Ты видел наши кокосовые пальмы? Они уже больны — листья у них покраснели и скоро опадут. Пальмы засохнут. И все это оттого, что горцы закопали в Горенду свой оним.

— Затвердил — оним да оним! А разве ты до сих пор не знал, что, так же как и люди, деревья болеют и умирают? Это верно — ваши кокосовые пальмы больны, но причина этому вовсе не оним. Жаль, что я забыл название грибка, который поразил ваши пальмы. Впрочем, мой бедный Туй, ты все равно ничего бы не понял. Я видел такие больные деревья на острове Яве и в других местностях. Это грибок, поверь мне.

— Нет, это не грибок, это оним, — безнадежно махнув рукой, повторял Туй. — Мы хотели побить горцев, чтобы избавиться от их онима, но ты не разрешил,

Маклай. Ты сказал, что с нами случится беда. Ведь ты так сказал, да, Маклай? — Он с укоризной посмотрел на своего друга.

— Ну, сказал. Я и теперь могу повторить.

— Вот видишь! А если будет тангрин, все скажут, что виноваты люди Бонгу, и все деревни пойдут против Бонгу. Поэтому они и боятся. А у нас в Горенду слишком мало народу, мы одни не можем идти в поход на мано-тамо.

— Ну и что вы решили?

— Мы решили уйти из Горенду, — уже совсем унылым голосом сказал Туй.

Он помолчал немного, потом добавил:

— Кто пойдет в Гориму, кто — в Богатим, кто — в Ямбомбу. Я хочу переселиться в Бонгу. Все-таки поближе к дому. И Бонем со мной. Вот соберем бау и начнем переходить... Ну, прощай, Маклай, э-а-ба! — Печально кивнув головой, он поплелся по тропинке к лесу.

«Что я могу поделаться, бедный мой Туй, — думал Николай Николаевич, с грустью глядя на удаляющуюся фигуру друга, — ты считаешь меня главным виновником своих бед. Пусть так. Бесполезно убеждать тебя, что не кто иной, как я, рассеял тучи, нависшие над твоей головой и над головами твоих родичей. Мне очень жаль, что вы хотите бросить свои жилища и уйти из родной деревни. Но я не в силах доказать вам всю нелепость, все безрассудство такого поступка. До сбора бау еще далеко, быть может, ваши горячие головы поостынут за это время. Я очень надеюсь на это».

МОЖЕТ ЛИ МАКЛАЙ УМЕРЕТЬ?

День выдался жаркий, душный, должно быть, к ночи собиралась гроза. Николай Николаевич раньше обычного закончил работу и отправился в Бонгу. Он любил посидеть часок-другой в высокой просторной буамбрамре, где проводили свой досуг мужчины, послушать их неторопливую речь, побеседовать о делах.

Уже издали он услышал громкие, оживленные голоса.

— Здравствуйте, э-а-ба! — сказал он, входя.

И вдруг все разом замолчали.

— Э-а-ба, Маклай! — раздалось в ответ несколько смущенных голосов.

Буамбрамра была полна народу. Здесь были гости из Горенду, Богатим, Били-Били. Все важно восседали на высоких нарах, жевали бетель, курили, ели горячий сладкий картофель — дегарголь. Алые лучи заходящего солнца, пробивавшиеся сквозь щели крыши, освещали их оживленные лица. По-видимому, обсуждался какой-то очень интересный вопрос. Приход Николая Николаевича прервал совещание.

«Что бы это могло быть? — подумал он и молча сел. — Подождем объяснения».

Он обвел глазами собравшихся. Здесь было много знакомых: Туй, Саул, Каин из Били-Били, Бугай, Бонем — все старые приятели. Первый прервал молчание Саул. Он был любитель поговорить. Частенько являлся он в таль Маклай и заводил разговоры о делах, о жизни, о явлениях природы, которые были ему непонятны, о земле, о море, о звездах, о луне.

Медленно подойдя к Маклаю, Саул положил ему руку на плечо. Он сделал это так ласково, так осторожно и мягко, как будто заранее просил извинения за вопрос, который хотел задать.

— Скажи, Маклай, — он заглянул ему в глаза, — сколько у тебя жен, детей, внуков и правнуков?

Николай Николаевич оторопел от удивления. Так вот какие важные вопросы решались здесь!

— Каких жен? Опомнись, Саул!

— Не знаю, — растерянно сказал Саул и потоптался на месте. — В России, на луне...

— Не понимаю, что взбрело тебе в голову, Саул. Ты ведь видишь, у меня нет ни жены, ни детей.

Но Саул только недоверчиво и разочарованно покачал головой.

— Маклай не хочет говорить! — вздохнул он. — Ну скажи хоть, помнишь ли ты, когда это дерево было совсем маленьким? — Он показал на огромный старый кенгар, стоявший у входа в буамбрамру. Должно быть, ему было лет двести. — Быть может, ты сам и посадил его?

Николай Николаевич подозрительным взглядом обвел Саула и всех присутствующих. Уж не вздумали ли они

подшутить над ним? Нет, все смотрели на него с искренним любопытством, без всякой насмешки.

— Неужели я выгляжу таким стариком? Почему вы решили, что мне так много лет? — воскликнул Николай Николаевич.

— Мы так решили, — обстоятельно отвечал Саул, — потому что ты никогда не бегаешь, не хочешь плясать даже во время ая, когда все старики пускаются в пляс, ты не берешь в жены наших девушек и не хочешь выдергивать седые волосы, хотя их много на твоей голове.

— Вот оно что! Доказательства весьма убедительные, что и говорить! — Николай Николаевич с улыбкой посмотрел на Саула. — И это все, о чем ты хотел спросить меня?

Саул опустил глаза.

— Скажи, Маклай, — решился он наконец, — можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богатим, Били-Били?

Слова Саула торжественно звучали в тишине. Затаив дыхание, перестав жевать, папуасы впились глазами в Маклая и ждали ответа.

«Наконец-то добрались до сути дела!»

Положение становилось затруднительным. Простой вопрос требовал простого ответа. Папуасы привыкли слышать от Маклая только правду, они и теперь не должны усомниться в нем. Однако сказать: «Да, я могу умереть так же, как все люди», — не хотелось бы именно теперь, через несколько дней после запрещения войны. Но сказать: «Нет, я не могу умереть», — тоже нельзя. Любая случайность — сегодня, завтра, через несколько дней — может открыть папуасам, что Маклай сказал неправду. Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его сознании.

Чтобы выиграть время, он встал, прошелся вдоль буамбрамы, поднял глаза кверху, как будто там, под крышей из пальмовых листьев, надеялся найти ответ на коварный вопрос, заданный ему черными друзьями. В косых лучах заходящего солнца ясно виднелись украшения, подвешенные у самой крыши: рыбы кости, клыки и позвонки диких свиней; черепа кенгуру; сверкающие, начищенные банки из-под консервов, оставшиеся еще со времен «Витязя». А на стенах — оружие:



Саул из Бонгу.

луки, стрелы, копья. Взгляд его остановился на самом большом, остром копье. Метко брошенное, оно грозило неминуемой смертью. И вдруг блеснула мысль. Ответ был найден.

Николай Николаевич подошел к стене, снял тяжелое копье и протянул его Саулу.

— Посмотрим, — спокойно сказал он, — может ли Маклай умереть.

С этими словами он отошел на несколько шагов и остановился, сняв с головы соломенную шляпу, чтобы широкие поля ее не затемняли лица. Папуасы должны видеть, что Маклай не шутит. Что бы ни случилось, он и глазом не моргнет.

Неподвижно застыв, не принимая копья, Саул несколько мгновений смотрел на Маклая. Потом в ужасе отпрянул назад и закричал, закрыв глаза руками:

— Арен! Арен! Нет! Нет!

И все заговорили разом, закричали, несколько человек бросились вперед, чтобы заслонить собой Маклая.

— Ну что же ты? Попробуй! — Николай Николаевич все еще протягивал Саулу копье.

— Арен, арен! — тихо повторил Саул и решительно отвел руку Маклая.

— Эх ты, трусишка! — сказал Николай Николаевич и похлопал Саула по спине.

Он подошел к стене, повесил копье на прежнее место и, спокойно усевшись на барлу, взял с деревянного блюда остывшую картофелину.

С тех пор никто не спрашивал Маклая, может ли он умереть.

ЗАВЕТ МАКЛАЯ

Дон-дон-дон-дон, — несутся из Бугарлома частые, нетерпеливые удары гонга.

Дон-дон-дон-дон, — заглушая их, вторит им барум в Бонгу.

Что за тревога? Что случилось с Маклаем? За чем этим сырым, холодным утром сзывает он соседей?

Всю ночь до рассвета лил дождь, сверкала молния. Казалось, огромные, вьющиеся водяные столбы соединяли небо и землю. Оглушительные раскаты грома сотрясали воздух.

Крепко зажав руками уши, уткнувшись головами в циновки, папуасы без сна лежали в своих хижинах. В такую ночь недалеко и до тангрина. Старики шептали заклинания, женщины крепче прижимали к себе детей.

И вот теперь, когда наступило утро и опасность миновала, когда по-прежнему твердо стоят на земле могучие деревья и высятся вдалеке отроги гор, именно теперь Маклай сзывает народ. Зря он этого делать не станет. Должно быть, есть серьезные причины.

И, не медля ни минуты, люди спешат в Бонгу. Они бегут, дрожа от холода и волнения, согреваясь на ходу

тлеющими головнями. Бежит Бугай, бежит Саул, бежит рассудительный Коды-Боро, ковыляет на больных ногах старый дед Буа. Перегоняя всех, мчится на зов своего белого друга Туй. Бонем едва поспевает за отцом. Клок седых волос торчит на черном затылке Туя. Звуки барума застали его врасплох и помешали докрасить голову черной глиной куму.

В Бонгу папуасов ожидает печальная весть: Маклай снова покидает их остров. За Маклаем пришла шхуна. Она стоит у берега. И моряки, приведшие ее, — не тамо русс, а тамо инглис — так они себя называют. Маклай уезжает, но перед отъездом он сзывает к себе народ: по два человека от каждой деревни — самого старого и самого молодого. Так приказал Маклай. Но на этот раз папуасы не выполняют его приказа. Каждому хочется повидать Маклая и своими ушами услышать, что скажет он на прощание своим черным друзьям.

И вот к Бугарлому движется огромная толпа. Здесь и старые и молодые, женщины и дети. Пусть дети также услышат и запомнят слова Маклая. Когда-нибудь они расскажут о нем своим детям.

— Ты звал нас, Маклай? Мы явились на твой зов!

Маклай выходит навстречу папуасам. Он сегодня особенно бледен, и светлые глаза его с грустью смотрят на пришедших. Но голос по-прежнему тверд.

— Да, я звал вас, друзья мои. Я просил вас прийти, чтобы сообщить, что снова покидаю вас, и, быть может, надолго...

— О-о-о! — проносится по толпе горестный вздох.

— Не уезжай от нас, Маклай!

— О-о-о! — стонет Туй. — Ты больше не вернешься, Маклай! Я больше никогда не увижу тебя!

— Кто будет лечить нас?

— Кто защитит нас от врагов?..

— Вот потому-то я и собрал вас, что хочу предупредить об опасности. Я хочу, чтобы вы научились отличать, кто ваш друг и кто враг. До сих пор вы знали только одного врага — горцев. Но не о них я буду говорить. Живите с ними в мире, вам нечего бояться их. Больше того, вы должны объединиться с мана-тамо, потому что их, так же как и вас, подстерегает общий враг.

Раскрыв рты, в смятении слушают папуасы. О чем это все толкует Маклай? Какие еще могут быть у них враги,



Юбка из банановых волокон.

кроме мана-тамо? Но ведь Маклай никогда не обманывал их.

— Слушайте же внимательно, слушайте и постарайтесь хорошенько запомнить то, что я скажу вам, — продолжает Маклай, и лицо его становится еще бледнее. — Я уезжаю от вас и не знаю, скоро ли мне удастся вернуться. А пока меня не будет, сюда могут прийти и даже, я думаю, непременно придут другие люди, такие же белые, как я, в такой же одежде, с такими же светлыми волосами. — Он снимает соломенную шляпу и проводит рукой по своей кашта-

новой, уже тронутой сединой, вьющейся шевелюре. — Они привезут с собой такие же вещи и приплывут на таких же кораблях, но это будут совсем другие люди. Берегитесь их, не верьте им, что бы они ни обещали вам, как бы ни уверяли в дружбе. Они приплывут к вам под разными флагами, но цель у них будет одна. Любыми средствами, обманом, насилием будут они стараться сделать вас своими рабами. Они будут похищать вас, ваших жен, ваших детей. Они увезут в неволю и продадут вас плохим людям, которые будут жестоко обращаться с вами.

Солнце ярко освещает фигуру Маклая и толпу, замершую от страха перед надвигающейся бедой.

— Мы не отпустим тебя, Маклай! — раздается чей-то сдавленный голос.

И тогда, как бы очнувшись, все начинают говорить разом:

— Не уезжай от нас, не покидай нас, Маклай!

— Как мы будем без тебя бороться с белыми людьми?

— Они умнее нас, они победят нас!

— Если тебе плохо у нас, мы сделаем, чтобы тебе жилось лучше!

— Мы построим тебе новый дом!

— Мы отдадим тебе в жены самую красивую девушку!

— Быть может, твои слуги не хотят больше оставаться на нашем острове, тогда отпусти их. Мы сами будем служить тебе. Мы будем очень стараться, ты будешь нами доволен!

Но Маклай качает головой:

— Нет, дело не в слугах. Если бы я мог, я остался бы с вами навсегда. Но у меня на родине мать, сестра, братья. Я их не видел много лет и вот уже много месяцев ничего не знаю о них. Шхуна, которую вы видели на берегу, случайно зашла сюда, она не привезла мне вестей с моей родины. Если я не воспользуюсь ее приходом и останусь здесь, мне придется, быть может, еще долгие годы ничего не знать о моих близких.

— Тогда обещай нам, что ты вернешься!

— Вернусь, обещаю вам!

— Ты не оставишь нас в беде? Ты приедешь, если нам будет грозить опасность?

— Я сказал, что вернусь. Слово Маклая — одно!

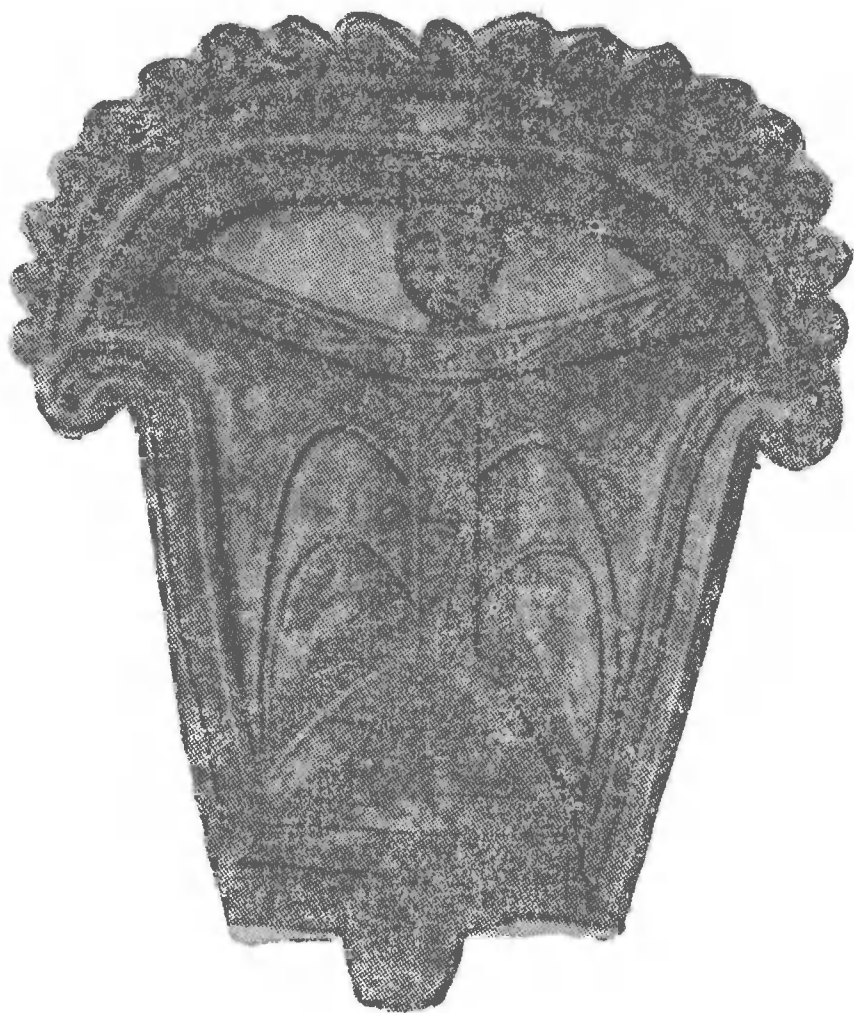
— Слово Маклая — одно! Балал Маклай худи! — проносится по толпе.

— Мы верим тебе, Маклай! Мы будем ждать тебя! Маклай поднимает руку, и снова все смолкает.

— Я еще не кончил. Я не сказал вам самого главного.

— О-о-о, Маклай, говори, мы слушаем тебя!

— Выслушайте и запомните мои советы, они могут вам пригодиться. Если придут на ваш остров белые люди, никогда не выходите к ним навстречу с оружием в руках, никогда первые не нападайте на них. Их будет мало, а вас много, но все равно они победят вас. Потому что все ваши копья и все ваши стрелы ничего не значат по сравнению с несколькими ружьями, которыми будут вооружены ваши противники. Лишь только вы заметите на море дым приближающегося корабля, немедленно отошлите в горы всех ваших женщин и детей. Пусть они остаются там, пока корабль не поднимет якоря и пока ни одного белого человека не останется на вашей земле. Ну вот, теперь всё. Маклай все сказал! — Усталым движением он проводит рукой по лбу и медленно направляется к дому.



Украшение для пироги.

Но папуасы не расходятся. Потрясенные, молча стоят они, словно вглядываясь в страшное будущее.

Коды-Боро первый нарушает молчание. Он пробирается к Маклаю и осторожно дотрагивается до его руки. Несколько мгновений он медлит, по-видимому что-то обдумывая.

— Скажи, Маклай, ведь не может быть, что все белые люди — наши враги? Вот ты тоже белый человек, а ты — наш друг. Что, если приедет твой брат? Как нам отличить друга от недруга? Научи нас, Маклай!

Долгий, внимательный взгляд светлых глаз с удивлением останавливается на Коды-Боро. А ведь старик, пожалуй, прав. Быть может, и в самом деле?.. Удастся ли сдержать слово и вернуться на Новую Гвинею? Здоровье может сыграть плохую шутку. Доктора давно предупреждали. Еще в Бюйтензорге. Надо быть готовым ко всему. И тогда, кто знает, не захочет ли Миша приехать сюда, чтобы продолжить дело брата? Или Володю во время странствий по Тихому океану судьба забросит на Берег Маклая? В этом нет ничего невероятного.

— Ты прав, Коды-Боро, благодарю тебя! — Он по-па-

пуасски пожимает своему приятелю левую руку. — Я совсем упустил это из виду!

Наступает глубокая тишина. Папуасы терпеливо ждут — Маклай думает.

— Кажется, я нашел выход, — говорит он наконец. — Слушайте же! Если сойдет на ваш берег мой брат или друг, вы сразу узнаете его. Вы узнаете его, потому что он засвистит в кин-кан-кан — вот так. — Маклай подносит к губам свисток, и знакомые, давно полюбившиеся папуасам звуки разливаются в прозрачном воздухе. — Он засвистит в кин-кан-кан и скажет вам на языке Бонгу: «Маклай — брат мой, и вы — мои братья!»

— Маклай — брат мой, и вы — мои братья! — с благоговением повторяют папуасы. — Будь спокоен, Маклай, мы хорошо встретим этого человека!

— Ну вот, а в остальном я полагаюсь на вас. Поручаю вам мой дом и мои вещи. Если сможете, сохраните их до моего приезда.

— О Маклай, мы будем охранять твой дом и твои вещи, мы будем ухаживать за твоим садом. И, когда ты вернешься, все будет так, как будто ты только вчера покинул таль Маклай. Ни один человек, будь то чужеземец или житель нашего острова, не посмеет прикоснуться к двери твоего дома. Мы обещаем тебе, Маклай!

Так говорит Коды-Боро, и все хором повторяют за ним:

— Мы обещаем тебе, Маклай!

— Спасибо вам. А теперь идите по домам. У Маклая еще очень много дел. Я позову вас, и мы простимся перед отъездом.

— Э-а-ба, Маклай! Мы придем провожать тебя. Мы все придем.

Грустно понурив голову, один за другим папуасы плетутся по тропинке к лесу. Николай Николаевич долго смотрит им вслед, потом поднимается по ступенькам крыльца и тяжело опускается в кресло.

«Что же ты сделал? Что ты сделал, безумец?» — с горечью спрашивает он себя.

«Ты разрушил дело своей жизни, вот что ты сделал! — отвечает он. — Погублено все, чего ты достиг путем нечеловеческих усилий. День за днем, месяц за месяцем старался ты завоевать доверие папуасов, а теперь сам запретил им верить белому человеку. Сам, своими руками все уничтожил! Понимаешь ли ты это?»

«Да, понимаю, — отвечает он. — Но я не мог поступить иначе, даже если бы это стоило мне жизни. Я только выполнил свой долг. Значит, все правильно. И довольно думать об этом. Пора собираться в дорогу. Мне бы очень не хотелось, чтобы шхуна с достойнейшими представителями «высшей расы» задержалась здесь из-за меня хотя бы на один лишний день».

— Мебли! Сале! Скорей за работу!..

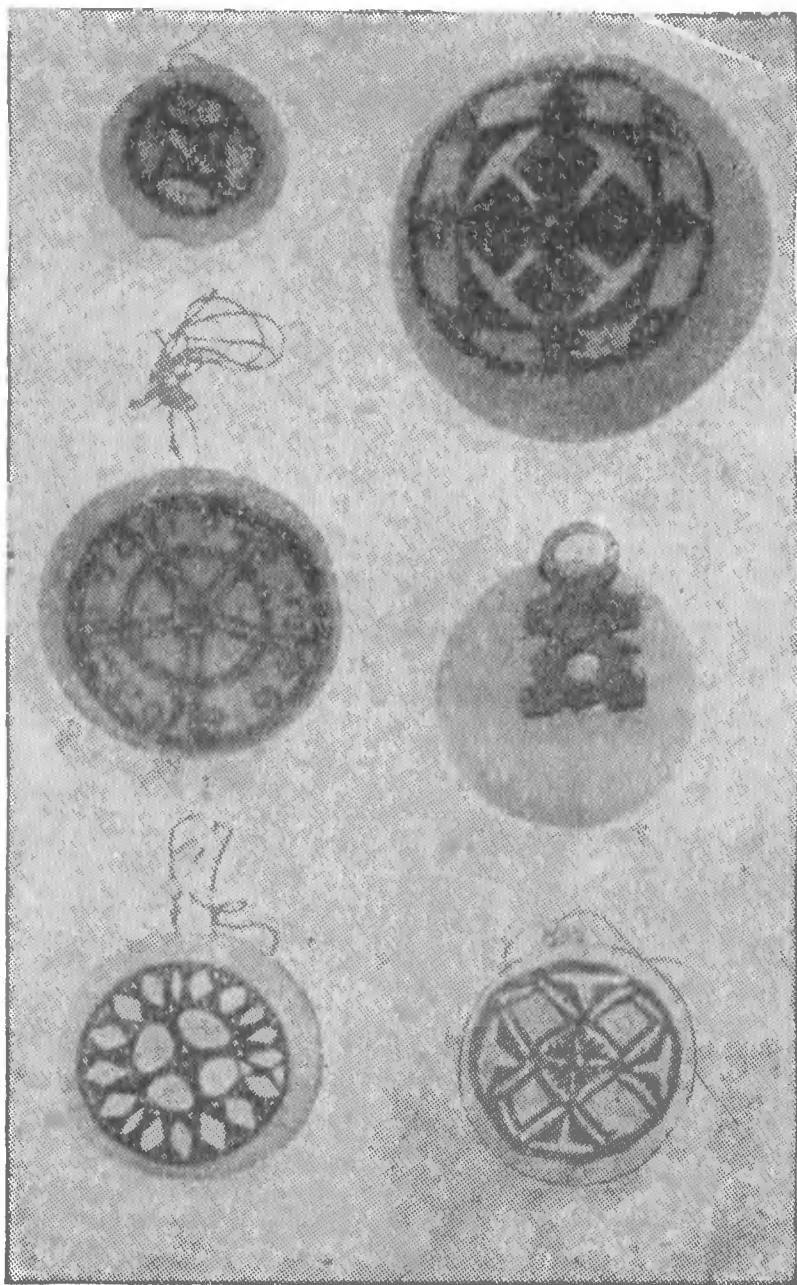
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Маленькая шхуна под английским торговым флагом держит курс на северо-запад. Шхуна называется «Цветок клевера», хотя ни она сама, ни тем более ее обитатели не имеют ни малейшего сходства с этим скромным цветком и с цветами вообще. Шкипер то и дело сердито кричит на матросов, срывая на них свое дурное настроение. Из-за русского путешественника, за которым он зашел на Новую Гвинею, пришлось потерять много времени. Шхуна теперь, пожалуй, уже приближалась бы к Сингапуру. А тут еще штили, встречные западные ветры. Шкипер очень жалеет, что послушал своего патрона господина Шомбурга, который просил его на всякий случай зайти на Новую Гвинею за Миклухо-Маклаем. Господин Шомбург так и сказал: на всякий случай. Он и сам, видно, был далеко не уверен, что его русский клиент не отплыл на каком-нибудь случайно проходившем мимо судне. Шомбург даже не послал почты, скопившейся в Сингапуре, чем очень огорчил путешественника. Ведь этот чудака уже полтора года отрезан от всего мира. Он даже ничего не знал о войне России с Турцией. Что же заставляет этого еще молодого человека заживо похоронить себя в таких негостеприимных местах? Зачем он стремится сюда, не страшась ни дикарей-людоедов, ни губительного климата, ни лихорадки? Все это представляется шкиперу весьма странным. Не иначе, как этот русский открыл здесь золотые россыпи. Собственно говоря, именно эта мысль руководила шкипером, когда он направил свою шхуну к берегам Новой Гвинеи. Он надеялся кое-что поразведать во время стоянки. Через некоторое время можно было бы вернуться и уже без всякой помехи обследовать берег, а быть может, и увезти

с собой кое-кого из чернокожих. Ведь теперь, после знакомства и дружбы с Маклаем, они должны больше доверять белым, и справиться с ними будет гораздо легче.

Так думал шкипер, но, увы, надеждам его не суждено было осуществиться. И причиной неудачи был не кто иной, как сам Маклай. Можно не сомневаться, что именно благодаря его внушениям английские моряки были встречены чернокожими если не с открытой враждой, то с крайней подозрительностью. Выражение их лиц, их поведение красноречиво говорили о том, что гостям гораздо безопаснее оставаться на борту шхуны.

За несколько дней стоянки так и не удалось ничего разведать. В это же время на шхуне произошло печальное событие — умер матрос Абу. Еще в пути он заболел какой-то непонятной болезнью, и на Новой Гвинее пришлось его хоронить. Конечно, такие случаи в плавании не редкость. Но Абу был любимцем команды. Матросы бранились между собой, ругали шкипера, проклинали лихорадку, дикарей и самого патрона, господина Шомбурга, отправившего их на этот негостеприимный берег. А на обратном пути, у экватора, начались штили, скудный запас провианта шел к концу, несколько человек команды умерло, по-видимому, от тропической лихорадки «бери-бери». На шхуне был настоящий ад! И только один человек оставался в стороне от этого ада, хотя страдал от лихорадки не меньше других. Он почти не



Налобные украшения.

выходил из своей душной каюты. Шкипер возмущенно пожимал плечами. Станный человек этот русский! Или он не замечает того, что творится на борту?

Напрасно беспокоился шкипер. Этот человек замечал все, но после плавания на «Морской птице» и знакомства с ее шкипером О'Кифом его было трудно чем-либо удивить. Он не желал попусту тратить драгоценное время и в промежутках между мучительными приступами лихорадки работал, благо остался еще небольшой запас бумаги и можно было ее не экономить. Он спешил сообщить Географическому обществу о своем втором путешествии на Берег Маклая, а главное, о выборе предмета исследований. Он заранее предвидел возражения и недовольство товарищей. В самом деле, отчего, отодвинув на второй план задачи зоологические, занялся он изучением быта туземцев? Они вправе задать ему этот вопрос. Дошли ли до них его письма, отправленные с О'Кифом? Он далеко не был уверен в этом. Но он докажет им, что был прав.

Маклай был первым белым человеком, ступившим на землю папуасов. Он застал их на самой низкой ступени развития. Он познакомил их с неизвестными им вещами, и новые мысли, новые понятия зародились в их умах. А ведь в недалеком будущем жители Берега Маклая будут всё чаще встречаться с другими народами, неизбежно заимствуя их культуру. И тогда исчезнут дикари в их первобытном состоянии, и папуасы уже не будут представлять такого интереса для науки, как теперь.

«Заметив, что я ни слова не говорю о новооткрываемых видах райских птиц, не обещаю описать сотни и привезти тысячи новых редких насекомых, меня, может быть, спросит ревностный зоолог: отчего ради вопросов по этнологии, которая, собственно, не составляет моей специальности, я отстранил от себя собирание коллекций? Я отвечу на это: те же райские птицы и бабочки, даже и в далеком будущем, будут не менее восхищать зоолога, те же насекомые будут тысячами наполнять его коллекции, между тем как почти наверное не только нравы и обычаи теперешних папуасов искажутся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придется с огромным трудом разыскивать чистокровного папуаса в горах Новой Гвинеи».

БОЛЕЗНЬ, ДОЛГИ, НЕПРИЯТНОСТИ

Больше двух месяцев плыла по волнам Тихого океана маленькая шхуна «Цветок клевера». Мимо островов Вулкан и Лессон; мимо группы Агомес; мимо густонаселенных островов Анахорет; мимо архипелага Пелау; вдоль побережья Борнео и наконец 19 января 1878 года бросила якорь в Сингапуре.

Больной, разбитый, истощенный, Николай Николаевич сошел на берег. Его вес — неполных два с половиной пуда — привел в ужас сингапурских врачей. Это вес ребенка, а не взрослого человека. Собрав последние силы, больной держался и даже работал во время плавания. Теперь он вынужден лечь в постель. Даже небольшое письмо ему трудно написать.

Кроме того, со всех сторон его подстерегали неприятности. С самого первого дня кредиторы забрасывали его грубыми письмами, врывались на квартиру, несмотря на запрещение врачей. Все это очень мучило его, но уплатить деньги было пока невозможно. Почта, поджидавшая его в Сингапуре, принесла лишь горькое разочарование: ни одного письма от родных и никаких известий от Географического общества, кроме старого, запоздалого ответа Семенова — ответа, которого Николай Николаевич так и не дождался перед отъездом на Новую Гвинею. Пожалуй, хорошо, что это письмо не пришло вовремя. Оно не изменило бы его намерений, а лишь огорчило бы.

И вот теперь, лежа в постели, через каждые две-три строки откладывая перо, чтобы отдохнуть, он обстоятельно отвечал Семенову, отводя незаслуженные упреки.

«Причина отрицательного решения высшей инстанции была «отдаленность страны и отсутствие в ней связи с русскими интересами». Замечу, что «отдаленных» стран уже теперь почти не существует, а тем более в будущем; что, кроме русских, есть еще общечеловеческие интересы, которые должны становиться делом просвещенных и гуманных правительств...

Ваше превосходительство говорит, что прискорбно видеть, что я перехожу с почвы научной на почву чисто практическую.

Отвечу на это примером: медик, который совершенно бескорыстно помогает нищим больным, при всей гуман-

ности своего образа действий может разрешить не один научный вопрос...

Так и я, если даже чем-либо помогу папуасам, то никогда не спущусь на ступень единственно их судьи, начальника или благодетеля.

Предполагая последнее, ваше превосходительство обижает меня, как истинного научного деятеля... Что бы я ни предпринял, где бы я ни находился, научный путь, который я избрал, и научные вопросы, которые мне под силу, останутся всегда моей главной целью...

Поэтому императорское Русское Географическое общество очень ошибалось, думая, что я изменяю моим научным планам».

Время шло, а здоровье становилось все хуже. Переменяющаяся лихорадка, цинга, катар желудка, малокровие — не слишком ли много для одного человека? Лучшие сингапурские врачи собирались для консилиумов и после долгих совещаний приходили к заключению: больного могла спасти лишь перемена климата.

— Выбирайте, коллега, — настойчиво повторяли они, — Европа, Япония или Австралия. Семь лет в тропиках — слишком большой срок для северянина.

Николай Николаевич готов был последовать их совету. Он, пожалуй, выбрал бы Австралию — австралийская фауна давно интересовала его, он мог бы дополнить свои сравнительно-анатомические исследования мозга позвоночных, продолжить антропологические наблюдения. Однако нельзя уезжать из Сингапура, не оплатив долги хотя бы частично. Кредиторы могли принять его отъезд за бегство. Придется снова обратиться к Географическому обществу. Изданием своих записок он смог бы впоследствии оплатить долг. И это будет первым его делом — товарищи могут поверить ему. Кроме того, в запасе имелась его новогвинейская этнологическая коллекция — небольшая, но очень интересная. Ему жаль было бы расстаться с нею, но в крайнем случае он готов был и на это...

И он снова писал Семенову, писал секретарю Географического общества Вильсону, писал Остен-Сакену (Федор Романович всегда хорошо относился к нему). Теперь оставалось только терпеливо ждать.

Но Сингапур не место для тяжелобольного, Городской шум, пыль, жара, непрерывный стук шагов по коридору гостиницы, перебранка, крики. День ото дня увеличивалась слабость. Мучили постоянные головокружения, случались частые обмороки. Как необходим был бы ему теперь Ахмат со своей преданностью и любовью! Но, увы, Ахмата нет. Верный маленький слуга погиб в Бюйтензорге от жестокого приступа лихорадки. А от наемных слуг-малайцев нельзя ожидать ухода и заботливости.

И вот неожиданно на помощь явился старый приятель — Абу-Бакир, махарадья Иохорский. Узнав о болезни русского путешественника, он перевез его в свой дворец в Иохор-Бару. Однако ни прохлада дворца, ни чистый воздух, ни заботливый уход — ничто не помогало.

Наконец в апреле — через три месяца после возвращения с Новой Гвинеей — из Петербурга были получены деньги.

«Не знаю, от кого эти деньги, но знаю, что через ваше любезное посредство, — ответил он Остен-Сакену. — Спасибо, спасибо... Начинаю освобождаться от торгашей-кредиторов... Полученные деньги пошли на уплату долгов в Сингапуре. Мой главный кредитор Дюммлер и К° в Батавии, очень озлобленный, ждет с нетерпением своей очереди! Если мое уже теперь весьма серьезное состояние здоровья значительно ухудшится, я пришлю вам короткую телеграмму, чтобы заблаговременно подготовить мать к худшему».

Ничто больше не удерживало Николая Николаевича в Сингапуре. Можно было последовать совету врачей. После двадцатидвухдневного плавания на английском пароходе «Соммерсет» он сошел на австралийскую землю.

В СИДНЕЕ

Должно быть, врачи были правы, потому что уже в пути Николаю Николаевичу стало значительно лучше. Зря терять время он не любил и ежедневно, ровно в полдень, экипаж «Соммерсета» мог наблюдать, как бородастый русский пассажир появлялся на палубе с термометром и измерял температуру: сначала воздуха, а потом

воды, на поверхности и в глубине. А к концу плавания была готова научная статья, которая могла оказаться полезной для австралийских ученых.

Воспользовавшись радушием и гостеприимством русского консула Пауля, Николай Николаевич на первых порах поселился в его доме. Июль — самый прохладный месяц в Сиднее. Давно уже не был он в большом городе. Он бродил по шумным улицам. Это было утомительно после долгого одиночества, спокойствия тропической природы, однако надо было сознаться, для разнообразия не так уж плохо.

Но не этим привлекал его Сидней. Он знал, какой богатый материал для исследователя представляет австралийская фауна. И единственным его желанием было поскорее приступить к научным занятиям, прерванным болезнью на столь долгий срок. Давно уже он не испытывал такого прилива сил и энергии. Нетерпение его было так велико, что он мог сравнить его лишь с чувством голодного человека, которому наконец представилась возможность отведать любимые блюда.

Здесь, в Сиднее, можно было найти все, что в течение многих лет он тщетно пытался раздобыть для своих сравнительно-анатомических исследований. Можно было заняться изучением мозга хрящевых рыб, утконоса, ехидны. Он давно хотел исследовать мозг австралийца, сравнить его с мозгом полинезийца, меланезийца.

Уже через месяц после приезда в Сидней Николай Николаевич появился в Линнеевском научном обществе и сделал несколько докладов. Австралийские ученые с удивлением признавались друг другу, что этот маленький русский с бледным лицом и тихим голосом сразу же завоевал их сердца. Им казалось, что они знают его давным-давно. В простоте и искренности его обращения с людьми было нечто, заставлявшее верить каждому его слову. Они выбрали его почетным членом Общества, а известный зоолог Вильям Маклей, который особенно с ним подружился, предложил переселиться к нему.

Дом Маклея находился в нескольких минутах ходьбы от его музея, состоявшего главным образом из коллекций, собранных им во время неоднократных путешествий по южному берегу Новой Гвинеи. Предложение было заманчиво. С самого приезда одна забота не оставляла Николая Николаевича: где найти место для сравнитель-

но-анатомических занятий? Ведь нельзя было превратить в препаровочную одну из комнат гостеприимного консула! Снять квартиру? Но хозяин, да и соседи вряд ли были бы довольны таким жильцом. Отдельный коттедж? Тогда пришлось бы завести хозяйство, нанять прислугу, а это слишком дорого и хлопотливо. Деньги, полученные из Петербурга, были на исходе, а мучивший его батавский долг все еще не уплачен. А между тем богатейший материал для исследований был тут же, перед его глазами...

Эти мысли одолевали Николая Николаевича, когда, как нельзя кстати, подоспело дружеское приглашение Маклея. Николай Николаевич с благодарностью принял его и засел за работу.

«Я встретил здесь очень любезный прием, — написал он сестре, — и живу теперь в очень комфортабельном доме у M-r W. Macleay. Г-н Маклей также зоолог, как и г-н Маклай. Он имеет, кроме хорошего большого дома с прекраснейшим видом на обширный и красивый порт Джексон, очень замечательный и интересный музей и хорошую библиотеку книг по зоологии. Одним словом, я могу прожить несколько месяцев очень удобно и с пользой для науки».

Надежды Николая Николаевича сбылись не в полной мере. В гостеприимном доме Маклея было очень удобно жить. Но работать в музее, к сожалению, не очень удобно. Музей был построен из листов железа. Невыносимая жара, уличный шум проникали сквозь стены этого металлического ящика. Друзья Николая Николаевича предложили ему перебраться в Австралийский музей. Но там приходилось работать в холодном подвале.

«Какаду, коровы, собаки и люди находятся в непосредственном соседстве, и шум от этого зоологического сада приводит иногда в очень скверное расположение духа... Кроме того, холодный и плохой воздух подвала мало благоприятен, так что приступы лихорадки часто возвращаются. Иногда после продолжительного припадка я чувствую себя таким слабым, что, кажется, несколько дней и ночей я мог бы спать беспробудно...»

Николай Николаевич работал так много, что дни были слишком коротки для работы, а ночи — для отдыха. Каждый час, каждая минута рассчитаны, и нельзя было даже разрешить себе прогулку по живописным окрест-

ностям Сиднея. Впрочем, он не жаловался на усталость. Да и можно ли сравнить эту усталость с трудными переходами в тропических зарослях, ранами на ногах, палящей жарой!

Что же касается неудобств, то и они принесли пользу, напомнив Николаю Николаевичу о давнишней мечте.

26 августа он выступил в Линнеевском обществе по вопросу, который, сказал он, с каждым днем все больше привлекает внимание ученых. Это вопрос о создании морской биологической станции. Современная наука далеко шагнула вперед, и музеи уже недостаточны для изучения многих дисциплин.

— Создание морских зоологических станций в разных частях мира становится существенной необходимостью. А такая страна, как Австралия, с ее богатой и интересной фауной должна иметь не одну, а несколько станций. Нам нужна мастерская-лаборатория для проведения опытов. Еще десять лет назад, во время нашего путешествия с доктором Антоном Дорном по Мессине, мы пришли к этому убеждению. Он оказался счастливее меня. Основанная им в Неаполе первая в мире зоологическая станция существует с 1870 года. Мне же во время моих многолетних странствий не раз случалось пользоваться гостеприимством знатных людей и жить по неделям и месяцам в роскошных апартаментах и даже королевских дворцах. Но с какой радостью променял бы я весь блеск этих жилищ на скромную лабораторию, где я мог бы работать, никого не стесняя и никем не стесняемый.

Члены Линнеевского общества внимательно слушали чужестранца. Он был совершенно прав. Как им раньше не приходила в голову эта идея? И, уж конечно, Сидней — наиболее подходящее место для такой станции. Как выиграла бы от этого научная жизнь Австралии!

— Я обращаюсь не только к вам, многоуважаемые члены Линнеевского общества. Я пользуюсь удобным случаем, чтобы предложить это дело вниманию всех друзей биологической науки в Австралии. Для процветания науки безразлично, кто сделает это предложение — господин Маклей, или господин Мортон, или я, или кто-либо иной. Как иностранцу, мне легче, чем вам, беспристрастно судить об огромных преимуществах создания

станции именно в Австралии. С другой стороны, я не могу так хорошо, как вы, знать те пути и средства, которые могут быть использованы для достижения этой важной цели. Поэтому я полностью отдаю себя в ваше распоряжение и готов сделать все, что вы сочтете нужным, и все, что в моих силах.

Сиднейские ученые воодушевились новой идеей.

— О, это была зажигательная речь, господин Маклай! — говорили они, пожимая ему руку. — Мы приложим все усилия...

И тотчас же для проведения в жизнь предложения русского ученого был избран комитет, в состав которого вошел и сам Маклай. Уже на следующем заседании Общества было объявлено, что комитет одобрил выработанные Маклаем правила пользования будущей станцией. Правила эти были несложны: за пять шиллингов в неделю пользование станцией предоставлялось ученым всех стран и наций. Только женщины были изгнаны из этого святилища. Им доступ на станцию категорически воспрещался... Запрещено было также петь и свистеть... С общего согласия регламент был утвержден, собраны подписи ученых и направлено ходатайство в совет министров Нового Южного Уэльса.

Теперь оставалось лишь терпеливо ждать. А у Николая Николаевича было немало других забот. Невеселые мысли о судьбе папуасов всё чаще посещали его. В газетах то и дело мелькали сообщения о намерении Австралии занять южный берег Новой Гвинеи. Тогда и его берег окажется в опасности. Вопрос о туземцах был в это время предметом жаркой полемики австралийских газет. Одни во имя гуманности решались поднять голос против пользования рабским трудом. Другие (их было большинство) из соображений чисто коммерческих держались противоположного мнения и считали, что черный должен работать на белого.

В самый разгар этих неразрешимых споров в жизни Николая Николаевича произошло радостное событие, придавшее ему бодрости и энергии. Совершенно неожиданно он получил ответ на свое давнишнее письмо к Ладуну относительно работоторговли в голландских колониях. Правительство Голландской Индии извещало его, что в следующем, 1879 году в голландских колониях Тернате и Тидоре рабство будет отменено.

Это была первая большая победа после многолетней борьбы. Николай Николаевич был счастлив. Значит, не зря потрачены усилия, значит, можно кое-чего добиться, если не сидеть сложа руки. Надо продолжать борьбу. Быть может, удастся защитить и своих друзей с Берега Маклая!

«Много возмутительных несправедливостей, совершенных сильными над слабыми, могли бы быть предупреждены, если бы правительства цивилизованных народов, не презрев дела справедливости, подтверждали самые простейшие основы прав человека и международного права», — писал он «высокому комиссару» Западной Океании сэру Артуру Гордону. Он просил его подумать об опасности, которая грозила благополучию тысяч людей, не совершивших никакого преступления. «Нашествие белой расы в Новую Гвинею может привести к ряду весьма печальных катастроф... Жители Берега Маклая, будучи земледельческим и многочисленным народом, тесно связаны с землей... Нашествие чужеземцев, которые пожелают захватить землю, уже занятую и обрабатываемую в течение веков, поставит жителей побережья между оружием белых и обитателями гор, которые не захотят уступить свою землю. Бесконечные убийства и войны будут следствием этого. Меры для предупреждения зла, которое позже будет непоправимо, могут быть еще приняты вовремя».

Во имя человечности и справедливости он умолял сэра Артура Гордона отнестись с вниманием к его письму. Он писал эти строки и с горечью думал о том, что с равным успехом можно, пожалуй, обращаться к акулам — с просьбой не быть такими прожорливыми. Он думал о том, что если бы он мог остаться среди папуасов, он, вероятно, не писал бы писем, а постарался на деле доказать, что можно обойтись без несправедливого и жестокого истребления туземцев — далеко не таких кровожадных, какими их изображали любящие эффекты путешественники.

«Знаю, что мой протест остается пока гласом вопиющего в пустыне, но тем не менее надеюсь, что он встретит сочувствие между теми, для которых «справедливость» и «права человека» не единственно пустые слова».

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Если бы условия работы были сносны, Николай Николаевич, вероятно, не покинул бы Сидней, не доведя до конца начатые исследования. Но дело, к сожалению, обстояло не так, и 29 марта 1879 года, в 5 часов 30 минут утра, трехмачтовая американская шхуна «Сэди Ф. Келлер» унесла его из Сиднея.

Больше полугода прошло с тех пор, как члены Линнеевского Общества с восторгом приняли его предложение, а постройка зоологической станции так и оставалась в проекте, хотя он не раз напоминал об этом важном деле. Правда, как иностранец, он сознательно отстранился от практического участия в нем, уступив эту честь австралийским патриотам. По-видимому, это было ошибкой. Он понял это, когда все уже было готово для нового путешествия и до отъезда оставались считанные дни. Он снова обратился к ученым, наиболее сочувствовавшим его идее. От одних он услышал всё те же красивые общие фразы, другие с сомнением качали головой.

— Это очень трудное предприятие, — говорили они, — и только ваша необыкновенная энергия, господин Маклай...

«Ну что ж! — сказал себе Николай Николаевич. — Если вы так ленивы и равнодушны, пеняйте на себя!»

Он бросился в совет министров Нового Южного Уэльса, вел длинные переговоры, обращался то в одну инстанцию, то в другую и неожиданно получил поддержку от самого премьер-министра сэра Джона Робертсона, который с большим интересом отнесся к проекту русского ученого. После целого ряда формальностей он вручил ему постановление совета министров: «Даровать для постройки зоологической станции из казенных земель участок, если таковой найдется для этой цели».

Подходящий участок нашелся в Ватсон-Бай, близ Сиднея. И Николай Николаевич немедленно приступил к сбору денег по подписке. Это было важно, потому что, по создавшемуся обычаю, правительство колоний выдавало из казенных средств сумму, равную собранной по подписке.

Теперь у Николая Николаевича нашлись и помощ-

ники: хранитель Австралийского музея Рамсей, молодой зоолог Хасвель, недавно приехавший из Эдинбурга, и некоторые другие ученые, воодушевившись примером иностранца, энергично принялись за хлопоты. Провожая Николая Николаевича, они обещали следить за дальнейшим продвижением дела.

— Главное сделано, господин Маклай, — говорили они ему. — У нас есть участок земли и четыреста фунтов стерлингов, что уже немало. Вы поистине свершили чудо, добившись этого в столь короткий срок. Вернувшись из путешествия, вы закончите ваши работы в новой зоологической станции в Ватсон-Бай!

И вот он снова плыл по волнам Тихого океана. Шхуна «Сэди Ф. Келлер» направлялась к островам Новой Каледонии, Новым Гебридам, Соломоновым, а потом — Николай Николаевич договорился с капитаном Веббером — зайдет на Берег Маклая.

«В случае, если г-н Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Веббер обещает не применять никаких насилий над туземцами под предлогом наказания. . .» Наученный опытом прежних плаваний, Николай Николаевич счел необходимым внести этот пункт в соглашение, заключенное со шкипером. Он впервые отправлялся на эти острова, и туземцы, не зная его намерений, могли убить его, приняв за врага. А он ни в коем случае не желал бы, чтобы карательная экспедиция колонизаторов, воспользовавшись его смертью как предлогом, по-своему расправилась с туземцами.

Цель нового путешествия — знакомство с еще неизвестными островами Меланезии. Для того чтобы закончить антропологические исследования, очень важно было своими глазами увидеть как можно больше меланезийских племен. Он по опыту знал, что несколько дней или даже несколько часов наблюдения над туземцами на их родине могут помочь решить важные вопросы антропологии и этнологии. Правда, он не сразу решился на это путешествие. Оно отодвигало на неопределенный срок возвращение в Россию, а он уже серьезно подумывал об этом и даже сообщил родным о скором свидании с ними. Но разве можно было упустить возможность побывать в Новой Каледонии, где томились в ссылке французские коммунары! Николай Николаевич надеялся проникнуть к ним. Быть может, ему удастся быть чем-либо



Шхуна «Сэди Ф. Келлер».

полезным этим героическим людям? Да и перспектива попасть, хоть ненадолго, на Берег Маклая была слишком заманчива.

На одиннадцатый день плавания шхуна «Сэди Ф. Келлер» подошла к берегам Новой Каледонии и бросила якорь в порте Нумея. Должно быть, у капитана Веббера было много дел на этом острове, потому что шхуна простояла здесь около двух недель. Только в последний день Николаю Николаевичу удалось увидеть коммунаров.

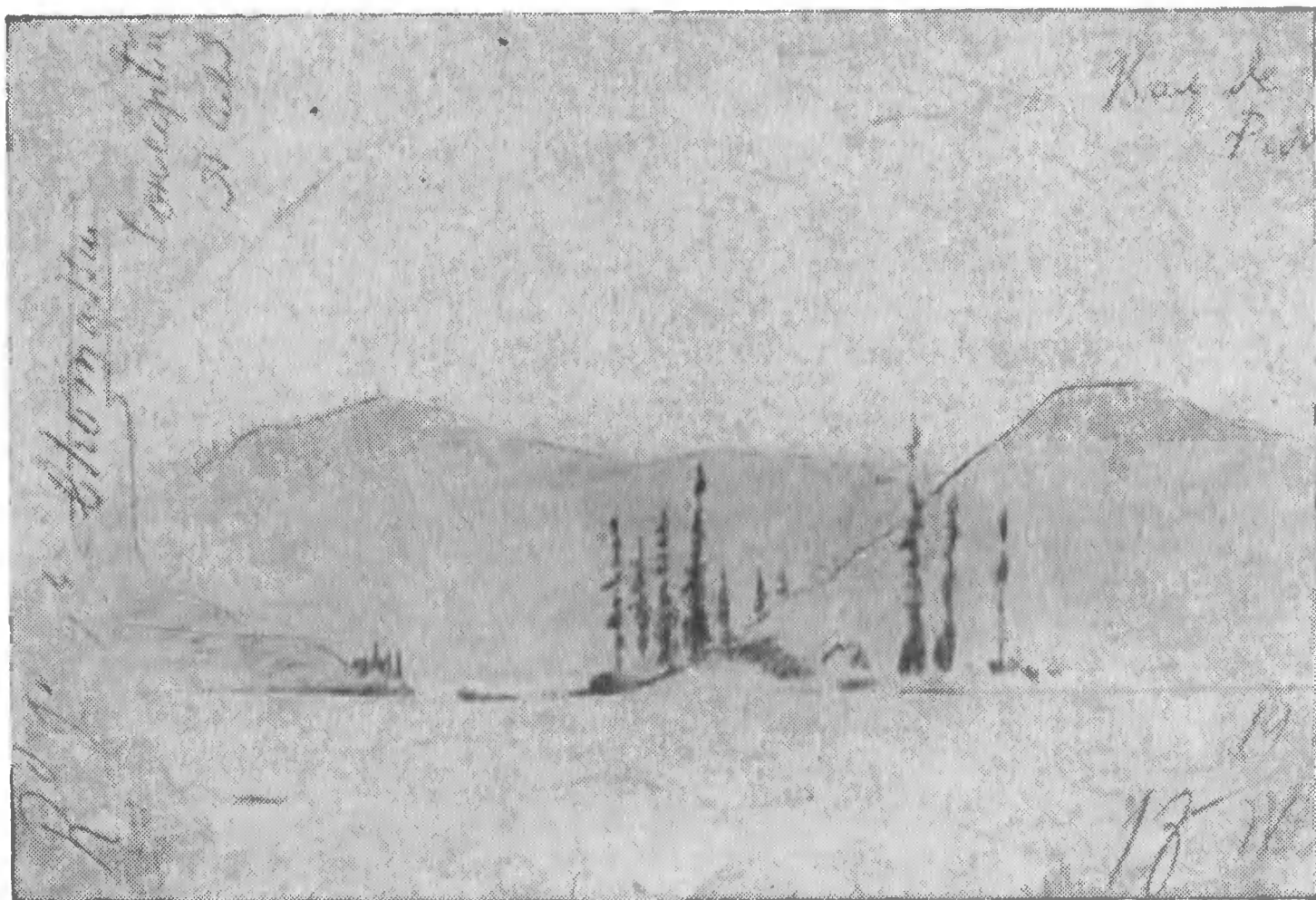
Главная тюрьма на острове Ну, где вместе с уголовными содержались особо важные политические преступники; большая долина на острове Дюкос, где жались друг к другу крытые соломенными крышами хижины, — маленькая колония ссыльных коммунаров. Он своими глазами увидел, на что способны люди, воодушевленные лишь силой разума — силой, которая спасла их от отчаяния и смерти. Все было построено собственными руками: хижины, дороги, мосты. Он видел плантации, на которых они работали — днем, несмотря на палящий зной, и ночью, несмотря на смертельную усталость. Видел театр, в котором они были и зрителями и актерами. Он узнал, с каким трудом добились они разрешения на постройку этого театра. В большом бараке, где приби-

тые к рамам мешки из-под овощей заменяли кулисы, а старые раскрашенные простыни — занавес и декорации, ставились пьесы Виктора Гюго, Мольера, Шекспира. Из тряпья и разноцветной бумаги шились костюмы, из жести вырезались шпаги, мечи и шлемы. Спектакли давались по воскресным дням. А каждую среду выходил печатавшийся литографским способом журнал, в котором помещались рассказы, пьесы, статьи, рисунки, — среди ссыльных были художники, поэты, журналисты.

Потрясенный, ошеломленный, покидал Николай Николаевич Новую Каледонию. Он не мог близко познакомиться с героическим бытом коммунаров — времени было слишком мало, да и тюремное начальство зорко следило за ними. Но и того, что он видел, было достаточно. Трудно было поверить, что все это могли сделать люди, претерпевшие все муки неволи, голод, побои, пытки, издевательства тюремщиков; люди, лишенные родины, доведенные до отчаяния...

Все дальше и дальше от берегов Новой Каледонии уносила его шхуна. Он почти не выходил из каюты. Вместе с шумом волн и завыванием ветра доносились до него пьяные крики, пение, свист, брань, которыми тешили себя обитатели шхуны. Он старался не слушать. Он думал, думал...

И, как обычно, мысли его возвращались к тем, кто больше всего нуждался в его помощи и защите, — к черным друзьям, к папуасам. Что, если, воспользовавшись примером коммунаров, основать подобную колонию на Берегу Маклая? Быть может, ему удастся уговорить брата Мишу поселиться вместе с ним? И еще хотя бы человек десять — двадцать. Маленькая русская колония могла бы оказать неоценимую помощь папуасам. Их культурный уровень несомненно поднимется. На основании существующих обычаев можно будет достичь более высокой ступени туземного самоуправления — создать комитет из влиятельных людей — тамо боро. Он, Маклай, мог бы быть советником и представителем папуасов в сношениях с чужеземцами. Впоследствии можно было бы наметить план проведения работ по строительству дорог, устройству школ, больниц; обучить папуасов современным методам обработки плантаций. Ведь начало положено. Он уверен, что его друзья



Новая Каледония.

в России пойдут навстречу этому плану. Если заглянуть в далекое будущее, кто знает, быть может, Берег Маклая с его редким, даже для тропиков, плодородием превратится в важнейший центр земледелия...

Впрочем, на этом Николай Николаевич спешил обрывать свои мечты. Он прекрасно сознавал, что они преждевременны. Предстояло еще вернуться в Россию, разработать проект колонии, набрать желающих. Дело трудное! Однако он надеялся на успех...

На Берег Маклая он так и не попал. И вовсе не потому, что капитан Веббер не захотел выполнить договор. Наоборот, он с большой охотой повел бы свою шхуну к незнакомому берегу, на котором мерещилась ему немалая пожива. Ведь не многим выпадает на долю такая удача — явиться к дикарям с человеком, которого они боготворят! С человеком, который знает их язык, нравы, обычаи. Мысленно шкипер Веббер уже грузил драгоценные товары, которые, конечно, достанутся ему совершенно бесплатно. Шхуна уже подходила к островам Адмиралтейства — отсюда рукой подать до желанного берега. И что же? Пассажир вдруг заявил, что освобож-

дает шкипера от данного обещания. Мало того, он решительно потребовал, чтобы маршрут шхуны был изменен. И шкиперу пришлось подчиниться.

Что же произошло? Отчего, будучи так близко от Берега Маклая, Николай Николаевич отменил свое решение? Разгадка была проста. За время плавания он успел хорошо узнать и шкипера, и подобных ему других «представителей человеческого зверинца на шхуне», — как писал он сестре. Несмотря на свое горячее желание повидать черных друзей, он не мог подвергнуть их риску знакомства с этими бесчестными людьми.

Выезжая из Сиднея, он предполагал, что путешествие займет всего лишь месяцев пять. Но вот прошло уже более полугода, а конца плавания даже не предвиделось. Ловля трепанга шла успешно, и шкипер не торопился. Шхуна подолгу стояла на якоре, выполняя свои коммерческие задания. Николай Николаевич вовсе не был против этих задержек, его научные наблюдения были очень интересны. Однако он должен был признаться, что желал бы поскорее выбраться из этого «плавучего ящика с дурным воздухом, дурной водой и дурным обществом», — это определение встретилось ему в одной английской книге. К шхуне «Сэди Ф. Келлер» оно подходило как нельзя более.

«Зловония в каютах, — мысленно отвечал он автору этой книги, — можно избежать, проводя большую часть времени на палубе, воду можно фильтровать и кипятить, а вот избавиться от болтающих чепуху, пьянствующих, свистящих, поющих двуногих нет никакой возможности». Именно «двуногих» — иначе он не мог назвать этих людей. Чтобы избежать их общества, он целые дни проводил в каюте, благо она была достаточно светла для чтения, а едва лишь шхуна бросала якорь, переселялся на берег.

И все же слишком часто приходилось ему быть свидетелем чудовищного по своей бессмысленной жестокости и злобе обращения с туземцами. Много он видел собственными глазами, многое узнал от людей, с которыми свел его случай. Ему рассказывали охотно. Одни — просто из чувства доверия, которое он вызывал к себе. Другие — из сочувствия к туземцам — спешили сообщить ему факты, которые могли послужить материалом для его дальнейшей борьбы.

А фактов была немало. В одном селении у лавочника украли горсть табака, и солдаты открыли огонь по ним в чем не повинным людям, работавшим по разгрузке парохода. В другом — местная полиция схватила по обвинению в краже слепого старика. И хотя женщина, у которой совершена была кража, тотчас же признала, что старик невиновен, его привязали к дереву, и взвод солдат, целясь в него, как в мишень, изрешетил пулями. Что бы ни случилось у белого, виноватым всегда оказывался черный. Одного тредора, застрелившего без всякой причины туземца, спросили, почему он это сделал. «Он бежал, — ответил он, нимало не смутясь, — следовательно, он сделал что-то дурное». И, хотя было точно установлено, что туземец ни в чем не виноват, его убийца не был привлечен к суду.

Он узнал о массовых избиениях туземцев, о зверских убийствах грудных детей. Ярость закипала в нем при рассказах об этих бессмысленных жестокостях. Не жалости, не сочувствия, а правосудия будет он требовать от колониального правительства. Он будет снова писать — сэру Артуру Гордону, другим сильным мира сего, всем, от кого зависела судьба этих несчастных людей. У него накопилось достаточно материала для подобных писем.

На острове Базилаки, простившись со шхуной «Сэди Ф. Келлер» и огорченным шкипером, Николай Николаевич пересел на небольшой английский пароход «Элленгован», направлявшийся к южному берегу Новой Гвинеи.

ПИСЬМО ИТАЛЬЯНСКОГО УЧЕНОГО

«Возвратившись недавно из путешествия моего в Тихий океан, я спешу сообщить вам известия о приятеле вашем, г. Миклухо-Маклае. К несчастью, они совсем не хороши. Еще в первое мое путешествие я застал его в весьма неудовлетворительном физическом и нравственном состоянии, но теперь его почти нельзя было узнать. Известие о разорении семьи нанесло сильный удар его организму, уже истощенному усталостью, непрерывными лишениями и климатом тех стран, в которых он жил и которые он при всем том тщательно исследовал.

Он страдает от этого тем более, что все его коллекции — антропологические и другие, рисунки, заметки — словом, все плоды его изысканий, хранящиеся в ящиках, находятся в руках банкиров и купцов, которым он должен был оставить все свои научные сокровища в обеспечение уплаты нескольких долгов, без которых он не мог бы осуществить обширного плана изысканий. Таким образом, он находится в плену — не имеет никаких средств возвратиться в Европу, лишен всех своих научных принадлежностей и не может более надеяться на помощь своей семьи. Опасаюсь, что при таких условиях он проживет недолго. Физические и нравственные его силы не выдержат бремени трагического положения. Необходимо сделать все, что только можно, для спасения его, чтобы сохранить науке такого человека и такие труды, а родине — честь считать его в числе своих сынов. Мне кажется, что на петербургском Географическом обществе преимущественно лежит обязанность помочь ему, и на Общество пала бы наибольшая доля ответственности в случае, если бы Миклухо-Маклай погиб и оставил в руках туземных купцов все собранное им в течение многих лет... Вам не хуже меня известно отчаянное положение нашего бедного друга. Я уверен, что этих нескольких строк, идущих от сердца, будет достаточно, чтобы вы похлопотали за Маклая перед теми, на которых лежит нравственный, гуманный, патриотический и научный долг способствовать скорейшему прекращению страданий человека, соотечественника и ученого».

Это письмо, написанное итальянским ботаником Бекари, было получено Мещерским весной 1879 года, в то время, когда Николай Николаевич плыл на шхуне «Сэди Ф. Келлер» за новыми научными данными, навстречу новым опасностям. Александр Александрович давно тревожился о друге, но не представлял себе, что дело обстоит так плохо. Надо было действовать, и немедленно. Но как? Кого привлечь к этому делу? Конечно, в первую очередь Географическое общество. От родных он решил до поры до времени скрыть правду. Чем могли они помочь? Екатерина Семеновна большую часть времени проводила в Малине, тщетно пытаясь наладить развалившееся хозяйство и спасти семью от полного разорения. Ольга Николаевна работала через силу, не щадя здоровья. Имел ли он право ко всем трудностям, выпавшим на

долю этой самоотверженной девушки, прибавить еще и эту? Она и так была в постоянной тревоге за брата. Нет, пока он ничего не скажет ей о письме Бекари.

Мещерский обращался в Географическое общество, в Академию наук, в Общество любителей естествознания. Все обещали помочь — «когда будет возможность», «когда позволят обстоятельства», «со временем»... Но за этими обещаниями он чувствовал глухую стену холода и равнодушия. А между тем нужна была немедленная помощь — иначе будет поздно. Об этом говорила каждая строка письма Бекари.

В отчаянии Мещерский обратился к частным лицам, написал в Париж Тургеневу, который всегда сочувственно относился к Миклухо-Маклаю. Тургенев живо откликнулся на просьбу, обещал выслать деньги, как только получит гонорар, предлагал привлечь русских богачей, живших за границей. Однако и на это нужно было время.

Мещерский не сдавался — обращался в редакции журналов, газет. Еще так недавно они печатали на своих страницах восторженные статьи о знаменитом путешественнике, помещали его портреты, а теперь вот уже больше года хранили равнодушное молчание. Казалось, русские люди и вовсе забыли о своем отважном соотечественнике, затерявшемся где-то в тропических джунглях. В чем же крылась причина этого? Быть может, русско-турецкая война отвлекла внимание общества от его судьбы и замечательных дел?

Счастливая мысль явилась у Мещерского. Он отправился в редакцию газеты «Голос», и письмо итальянского ученого появилось в газете. В том же номере Миклухо-Маклаю была посвящена статья, принадлежавшая редактору «Голоса» Краевскому.

«Сколько тяжелых и безотрадных мыслей приходит в голову при чтении письма итальянского ученого, взывающего к русскому обществу о помощи не какому-нибудь неизвестному бедняку, нуждающемуся вследствие потери места, не старику, лишившемуся работы по старости, а русскому ученому, посвятившему десять лучших лет своей жизни исследованию малоизвестных островов Тихого океана и принужденному заложить банкирам и купцам все собранные им драгоценности, чтобы 35 лет от роду, достигнув всемирной известности, не умереть

с голода... Г-н Бекари взывает о помощи к тем, на ком лежит «нравственный, гуманный и патриотический» долг сласти нашего соотечественника, и указывает между прочим на Русское Географическое общество. Неужели Петербургский университет и Медико-Хирургическая академия, слушателем которых был Н. Н. Миклухо-Маклай, могут равнодушно отнестись к его горькой нужде!

Пусть не говорят нам: что может сделать университет и академия? Не нам указывать профессорам и академикам, что должны предпринять они для спасения своего товарища по науке... Если бы русское общество уважало литературу, ценило науку, то русские ученые не умирали бы с голода, не закладывали бы свои драгоценные труды ради куска хлеба. Пусть, наконец, не говорят нам, что устав Географического общества воспрещает приходить на помощь путешествующим вне пределов России, — дело Миклухо-Маклая требует исключения...

Честь и достоинство русского общества требует принятия немедленных мер. Мы должны с благодарностью возвратить иноземным купцам те ссуды, которые, быть может, спасли Миклухо-Маклая от голодной смерти... Мы могли не знать о его отчаянном положении, но, узнав, должны оказать немедленную помощь, должны, если бережем честь русского имени, если дорожим научными трудами и уважаем ученых. Если же мы не уважаем науки, то и нас никто уважать не будет».

Так была пробита стена равнодушия. Имя Миклухо-Маклая снова оказалось в центре внимания. Столичные и провинциальные газеты перепечатывали письмо Бекари и статью Краевского, обсуждали вопрос о помощи путешественнику. «Голос» объявил подписку. И собранные деньги — 4500 рублей — были немедленно отправлены в Сидней. На страницах газет начали регулярно появляться подробные сообщения о Миклухо-Маклае.

«Знаменитый русский путешественник только что окончил трудное путешествие по островам Меланезии и Западной Полинезии... В дальнейшем он предполагает познакомиться с черными племенами Нового Южного Уэльса... Он рассчитывает пройти от Аделаиды к порту Дарвина... Из порта Дарвина путешественник наметил

отправиться в Гонконг, потом в Японию, а оттуда в Россию».

И с этого времени Петербург стал ждать возвращения знаменитого соотечественника.

СТАНЦИЯ ПОСТРОЕНА

И вот он снова в Сиднее. Увы, ничто не изменилось со времени отъезда: обещания оставались обещаниями, участок, отведенный для зоологической станции, пустовал, собранные по подписке деньги лежали без движения. Должно быть, пыл австралийских коллег остыл очень скоро после того, как «Сэди Ф. Келлер» унесла Николая Николаевича в море.

И он с удвоенной энергией снова взялся за хлопоты: выступал в Линнеевском и других научных обществах Сиднея. Добился новой денежной подписки, правительственного ассигнования; заказал проект дома молодому архитектору, который с увлечением принялся за работу. Сэр Джон Робертсон, «старый Джек», как называли его за глаза подчиненные, уже оставил к этому времени пост премьер-министра, но благодаря прежним связям продолжал поддерживать дело, которое считал полезным. Этот «одержимый» русский пленил его своей неистощимой энергией, он подружился с ним, и деловые свидания часто заканчивались длинными дружескими беседами.

Постепенно идея создания зоологической станции приобретала все больше и больше сторонников. Президент Королевского научного общества профессор Смит, человек влиятельный в научных кругах, произнес большую речь на соединенном заседании трех научных обществ Сиднея.

— Я надеюсь, — сказал он, — что Королевское общество примет участие не только в первых шагах строительства, но и в будущем назначит ежегодное пособие.

В газете «Сидней-Мэйл» появился восторженный отзыв о проекте будущей станции, где «для ученого будут созданы условия, едва ли достижимые в любом другом месте. Живописные виды будут открываться с больших балконов, построенных со всех четырех сторон дома.

Стеклянная крыша обеспечит наибольший приток света, столь необходимого для занятий с микроскопом. Рабочие комнаты будут расположены на восточной стороне; двойные, засыпанные опилками перегородки между ними будут непроницаемы для шума. Кладовые, подвал, большая ванная комната — одним словом, все, что необходимо для спокойной лабораторной работы».

«Ученые Австралии,— писал сиднейский научный журнал; — очень обязаны энергии г-на Маклая. Мы верим, что дело, так хорошо начатое, будет продолжаться без промедления».

Наконец-то и сам Николай Николаевич мог поверить в исполнение своей давнишней мечты. При содействии сэра Робертсона он получил маленький домик, расположенный в тенистом парке старой, заброшенной выставки. В этой «временной биологической станции» он жил и работал. К концу года был написан и прочитан в Линнеевском обществе целый ряд научных статей: «О новых видах сумчатых», «О мозге австралийцев», «О формах черепа у туземцев Торресова пролива»...

Он прерывал занятия только для поездок в Ватсон-Бай на строительство станции. Ежедневно пароходик, курсировавший между Сиднеем и Ватсон-Бай, отвозил его туда и обратно. Дорога в одну сторону занимала полчаса, но и за эти полчаса можно было успеть кое-что прочитать и даже записать.

Маленькую «временную станцию» охотно посещали сиднейские друзья Николая Николаевича. Приходил Вильям Маклей, приходили Мортон и Хилл из Австралийского музея и многие другие. Неожиданно стал сюда часто являться немецкий натуралист и путешественник Отто Финш, с работами которого Николай Николаевич был давно знаком. Его книгу о Новой Гвинее не раз перечитывал он перед своим путешествием на «Витязе» и по карте Финша отмечал свой будущий маршрут.

Финш подолгу засиживался в маленьком домике. Разговоры вертелись главным образом вокруг Новой Гвинее и, в частности, Берега Маклая. Финш сразу же подметил, что неразговорчивый русский путешественник мог без конца говорить на эту тему. Финш был хорошим знатоком Новой Гвинее и хорошим ученым, но чем-то, Николай Николаевич не мог понять чем, этот немец раздражал его. То ли преувеличенным вниманием, которое тот про-

являл к нему, то ли своей педантичностью, узостью кругозора. Плохо скрытое высокомерие белого человека к черному сквозило в его суждениях. Он хвастливо заявлял, что прямо идет к намеченной цели, не отвлекаясь и не размениваясь на мелочи.

— Вы разбрасываетесь, вы дробите свои силы, коллега, — поучительным тоном говорил он. — Вы не филантроп, вы прежде всего ученый, и не надо забывать об этом, господин Маклай. Дело науки для вас превыше всего, оно не должно страдать от других ваших интересов и привязанностей.

От этих поучений Николай Николаевич начинал тосковать и оживлялся лишь тогда, когда снова заходил разговор о его любимом берегу. Он говорил, а Финш слушал...

К концу года зоологическая, или, как ее чаще называли, биологическая, станция была готова. Правда, здание было далеко не так совершенно, как это рисовалось архитектору, и оборудование ее не шло в сравнение с оборудованием станции Дорна в Неаполе, где работали двадцать пять ученых и тридцать пять платных ассистентов.

Но все же и эта скромная станция, рассчитанная на шесть человек, была немалым достижением для научной жизни Австралии.

— Я чувствую глубокое удовлетворение, — сказал Николай Николаевич на заседании Линнеевского общества, — от сознания, что оставляю для будущих поколений такой «памятник» своего пребывания в Сиднее.

Члены Линнеевского общества благодарили, пожимали руку, выступали с ответными речами. Сэр Робертсон торжествовал. Он не ошибся, уверовав в своего русского друга.

Победа была одержана. Срочные дела больше не задерживали Николая Николаевича в Сиднее. Можно было порадовать родных и сдержать наконец свое обещание. Он стал собираться в Россию.

В Сиднейской гавани как раз в это время стояла русская военная эскадра. Он послал в Петербург просьбу о разрешении вернуться на родину на одном из военных кораблей, а в ожидании ответа переехал на новую биологическую станцию в Ватсон-Бай и продолжал работать.

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Однажды маленькую лабораторию посетил неожиданный гость. Правительственный комиссар Западной Океании и специальный уполномоченный по Новой Гвинее — таково было его официальное звание. Представился же он просто как путешественник Гастингс Ромилли, лишь вскользь упомянув о своих полномочиях.

Это был сравнительно еще молодой человек с умным, энергичным лицом и приятной, свободной манерой обращения. Николаю Николаевичу он понравился с первого взгляда. Очень быстро они нашли общий язык. Ромилли прекрасно знал и на себе испытал, что такое тропическая лихорадка, опасности джунглей, стрелы туземцев, зачастую отравленные. Он говорил умно и тонко, порой высказывая неожиданные мысли, говорил о необходимости бережного обращения с туземцами.

— К сожалению, — сказал он, — далеко не все понимают, что во многих случаях нетрудно было бы избежать недоразумений между белыми и черными.

Слушая его, Николай Николаевич думал о том, что правительству колоний не мешало бы иметь побольше таких чиновников.

— У меня не хватает времени для настоящего знакомства с туземцами, — говорил Ромилли. — Полгода — самый большой срок, который мне удавалось до сих пор провести с ними. Разумеется, я не стану себя сравнивать с вами — я не ученый, приходится довольствоваться малым. Впрочем, у меня на этот счет возникают иногда особые соображения, быть может и вздорные.

— А именно?

— Видите ли, — Ромилли закурил сигару и удобнее устроился в кресле, — иногда мне приходит в голову, что путешественник, который провел среди туземцев лишь одну неделю, имеет даже преимущества в сравнении с тем, кто долго жил среди них. Ведь первые впечатления самые яркие. Часто бывает, что позднее мы вычеркиваем то, что записали вначале. Мы привыкаем к людям, к местным обычаям, и они уже не поражают нас, как в первые дни.

— Пожалуй, вы правы.

— С другой стороны, — продолжал Ромилли, — ведь самое главное уметь отличить достоверное от недостовер-

ного, а это дается лишь опытом. В большинстве случаев на вопрос белого туземец ответит утвердительно, даже если этот вопрос совершенно нелепый. Я проверял это неоднократно. «Есть ли у вас в горах люди с хвостами?» — спрашивал я, например, у туземцев Новой Британии. И они не задумываясь отвечали: «Есть». Ход мысли примерно таков: «Белый человек спрашивает, значит, он хочет, чтобы я ответил: да». Туземец сам начинает верить в то, что он сказал, фантазия его разыгрывается, а у путешественника уже готов отчет со многими «интересными деталями».

Николай Николаевич весело рассмеялся. Ромилли нравился ему все больше.

О многом уже было переговорено, когда Ромилли коснулся наконец главной цели своего визита. В самое ближайшее время по поручению сэра Артура Гордона он отправлялся во главе экспедиции на корабле «Бигль» по островам Тихого океана.

— На этот раз, — сказал он, — мы включили в маршрут залив Астролябии и побываем в ваших местах, впервые, как вы знаете. И вот, господин Маклай, я обращаюсь к вашей помощи. Надеюсь, вы не откажетесь дать мне несколько советов. Будьте спокойны, — прибавил он, — ничего дурного вашим друзьям мое посещение не сулит.

Но Николай Николаевич встревожился не на шутку. Кто знает, не хитрит ли этот англичанин? Зачем ему понадобилось высаживаться на Берег Маклая?

— Наоборот, — говорил между тем Ромилли, — единственная моя цель — познакомиться с туземным населением, о котором мы до сих пор не имеем никакого представления. Мне хотелось бы получить возможность объясняться с ними не только при помощи знаков. Не надо вам рассказывать, как трудно достать переводчика и как легко незнание языка может ввести в заблуждение. Если бы вы были так любезны и сообщили мне хотя бы самые употребительные слова и выражения, я был бы вам чрезвычайно признателен.

Николай Николаевич медлил.

— У меня нет оснований не доверять вам, господин Ромилли, — сказал он после долгого раздумья. — Однако ведь вы не можете поручиться за всех людей, которые высадятся вместе с вами. Что, если им придет мысль

«поохотиться на черных птиц», ведь так это у вас называется? Заманчиво получить ловких и сильных работников и притом совершенно бесплатно!

— «Охота на черных птиц»! — воскликнул Ромилли. — Надо надеяться, что это уже дело прошлого. Она умирает естественной смертью. К сожалению, в отдельных случаях и теперь шкиперы, возвращаясь из плавания, привозят на своем борту туземцев. Но отчасти виной тому и сами туземцы, которые положительно осаждают заходящие к ним корабли. Я говорю главным образом о молодежи. Ну, а потом... Они тоскуют и даже умирают от тоски по родине или от непосильной работы...

— Вернее последнее, — мрачно сказал Николай Николаевич. — Уверяю вас, все эти шкиперы и тредоры, плавающие под разными флагами, под видом мирной торговли, и теперь занимаются самым бесчестным грабежом и обманом. И теперь они вывозят рабов, прикрываясь лживыми обещаниями и заверениями.

— Поведению этих шкиперов и тредоров не может быть никаких оправданий, я совершенно согласен с вами, господин Маклай. Быть может, колониальные правительства еще недостаточно борются с беззакониями. Нужны решительные меры для того, чтобы расследовать и прекратить эти позорные факты. Здесь уже речь идет не о жалости или сострадании, а о правосудии.

Он был искренне взволнован и возмущен.

Потом разговор снова коснулся предстоящей экспедиции на «Бигле». Ромилли просто и по-дружески делился своими опасениями и заботами.

«Все же он искренен, этот англичанин, — думал Николай Николаевич, — и к тому же почти ничего не просит. Ведь ясно, что, если я откажу ему, он все равно в конце концов найдет переводчика».

И он рассказал о привычках своих друзей, дал несколько советов, которые могли оказаться полезными для первого знакомства с папуасами, записал наиболее употребительные слова и выражения языка Бонгу, Горенду, Гумбу.

— Надеюсь, они не примут меня за врага, — задумчиво сказал Ромилли. — Это, конечно, в сильнейшей степени затруднило бы задачу. Мне рассказывали с ваших слов, что, расставаясь с папуасами, вы предостерегали

их. Вы почти запретили им доверяться белым. Если это так...

— Да, я сделал это.

Ромилли беспомощно развел руками:

— О, тогда я боюсь, что мои дела плохи. Впрочем, если бы я мог назвать себя вашим другом?.. Не поверят?

Николай Николаевич задумался. У Ромилли было честное, открытое лицо. Быть может, он действительно окажется союзником, этот правительственный комиссар, который с такой убежденностью и горячностью говорит о правах туземцев.

— Поверят. Скажите им: «Маклай — брат мой, и вы — мои братья!» И свистните три раза. Они поверят.

Гость засиделся допоздна. На прощание он крепко пожимал хозяину руку, горячо благодарил.

— Через три месяца я буду у вас, господин Маклай, и передам вам привет от ваших друзей.

А хозяин не спал до утра. Не слишком ли откровенно говорил он, не слишком ли увлекся? Не слишком ли доверился этому незнакомому человеку? Нет, не может быть, чтобы он так обманулся!

МАРГАРИТА РОБЕРТСОН

Прошло полгода. Был жаркий декабрьский день. Николай Николаевич подъезжал к имению сэра Робертсона — Кловелли. Оставив государственные дела, старый сановник жил теперь на покое в своем загородном доме. Николай Николаевич был приглашен впервые.

— Я много рассказывал о вас дочерям, — сказал ему сэр Джон. — Они с нетерпением ждут знакомства с «белым папуасом». Будет также ваш приятель Финш, — прибавил он.

Николай Николаевич огорчился, мгновенно представив себе длинные поучительные речи Финша, в которых все как будто на месте, все правильно и не к чему придраться, но от которых начинаешь томиться и устаешь, как от тяжелой работы...

Имение находилось всего в трех километрах от Ватсон-Бай. И теперь, когда уже показались вдали высокие деревья парка Кловелли, Николай Николаевич был даже

доволен, что кто-то еще, пусть даже Финш, разделит с ним скуку этого посещения.

У «старого Джека» было пять дочерей. Не слишком ли много для одного гостя, который не очень свободно чувствует себя в женском обществе? Будут разглядывать его как диковину, задавать глупые вопросы: про дикарей, про Россию, спросят: холодно ли в Сибири? Ведь не часто случается встретиться с русским, да еще с «белым папуасом».

Тенистые аллеи, зеленые газоны, яркие цветы — парк Кловелли был очень хорош. Еще издали Николай Николаевич заметил знакомую представительную фигуру сэра Джона. Молодая девушка сопровождала его. Увидев гостя, они поспешили к нему навстречу.

— Добро пожаловать, друг мой, — сказал сэр Джон, протягивая обе руки. — Маргарита, позволь представить тебе господина Маклая, которого, впрочем, ты давно уже знаешь по моим рассказам. Моя дочь, миссис Роберт Кларк. — Он жестом показал на молодую женщину, которая просто и приветливо протянула руку гостю.

«Миссис Кларк? Уже замужем?» Николай Николаевич растерянно пожал протянутую руку.

Миссис Кларк была очень красива. Тяжелые косы каштановых волос обвивали голову; открытый, немного выпуклый лоб, правильные дуги бровей, прекрасные, сиявшие мягким светом зеленовато-серые глаза. Она была в воздушном сиреневом платье.

Второй гость еще не приехал, и в ожидании его все трое гуляли по парку. Сэр Робертсон расспрашивал о новой станции. Маргарита внимательно слушала, иногда также вставляя вопросы. И смущение Николая Николаевича быстро прошло. Явился Финш. Гостей пригласили к обеду. Николай Николаевич окончательно повеселел, увидев на столе всего четыре прибора. Старшие дочери сожалеют — они не смогли приехать, пояснил сэр Джон. Это известие несколько не опечалило гостя.

Начался легкий разговор. Маргарита спросила, нравится ли г-ну Маклаю Сидней. Не покривив душой, он ответил, что полюбил этот живописный город с его прямыми, правильно расчерченными улицами, с парками и садами, с утопающей в зелени набережной, с кораблями,

постоянно меняющимися в оживленной гавани; полюбил уединенные берега гавани Ватсон-Бай — с непрекращающимся шумом волн, к которому вначале даже трудно привыкнуть; с лагунами и топиями, с огромными лесами, которые, несмотря на близость города, еще долго останутся непроходимыми.

— Если прибавить к этому великолепные библиотеки и музеи Сиднея, то для нас, людей науки, ничего лучшего и пожелать нельзя. Можно прожить здесь всю жизнь... Отправляясь, разумеется, время от времени в путешествия, — прибавил он с улыбкой.

— О да, — тотчас же подхватил Финш, — господина Маклая ни в коем случае нельзя упрекнуть в том, что он подолгу задерживается на одном месте.

— И в то же время ухитряется сделать во много раз больше других, сидящих на одном месте, вот ведь в чем загадка! — рассмеялся сэр Джон.

По лицу Маргариты пробежала одобрительная улыбка.

— Однако я полагаю, — медленно и значительно продолжал Финш, — что для здоровья моего дорогого коллеги и для дела, которому он служит, было бы полезнее поменьше передвигаться. — Финш переходил на свой обычный тон, и у Николая Николаевича заняло где-то под ложечкой.

— А я полагаю, — раздраженно возразил он, — что для ученого очень важно именно это «передвижение». Что касается здоровья... Здоровье в полном порядке!

— О, я вовсе не собираюсь спорить с вами, коллега. Все, что вы говорите, верно, очень верно, но видите ли... — Финш остановился на мгновение, как будто собираясь произнести нечто очень важное.

Николай Николаевич с удовольствием отметил досаду, скользнувшую в глазах Маргариты. Сэр Джон открыл было рот, но так и не успел ничего сказать.

— Видите ли, — продолжал Финш, ничего не заметив, — я вовсе не против путешествий, я сам, как вам известно, путешественник. Я хочу лишь заметить, что ученый должен иметь время, чтобы обрабатывать тот материал, который он вывез из своих путешествий. Я говорю не только о коллекциях, хотя, если бы господин Маклай уделял этому делу побольше внимания, он мог бы своими ценными экспонатами заполнить целый музей.

— Я не коммивояжер! — вспыхнул вдруг Николай Николаевич. — Это их дело вывозить ценности. Я много слышал об одном из них, который стрелял в туземцев и грабил деревни, называя это собиранием коллекций. И он действительно собрал большую коллекцию, которая, впрочем, не имеет никакого научного значения. Однако я должен попросить прощения у хозяев, — спохватился он. — Этот скучный диспут вовсе не интересен.

— О, не беспокойтесь, — сказал сэр Джон, — хозяева привыкли к такого рода диспутам. Не правда ли, Маргарита?

Заговорили о театре, о выставках, которые часто устраивались в Сиднее, о концертах. После обеда снова гуляли по парку: Николай Николаевич с Маргаритой, за ними — сэр Робертсон с Финшем. Немец что-то убедительно доказывал, сэр Джон отвечал ему, но, как показалось Николаю Николаевичу, все более усталым голосом.

Николай Николаевич чувствовал себя легко и свободно, точно давно был знаком с молодой хозяйкой. Он узнал, что миссис Роберт Кларк уже пять лет вдовела, что она вышла замуж семнадцати лет и очень скоро потеряла мужа. И вот теперь жила у отца. Старшие сестры лишь изредка навещали их.

— У каждой своя семья, дети, — грустно сказала Маргарита.

— Боже мой, разве можно так рано выходить замуж! — невпопад сказал вдруг Николай Николаевич и смутился.

Она поспешила перевести разговор:

— Скоро ли вы отправляетесь в новое путешествие?

— Очень скоро, — отвечал он. — И на этот раз в путешествие на родину.

Они заговорили о России.

— Я немного знаю Россию по рассказам, — сказала Маргарита. — У нас есть русские друзья. Натали Герцен — подруга моей старшей сестры и общий друг нашей семьи. Я переписываюсь с нею... Правда, она почти не жила в России, но это не мешает ей любить свою родину.

— Вы дружите с Наталией Александровной Герцен? — воскликнул Николай Николаевич, пораженный. — Но ведь и наша семья в дружбе с Герценами испокон веков. Сколько рассказов слышал я в детстве от матери

об Александре Ивановиче и обо всем герценовском кружке. Кетчер был близким другом моего деда. И во втором поколении дружба продолжается. Моя сестра Ольга переписывается с Наталией Александровной.

— О, какой оживленный разговор! — сказал сэр Джон, поравнявшись с ними и взяв под руку дочь, — Нельзя ли и нам с господином Финшем послушать?

— Мы нашли общих друзей, отец, — просто ответила Маргарита. — Господин Маклай хорошо знаком с Натали Герцен.

— В самом деле? Это удивительно! Где она теперь?

— Мы давно не виделись. Последний раз в Париже, лет десять назад, возвращаясь с Канарских островов.

В разговор снова вмешался Финш. Его вовсе не интересовали общие друзья семьи Робертсон и Маклая.

— Признаться, когда я ехал сюда, — сказал он, — я ожидал услышать свежие известия с Новой Гвинеи. «Бигль» вернулся. И вы, без сомнения, уже виделись с господином Ромилли? Что рассказал он о ваших папуасах? Как они встретили его? Не причинили ему никаких неприятностей?

— Наоборот. Они отнеслись к нему дружелюбно. Перед отъездом господин Ромилли побывал у меня, и я сообщил ему некоторые условные знаки, по которым они могли узнать его как моего друга...

Какая-то смутная тревога снова охватила Николая Николаевича. Неожиданно он встретился взглядом с Маргаритой. В больших, внимательно устремленных на него серых глазах он прочитал беспокойство. Может быть, она знает Ромилли и думает, что ему нельзя доверять?

«Нет, положительно, я переутомился и становлюсь подозрительным. Бог весть что мерещится мне. Ромилли порядочный человек. Он не употребит во зло моего доверия. А эта светская молодая дама, которая видит меня в первый раз... Папуасы вряд ли интересуют ее».

— Что же это за условные знаки, если не тайна? — настаивал Финш.

— О, право, это не так уж интересно, — сухо ответил Николай Николаевич. — И без этих предосторожностей все обошлось бы благополучно. Господин Ромилли рассказал, что, едва завидев корабль, папуасы стали подплывать к нему в пирогах, нагруженных бананами, коко-

совыми орехами и всякой всячиной. А чтобы заверить вновь прибывших в своих добрых намерениях, они еще издалека кричали: «Маклай!» По-видимому, они решили, что это самый короткий путь к сердцу белого человека. — Николай Николаевич улыбнулся своей доброй улыбкой.

— И они были правы, честное слово! — воскликнул сэр Джон.

Финш собрался еще что-то спросить, но Николай Николаевич стал прощаться.

— Мы слишком утомили наших гостеприимных хозяев, — сказал он. — Мне давно пора. Сегодня меня еще ждет работа.

Он пообещал перед отъездом в Россию непременно снова побывать в Кловелли.

Однако работа плохо двигалась в этот вечер. Он долго шагал по своей одинокой комнате в пустынной, еще не заселенной станции в Ватсон-Бай; долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок; прислушивался к шуму волн и перебирал в памяти проведенный день. Но, странное дело, он почти ничего не мог припомнить, кроме устремленного на него то внимательного, то тревожного взгляда серых глаз Маргариты Робертсон.

Через три месяца русский военный корабль «Вестник» унес его из Сиднея. Впереди был далекий путь, родина, свидание с родными, с друзьями. Сколько раз за долгие годы странствий мечтал он об этих минутах! Сколько раз нарочно отгонял от себя эти мечты! И вот теперь, когда Сидней скрылся за горизонтом, сердце его неожиданно сжалось от нахлынувшей тоски. Что это значило? Он и сам сначала не мог разобраться. А потом...

О чем бы он ни думал, о чем бы ни мечтал, всегда в его мыслях и мечтах присутствовала Маргарита Робертсон. Он думал о предстоящем долгом плавании, и вместе с ним на «Вестнике» была Маргарита. Думал о приезде в Россию, о Петербурге, о встрече с матерью, с сестрой. Рядом с ними он видел Маргариту. На прощание он попросил ее подарить свой портрет. Этот портрет стоял теперь на столике в каюте рядом с портретами Оли и Екатерины Семеновны.

«Боже мой! — в отчаянии говорил он самому себе. —

Как могло со мной такое случиться? Это наваждение. Надо поскорее избавиться от него, всерьез засесть за работу, и все пройдет!»

Но наваждение не проходило. Он вспоминал мельчайшие подробности своих встреч с Маргаритой — тот памятный день в Кловелли, после которого они стали часто встречаться, совершали далекие прогулки, пешком и на лошадях. Он рассказывал о своем детстве, об отце, матери, о сестре — в особенности о сестре. Ему казалось, что Маргарита чем-то похожа на нее и непременно должна подружиться с нею, если произойдет то, о чем он боялся и думать.

Он рассказывал ей о своей жизни среди папуасов, о Новой Каледонии, о своих планах создания маленькой русской колонии на Берегу Маклая. И никто не умел так слушать, как Маргарита.

— Умоляю вас, — сказала она однажды, — будьте осторожны с Финшем и Ромилли. Финш вам не нравится, я заметила это, но и Ромилли не лучше его. Эти люди способны на все, и цели их далеко не возвышенные, могу вас заверить. Мне не раз приходилось быть свидетельницей откровенных разговоров этих господ.

Николай Николаевич был поражен. Он вспомнил разговор в первый день их знакомства, тревогу, мелькнувшую в ее глазах при разговоре о Ромилли. Значит, тогда это вовсе не показалось ему...

«Неужели я обманулся в этом человеке? — спрашивал он себя, холодея. — Что, если он воспользовался моим доверием во вред моим бедным друзьям?»

Он корил себя за доверчивость, переходил от отчаяния к надежде, убеждал себя, что Маргарита ошибается. А она угадывала его мысли и сама начинала успокаивать его. Он привык советоваться с нею, посвящал ее в свои планы, скучал по ней, его тянуло в Кловелли.

«Старому Джеку» были не очень-то по душе эти прогулки вдвоем, эти частые визиты. Теперь он далеко не так радушно, как прежде, встречал своего русского приятеля, подозрительно косился, был сух и временами почти невежлив. Новая дружба дочери, видимо, всерьез беспокоила его. Мысль, что придется чего доброго отпустить дочь в далекую дикую страну, не очень-то радовала его. Но вот путешественник явился с прощальным визитом. Сэр Джон оживился.

«Разлука сделает свое дело, — подумал он. — Не так просто разъезжать из Австралии в Россию и обратно. Кто знает, когда они увидятся вновь и увидятся ли? А Маргарита тем временем встретит другого, более подходящего человека, из своей среды...» Стоило только взглянуть на лицо сэра Джона, чтобы угадать эти мысли.

И если Николай Николаевич тогда еще плохо разбирался в своих чувствах, то теперь, расставшись с Маргаритой Робертсон, он понял, что не может жить без нее.

Он вспоминал, как однажды, когда разговор зашел о папуасах и она с особым интересом расспрашивала его, он шутливо сказал ей:

«Вот возьму и увезу вас на Берег Маклая!»

«Ну что ж, поеду!» — ответила она.

Тогда он принял ее ответ за шутку, теперь ему казалось, что она говорила серьезно. Он терзался и тосковал, ругал себя за то, что не признался Маргарите в своих чувствах, а через минуту смеялся над своими мыслями, убежденный, что эта англичанка, получившая светское воспитание, никогда не решится соединить с ним свою судьбу. Да и откуда он взял, что Маргарита питает к нему какие-либо другие чувства, кроме дружеских? Они так недавно знакомы...

«Вздор, вздор все это! — строго сказал он себе. — И надо постараться поскорее выбросить из головы эти мысли...»

Из первого же порта, где «Вестник» стал на якорь, он отправил Маргарите Робертсон письмо, в котором просил ее стать его женой.

УТРАТА

«Трехмачтовая шхуна под американским флагом «Сэди Ф. Келлер». Ночь, 8 апреля 1879 года.

Милая Оля!

Я уже потерял счет письмам и запискам, которые я, несмотря на твое молчание, послал тебе; тех, которые остались непосланными, еще более: часто, написав письмо, иногда длинное, я вздумаю прочесть его; в этом случае шансов мало, что оно пойдет на почту... Я так

мало знаю мою Олю 1879 года, что и в эту минуту является вопрос: на что пишу я эти строки? Их смысл, может быть, или останется наполовину понятным, или поведет только к недоразумениям...

Ты, надеюсь, согласишься мне, что мотив, почему я еще на несколько месяцев отложил возвращение, был весьма серьезен. Но этой задержке будет соответствовать замедление моего визита в Европу. Я говорю «визита», потому что решил: провести ту часть жизни, которую мне еще осталось жить, не в Европе, а между тропиками, вероятно в Новой Гвинее или на других островах Тихого океана. Я пишу тебе это, чтобы со временем в Европе не удивить тебя этим решением...

Может быть, мне удастся показать тебе те части нашей невеселой планеты, где еще сносно жить».

«В море у Западной оконечности островов Адмиралтейства. Октября 14-го, 1879 года.

Снова прошел год, что не было ни одного письма ни от тебя, ни от матери. Надеюсь все же, что ты еще не совершенно забыла брата твоего Миклухо-Маклая».

«Секретарю Географического общества, 12 августа 1881 года.

Милостивый государь!

Не имея около двух лет писем от моего семейства и не зная положительно адреса моей матери (старый адрес был: Малый просп. между 2 и 3 линией, д. Колпакова), беру на себя смелость покорно просить вас, если возможно, немедленно доставить приложенное письмо сестре моей Ольге Николаевне Миклухо-Маклай, чем очень обяжете».

«23 апреля 1881 года.

Брат Михаил Николаевич!

Я получил твое письмо от декабря 28-го 1881 года только несколько дней тому назад, в Сингапуре. Оно уже не застало меня в Сиднее, откуда я выехал два месяца назад.

Я был очень рад получить твое письмо, тем более, что потерял почти надежду получить ответ: но нахожу его

весьма неудовлетворительным: ты не пишешь о здоровье матери и Ольги!.. Пишешь вообще какими-то «загадками», были, по-видимому, причины, по которым нельзя было написать, или не хочешь писать мне, так как тебе это неприятно? Я прощаю, однако же, все это потому, что через несколько месяцев ты мне все объяснишь...

Буду в Кронштадте, вероятно, в конце июля... Надеюсь, что приедешь меня встречать на Кронштадтский рейд...

Во всяком случае, пиши о здоровье матери и Ольги!»

«Крейсер Азия» в Индийском океане. Апрель-май 1882 года.

Дорогой друг Оля!

Нахожусь, наконец, на пути в Европу. Буду в Петербурге в начале августа. Несмотря на твое долгое и упорное молчание (которое никогда не понимал и не понимаю), решаюсь просить тебя написать мне несколько строк о себе и матери!.. Пиши в Порт-Саид!.. Сделай удовольствие брату твоему

М.-М.»

Николай Николаевич почти не надеялся на ответ -- ведь столько времени он не получал известий ни от Оли, ни об Оле. Но теперь уже недолго остается ждать. Скоро, скоро он обнимет ее, мать, братьев, друзей! Неужели действительно скоро? Двенадцать лет он не был на родине, двенадцать долгих лет не виделся с родными. Он оставил сестру девочкой. Как мужественно держалась она во время его отъезда. Тоненькая фигурка на Кронштадтской пристани возникает перед его глазами. Как-то встретятся они теперь, после долгих лет разлуки? Ведь он уезжал молодым человеком, а теперь — вот сколько седины в волосах... А мама, вероятно, уже совсем состарилась. Нельзя было оставлять ее на такой долгий срок — он прекрасно сознает это. Однако он не мог жертвовать своим делом.

Чем ближе свидание, тем сильнее тревога, тем нестерпимее ожидание. В Александрии его поджидает почта. Он в нетерпении перебирает конверты — опять ни слова от родных! От Семенова, Остен-Сакена, от секретаря

Географического общества и, наконец, из Флоренции — от Мещерского! В этом письме он, без сомнения, найдет сведения о близких...

В разгаре жаркий июньский день. На Александрийской пристани шумит народ, кричат торговцы, плачут дети. Носильщики грузят в трюм тяжелые ящики; гремят железные цепи. Николай Николаевич не замечает ни жары, ни шума. Он не выходит из своей душной каюты. Горестную весть принесло ему письмо друга. Напрасно ждал он писем от Оли. Он больше никогда не увидит ее. Вот уже полтора года, как ее нет в живых, — никто не решался сообщить ему эту страшную весть. И он благодарен Мещерскому — лучше правда, чем мучительная неизвестность. Многое стало ясно теперь для него. Стало понятно долгое молчание матери и сестры, понятны недомолвки и загадки в последних письмах брата Михаила, над которыми он ломал себе голову и которые раздражали и сердили его. Он и тогда понимал, что была причина, заставлявшая брата уклоняться от его вопросов, но он не предполагал, что причина эта настолько страшна. И вот остается только сетовать на родных, которые вовремя не сообщили ему о том, что сестра работала не по силам. Он сразу же приехал бы в Петербург, и, кто знает, быть может, ему удалось бы многое изменить в ее жизни. А теперь волей-неволей приходят на ум тяжелые мысли. Не он ли отчасти виновник смерти сестры? Не ради него ли она взвалила непосильную ношу на свои слабые плечи? Она сочувствовала его делу, она хотела помочь ему, а после покупки Малина и разорения семьи это стало невозможно. Горько, невыносимо теперь думать об этом, и бесполезны упреки. Да и кого упрекать? С братьями Сергеем и Владимиром он никогда не был особенно близок, у матери и так достаточно горя, а Миша еще слишком молод. Его ли винить?

Так сидит он в своей каюте, потеряв счет времени, погруженный в горестные размышления. Никогда еще не чувствовал он так сильно своего одиночества. И невольно рука тянется к перу.

«Письмо старого и верного друга моего, князя Мещерского, известило меня, что я не увижу более дорогой нашей Оли... Эта весть была совершенно неожиданна. Мне горько, что ни мать, ни ты не известили меня вовремя. Ты поймешь, я убежден, что больно, очень больно

считать себя отчасти, но помимо воли, виновником ее смерти. Очень тяжело мне об этом думать... Брат Мишук, пиши мне совершенно откровенно, без загадок и неясностей, называй все своим именем. На Берегу Маклая я забыл о разных хитросплетениях общественной лжи, к тому же я и прежде не прибегал к ним, и ты, брат, никогда не прибегай».

НА РОДИНЕ

И вот наконец после двенадцати лет странствий — Россия! Вихрем мчится время. Как в калейдоскопе, мелькают события, встречи с родными, с друзьями, новые знакомства.

Николай Николаевич выступает перед петербургской публикой с целым рядом докладов, посвященных его пребыванию на Новой Гвинее. Каждый раз задолго до назначенного времени подъезд здания с колоннами у Чернышева моста осаждается студенческой молодежью. Зал Географического общества переполнен. Публика стоит в проходах, в дверях, в соседних комнатах. Студенты и курсистки; гимназисты и гимназистки; географы и путешественники, многие из которых двенадцать лет назад присутствовали на докладе молодого, неизвестного ученого, — все стремятся увидеть и услышать знаменитого соотечественника. Семенов, Остен-Сакен, Вильсон, адмирал Зеленый... Только Федор Петрович Литке не дожид до возвращения человека, в которого так неожиданно поверил и в котором не ошибся.

Столичные газеты печатают подробные отчеты этих «чтений», описывают внешность путешественника. «Украшенный сединой... Быстрая походка... Каждая черта лица говорит о силе характера, редкостном героизме и неустрашимости этого человека».

«Чтения» привлекают всё больше и больше публики. Зал Географического общества не может вместить и половины желающих, и «чтения» переносятся в большую аудиторию Технического общества в Соляном городке. Но и здесь, как отмечают газеты, «так тесно, что и яблоку некуда упасть».

Огромный интерес вызывают и «демонстративные беседы», происходящие на следующий день после каждого

доклада. Стены зала увешаны картами путешествий, портретами, рисунками, эскизами. С указкой в руке Николай Николаевич подробно объясняет все, относящееся к фактам, людям, событиям, речь о которых шла накануне. Газеты с удивлением отмечают присутствие детей на «демонстративных беседах». Окружив путешественника плотным кольцом, они слушают с напряженным вниманием. На их вопросы «этот утомленный физически, но неутомимый духом человек отвечает с большим увлечением».

«Известный путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай сделался положительно героем дня, — пишут газеты. — Публику интересуют не одни рассказы о неизвестных странах, куда не проникала еще нога человека и где побывал наш отважный путешественник, но и самая личность г. Маклая, прожившего среди диких лучшие годы своей жизни и преждевременно состарившегося и расстроившего здоровье только во имя науки».

10 октября на последнем «чтении» в Соляном городке Николай Николаевич прощается с петербургской публикой.

— Позвольте выразить признательность за то сочувствие и внимание, которыми вы почтили мои беседы... Надеюсь, что в моих трудах вы найдете и мой скромный вклад в общую сокровищницу науки...

А через несколько дней он уже выступает с докладом в Московском обществе любителей естествознания, которое выбрало его своим неперменным членом и присудило большую золотую медаль за научные заслуги.

«Вчера состоялось чтение в Обществе любителей естествознания в зале Политехнического музея, что на Лубянке. Народу было около или более 700. Губернатор, митрополит, 2 архиерея и т. д., и т. д. Давка у дверей была страшная. Наконец толпа без билетов ворвалась. Женщины, как и в Петербурге, теснились и бросались вперед... Мне присуждена большая золотая медаль Общества любителей естествознания. В воскресенье я принял обед, который дают мне профессора и другой ученый люд московский. Я принял под условием: дать мне бифштекс, молоко и не заставлять говорить...»

Так шутливо сообщает он в Петербург брату Мику, об этом немаловажном событии.

Однако, несмотря на то что публика осаждаёт лекционные залы, что имя знаменитого путешественника не сходит со страниц столичных и провинциальных газет, что он положительно завален приветственными телеграммами и письмами, относятся к нему по-разному. Многие подозрительно косятся на этого защитника угнетённых народов; для них он человек с вредным и даже опасным образом мыслей. Любители сплетен и злободневных анекдотов в упоении шушукаются, распространяя о нём злостные небылицы.

«Можно бы право подумать, что Миклухо-Маклай вернулся из поездки по Рязанской губернии, — пишет об этих настроениях известный историк литературы Полевой — постоянный посетитель «чтений». — Холодный прием, оказанный русскому путешественнику Географическим обществом, нашел себе тотчас же отклик в различных кружках общества, нашел истолкования, неблагоприятные для путешественника. «Помилуйте, — говорили одни, — да что же он сделал? Привез какие-то рисуночки, нового ничего не рассказал. Все это мы еще у Дюмон-Дюрвиля читали». «Помилуйте, — говорили другие, — он ничего не привез, никаких коллекций. Не сообщил никаких своих наблюдений. Говорят, что он даже вовсе и между дикарями-то не жил, а больше в Калькутте». Третьи, более бойкие на язык, решались даже негодовать: «Это шарлатанство! Какой-то недоучившийся студент! В Робинзоны играть вздумал, а теперь, когда мы ему понадобились, он приехал сюда нам очки втирать». Передаем все, что нам самим пришлось выслушать и в том самом виде, в каком оно было высказано...»

К этому можно было бы прибавить, что этот маленький человек с тихим голосом доставляет слишком много беспокойства разным учреждениям, разным ведомствам: Географическому обществу, морскому министерству, редакциям газет и даже тайной полиции. Недаром на каждом чтении, на каждой беседе присутствуют какие-то люди, непохожие ни на учащихся, ни на ученых. Ни путешествия, ни Новая Гвинея, ни Берег Маклая явно не интересуют их. Они со скучающим видом поглядывают на публику и на докладчика. Один из них, пожилой и тщедушный, нехотя плетется за ним по улице, провожая до самого дома.

... Неуютная квартира в доме Колпакова на Васильевском острове внезапно преобразилась. Как будто в комнатах стало светлее и просторнее. Екатерина Семеновна приехала из Малина повидаться с сыном. Приехал Сергей Николаевич. Почти вся семья была в сборе, только Владимир плавал где-то у берегов Японии.

Как в былые времена, Екатерина Семеновна хлопочет по хозяйству. Сколько лет ждала она, сколько тяжелых, долгих лет! И вот он здесь, ее Коля. Радость этой встречи на время заслонила пережитое горе. Он изменился: лицо в морщинах, седина, но для нее он все тот же мальчик — непокорный и добрый.

А Мик не расстается с братом с той минуты, как встретил его на Кронштадтской пристани. Смотрит на него восторженными глазами, ловит каждое слово.

— Скажи, Мик, в котором году ты родился?

Этот вопрос старший брат задает уже не в первый раз. Он никак не может привыкнуть к мысли, что этот бородатый мужчина — тот самый Мишук, с которым он расстался двенадцать лет назад и которому обещал непременно взять с собой в кругосветное путешествие.

Николай Николаевич поручил Мику разбор своей обширной корреспонденции. За работой братья разговаривают вполголоса, порой переходя на шепот, с опаской оглядываясь, как бы не услышала мать. Младший брат делится со старшим своими тревогами и опасениями. А тревог у него немало. Он рассказывает, как в Горном институте познакомился со студентом Рысаковым, тем самым, который участвовал в убийстве царя Александра II. Рысаков познакомил Михаила Николаевича с Софьей Перовской.

— Когда разразилась катастрофа, я ждал ареста, — рассказывает он. — Но почему-то, как видишь, этого пока не случилось. На службе начались неприятности, слезка. Шпики так и ходят по пятам, некоторых я даже знаю в лицо... — Он быстро раздвигает занавеску. — Вот, пожалуйста, можешь полюбоваться: Кузьмич на своем посту!

Николай Николаевич заглядывает в окошко. Серое петербургское небо; с утра, не переставая, моросит мелкий дождик; прохожие с зонтиками торопливо проходят по улице. На противоположном тротуаре — знакомая тщедушная фигура в потертом пальто с поднятым воротником. Этот человек никуда не торопится, переминается

с ноги на ногу, шагает туда и назад по мокрому тротуару.

— Кузьмич? Кузьмич, говоришь ты? — Николай Николаевич заливается веселым смехом.

Широко открыв глаза, Мик с недоумением смотрит на брата.

— Да ведь это мой, понимаешь — мой шпик! — сквозь смех говорит Николай Николаевич. — Он за мной ходит по пятам, сидит на моих чтениях. Разве ты его не заметил?

— Твой? Сидит на чтениях? Неужели ему поручили нас обоих? Быть не может!

— Конечно, конечно, нас обоих! Зачем Третьему отделению лишние траты? Вот, бедняга, промок совсем!.. А знаешь, Мик?.. — Он берет брата за руку. — Знаешь, какая мысль пришла мне в голову? — серьезно говорит он. — Поедем со мной на Новую Гвинею! Ты бы мне очень помог. Подберем еще несколько надежных человек и такую колонию там организуем!.. На днях я встретил Раковича. Помнится, я писал тебе о нем. Он лейтенантом на «Витязе» плавал вместе со мной. Так вот, он очень заинтересован моими планами и серьезно подумывает о переселении. Я тебя непременно с ним познакомлю. Вам надо будет сговориться, если вы оба решите. Я давно хотел тебе предложить, но думал, что ты не согласишься. А теперь, после того что ты мне рассказал...

— Да, но как же работа? — растерянно говорит Михаил Николаевич. — Да и мама... ведь она ничего не знает. Ей и так нелегко.

— О работе не беспокойся. Здесь тебя отпустят и даже рады будут от тебя отделаться. А там работа найдется. Не понравится на Новой Гвинее — переедешь на любой другой остров. Как геологу тебе будет очень интересно. Ну, а мама?.. Она поймет. Наша мама все поймет, уверяю тебя!

Михаил Николаевич долго молчит.

— Ты необыкновенный человек, Коля! — медленно произносит он наконец.

— Чепуха! Самый обыкновенный. Значит, согласен? В тропические страны?

— Согласен. — Мик крепко пожимает брату руку. — Согласен, Коля.

— И Кузьмича увезем! — смеется Николай Николаевич, кивая на окошко. — Не оставаться же ему безработным!

— Значит, ты недолго поживешь с нами, Коленька? А я-то надеялась. — Екатерина Семеновна с тоской заглядывает сыну в глаза.

— Я бы с вами никогда не расстался, если бы это было возможно. Вы сами это знаете, мама. — Николай Николаевич нежно обнимает мать. — Остался бы навсегда или увез бы вас с собой в Австралию, а потом на мой берег. Эх, если бы не климат, мы с вами славно зажили бы у папуасов, честное слово! Не хуже, чем в Малине. Не грустите, мама, — серьезно прибавляет он, — на этот раз я уеду ненадолго. Закончу работы у себя в Ватсон-Бай, позабочусь о моих папуасах — и к вам.

Екатерина Семеновна грустно качает головой:

— Всё папуасы да папуасы!

— Что же делать, они больше, чем когда-либо, нуждаются в защите.

— Надо ведь и о себе подумать, Коленька. Посмотри на себя. Тебе тридцать шесть лет, а можно дать все пятьдесят. Не обманывайся, ты не житель тропиков, ты — северянин, как и все мы. Для тебя этот климат так же убийствен, как для меня и любого европейца.

— Вы правы, мама, климат трудный, однако я привык к нему и порой действительно чувствую себя жителем тропиков. Что же касается возраста, — Николай Николаевич подходит к зеркалу и внимательно разглядывает себя, — мне кажется, вы все же преувеличиваете, — не очень уверенно говорит он. — Ну сорок, ну сорок пять, а пятьдесят — это уж слишком!

— Пусть сорок пять, — добродушно соглашается Екатерина Семеновна. — И это немало. Но не в этом дело.

— Тогда в чем же?

— В том, что и в тридцать шесть пора кое о чем подумать. До каких же пор ты будешь в одиночестве скитаться? Прости, что я вмешиваюсь, но пора бы и семьей обзавестись. Да где уж тут! — Она безнадежно машет рукой. — Разве найдется такая женщина, которая согласится странствовать с тобой по всему свету?

— Быть может, и найдется, кто знает, — как бы отвечая своим мыслям, говорит Николай Николаевич.

Быстрым взглядом Екатерина Семеновна окидывает сына:

— Или уже нашлась, Коленька?

— Видите ли, мама, — он подыскивает слова, — еще несколько месяцев назад я бы не задумываясь ответил на ваш вопрос: нет, не нашлась и, должно быть, никогда не найдется, потому что я и искать не намерен. Теперь все изменилось, и я не знаю, что вам ответить...

— Вот как? Я рада, Коленька!

— Пока еще нечему радоваться. Я еще ничего не знаю. Это просто сумасбродные мысли, и потом...

— Кто она?

— Она... не русская. Нет, нет, — поспешно прибавляет он, — не папуаска. Она англичанка, живет в Сиднее.

Екатерина Семеновна с облегчением вздыхает:

— Ну слава богу. Напугал. — Лицо ее снова становится озабоченным. — Англичанка? — повторяет она. — Живет в Сиднее? Согласится ли она переехать в Россию?

— Мама, но ведь еще ничего не известно. Может быть, она и вообще не согласится.

— Позволь, разве ты ее ни о чем не спрашивал?

— Нет. То есть да... Я послал ей с дороги письмо.

— С дороги? — Екатерина Семеновна растерянно смотрит на сына. И такую же растерянность встречает в его взгляде.

— Согласится, сынок, — уверенно говорит она и ласково проводит рукой по его волосам. — Непременно согласится, если успела хоть немного узнать и понять тебя. Поверь мне.

— Спасибо, мама! — Он крепко обнимает ее и, бросившись к письменному столу, роется в ящике. — Вот! — протягивает он ей портрет Маргариты.

Долгим, внимательным взглядом Екатерина Семеновна вглядывается в лицо незнакомой молодой женщины.

— Красивая, — говорит она, оторвавшись от портрета. — И добрая. Я уверена, ты будешь счастлив с нею!

По вечерам в квартире на Васильевском острове собираются старые друзья: адвокат Василий Филиппович Суфшинский, библиотекарь Географического обще-

ства Юлий Владимирович Брунеман, Константин Александрович Поссе — профессор физики. Как в былые времена, на Большой Мещанской, в доме Глазунова, раздаются их громкие голоса: «А помнишь?», «А помнишь?..» Далекие воспоминания всплывают в памяти. Как будто все это было лишь вчера... Екатерина Семеновна заглядывает в комнату, с улыбкой прислушиваясь. Давно ли она разбирала их сложные гимназические дела, обиды, ссоры, споры?

То вдруг все умолкают, и в тишине слышится лишь спокойный голос, просто, как будто речь идет о самых обыденных вещах, рассказывающий об удивительных делах, необыкновенных событиях и приключениях, о страшных опасностях, о красоте тропической природы, о людях. О Туе и Кайне, о старом Буа и маленьком Лялае, о Коды-Боро и Сауле. О преданном мальчике Ахмате, его добром сердце и непокорном нраве, его болезни и неожиданной смерти, причинившей искреннее горе его хозяину...

Накануне отъезда друзья собираются для прощального обеда. Вряд ли можно где-либо услышать более искренние пожелания, напутствия, советы! Друзья пьют за здоровье отъезжающего и предлагают ему свою помощь и поддержку.

И Николай Николаевич знает, что это не пустые слова, что он может положиться на дружбу, испытанную временем. Завтра он покидает родной город. Три месяца пронеслись — кажется, только что он сошел с парохода. И вот уже снова разлука с близкими, снова впереди долгий путь. По дороге в Австралию он решил побывать в странах Западной Европы. Это очень важно для дела. В его записную книжку внесен длинный список людей, с которыми он намерен повидаться, чтобы выслушать их советы и указания по поводу проекта русской колонии на Берегу Маклая. Друзья вместе с ним составляли этот список. У одного имеются знакомые в Берлине, у другого — в Гааге, у третьего — в Лондоне...

Верный Мещерский встретит его в Париже. Николай Николаевич просил его достать через Тургенева материалы, касающиеся французских коммунаров. Иван Сергеевич близко знаком с русским революционером Петром Лавровым, живущим в эмиграции в Париже. Это самый верный источник.

Часы летят. Заздравные речи чередуются с серьезными разговорами. Вот Брунеман записывает поручения. Он обещает последить за напечатанием отчетов путешествий в «Известиях Географического общества».

— Будь спокоен, Коля, все будет сделано. Оттиски вышлю в Сидней немедленно.

Вот Ракович просит узнать, как с наибольшими удобствами и наименьшими затратами добраться до Новой Гвинеи.

— Я узнаю все подробности и тотчас же по приезде в Сидней сообщу вам, Александр Александрович. Только решайтесь поскорее. И сговоритесь с Мишей. Перевезу вас на Берег Маклая обоих вместе. Это было бы прекрасно!

Василий Филиппович Суфщинский дает последние юридические справки, которые будут необходимы при создании колонии.

— С твоим знанием законов ты окажешь нам неоценимые услуги, Вася. Если все удастся, мы... мы назначим тебя поверенным по делам Берега Маклая в России. — Николай Николаевич говорит это совершенно серьезно, но друзья улыбаются, принимая за шутку.

— Ну вот я и удостоился высокого назначения! — весело отвечает Суфщинский.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Берлин, Антверпен, Лейден, Гаага, Париж. Всего лишь один день в Париже, но день этот навсегда остался в его памяти.

Как было условлено, Мещерский встретил друга на вокзале. Тургенев, сказал он ему, охотно взялся выполнить его просьбу. Лавров обещал достать, а быть может, уже и достал записки вернувшихся из ссылки коммунаров.

Вдвоем с Мещерским они отправились на улицу Дуэ, № 50. В маленькой комнате на третьем этаже жил Тургенев. Николай Николаевич не виделся с ним со студенческих лет. Тургенев обрадовался гостю, встретил его радушно и приветливо, как в те далекие времена.

— Давненько мы с вами не виделись! Вот, — он развел руками, — совсем стариком стал.

Ему нездоровилось. Укутанный в плед, он сидел, откинув голову на высокую спинку кресла. Свет от окна падал на его характерное лицо, седые волосы. Николай Николаевич с грустью отметил перемены в этом знакомом, когда-то таком красивом лице. Все черты как-то болезненно расплылись, и только глаза, по-прежнему светло-голубые, ласково и внимательно глядели на собеседника.

— А ведь я вас очень хорошо помню в ту пору, когда вы так же вдвоем с Мещерским приезжали ко мне в Веймар. Вы были совсем юношей... — Он окинул взглядом Николая Николаевича. — Сколько вам было тогда лет?

— Вы и не подозреваете, Иван Сергеевич, какой трудный вопрос вы задали моему другу, — рассмеялся Мещерский.

— Да, это верно, — смущенно подтвердил Николай Николаевич. — Как ни странно, все забываю год своего рождения. Сколько раз у матери спрашивал, записывал, ничего не помогает. По-видимому, свойство памяти.

Тургенев улыбнулся.

— Дел слишком много, жизнь у вас необыкновенная, — сказал он. — Вот и не хватает времени, чтобы думать о своем возрасте. Это хорошо. Это молодость. В старости уже не забываешь, в каком году ты родился. Начинаешь подсчитывать, много ли тебе осталось жить и что ты еще успеешь сделать. И не всегда удается то, что наметил, — мешают болезни... Однако хватит об этом. Рассказывайте, прошу вас. О ваших путешествиях, о дальнейших планах — о чем хотите. Все это чрезвычайно интересует меня. Не думайте, я слежу за вами по газетам и от Александра Александровича многое о вас знаю, но хотелось бы услышать из ваших собственных уст. Да, — спохватился он, — рад, что удалось выполнить вашу просьбу. Вот Петр Лаврович как раз сегодня прислал мне эти брошюры. — Он протянул Николаю Николаевичу перевязанный веревочкой пакет. — Думаю, что вы найдете в них интересующие вас сведения.

— Как мне благодарить вас, Иван Сергеевич! Вы оказываете мне неоценимую услугу! — Николай Николаевич едва верил глазам. Драгоценные материалы, о которых он мог лишь мечтать, были в его руках. — Вы не

представляете себе, как это важно для меня, для моего дела.

— Для вашего дела? — удивился Тургенев.

— Да, потому что, кроме общечеловеческих, имеются частные причины, заставляющие меня питать особый интерес к этой маленькой новокаледонской колонии. Я своими глазами видел этих героических людей, видел, чего они добились, несмотря на все ужасы, все муки неволи; видел их дома, их плантации, их театр. И всем этим они обязаны лишь силе своего разума, твердости духа. Я хотел поговорить с ними, расспросить их, предложить им свою помощь. Но тюремщики зорко следили за нами... И вот — я был тогда уже далеко от Новой Каледонии — простая мысль пришла ко мне. Не могли ли я воспользоваться их опытом для своей цели? Если эти люди, думал я, достигли столь много в тяжелой неволе, что могут сделать люди свободные?.. Не знаю, говорил ли вам Александр Александрович о задуманной мной в Новой Гвинее маленькой русской колонии, вокруг которой сплотилось бы папуасское население?

— Я вкратце рассказал Ивану Сергеевичу о ваших планах, — сказал Мещерский, — но вы сами сделаете это гораздо лучше.

Он простился и ушел, а Николай Николаевич начал рассказывать обо всем, чем полны были его мысли. Тургенев слушал, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза.

— Я утомил вас, Иван Сергеевич. Простите меня, я слишком увлекся.

Тургенев покачал головой:

— Нисколько, мой друг, наоборот, вы очень заинтересовали меня, и я от всей души желаю удачи вашему замыслу.

Он заметно оживился, расспрашивал, приводил собственные соображения. Потом разговор снова перешел на воспоминания.

— Мы как-то быстро сошлись тогда с вами, несмотря на разницу лет, — сказал он. — Помнится, и я ездил к вам в Иену?

— Я и тогда жалел, Иван Сергеевич, и потом не переставал жалеть, что так редко удавалось видеться с вами. Всегда по уши в работе... Вы не знаете, как много значат для меня эти встречи.

Оба помолчали, как будто про себя продолжая разговор. Иена, Веймар — светлая пора молодости для одного; зрелости, расцвета таланта для другого.

— Да, многого не ценишь в молодости, — как бы отвечая на собственные мысли, сказал Тургенев. — Не ценишь здоровья, бодрости духа, энергии. Все кажется таким простым, естественным. А вот теперь все думаешь, прислушиваешься — где болит, как болит? Что сказал доктор? Взвешиваешь, есть ли шансы на выздоровление, и начинаешь чувствовать себя таким старым!..

— Можно задать вам один вопрос, Иван Сергеевич? — сказал вдруг Николай Николаевич. — В какую пору жизни вы чувствовали себя наиболее счастливым? В детстве, в юности, в полном расцвете сил или теперь, когда пришла старость? Это очень интересует меня.

Тургенев с любопытством посмотрел на собеседника.

— Э, батюшка, какой вопрос-то вы мне задали! — Лукавое выражение мелькнуло в его глазах. — Вы думаете, что на это так легко ответить?

— Нет, конечно, но для вас легче, чем для кого-либо другого.

— А вот подумаю и отвечу, — весело сказал Тургенев. — Ведь это вопрос, о котором можно написать целую книгу!

Он был явно заинтересован. Прошло несколько минут. Наконец он заговорил:

— Когда человек чего-нибудь хочет — он не может быть счастлив, потому что ему редко удастся достигнуть желаемого. Мало того, как только желание его исполняется, ему начинает казаться, что исполнившееся желание совсем не то, к чему он стремился. Мы постоянно стремимся к цели, которую не в силах достигнуть, и поэтому чувствуем себя несчастными. Я могу сказать, что пока я многого желал, я никогда не был доволен, никогда не был счастлив. Теперь же я почти ничего не желаю, и поэтому теперь я счастливее, чем когда-либо. — Тургенев увлекся. Голос его, слабый вначале, звучал все громче. — Затем еще: будучи молодым человеком и даже в летах зрелых, я часто не знал, что делать со своим временем. Часы и дни тянулись, ползли... Вы знаете, что такое русская хандра? Я скажу вам просто — это томящее и пренеприятное чувство. Теперь, когда стал стариком, я больше не хандрю, как в молодости. Время

не тянется, не ползет для меня, а летит так, что зачастую хотелось бы остановить его быстрый полет...

Николай Николаевич слушал, стараясь не упустить ни одного слова. Наконец, видимо утомившись, Тургенев остановился.

— Ну что? Ответил вам?

— Да, благодарю вас, Иван Сергеевич, мне было очень интересно. Однако я буду возражать вам. Для меня непонятно такое толкование счастья. Ведь от ваших слов один только шаг до индийского афоризма...

— Какого? — живо переспросил Тургенев.

— «Откажись от всего, и ты будешь счастлив».

— А! В самом деле! Они правы.

— Нет, неправы, Иван Сергеевич! Мне кажется, что человек, добившись желаемого, непременно захочет большего. И в этом — счастье...

— Вам так кажется, потому что вы молоды, мой друг, — перебил Тургенев, — а вот станете постарше...

— Может быть. Впрочем, не думаю. Да и не так уж я молод. Недаром мои друзья папуасы считают, что мне не меньше двухсот лет.

— Разве что по такому счету! — рассмеялся Тургенев.

— Нет, в самом деле, — серьезно продолжал Николай Николаевич. — Я думаю, что возраст не имеет значения. По крайней мере, в этом смысле я не ощущаю разницы между юностью и зрелыми годами. Вероятно, если бы я дожил до старости...

— Вот тогда и проверите, — добродушно улыбнулся Тургенев.

— Боюсь, что это мне не удастся. Впрочем, не боюсь. Мне это более или менее безразлично. Я ведь не слишком-то дорожу «прекрасным бытием».

— Это уж вы зря, батюшка! — сердито сказал Тургенев. — Как не дорожите? Впрочем, и это от молодости. Старше станете, начнете дорожить. И тогда, может быть, вам покажется, что оно действительно прекрасно, это «бытие».

Он казался утомленным, и Николай Николаевич не стал спорить.

— Возможно, что вы правы, — сказал он. — Время покажет.

В передней послышался звонок, явился новый посетитель, и Николай Николаевич поспешил проститься.

— Пусть исполнятся все ваши желания и планы, — сказал ему на прощание Тургенев, надолго задерживая его руку в своей. — Может, еще и увидимся, кто знает? — грустно прибавил он.

— Увидимся, непременно, Иван Сергеевич! Я приеду к вам из Австралии. Года через два или три... И тогда мы продолжим наш разговор!

Медленно шагая по улице Дуэ, Николай Николаевич с грустью перебирал в памяти свою встречу с Тургеневым. Непохоже, что он счастлив, даже если у него и нет больше желаний!

«А мне, — думал он, — вероятно, никогда не дожждаться счастья, если понимать его по-тургеневски. У меня еще слишком много желаний, и я не остановлюсь на достигнутом».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Но оказалось, что до счастья было не так уж далеко.

В туманный, холодный день Николай Николаевич приехал в Лондон. И важный, похожий на лорда портье отеля «Чаринг Кросс» вручил ему телеграмму, которая вот уже несколько дней его дожидалась. Телеграмма была от Маргариты. Она соглашалась стать его женой. Николай Николаевич не верил своему счастью. Он читал и перечитывал телеграмму, строчки расплывались перед глазами, в ушах шумело, и он никак не мог понять, о чем толкует ему вежливый портье. А тот все повторял и повторял, понимая, что приезжий русский господин получил какое-то радостное известие и потому так рассеянно слушает его. Наконец смысл его слов дошел до Николая Николаевича: просто-напросто ему, господину Маклаю, приготовлена комната № 52 в третьем этаже.

«Рассеянный русский» долго ходит из угла в угол по этой комнате — сырой и холодной, несмотря на то что в камине пылает уголь. Неясные очертания Лондона возникают в окне. Почему он здесь — в этом холодном, туманном городе, в этой неуютной, пропитанной сыростью комнате? Почему он здесь, когда в Сиднее лето, когда так хорош парк Кловелли? Сесть бы на ковер-самолет и очутиться рядом с Маргаритой, заглянуть в ее милые глаза и от нее самой услышать радостную весть. Должно

быть, Туй и Коды-Боро не поверили бы, что всемогущий Маклай не может по воздуху прилететь к невесте или спрыгнуть с луны прямо в парк Кловелли. Однако, если бы даже ковер-самолет существовал не только в сказках, он все-таки не мог бы им воспользоваться, потому что нельзя бросить начатое дело.

Итак, путешествие продолжается, и до встречи с невестой еще далеко. Из Франции в Англию, из Англии в Италию. Генуя, Неаполь и, наконец, Порт-Саид. Здесь Николая Николаевича ждет удача. Ему предоставлен бесплатный проезд до Австралии на английском пароходе «Чибасса». Маршрут несколько иной, чем он предполагал вначале, но он даже рад этому. Путь «Чибассы» лежит мимо Батавии. Пока пароход будет стоять на якоре, он успеет съездить в Бюйтензорг и Ти-Панас, повидаться с Лаудонами, вспомнить проведенные у них прекрасные, беззаботные дни.

В просторной светлой каюте можно, наконец, отдохнуть и собраться с мыслями. Двухмесячная поездка по странам Западной Европы утомила его, пожалуй, больше, чем путешествия в тропиках. Много было интересных встреч, разговоров, впечатлений. Для него теперь прояснились планы относительно Берега Маклая. Дело трудное, еще труднее, чем ему казалось прежде, и вряд ли удастся быстро осуществить его. Быть может, понадобится года два или три...

Теперь, на досуге, Николай Николаевич снова и снова перечитывал переданные ему Тургеневым драгоценные материалы. Это были записки некоторых вернувшихся во Францию коммунаров и номера журналов «Бритва» и «Новокаледонские досуги», выпускавшихся ссыльными. Вновь восхищался он силой духа и энергией этих людей, во что бы то ни стало желавших заглушить отчаяние, тоску по родине, скрасить страшные условия существования.

«Тоска по родине, — говорилось в одной из заметок, — эта болезнь, которая заключается во властной, неодолимой потребности хотя бы вдохнуть родной воздух, произвела немалые разрушения в наших рядах. Это она вселяет в нас безумие. Но работа — умственная и физическая — враг этой болезни. Она дает нам силы, чтобы противостоять безумию...»

«Я смеюсь, и если мое веселье вас оскорбляет, — пи-

сал другой автор, отвечая на издевательства и побои тюремщиков, — бейте меня — ваши палки меня не страшат, я смеюсь над вашим бессилием».

Рисунки изображали повседневную жизнь ссыльных: постройку хижин, полевые работы, тюремщиков, побои и пытки, набеги туземцев, которых тюремное начальство нарочно натравливало на поселенцев, новокаледонскую природу, пляски и празднества туземцев. Сами того не подозревая, эти люди были одновременно и географами, и историками, и этнографами.

«Чибасса» неслась по Индийскому океану. Впереди был Сидней, встреча с Маргаритой, работа в биологической станции. Переход от Порт-Саида до Явы был легкий — ни встречных ветров, ни штормов, ни штилей. И вот уже показалась вдали окутанная мглой туманная Батавия — «могила европейцев».

В батавской гавани на рейде стоял русский флагманский корвет «Скобелев». Отрадно встретить на чужбине соотечественников, услышать родную русскую речь. Николай Николаевич отправился на корвет. Контр-адмирал Копытов радушно принял гостя.

— Очень рад познакомиться с нашим знаменитым путешественником, — сказал он, крепко пожимая ему руку. — Все мы много слышали о ваших удивительных делах...

— Право, вы преувеличиваете, ваше превосходительство... — прервал было Николай Николаевич, но Копытов не дал ему окончить.

— Счастливый случай сегодня привел вас к нам. Если бы «Чибасса» опоздала хоть на один день, эта встреча не состоялась бы — завтра мы снимаемся с якоря. А между тем ваши советы могут оказаться драгоценными для нашего дальнейшего плавания.

— Буду рад помочь вам, ваше превосходительство, однако не знаю, насколько я смогу... — начал Николай Николаевич, но Копытов снова прервал его.

— Ну в этом-то можно не сомневаться. Наш маршрут лежит мимо хорошо знакомых вам мест. Мы, можно сказать, идем по вашим следам: Макассар, Амбоина, острова Адмиралтейства, залив Астролябии. Как видите, прямо к вашим черным друзьям. Впрочем, мы не собираемся высадиться на берег, не рассчитывая на их гостеприимство. — Копытов улыбнулся. — Ну, скажите сами,

не счастливая ли судьба привела вас сегодня на наш корвет?

Николай Николаевич молчал, ошеломленный неожиданностью. Острова Адмиралтейства, залив Астролябии, черные друзья. . . Не сон ли это? Милые черные лица с необыкновенной живостью возникли перед глазами: Туй, Бонем, Саул, Каин. Что с ними? Живы ли? Помнят ли Маклая, ждут ли его? Удивляются ли, что так долго не едет?

— Ваше превосходительство, возьмите меня с собой, — с удивлением услышал он собственный голос. — Я постараюсь помочь вам.

Широко раскрытыми глазами контр-адмирал смотрел на гостя. Казалось, он лишился дара речи.

— Могу лишь от всей души приветствовать ваше решение, но боюсь, что мы не сможем предоставить вам необходимых удобств. Нам далеко до «Чибассы». Не могу даже предложить вам отдельной каюты.

— Это не имеет никакого значения. Единственное, что требуется, — ваше согласие. Что же касается помещения, то любой свободный угол — в общей каюте или на палубе — удовлетворит меня. Надеюсь, что капитан «Чибассы» не откажется доставить мой багаж в Австралию.

Адмирал протянул ему руку:

— Мы снимаемся завтра, в девять ноль-ноль.

Остаток дня прошел как в угаре. Размышлять было некогда. Николай Николаевич писал письма, лихорадочно отбирал вещи: что с собой, что пойдет прямо в Австралию. Капитан «Чибассы», несколько удивленный, согласился доставить багаж пассажира до порта Брисбэйн.

Но вот наступила ночь, и Николай Николаевич не сомкнул глаз.

«Что ты делаешь, безумный? — спрашивал он себя. — Понимаешь ли ты, что свидание с Маргаритой откладывается на долгих три, а может быть, и четыре месяца? Что она подумает? Что скажет? Что, если ты сам все разрушил, и она отвернется от тебя?»

«Нет, этого не может быть, — отвечал он себе. — Она поймет, что я не мог упустить такого случая».

«Случая. . .»

«В вашей жизни слишком много случайностей, коллега», — наставительно сказал ему однажды Финш. Тогда он не придавал этим словам никакого значения.

«А ведь, пожалуй, немец был прав, — думал он теперь. — В самом деле, не слишком ли много?»

«А что скажут в России? Родные, друзья? В Географическом обществе будут снова недовольны... Я тотчас же напишу Мише, одному Мише. Больше никому».

Так продолжался ночной разговор с самим собой, пока не забрезжило утро.

И вот Николай Николаевич на корвете «Скобелев». Под полуютом для него отгорожено отличное помещение — просторное и светлое. Висячая офицерская койка, стол, стул, керосиновая лампа — ничего лучшего и желать нельзя. Быстрые волны несут его к Берегу Маклая. Вместе с ним на борту «Скобелева» плывут не совсем обычные пассажиры: две коровы, молодой бычок, козел, козы. По его просьбе адмирал распорядился, чтобы эти животные были куплены в подарок папуасам.

Он заранее представлял себе изумление своих друзей. Некоторые из них, правда, уже видели бычка на «Изумруде». Они его прозвали тогда «большая русская свинья с зубами на голове». Все же придется немало потрудиться, чтобы заставить их ближе познакомиться с этими животными.

По пути он закупил и другие подарки: малайские ножи — паранги, бусы, ленты, зеркальца, а также много сортов семян и даже молодые деревья. Через несколько лет на Берегу Маклая будут расти апельсины, лимоны, ананасы, манго, кофейное дерево. Надо лишь успеть посадить все это, вот в чем задача. Зная характер папуасов, едва ли можно рассчитывать, что они сами займутся посадкой. А корвет простоят на Новой Гвинее не больше двух-трех дней.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

С той минуты, как шлюпка высадила Николая Николаевича на берег, чувство тревоги не покидало его. Заброшенными и пустынными показались ему знакомые милые места. Он шагал по заросшей травой тропинке к деревне Бонгу, с беспокойством вглядываясь в даль. Какая-то тень мелькнула между деревьями, спряталась, снова вынырнула.

— Маклай! О Маклай! — грустно прозвучало приветствие.

Или это только почудилось Николаю Николаевичу?

— Саул, ты ли это? — Он не сразу узнал своего приятеля — такой жалкой показалась ему черная фигурка.

Саул был безоружен, в лохматой его шевелюре не было ни перьев, ни цветов, ни листьев, ничего, что составляет обычные украшения папуасов.

— Теперь ты останешься с нами, Маклай? — спросил Саул. — Мы построим тебе дом в деревне, потому что таль Маклай совсем развалился. Его съели муравьи. — И, не ожидая ответа, он продолжал спрашивать: — С кем ты приехал, Маклай? С тамо русс или с тамо инглис? — В голосе его слышалась тревога.

— Я приплыл к вам на русском корвете.

— Корвета русс? Это хорошо! — Саул вздохнул с облегчением. — Вот видишь, Маклай, мы помним твои слова. Когда мы увидели корабль, мы спрятали копья и стрелы, вынули из волос перья и цветы, хотя сегодня праздник. — Он с огорчением провел рукой по своей лохматой голове.

— Вы правильно поступили, Саул. Но почему ты один вышел навстречу корвету? Почему другие не пошли с тобой?

— Я тебе сказал — сегодня праздник. Вчера был ночной ай в Богатим. Наши мужчины и юноши еще не возвратились. Нас осталось в Бонгу только несколько человек. И, когда мы увидели корвет, мы сразу же отправили наших женщин и детей в лес. Лако и Бугай сторожат их там, а я пошел к берегу.

— Вот оно что! Ну, значит, все в порядке. — Николай Николаевич ласково похлопал Саула по плечу. — Расскажи мне, как вы тут жили без меня? Как поживает Туй? Остался ли он в Горенду или переселился в Бонгу? Я хотел бы поскорее повидаться с ним...

Опустив глаза, Саул молчал.

— Туй умер, — сказал он наконец глухим голосом и в знак горя прислонил свою голову к плечу Маклая.

— Умер? Туй умер, говоришь? — Николай Николаевич остановился в растерянности. Ему вдруг захотелось идти в деревню. Горько было думать, что Туй не встретит его.

— Пойдем, Маклай. — Саул ласково дотронулся до его плеча. — Наши будут рады.

Они медленно двинулись дальше.

Отчего умер Туй? Он еще не был стар. Николай Николаевич ни о чем не спросил Саула. А Саул поторопился заговорить о другом. Он рассказал о тамо инглис, которые вскоре после отъезда Маклая приплыли на шхуне к их острову. Что надо было этим людям, Саул не знал. Они что-то искали в земле, копали лопатами, стучали топорами, перерыли весь берег, а потом уехали.

— Что они искали, скажи, Маклай?

— Должно быть, золото, — рассеянно ответил Николай Николаевич.

— Золото? — удивился Саул. — Что это такое? Я никогда не видел. Почему они искали его в земле?

— В нем нет ничего хорошего, Саул. Надеюсь, что в вашей земле его никогда не найдут.

Саул, видимо, не был вполне удовлетворен ответом, но не стал спрашивать.

— Так вот, эти люди, — продолжал он, — подошли к твоему дому, их начальник уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но мы схватили его за руку и закричали: «Маклай!» И он понял, что ему тут делать нечего, и ушел, а за ним ушли остальные.

— Молодцы! — сказал Николай Николаевич. — Так ему и надо! Нечего ему здесь делать. Правильно!

— Нечего... — повторил Саул. Он помолчал немного, потом продолжал, но как бы нехотя, с усилием. — Да, — сказал он, — мы обрадовались, когда шхуна отчалила от берега. Но потом на большом корабле к нам приплыли другие тамо инглис. И мы снова встретили их, как ты велел, мы не сделали им ничего дурного. Они вначале хорошо обошлись с нами. Я сам был на корабле, меня угощали сладкой едой, подарили бусы. Они пробыли у нас недолго. А потом погрузили на корабль много наших мужчин, и наших юношей — маласси, и наших детей и увезли их с собой в море. Они пообещали скоро привезти их обратно, но прошло уже много дней и ночей, и никто еще не вернулся.

Саул помолчал немного, потом прибавил совсем тихо, опустив глаза:

— Среди этих инглис был твой брат, Маклай.

— Что ты говоришь, Саул?! — Николай Николаевич

схватил его за руку. — Мой брат никогда не приезжал сюда, уверяю тебя! Может быть, он приедет, но это будет еще не так скоро.

— Это был твой брат, — не поднимая глаз, повторил Саул. — Он сказал нам: «Маклай — брат мой, и вы — мои братья», и засвистел в кин-кан-кан. Он не похож на тебя, Маклай. Он обманул нас.

Николай Николаевич смотрел на Саула и не видел его. Перед глазами плыли темные круги, в висках стучало. «Это Ромилли! Так, значит, он обманул меня! Как мог я довериться человеку, которого совершенно не знал? Маргарита была права. Все они одинаковы, эти финши, ромилли, и сам сэр Джон Робертсон недалеко ушел от этой компании. Волки, которые рыщут там, где чуют добычу. Кто знает, что натворил здесь этот Ромилли, который притворялся путешественником, ученым, просвещенным государственным деятелем. Быть может, и Туй — его жертва? Саул как-то подозрительно отводит взгляд и умалчивает о его гибели...»

— Это не был мой брат! — сказал он Саулу. — Но я знаю этого подлого человека, который обманул меня и вас.

Они молча продолжали путь. Тропинка кончилась, сквозь зелень деревьев показались белые крыши хижин. Тихо и безлюдно было в Бонгу, как будто вымерла вся деревня. Собаки, лениво растянувшись, лежали на земле. Они даже не залаяли, только заворчали, едва приоткрыв глаза, и снова погрузились в сон.

«Ну вот я и дома», — думал Николай Николаевич. Поистине ни к одному углу земного шара не питал он такой привязанности. Однако и здесь были перемены. Несколько площадок, на которых прежде стояли хижины, были обращены в пустырь, на развалинах рос кустарник.

«Кто разрушил эти дома? — с тревогой думал Николай Николаевич. — Непохоже, что они съедены муравьями. Неужели и это дела Ромилли?»

Послышались голоса. И вмиг тихая деревня преобразилась, наполнилась шумом, веселыми возгласами, детским плачем, лаем собак. Женщины с детьми бежали из леса, а за ними мужчины, возвращавшиеся с ночного ая, — в праздничных нарядах, украшенные перьями, цветами, ожерельями из раковин.

— Э-а-ба, Маклай, здравствуй!

— Э-ме-ме!

Они пожимали ему левую руку. На лицах их не было ни тени удивления. Как будто они только вчера расстались с ним, а не встретились после шестилетней разлуки. А Николай Николаевич вглядывался в окружавшие его лица и, увы, никого не узнавал. Юноши превратились во взрослых мужчин, молодые женщины с младенцами на руках — он их знал девочками, а старики — стариков было очень мало.

— Бугай, Лако, Коды-Боро! — наконец-то он увидел знакомые лица.

Толпа расступилась, пропуская Коды-Боро. Но как он изменился! Вид у него был болезненный, в движениях не было прежней уверенности и спокойствия.

Он подошел к Маклаю и, как ребенок, припал к его плечу.

— Ур умер! — сказал он, и стон вырвался из его груди. — Мой сын Ур!..

И не успел Николай Николаевич спросить, отчего умер этот молодой, полный сил человек, как вслед за Коды-Боро, словно по сигналу, и остальные стали подходить и, прислонясь к его плечу, перечислять всех умерших за время его отсутствия:

— Буа умер!

— И Мотэ умер!

— И Туй умер!

— И Каллоль умерла!..

Одни всхлипывали, другие плакали навзрыд.

— Ты останешься теперь с нами, Маклай? — спросил Коды-Боро.

— Нет, Коды, я приехал к вам ненадолго. Я пробуду только, пока корвет будет стоять на якоре. Я случайно попал к вам. Мои родные даже не знают, где я.

Толпа загудела. Отчего Маклай хочет так быстро покинуть их? Быть может, потому что Туй умер? Но разве они все не друзья Маклая? Коды-Боро, сощурившись, заглянул в глаза Маклаю. Но что можно понять в этих светлых, похожих на небо глазах?

— Уж не женился ли ты в своей России, Маклай? — Прежнее лукавое выражение мелькнуло в глазах Коды. — Смотри, какие красивые девушки выросли у нас за это время! — Он показал рукой на толпу. — Выбирай любую!

— Ты почти отгадал, Коды, — улыбнулся Николай Николаевич. — Я действительно собираюсь жениться. Но невеста моя живет не в России, а в Австралии. Это гораздо ближе от вашего острова.

— Тогда приезжай к нам с женой. Вы будете жить в деревне вместе с нами. Твоей жене не будет скучно с нашими нангелями, а твои дети будут играть с нашими детьми. Скажи, Маклай, ты приедешь, когда настанет пора жечь унан?

Николай Николаевич невольно призадумался, представив себе Маргариту среди папуасских женщин. Она сказала: «Поеду». Но не пошутила ли она тогда?

— Не знаю, Коды-Боро. Я еще не говорил с моей будущей женой, но надеюсь, что она согласится приехать со мной. И, быть может, приедет мой младший брат и другие русские люди. Но это будет еще не так скоро. Мы поселимся где-нибудь поблизости от вас и будем вместе работать, будем помогать друг другу и защищать друг друга. Тогда нам не страшны будут никакие враги. И больше не повторится то, что произошло здесь без меня.

Лицо его побледнело. Светлые глаза потемнели от гнева.

— Мы тебя будем ждать, Маклай, — снова заговорил Коды-Боро, — но ты сказал, что, быть может, еще не скоро приедешь к нам. Так научи же нас, что делать, если без тебя белые снова приплывут на наш остров и снова захотят увезти наших людей. Саул сказал нам, что тамо инглис, который приезжал к нам, обманул нас. — Коды волновался, капли пота катились по его черному лицу.

— Он обманул и меня! — Голос Маклая задрожал от негодования. — Клянусь, я больше не буду доверчив. Если придут к вам белые люди, не верьте ни одному их слову, даже если они будут говорить, что я послал их к вам. Уходите в горы вместе с женщинами и детьми. Оружие возьмите с собой. Они побоятся идти за вами. И лишь когда вы убедитесь, что корабль ушел и ни одного белого человека не осталось на вашем острове, тогда возвращайтесь в свои жилища.

Мертвая тишина была ответом на эти слова.

— Останься с нами, Маклай! — раздался чей-то слабый голос.

— Теперь послушайте, какие подарки я вам привез, —

сказал Николай Николаевич, чтобы отвлечь папуасов от тяжелых мыслей. — Я привез семена и растения для ваших плантаций и привез животных: бычка, корову, коз.

Вся толпа пришла вдруг в необыкновенное волнение.

— Бик! — радостно воскликнул Саул. — С зубами на голове! — Он изобразил огромные рога над своей лохматой головой. Вероятно, он вспомнил бычка с «Изумруда».

— Бик! Коза! — повторили они вслед за Маклаем.

Не так легко было запомнить русские названия, однако отныне они должны войти в папуасский язык.

— Они не съедят нас, Маклай?

— Нет. Они не дикие. Они привыкли к человеку. Они будут давать вам вкусное молоко, из которого вы научитесь готовить вкусные блюда. Ваши дети будут пить коровье и козье молоко и будут здоровыми и крепкими.

— О-о-о! Э-э-э! — со свистом восклицали папуасы и в знак удивления подносили к губам указательный палец.

— Приведи их скорее к нам, Маклай!

— Не торопитесь, друзья, сначала выслушайте меня. За животными надо ухаживать, надо вовремя кормить их, содержать в чистоте. Пока они не привыкнут к новому месту, придется поместить их за изгородь, иначе они могут убежать в лес. Надо огородить хотя бы вот этот пустырь. Сейчас же принимайтесь за работу. С заходом солнца к вам приведут животных.

Папуасы не успели опомниться, а Николай Николаевич уже шагнул по знакомой лесной тропинке. Ему хотелось побыть одному. Он шел мимо Бугарлома и не узнавал его. Широкие дорожки, которые он с таким трудом когда-то расчищал, сплошь поросли густой травой и кустарником. На холме, где прежде стоял его дом, валялось лишь несколько изъеденных муравьями свай. А вокруг холма поднимались высокие кокосовые пальмы, бананы, толстые стволы дынных деревьев. Неужели это были те самые молодые деревца, которые он посадил? Прежняя плантация кукурузы была покрыта желто-красным кустарником. Трудно было поверить, что пяти-шести лет было достаточно, чтобы превратить все сделанное человеком в глухой уголок леса. Поистине это были чудеса тропической природы!

Николай Николаевич сделал небольшой крюк, чтобы заглянуть в Горенду. Он любил эту опрятную, уютную,

живописную деревню. Но что это? Ему показалось, что он сбился с дороги — деревни не было! Куда девались хижины его друзей Туя, Бонема, деда Буа? Где мужская буамбрамра? Лес — куда ни глянь! И только два домика, уцелевшие по какой-то случайности, сиротливо жались друг к другу, напоминая о том, что когда-то здесь была деревня.

«Горенду басса! Конец Горенду!» — вспомнились ему пророческие слова Туя.

— Бедный Туй! Бедный старый друг!..

Не оглядываясь, Николай Николаевич торопливо зашагал к берегу, где его ждала шлюпка.

На третий день «Скобелев» снялся с якоря. За это короткое время с помощью матросов удалось посеять семена и посадить все привезенные растения. С животными дело обстояло сложнее. Долго потом матросы развлекали команду корвета рассказами об уморительных сценах, свидетелями которых они были. Они рассказывали о том, с каким трудом удалось загнать бычка и корову за изгородь. Как испуганный бычок рвался вперед, а они еле удерживали его за веревку, привязанную к рогам. Как папуасы при виде этого страшного чудовища в ужасе рассыпались во все стороны — лезли на деревья, кидались в море, падали на землю, закрыв глаза руками.

— Как вам не стыдно! — тщетно пытался образумить их Николай Николаевич. — Вас так много, а вы испугались маленького бычка, который не сделает вам никакого зла. Он сам боится вас.

— Он не маленький, он больше дикого кабана! — стуча зубами, отвечали папуасы и бежали без оглядки.

Бычка и корову загнали за изгородь, а коз поместили в одной из пустых хижин. Когда все немного успокоились, матросы показали папуасам, как надо доить коз. Папуасы ахали, вздыхали, свистели, глядя на это чудо, но пить молоко решительно отказались.

О том, что произошло после ухода матросов, мог бы рассказать сам Николай Николаевич. Пока он прощался со своими друзьями, отдавая последние распоряжения на случай прихода белых врагов, бычок, на которого уже никто не обращал внимания, разворотил рогами забор, перепрыгнул через него и помчался по направлению к лесу. За ним последовала корова, и оба исчезли за зелеными холмами.

«Кто знает, — думал, глядя на них, Николай Николаевич, — возвратятся ли они в деревню, или к диким животным, населяющим тропические джунгли, прибавится новый вид?»

В Маниле он простился со «Скобелевым» и отправился в Сидней. Как-то встретит его Маргарита? Не сердится ли? Не передумала ли?

НЕМЕЦКИЙ ФЛАГ НАД ГАРАГАСИ

И вот он снова в Кловелли. В прекрасном парке, вдвоем с Маргаритой. Нет, она не сердилась и не передумала. Как мог он это предположить? Она все поняла.

Он рассказал ей о России, о родных, о друзьях с Берега Маклая, о предательстве Ромилли.

— Ты была права, — говорил он, — я ошибся в этом человеке. К несчастью, от моей доверчивости пострадали другие!

Он увидел негодование в ее милых глазах, услышал гневные слова. Теперь он знал — у него была помощница, друг — верный, на всю жизнь.

А в семье Робертсон поднялась настоящая буря, когда Маргарита объявила, что выходит замуж за русского путешественника. Для уговоров немедленно прибыли в Кловелли старшие сестры с мужьями. Призваны были родственники, друзья, подруги Маргариты. Какие только доводы, какие препятствия не придумывались для того, чтобы помешать этому «нелепому» браку. То и дело Николай Николаевич заставлял невесту в слезах. Она была привязана к отцу. Кого слушать? Порой доводы отца казались ей непреодолимыми, она готова была склониться перед жестокой судьбой. А после разговора с женихом преграды эти рушились, и она снова начинала надеяться.

— Ты не знаешь русской зимы, — говорил дочери сэр Джон. — Почти всю свою жизнь ты провела в Австралии. Даже настоящего снега ты никогда не видела. А там — сугробы, сорокаградусный мороз. Ты погибнешь, у тебя хрупкое здоровье.

— Но, отец, — возражала Маргарита, — если русские морозы будут мне не под силу, мы поселимся в Сиднее. Николай прекрасно переносит австралийский климат. Он вовсе не намерен губить меня.

— Ты протестантка, — продолжал свои доводы сэр Робертсон, — а Маклай православный. Без разрешения русского царя вы не можете венчаться.

— Ну что ж, — отвечал Николай Николаевич, — я тотчас же пошлю просьбу в Россию. Почему, собственно говоря, русский император будет против моей женитьбы, хотя бы и на протестантке? Это простая формальность.

И в тот же день в Петербург министру двора князю Оболенскому полетела телеграмма. Николай Николаевич не намерен был отступать. Он уже не мальчик, он твердо обдумал этот важный шаг и не допустит, чтобы помешали какие-то мелочные предрассудки. Однако все эти неприятности, волнения и хлопоты утомляли его, выводили из равновесия.

«Я не думал никогда, — горько жаловался он в письме к брату, — что такое простое на вид дело, как женитьба, сопряжено будет для меня с такой кучей хлопот, неудобств и помех разного рода».

От всех этих неурядиц страдала работа.

Надо было закончить начатые исследования, привести в порядок коллекции и взяться за подготовку к печати новогвинейских дневников. Издание этой книги поможет выйти из денежных затруднений. Жизнь в Сиднее дорога, а после женитьбы расходы увеличатся. Жить вдвоем на биологической станции нельзя. Придется подыскать квартиру где-нибудь поблизости. Впрочем, надолго поселиться в Сиднее он не предполагал — самое большее на два-три года. Они поедут с женой в Россию, а потом... Его планы относительно Берега Маклая оставались неизменными. И Рита была согласна.

Наконец все преграды были пройдены. Разрешение от русского императора получено. Сэру Робертсону ничего не оставалось, как дать согласие, и 27 февраля 1884 года свадьба была отпразднована. Николай Николаевич был счастлив. «Я понимаю теперь, — признавался он друзьям, — что женщина может внести истинное счастье в жизнь человека, который никогда не верил, что оно существует на свете».

Недобрые вести приходили одна за другой. Еще по пути в Сидней Николай Николаевич узнал из газет о том, что правительство австралийских колоний настойчиво

предлагало Англии захватить все пока еще независимые острова Тихого океана, в том числе южный и северо-восточный берега Новой Гвинеи.

С просьбой о защите он обратился к британскому правительству. Он писал статс-секретарю колоний лорду Дерби, писал премьер-министру Гладстону, писал сэру Артуру Гордону. От имени десятков тысяч людей, «преступление которых состоит единственно в том, что они имеют кожу темного цвета и не так сильны, чтобы отстаивать свои права», просил он защиты от насилия, людокрадства, невольничества. Он отстаивал право туземцев на землю, которую они обрабатывают и которой владеют с незапамятных времен. И он добился того, что британское правительство отменило захват Новой Гвинеи.

Прошло несколько месяцев, и другая опасность нависла над его друзьями. Американский генерал Мак-Ивер объявил вербовку желающих поехать на Берег Маклая. Он обещал большие участки земли и всевозможные блага. Характер этой экспедиции не вызывал сомнений. Надо было действовать немедленно. Воспользовавшись давнишним соперничеством Америки и Англии в Тихом океане, Николай Николаевич снова обратился к английскому правительству с просьбой о покровительстве туземцам Берега Маклая. И английское правительство приняло меры, конечно, в своих интересах. Генералу Мак-Иверу пришлось отменить задуманную экспедицию.

Одна опасность сменялась другой. Используя все средства, любыми путями Николай Николаевич отводил тучи, сгущавшиеся над головами папуасов. И все же он не уберег своих друзей. Германия захватила Берег Маклая. И содействовал этому не кто иной, как Финш, тот самый Отто Финш, который с таким интересом посещал маленькую лабораторию своего «русского друга».

Германский флаг развевался теперь над Гарагаси, над деревом с медной доской, прибитой матросами «Изумруда»; над Бонгу; над Бугарломом; над землей, на которую он, Маклай, первый белый человек, ступил тринадцать лет назад и поднял русский флаг, салютуя им уходящему «Витязю». Что будет теперь с его друзьями? Печальная участь ожидала их — обман, грабеж, рабство.

И Николай Николаевич немедленно послал канцлеру Бисмарку поразившую весь мир телеграмму:

«Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию».

В то же время он отправил письмо императору Александру:

«Принужденный несправедливым захватом Германиею Берега Маклая в Новой Гвинее, я послал телеграмму князю Бисмарку в Берлин. Осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское величество одобрит этот шаг, сделанный единственно во имя человеколюбия и справедливости, чтобы воспротивиться распространению на островах Тихого океана людокрадства, рабства и самой бессовестной эксплуатации туземцев, я всепокорнейше прошу о даровании туземцам Берега Маклая российского покровительства, признав его независимым».

Он писал в Россию, писал в Англию, писал государственным деятелям Австралии. Время шло, ответа из России не было, а из других стран ему сообщили, что письма его направлены в министерство иностранных дел Германии, куда и «надлежит обращаться по всем вопросам, связанным с Берегом Маклая на Новой Гвинее».

Оставалась одна надежда — на русских. План колонии был уже обдуман.

«Брат Мик! Мне твоя помощь нужна, — написал он Михаилу Николаевичу. — Приезжай, как только можешь, переговорив с Александром Александровичем Раковичем. Я желаю перевезти вас (тебя, его и других) на Берег Маклая, устроить вас там, а затем вернуться в Европу. При переговорах с Бисмарком мне необходимо будет опираться на факты, на действительные владения, а не только на слова и право!»

Но, увы, ни брат, ни Ракович так и не приехали на Берег Маклая. Михаил Николаевич собирался жениться, Ракович по каким-то другим обстоятельствам — оба отказались переселиться в тропические страны.

Через полгода пришел ответ из России. Министр иностранных дел Гирс уведомлял Николая Николаевича о том, что его сообщения «о положении дел в Австралии и на островах Тихого океана доведены до высочайшего сведения государя императора».

Николай Николаевич стал собираться в Россию.

СВИДАНИЕ В ЛИВАДИИ

В волнениях, хлопотах, работе, в предотъездных сборах проходило время. Наступил 1886 год. Николай Николаевич с женой переехали из Уайоминга, где они поселились сразу после женитьбы, в Ватсон-Бай, по близости от биологической станции. К этому времени у них уже было два сына — Владимир-Нильс и Александр-Аллен. По обоюдному согласию решено было дать детям двойные имена — русское и английское.

Взять с собой в Россию семью Николай Николаевич не решался. Слишком дорог был проезд от Сиднея до Петербурга, да и рискованно было пускаться в путь с маленькими детьми, без всякой уверенности в том, что их ожидает. На помощь родных нельзя было и не хотелось рассчитывать, а все остальное было слишком неясно. Правда, он готовил к печати два тома своих «Путешествий», но для издания их также нужны были деньги.

Посоветовавшись с женой, он решил пока оставить ее с детьми в Сиднее на попечении родных, а там — будущее покажет. Либо он вернется еще на несколько лет в Австралию, либо перевезет семью в Россию. У Маргариты будет время заняться русским языком — без этого ей трудно будет в Петербурге. Ведь придется нанять русскую няню, да и вообще он надеялся, что сыновья впоследствии захотят остаться в России.

Простившись с семьей, погрузив на пароход тридцать ящиков своих коллекций, которые он вез в дар Академии наук, Николай Николаевич выехал в Россию в марте 1886 года. Маршрут лежал через Порт-Саид, Одессу, Киев. Оттуда он собирался заехать в Малин — повидаться с матерью.

Денег едва хватило, чтобы на русском пароходе добраться до Одессы. Здесь его ждал чек от брата Сергея — пришлось попросить займы на проезд до Малина. Вдобавок в Порт-Саиде у него украли чемодан с бельем и летними вещами.

В Одессе Николай Николаевич узнал, что император Александр III отдыхал в Ливадии. Это неожиданное обстоятельство изменило планы. Во что бы то ни стало он решил добиться личного свидания с царем. Недолго думая вместо железнодорожного билета в Киев он купил билет на пароход и выехал в Ялту.

В солнечный апрельский день двери ливадийского дворца открылись, чтобы пропустить необычного посетителя. Не сановник, украшенный орденами и лентами, не генерал, не великий князь шел по белому залу сквозь шпалеры камер-лакеев в золоченых ливреях. С недоумением оглядывали они непредставительную фигуру штатского в поношенном костюме. Кто этот человек? Чужестранец? Русский? Если судить по костюму — далеко не богач. Какого возраста? Даже это трудно было определить с первого взгляда.

Резная дубовая дверь отворилась перед ним — он был в приемной царя. Дубовые стены, небольшой письменный стол, кожаные кресла — комната была скромная, небольшая.

Он ждал недолго. Дверь бесшумно отворилась. Вошел высокий тучный человек, с усами и бородой. Это был император.

— Много слышал о вас. Чем могу быть полезен?

Глаза из-под полуопущенных век смотрели на посетителя. Кто знает, быть может, и самому императору небыл интересно было повидать бесстрашного человека, о котором так много писали газеты, который не раз был принят при иностранных дворах?

— Прошу вас! — Он вежливо пригласил садиться.

Николай Николаевич начал говорить — волнуясь сначала, потом спокойно. Он рассказал о своем первом приезде на Новую Гвинею, о том, каких нечеловеческих усилий стоило ему — шаг за шагом — завоевать доверие папуасов; о том, что он первый поднял флаг своего отечества над землей, которую незаконно захватила Германия; о своей телеграмме Бисмарку.

Он говорил, глядя в тусклые глаза человека, один росчерк пера которого мог принести спасение или гибель. Слушает ли он его? Одобряет или не одобряет? Что-то тупое и неподвижное чудилось Николаю Николаевичу в этом тяжелом взгляде.

— Если я правильно понял вас, если земля, о которой вы говорите, принадлежит в настоящее время Германии, следовательно, тем самым отпадает вопрос о русской колонии? — Царь говорил медленно и очень тихо.

— Ваше величество, берег, о котором идет речь, включает множество мелких островов. Те, на которых нет германского флага, пока свободны.

— Это меняет дело. — Александр помолчал, обдумывая. — Надо точно установить, какие именно острова не заняты другими державами. Быть может, полезно будет назначить комиссию, которая всесторонне рассмотрит это дело, а вам придется представить подробную докладную записку. Шаг важный, государственный. Много придется учесть, прежде чем вынести решение.

— Как мне благодарить вас, ваше величество! Я не замедлю представить докладную записку. У меня уже разработан подробный план колонии.

Беседа продолжалась долго. Царь был милостив. Он вникал в подробности: каковы будут средства к пропитанию будущих колонистов; будет ли земельная собственность; каковы будут средства сообщения с ближайшим европейским пунктом? Он спросил об издании «Путешествий», о коллекциях и даже пообещал отправить их в Петербург царским поездом.

С радостным чувством покидал Николай Николаевич ливадийский дворец. Неужели сбудутся его надежды? Это было почти чудо.

РАЗГОВОР У ПЯТИ УГЛОВ

Месяц в Малине промелькнул незаметно. Срок короткий и в то же время долгий, если принять во внимание неотложные дела, ожидавшие Николая Николаевича в Петербурге. Однако при одном лишь упоминании об отъезде такая печаль, такая тревога появлялись в глазах матери, что у него, вероятно, впервые в жизни не хватило воли. Они так редко виделись, так мало радости было в жизни у Екатерины Семеновны, что было бы жестоко сократить хотя бы на один день свидание, которого она ждала долгие годы. Она состарилась, болела — кто знает, увидятся ли они снова?

Он ехал в Малин, заранее сердясь на это имение, принесшее столько горя и разочарования всей семье. Предубеждение не рассеялось, а, скорее, увеличилось, когда он впервые ступил на порог странного малинского дома. Большие, высокие, полупустые комнаты; непомерно высокие двери и окна; в столовой — огромный, мрачный, как в средневековых замках, камин с навесом; широкие полутемные коридоры, причудливые пристройки. Поистине

необычный вкус был у прежнего владельца! Железные кровати, столы, наспех сколоченные из простых досок, старые венские стулья; несколько обтрепанных мягких кресел — вот что составляло обстановку этого «помещичьего» дома. Все здесь было так не похоже на уютные комнаты, забавные закоулки, кладовочки и чуланчики милого деревенского дома в Рождественском! И лишь пианино с вертящимся табуретом, до боли знакомое пианино, на котором Оля играла еще в детстве, напоминало о прежней жизни семьи.

Николая Николаевича поместили в самой дальней комнате, которая называлась «библиотекой», потому что в ней стояла полка с книгами Николая Ильича. Здесь было спокойно и просторно. Железная кровать, два стула, большой дощатый стол, заменявший письменный. И Николай Николаевич засел за работу.

Прошло немного времени — он привык к своей комнате, и самый дом уже не казался ему таким неудобным. Он жил, окруженный заботами, и должен был признаться, что давно уже не чувствовал себя так хорошо.

Брат Михаил, только что обвенчавшись, приехал с женой Марией Васильевной в гости к матери. Жена Владимира — Юлия Семеновна также гостила в Малине. Николай Николаевич подружился с невестками. «Добровольные секретари» — так называл он их — помогали ему в работе, переписывали рукописи, писали под его диктовку. Он уговорился с братом снять общую квартиру в Петербурге. Это во многом облегчит ему жизнь. Рита не будет чувствовать себя такой одинокой на чужбине. Дружба Марии Васильевны, этой милой женщины, очень поможет ей. Он был уверен, что они непременно подружатся, и заранее рисовал себе картины их будущей совместной жизни, от которых согревалась душа.

Украинская весна была в разгаре, цвели каштаны, деревья покрылись свежей листвой, женщины в легких блузках выбегали в сад, а «белый папуас» ежился от холода. Тогда в столовой топили камин. И по вечерам у этого камина, который с легкой руки Николая Николаевича теперь назывался «средневековым», собиралась вся семья. Шли бесконечные расспросы и рассказы: о Туе, о Коды-Боро, о Каине, о Сауле — о черных друзьях...

Время пролетело быстро. И вот уже поезд мчал его на север. В окнах мелькали соломенные крыши маза-

нок — белых, голубых, розовых; яркая зелень полей, узорами переплетавшаяся с черной вспаханной землей. Под грохот колес вставали в памяти милые мелочи этого тихого, проведенного в кругу семьи месяца. Потом все слилось, и осталось только грустное и светлое ощущение короткой, быстро промелькнувшей полосы жизни.

А впереди были новые заботы. Приведут ли они к намеченной цели? Он старался восстановить в памяти свое свидание с императором. Не слишком ли много обещаний? Не одни ли слова? Ведь ящики с коллекциями так и тащились в Петербург, увы, не на царском, а на самом обыкновенном товарном поезде. Не таковы ли будут и другие царские милости?

В субботу 21 июня жильцы дома № 14 по Ивановской улице, что у Пяти Углов, с любопытством наблюдали за необычным оживлением в одном из подъездов. Это было в 6 часов вечера. Перекликаясь, соперничая друг с другом, на разные лады звонили колокола небольших церквей, и, покрывая их, гулко и торжественно призывал к вечерней молитве колокол Владимирского собора. По праздничному принарядившись, набожно крестясь, старушки спешили к вечерне; хозяйки, закончив домашние работы, выплывали на улицу. И только в доме № 14 по Ивановской улице происходило что-то странное. То и дело по лестнице поднимались какие-то люди, то и дело хлопали двери в квартире № 17, где недавно поселился временный жилец, приятель отсутствовавшего хозяина. Кого здесь только не было! Серые военные мундиры, белые флотские кители, франтоватые сюртуки и потертые люстриновые пиджаки, белые галстуки и вышитые русские рубашки; дамские мантильи; шляпки с цветами и скромные белые платочки...

Хозяин с одинаковым радушием встречал всех пришедших. А они с любопытством смотрели на этого невысокого, худого, нервного человека. Так вот каков этот неустрашимый путешественник с железной волей и неутомимой энергией, приглашавший их следовать за ним в далекую страну папуасов!

Месяц назад в столичных газетах появилось сообщение о том, что «Николай Николаевич Миклухо-Маклай приглашает лиц, желающих поселиться и заняться какой-

либо деятельностью на Берегу Маклая в Новой Гвинее, обращаться к нему письменно по адресу: императорское Русское Географическое общество в Петербурге».

Невозможно было предвидеть, какое волнение вызовет эта коротенькая заметка. Из Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Варшавы — со всех концов России летели письма, телеграммы, заявления. Люди различных сословий и профессий желали применить свои знания, опыт, способности в будущей русской колонии. Спрашивали о плане ее устройства, об условиях жизни на Новой Гвинее, о переезде, о туземном населении и т. д. и т. д.

Ответить на все эти вопросы не было никакой возможности. Но Николай Николаевич нашел простой выход. Он пригласил всех желающих — конечно, петербуржцев — к себе на квартиру или, вернее, на квартиру Василия Филипповича Суфшинского, где он поселился, пока семья друга жила на даче.

Внимательно выслушав все вопросы, нередко вздорные, он рассказал о географическом положении Берега Маклая, о мелких островах, входящих в его состав; о том, что этот берег оставался под русским флагом с 1871 до 1885 года, когда Германия захватила его. О несправедливости этого захвата, о протесте, посланном им канцлеру Бисмарку; о климате, о растительном и животном мире; о населении. О нравах папуасов, которых он застал в первобытном состоянии; об их добродушии, вопреки сложившемуся о них мнению европейцев; об их гостеприимстве...

— Конечно, нельзя отрицать, что и до сих пор среди них существует людоедство, но они употребляют в пищу только убитых врагов, чтобы зря не пропадали вкусные блюда... — спокойно и правдиво звучали эти слова. Однако многие из слушателей поежились, представив себе будущих соседей.

— Жалели они, когда вы уезжали от них? — спросила молодая женщина в соломенной шляпке с цветами.

— Жалели и даже плакали.

— Разве они умеют плакать? — Она удивленно тряхнула головкой, и цветник на шляпке заколыхался.

— Умеют, но зато редко смеются! — Снисходительная, добрая улыбка промелькнула по усталому лицу. — Очень редко... Что касается проектируемой мною колонии, то,

должен признаться, я никак не ожидал, что на мое предложение откликнется столько желающих. Для моих целей мне нужно всего человек десять—двенадцать. Впрочем, я хорошо понимаю, что даже из людей, посетивших меня сегодня, едва ли человек шесть или семь окончательно решатся на этот шаг. Однако, во избежание недоумений, считаю своим долгом предупредить о предстоящих немалых трудностях. Начать с того, что я намерен хлопотать о бесплатном проезде до Новой Гвинеи и питании в течение двух месяцев плавания. Но я не могу обещать даровой проезд обратно в Россию, равно как не могу взять на себя обязательство относительно предоставления работы по специальности для переселенцев. Большие трудности ожидают будущих колонистов при постройке жилищ. Несмотря на изобилие строевого леса на Берегу Маклая, деревянные постройки весьма непрактичны из-за белых муравьев, уничтожающих дерево. Моя первая хижина на мысе Гарагаси, в которой я счастливо прожил пятнадцать месяцев, была съедена муравьями и обрушилась вскоре после моего отъезда. Поэтому разумно было бы для построек привезти из России оцинкованное железо. Оно стоит недорого, а я еще надеюсь выхлопотать, чтобы для переселенцев оно продавалось по более низким ценам. Каждая семья должна иметь отдельный дом.

Он замолчал, обводя взглядом присутствующих. Какие разные люди, разных возрастов собрались здесь, в квартире его друга! Мужчины, женщины, подростки. Мальчик лет пятнадцати в серой гимназической курточке так и впился в него глазами. Уж не собирался ли он бросить надоевшую гимназию и сбежать на Новую Гвинею? Кого напоминал ему этот мальчик? Не его ли самого на лекциях-беседах Бекетова? Вот похожий на крестьянина пожилой человек с окладистой русой бородой. В течение всего вечера он внимательно слушал. Казалось, он боялся упустить хоть слово. Несколько раз он порывался сказать что-то, но, передумав, снова слушал. Наконец он встал и заговорил:

— Позвольте спросить вас, высокоуважаемый Николай Николаевич, — краснея и волнуясь, он теребил в руках свой картуз, — скажите откровенно, возможна ли на ваших островах жизнь без денег? Сможет ли бедный, но честный и мыслящий труженик построить жизнь на

новых началах? Возможно ли будет, не тревожась о завтрашнем дне, не убивая себя непосильным, каторжным трудом, а мирно обрабатывая землю, прокормить себя и своих малолетних детей? И еще один вопрос, на который только вы можете ответить, хочу я задать вам, глубокоуважаемый Николай Николаевич. Скажите, кто, по-вашему, счастливее — дикарь или образованный человек? — Он помолчал немного, потом закончил: — Воспользовавшись случаем, хочу прибавить, что ваше добровольное самопожертвование в пользу науки, ваше многолетнее пребывание среди дикарей вызывает удивление и восхищение всего мыслящего человечества. Вам выпала счастливая доля вести вперед науку и просвещать первобытных людей. И дай вам бог достичь всего, что вы наметили себе целью! — Низко поклонившись, он сел и вытер платком лоб.

Николай Николаевич с интересом разглядывал этого человека. Сколько ума, сколько глубоких размышлений, сколько горького опыта таилось под этой простоватой внешностью! Что значит иная образованность по сравнению с этой простотой? И он постарался по возможности подробнее ответить на заданные вопросы.

Он сказал, что на Берегу Маклая каждый трудящийся будет обеспечен пищей, так как, помимо земледелия и богатой рыбной ловли, одна лишь получасовая охота может доставить пищу на целые сутки; что найдется применение и ремеслу, и простой рабочей силе, была бы лишь охота работать и вести достойную жизнь. Он сказал о том, что, по его мнению, колония должна представлять собой общину, управляемую советом и общим собранием поселенцев; что окончательную программу он в настоящее время разрабатывает и в окончательном виде сможет познакомить с нею желающих не раньше, чем через месяц, а пока он должен ограничиться лишь этим кратким рассказом.

— Один совет или, вернее, предостережение хотел бы я добавить ко всему сказанному. Я ни в коем случае не советовал бы брать с собой маленьких детей. Климат Новой Гвинеи может оказаться для них губительным. Только дети, родившиеся в гропиках, легче свыкаются с местными условиями. . . Что же касается счастья, — задумчивый взгляд светлых глаз с симпатией остановился на давешнем крестьянине, — то это, как известно, вопрос

спорный и каждый решает его по-своему. Все же, вспоминая свою жизнь среди папуасов, до моего приезда воображавших себя единственными жителями земного шара, я, пожалуй, могу засвидетельствовать, что они чувствуют себя счастливее, чем большая часть цивилизованного человечества. Впрочем, у меня есть серьезные основания опасаться, что счастье это может оказаться недолговечным. Однако я приложу все усилия, чтобы сберечь его.

Он умолк, задумавшись, и никто не решался прервать молчания, понимая, что мысли его далеко. Быть может, взору его представился берег, который он так полюбил, и люди, которые заняли такое большое место в его большом сердце?

Был уже поздний вечер, когда из квартиры № 17 медленно расходились посетители. Одни шли молча, погруженные в размышления — следовать ли за этим человеком на край света или отказаться от этого смелого плана? Другие взволнованно делились впечатлениями друг с другом.

— Хоть он и долго прожил среди папуасов, но принимает гостей совсем как европеец, — восторженно сказала на прощание дама в соломенной шляпке.

Насколько можно было судить, у нее не было серьезных намерений навсегда переселиться в страну папуасов.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Число будущих поселенцев росло с каждым днем. Теперь речь шла уже о настоящей большой русской колонии в Тихом океане. Дело приобретало иной характер, и пришлось снова обратиться к императору с просьбой об официальном разрешении.

«Охотников нашлось более, чем я мог рассчитывать, — написал Николай Николаевич царю. — Осмеливаюсь всеподданнейше просить ваше императорское величество разрешить мне основать русскую колонию на Берегу Маклая, где русский флаг был поднят уже пятнадцать лет тому назад».

В ответ на это письмо по приказу императора был создан для рассмотрения дела особый комитет, в который вошли представители министерств: военного, морского, иностранных дел, внутренних дел и финансов.

Николай Николаевич представил комитету проект будущей колонии и стал терпеливо ждать. Он так поверил в успех своего предприятия, что подыскал для переселенцев старую шхуну и обратился в морское министерство с просьбой взять на себя ее ремонт. А в газетах он напечатал сообщение о том, что «как только план и условия основания русской колонии в Тихом океане будут подробно разработаны, они будут доведены до общего сведения через посредство газет».

Между тем вопрос этот широко обсуждался в печати. Газеты разделились на два враждующих лагеря. Еще четыре года назад, после первого возвращения Николая Николаевича на родину, многие увидели в нем человека с вредным и даже опасным образом мыслей. Однако тогда еще не было повода, чтобы открыто выступить против него в печати. Дело ограничивалось мелкими сплетнями, распространением слухов, клеветой, обвинениями в «ненаучности».

Теперь же эти люди в ярости обрушились на виновника вредной затеи, успех которой в обществе превзошел все ожидания. Именно в этом успехе увидели они главную опасность.

Кто желает покинуть свое отечество, уехать на край света, поселиться навсегда на далеких островах Тихого океана? Конечно, люди, недовольные положением дел на родине, люди, считающие себя угнетенными. Надо было пресечь это опасное начинание.

И вот стоило появиться в газете какой-нибудь доброжелательной статье, как в ответ сыпались злобные издевательские карикатуры в юмористических журналах, печатались фельетоны, обливавшие грязью авторов этих статей, самого путешественника, а заодно и будущих колонистов.

«В добрый час!» — так называлась статья, напечатанная в «Новостях и биржевой газете». Автор ее, известный журналист профессор Модестов, горячо приветствовал идею создания колонии.

«В этот край земли, лежащий в южном полушарии, населенный племенами, стоящими на самых низких ступенях развития, нередко даже людоедами, стремятся теперь русские люди... Приятная новость! И она тем более приятна, что явилась совсем неожиданно. С каждым днем увеличивающаяся цифра охотников сделаться

членами столь отдаленной заморской колонии озадачила и самого путешественника, прожившего много лет не в России и потому не имевшего никаких данных подозревать, что его смелая попытка поселиться среди папуасов найдет себе столько подражателей среди его соотечественников. То, что он считал возможным для нескольких единиц, является желанием сотен, за которыми могут последовать и тысячи. Значит, в России отважных людей непочатый край...»

Не прошло и нескольких дней после появления статьи Модестова, как газета «Новое время» напечатала фельетон за подписью «Житель». Этот «житель», как выяснилось, неоднократно судился за подлоги и кражи.

Чего только не было в этом фельетоне: насмешки, издевательства, а порой просто грубая ругань. «Папуасская Макландия»; «оболванивание» папуасов; обращение «папуасского короля Маклая Первого» к колонистам:

«Имейте в виду, что я призываю вас в состояние дикое, и если мои благодушные подданные захотят вас съесть, то и вы, уважая похвальный обычай их, можете сделать то же самое. Вам скучно дома от праздной пустоты, наполнившей всю ширь и глубь вашего существования...»

«Многие рады этому бесшабашному движению, как доказательству, что стольким-то лицам в России жить противно или невозможно...»

«Г-н Маклай взывает, г-н Модестов напутствует: «В добрый час!» По-видимому, и у того и у другого ученого головы находятся не в полном порядке...»

Автор пускается в рассуждения о колонизации вообще и ставит в пример Германию. «Не угодно ли гг. колонизаторам поучиться этому делу у Бисмарка?» — приглашает он, не понимая или не желая понимать, что колония, проектируемая Миклухо-Маклаем для защиты папуасов, не имеет ничего общего с колонизацией.

Через несколько дней на страницах «Нового времени» появился новый фельетон под названием «Ученое шарлатанство». Наряду с насмешками и издевательствами в нем уже содержались и прямые угрозы.

«Г. Маклай должен бы знать о законе, установившем серьезную уголовную ответственность за склонение русских подданных к эмиграции...»

«Нашлось несколько десятков, а может быть, и сотен

наивных, чтобы не сказать просто глупых, людей, которые серьезно спрашивали об условиях эмиграции в Новую Гвинею. Нашлась даже газета, принявшая г. Миклухо-Маклая под свое покровительство, назвавшая его «знаменитым путешественником». Пора наконец положить предел этому нелепому шутовству. Делать знаменитым г. Миклухо-Маклая, который никаких открытий не делал и никакой науки не обогатил, значит морочить публику».

«Новому времени» вторили другие реакционные газеты. Одна за другой появлялись карикатуры и эпиграммы в юмористических журналах «Стрекоза», «Будильник», «Шут».

В большинстве из них папуасы откровенно изображены в виде обезьян.

«Следует опасаться местных филантропов — они любят и ценят только людей хорошо зажаренных!..»

«В приемной Маклая I...»

«Его благородие Миклухо-Маклай, новый тихоокеанский помещик...»

«В Новой Гвинее открыт новый рай,— издевался журнал «Стрекоза», — там вас ожидает чудесный климат, бананы, кукуруза, тарантулы, папуасы, змеи, бесплатные морские купанья...»

Напрасно «Новости и биржевая газета», «Русский курьер», «Петербургская газета» пытались доказать, что «русский флаг, развевавшийся на берегу отдаленной Новой Гвиней, следовало бы поддержать во что бы то ни стало...», что «у нас еще слишком немного людей, высоко держащих знамя русской науки в чужих краях...» Ничто не могло остановить поток этой порой необъяснимой злобы.

С каким-то странным чувством воспринимал Николай Николаевич этот шум. В глазах противников он оказался чуть ли не бунтарем, выступавшим против правительства, собиравшим вокруг себя всех недовольных, создателем свободной заокеанской республики. Это было неожиданно, хотя в глубине души он должен был признать справедливость некоторых обвинений. Разумеется, большинство желавших переселиться на далекие острова Тихого океана были недовольны жизнью на родине. Все это он прекрасно понимал и без возражений принял бы открытую борьбу. Ему не раз приходилось преодолевать

ИЗЪ СТРАНСТВІЙ МИКЛУХИ-МАКЛАЯ.



Миклуха-Маклай (в центре) с индейцами. А это вид на берег, с которого
Миклуха-Маклай снимал свои рисунки. Вид с берега, с которого
Миклуха-Маклай снимал свои рисунки.

трудности и препятствия, он не привык отступать перед ними. Но он всегда шел прямым путем. И вот теперь ложь, клевета, обман — все, что он ненавидел с детства, — встали на его пути.

Тем дороже становились для него слова сочувствия. Прочитав в газете статью «В добрый час!», он не задумываясь отправился на квартиру к Модестову, чтобы лично поблагодарить его.

Иной раз препятствия, с которыми Николаю Николаевичу пришлось столкнуться на родине, казались почти необъяснимыми. Такова была история его коллекций. Возвращаясь в Россию, он ожидал чего угодно: упреков в том, что наблюдения и исследования его проводились в столь далеких краях, что он слишком много времени отдавал защите угнетенных народов. Но уж никак нельзя было предвидеть, что Академия наук откажется принять в дар его коллекции; что тридцать ящиков этих редких, драгоценных коллекций, на перевозку которых он истратил последние деньги, будут «мирно покоем» на товарной станции Николаевской железной дороги, пока личный приказ Александра III не сломит этого непостижимого упрямства.

«Несмотря на мои все хлопоты, Академия наук и на этот раз, вероятно, желает оправдать установившуюся за нею репутацию, что она существует только для немцев, и решительно отказала мне в каком-либо помещении для моих коллекций, которые я намеревался принести ей в дар, и остается только надеяться, что, пока мне не удастся найти для их распаковки какое-нибудь помещение, управление железной дороги «в интересах науки» не выбросит их на улицу или не продаст их с аукциона для покрытия издержек за хранение». Этими горькими словами он ответил в газете на многочисленные слухи и толки.

Помня свой разговор с царем и интерес, выказанный Александром, Николай Николаевич решился сообщить ему о печальной судьбе своих коллекций. Академии наук волей-неволей пришлось покориться и открыть двери большого конференц-зала.

... Пришла осень, а вместе с нею прибавились и новые хлопоты. Семья Суфшинского вернулась с дачи, пора было освободить квартиру. И начались поиски новой — изо дня в день, по несколько часов. Это было нелегко, если принять во внимание, что по-прежнему, если не



БУДІЛЬНИКЪ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ

№25

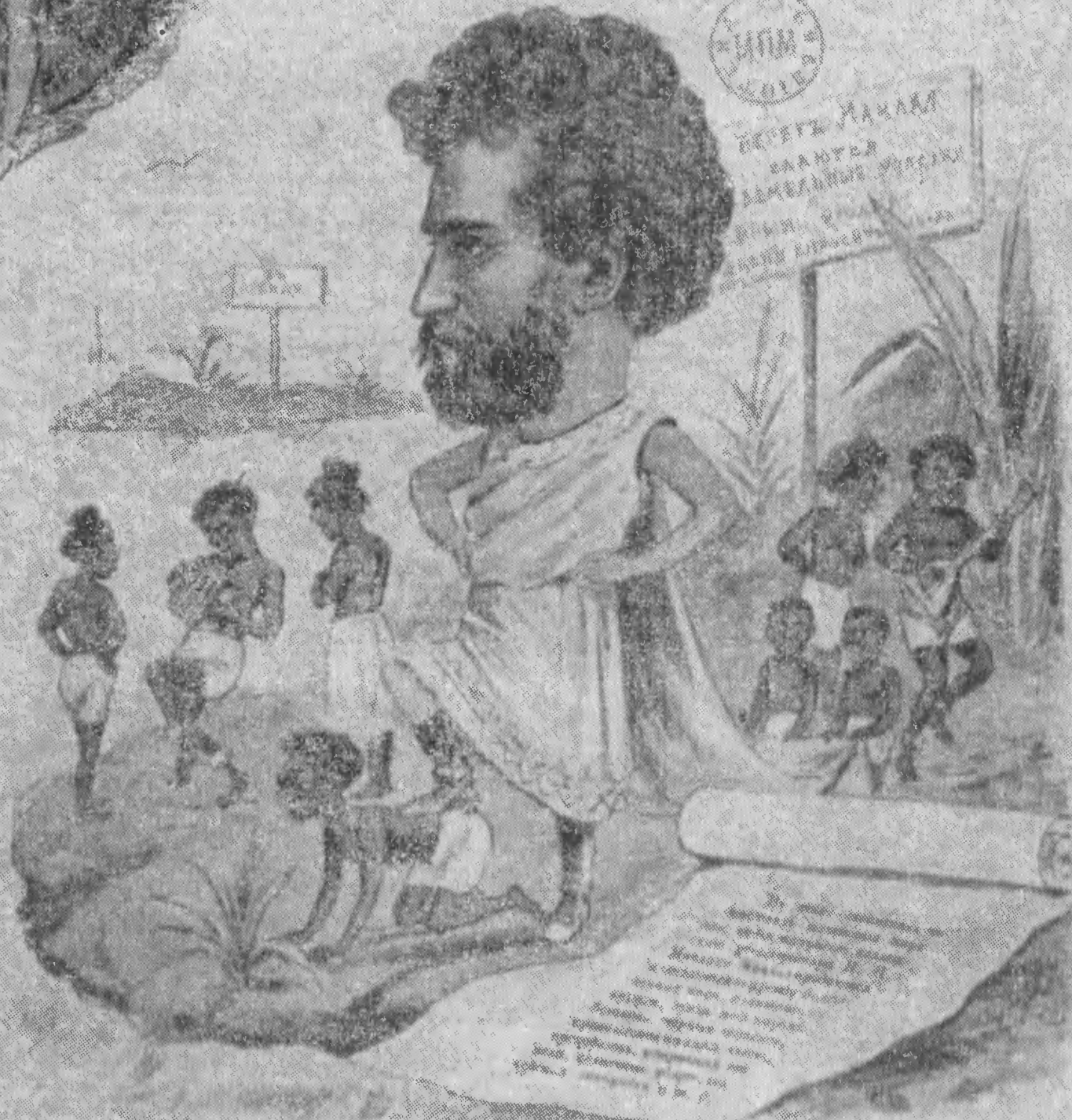
XXIII

1921

ЕГО БЛАГОРОДІЕ НИКАУХА НАЧАЛА ЖИЗНИ ТУХО ОБЕЩАНІЙ ПОМІЩИКА



БЕРЕТЪ НАЧАЛО
САМОУСЛАВЛЕНІЯ
САМООБЛАДАНІЯ
САМОУСЛАВЛЕНІЯ
САМООБЛАДАНІЯ



больше, приходилось считаться с «глупыми грошами», рассчитывать каждую лишнюю копейку.

«Ты знаешь хорошо, что каждый час для меня дорог и важен, а ты все еще сидишь в Киевской губернии, и мне приходится искать квартиру для тебя и для себя!» — упрекал он брата, задержавшегося в Малине.

Наконец квартира была снята — на Галерной, в том же доме, где они когда-то жили, и куплена мебель — стол, два стула, диван и две полки для книг. Зато было просторно, никто не мешал работать. И через месяц был уже переписан и подготовлен к печати первый том новогвинейских дневников.

Много сомнений и колебаний было связано с этой работой. Что включить, что вычеркнуть из черновых записей? Не лучше ли оставить только научные наблюдения и исключить все личное, чтобы не показаться читателю навязчивым, нескромным?

И вот неожиданно один пасмурный сентябрьский день положил конец всем сомнениям и колебаниям.

„ЧЕЛОВЕК — ВЕЗДЕ ЧЕЛОВЕК“

С утра, как обычно, звонок почтальона разнесся эхом по пустой квартире. Почтальон уже привык — в квартире № 13 получали много писем — гораздо больше, чем во всех остальных. Вот и сегодня он вручил новому квартиранту изрядную пачку.

Николай Николаевич рассеянно перебирал конверты. Всё новые и новые люди желали отправиться вместе с ним на Берег Маклая. И вдруг продолговатый синий конверт бросился ему в глаза. Незнакомый и в то же время до странности знакомый почерк! «Л. Н. Толстой. Ясная Поляна», — прочитал он на конверте. От волнения у него задрожали руки. Всего лишь неделю назад он отправил Толстому несколько отрывков из своего дневника. Ему давно передавали, что Лев Николаевич интересовался его странствиями, но он все медлил, боясь показаться навязчивым. И уж во всяком случае не ожидал такого быстрого ответа.

Он разорвал конверт, руки плохо слушались.

«Многоуважаемый Николай Николаевич! Очень благодарен вам за присылку ваших брошюр. Я с радостью

их прочел и нашел в них кое-что из того, что меня интересует. Интересует не интересует, а умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек — везде человек, то есть доброе общительное существо, в общении с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают. Мне ваше дело представляется так: люди жили так долго под обманом насилия, что наивно убедились в том, и насилующие, и насилуемые, что это-то уродливое отношение людей, не только между людоедами и нехристианами, и есть самое нормальное. И вдруг один человек под предлогом научных исследований (пожалуйста, простите меня за откровенное выражение моих убеждений) является один среди самых страшных диких, вооруженных вместо пуль и штыков одним разумом, и доказывает, что все то безобразное насилие, которым живет наш мир, есть только старый отживший humbug (*обман, вздор* — англ.), от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно. Вот это-то в вашей деятельности меня трогает и восхищает, и поэтому-то я особенно желаю вас видеть и войти в общение с вами. Мне хочется вам сказать следующее: если ваши коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор во всем мире, то и в этом случае все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких, и войдя в общение с ними, и воздействуя на них одним разумом. . . »

Николай Николаевич прервал чтение.

— Ну с этим я никак не могу согласиться, глубокоуважаемый Лев Николаевич, — громко сказал он, обращаясь к пустому стулу напротив. — Нет, не могу, — решительно повторил он, — интересы науки для меня важнее всего. Ради нее я работал всю жизнь и готов всем для нее пожертвовать.

«Ради всего святого, изложите с величайшей подробностью и свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступили там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку,

ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми. Не взыщите за нескладность письма. Я болен и пишу лежа, с непрестающей болью. Пишите мне и не возражайте на мои нападки на научные наблюдения. Я беру эти слова назад, а отвечайте на существенное. А если заедете, хорошо было бы.

Уважающий вас *Л. Толстой*».

Вновь и вновь Николай Николаевич перечитывал письмо. Потом долго шагал по пустой комнате, что-то доказывая самому себе, то споря, то соглашаясь.

— Да, Толстой прав, — сказал он, заканчивая этот мысленный спор. — Толстой прав: это письмо все меняет.

Толстой прав, и он последует его совету. Теперь он без боязни включит в книгу многое из того, что прежде намеревался выбросить. Он напишет о своих отношениях с папуасами, расскажет о своих друзьях, об их достоинствах и недостатках. И пусть иной читатель сомневается и недоверчиво пожимает плечами. Теперь это для него безразлично. Научное значение книги несколько не страдает. Самым суровым ее критиком будет он сам, а чтобы объяснить причину, по которой он решил раздвинуть ее границы, он напечатает несколько отрывков из письма Толстого. Он надеется, что Лев Николаевич не будет возражать.

Итак, прочь колебания и сомнения! Надо поскорее кончать работу. Лишь бы хватило сил и здоровья!

НАДО ТОРОПИТЬСЯ

А здоровья-то как раз и не хватало. Месяц, проведенный в Малине, заботы Екатерины Семеновны пошли на пользу, но после возвращения в Петербург Николай Николаевич чувствовал себя все хуже и хуже. Целые ночи напролет он проводил без сна, прикладывая грелки к распухшим щекам, приготавливая полоскания для распухших десен, принимая снотворное, и до утра не мог

избавиться от этой «колющей, стреляющей, ноющей» боли.

Близкий друг семьи Миклухо — доктор Маляревский часто навещал его, прописывал одно лекарство за другим, ломал себе голову над непонятной болезнью, вывезенной из тропических стран. Сам знаменитый Сергей Петрович Боткин становился в тупик перед загадочными симптомами этой болезни, с которой — врачи должны были признаться — лучше всех справлялся сам больной. Случалось, что Маляревский, бросив все дела, в тревоге спешил на Галерную и заставлял своего пациента не в постели, а за работой. С подвязанной щекой, с компрессом, с грелкой, но за работой.

— Что же делать, — отвечал Николай Николаевич на сетования друга, — время не терпит, я и так слишком затянул работу. Нельзя поддаваться болезни. Иногда мне начинает казаться, что я болею всю жизнь. Не могу же я всю жизнь лежать в постели.

Едва лишь стихали боли, как он с удвоенной энергией принимался за дела. Надо было как можно больше успеть в промежутках между приступами болезни.

В течение месяца он прочитал цикл публичных лекций.

Публика ломилась на эти лекции, петербургские газеты помещали отчеты о них, и, вероятно, никто бы не поверил, что и в этом простом деле Николаю Николаевичу пришлось преодолевать непредвиденные препятствия. За предоставление зала «Благородного собрания», где должны были происходить эти лекции, с него спросили сто пятьдесят рублей за вечер. Это можно было принять за насмешку над человеком, которому приходилось экономить на обеде и который не всегда мог разрешить себе купить прописанное врачами лекарство. Лишь благодаря вмешательству редактора «Голоса» Краевского лекции состоялись — в зале Городской думы.

Но это были мелочи, и не они тревожили Николая Николаевича. Вопрос о колонии все еще не был решен. Особый комитет безмолвствовал, и Николай Николаевич начинал терять надежду. Между тем со всех концов России по-прежнему летели запросы. К концу года число желающих переселиться на острова Тихого океана достигло двух тысяч. Все эти люди ждали ответа. Нельзя было дольше держать их в неизвестности.

Наконец в декабре 1886 года пришло сообщение Особого комитета. Увы, оно не принесло ничего утешительного. «Посылка русского военного судна для занятия одного или нескольких островов в Тихом океане с целью основать там русскую колонию не представляется ныне желательным, так как поднятие флага неминуемо вовлекло бы правительство в целый ряд дорогостоящих мероприятий без существенной пользы для государства».

Таково было решение Особого комитета, представленное на рассмотрение царю. Нимало не колеблясь, Александр III подтвердил его своим не очень грамотным заключением: «Считать это дело окончательно конченным, Миклухе-Маклаю отказать».

Забыл ли император о своих обещаниях, столь милостиво данных при свидании с путешественником в ливадийском дворце, счел ли за лучшее не вспоминать о них — кто знает?

А Николаю Николаевичу ничего больше не оставалось, как известить людей, которых он невольно ввел в заблуждение, о крушении своего плана.

«Согласно моему обещанию и ввиду того, что я все еще продолжаю получать письма и телеграммы от желающих переселиться на острова Тихого океана, — число этих желающих значительно превышает две тысячи, — я должен заявить, что основание русской колонии в Тихом океане пока состояться не может по обстоятельствам, от меня не зависящим.

Прошу все газеты как столичные, так и провинциальные перепечатать это письмо».

...Он решил перевезти семью в Россию. Жизнь на два дома была не по средствам, от жены часто приходили тревожные вести — то болела она, то дети. Надо было торопиться — болезнь и дела и так слишком долго задержали его в Петербурге. Несколько раз из-за жестоких приступов приходилось откладывать назначенный отъезд. 17 марта, несмотря на то что «лицо чертовски болело», Николай Николаевич выехал из Петербурга. От квартиры на Галерной пришлось отказаться, ящики с рисунками, рукописями, книгами удалось пристроить в здании музея Академии наук, где хранились коллекции.

Он бодрился, надеясь на перемену климата, на жару, по которой скучал в холодном Петербурге, на вынужденный отдых во время плавания. Однако, подъезжая

к Австралии, должен был признаться, что надежды его не оправдались — путешествие было едва ли не самым мучительным из всех, оставалось лишь терпеть и «делать веселое лицо при плохой игре».

В Сиднее Николай Николаевич пробыл недолго — ровно столько, сколько понадобилось на сборы: продажу мебели, упаковку вещей и оставшихся коллекций. Он торопился. Работа над вторым томом «Путешествий» была еще далеко не закончена.

В ясное майское утро Робертсоны всей семьей собрались для проводов в Сиднейской гавани «Порт-Джексон». По случаю дня рождения королевы пароходы были по-праздничному разукрашены, разноцветные флаги весело трепетали в лучах солнца. Но невесело было прощание сэра Джона с дочерью. Сбылись его опасения. Вот и пришлось провожать дочь и внуков в далекую, суровую, непонятную страну. Второй раз покидала Маргарита родительский дом. Что ждет ее теперь? Улыбнется ли ей наконец счастье?

Но в глазах Маргариты не было страха. Будущее открывалось перед нею: неизвестная страна — родина ее мужа, его родные, его друзья, его работа. Она верила в свое счастье.

А в Петербурге нахлынули заботы. Поиски квартиры, няни, покупка необходимой мебели, посуды — все это легло на плечи Николая Николаевича. Чем могла помочь Маргарита? На ее руках было двое маленьких детей. Он с нетерпением ожидал возвращения из Малина брата с женой, но приезд их откладывался со дня на день. Работа над книгой «Путешествий» затягивалась, а денег, полученных за газетные статьи, не хватило даже на оплату счетов гостиницы, когда наконец удалось переехать в полупустую квартиру на Галерной, № 53. Снова приходилось влезать в долги. И болезнь, болезнь...

С наступлением осени стали появляться все новые признаки этой упорной, не желавшей выпускать своей жертвы болезни. Правая рука отказывалась повиноваться, он не мог писать и принужден был диктовать. Усилились ревматические боли, увеличивалась слабость. Каждый день приходилось тащиться на конке через весь Невский

в лечебницу, где был назначен курс лечения. А потом он возвращался домой совсем обессиленный.

Но, наперекор всему, Николай Николаевич не сдавался. Врачи запрещали работать, он не слушал их. Он диктовал без устали: по-русски — невестке, по английски — жене. Старые дневники, новые научные статьи; отчет о последнем путешествии — «На несколько дней в Австралию». Он торопился...

Зима в этот год стояла особенно суровая. Весь январь Николай Николаевич не выходил из квартиры. Шатаясь от слабости, он едва передвигался по комнатам и большую часть времени проводил в постели. Одни врачи советовали везти больного на юг, другие — и в числе их Боткин — уговаривали поместить его в клинику. Там — новейшие средства, новейшие методы лечения. Маргарита не соглашалась. Побледневшая, похудевшая, но решительная, она сама ухаживала за больным мужем.

— Врачи ничего не понимают, Рита, — подбадривал ее Николай Николаевич. — Я лучше чем они знаю свою болезнь. Вот посмотришь, придет весна — и мне станет лучше.

Но становилось все хуже. И лечиться дома становилось все труднее. Денег не хватало даже на лекарства. Приходилось занимать по несколько рублей. И Маргарита вынуждена была согласиться. В середине февраля Николая Николаевича перевезли в клинику.

И вот клиника Медицинской академии на Выборгской стороне. Той самой Медицинской академии, о которой мечтал когда-то гимназист Миклухо, причинявший столько хлопот гимназическому начальству. Отделение профессора Боткина. Одиннадцатая палата — бесконечно длинная. Высокие белые стены, белые столики, белые табуреты. Между рядами одинаковых кроватей бесшумно снуют сестры, санитары, врачи. В углу у окна кровать № 29. Краешек бледного петербургского неба виден отсюда. Как не похоже оно на яркое небо тропиков! И все же можно часами смотреть в это светлое северное небо и думать, думать.

Одно за другим проплывают воспоминания. Далекие события переплетаются с близкими. Детство, село



Маргарита Миклухо-Маклай с сыном Владимиром-Нильсом.

Рождественское, строгие, честные глаза отца. Девочка с бантом на пушистой головке; стройная девушка на Кронштадтской пристани. Недавно он побывал на ее могиле. Бросил все дела и отправился на Волково кладбище... Париж, улица Дуэ, маленькая комната в третьем этаже. Старик в высоком кресле. До мельчайших подробностей Николай Николаевич помнит эту встречу, которой суждено было стать последней. Тургенев вскоре умер. Он помнит каждое слово, даже оттенки голоса Ивана Сергеевича. Их разговор о счастье. Согласен ли он теперь с Тургеневым? Нет, не согласен. И теперь у него еще очень много желаний, надежд, планов, и он вовсе не намерен отступать перед болезнью.

Вот и здесь, на больничном столике, кипа рукописей, корректурные листы, пахнущие свежей типографской краской. Врачи неодобрительно покачивают головой, хмурят брови, застав больного за работой. Но и запретить не решаются. Что-то удерживает их, подчиняя воле этого необычного пациента.

— Надо торопиться, — спокойно возражает он им. — Сами видите, как много еще надо успеть.

В самом деле, кто, кроме него, может исправить и отобрать для печати черновики дневников? В особенности теперь, после письма Толстого, когда он решил расширить книгу «Путешествий». Кто, кроме него, может закончить научные статьи? Превозмогая боль, слабость, едва шевеля непослушной рукой, он правит корректуры и диктует, диктует...

За работой легче проходят часы свидания с близкими. Обо всем уже переговорено, а о болезни он говорить не желает. Он смотрит в глаза Маргариты и вспоминает строчку предсмертного некрасовского стихотворения: «Глаза жены сурово-нежны...» Зачем он встретил эту женщину? Зачем увез ее из отчего дома? Как она будет жить — одна, с маленькими детьми, в чужой стране? Она так мужественно держится, старается развлечь его рассказами о сыновьях, об их милых выходках, шалостях, о том, как они путают русские слова с английскими. Она говорит, говорит, лишь бы не выдать своей тревоги, своего горя, отчаяния.

— Посмотри, Рита, вот уже по-весеннему начинает светить солнце. — Он показывает на высокое окно. — Моя болезнь боится солнечных лучей. Ты видишь, мне уже лучше...

— Ну конечно, конечно, тебе лучше.

-- А на зиму мы уедем в Сидней.

— И снова снимем нашу квартирку в Ватсон-Бай.

-- И дети снова разучатся говорить по-русски, а потом в Петербурге снова начнут учиться.

— И я вместе с ними...

Они улыбаются, шутят, мечтают.

Николай Николаевич щадит жену, но все же он должен сказать ей о том, что давно мучит его.

— Выслушай меня, Рита. Кто знает, какую еще шутку сыграет моя болезнь. Мало ли что может случиться. Так вот, исполни мою просьбу. Сожги все мои черновики, все, что я сам не успею проверить. — Испуг и недоумение мелькают в глазах Маргариты. И он поспешно поясняет: — Я бы не хотел, чтобы хоть одно неосторожное слово могло быть использовано во вред моим черным друзьям. Ты понимаешь меня? Ты обещаешь?

Долгий и нежный взгляд останавливается на нем.

— Обещаю. Будь спокоен, — твердо отвечает Маргарита.

...Тянутся однообразные, бесконечные, трудные дни. Один за другим сменяются посетители. Число желающих навестить больного велико. Но пропускают лишь родных и самых близких друзей.

— Поймите, Николай Николаевич, мы положительно осаждены посетителями! — оправдывается Боткин. — Вы теряете слишком много сил. Деловые свидания придется отложить до выздоровления.

— Ну что ж, надо подчиняться, — покорно отвечает Николай Николаевич.

Приходит брат, Мария Васильевна, Суфшинский, Брунеман. С некоторых пор все как-то неестественно веселы и бодры. И в памяти всплывает другая некрасовская строчка: «Друзья притворно-безмятежны...»

Чудаки, неужели они думают, что он боится? Он, столько раз видевший перед собой смерть! Он, никогда не дороживший «прекрасным бытием»!

— Будь мужчиной, Мик, смотри мне прямо в глаза, — говорит он брату. — Ведь нам с тобой не играть в прятки! Уверяю тебя, я спокоен. Если бы не Маргарита и дети... А от матери скрывайте как можно дольше. Она больна и слаба. Напиши ей, что у меня болит рука, поэтому она не получает от меня писем...

Он отдает распоряжения Суфшинскому. Через Брунемана сносится с Географическим обществом. Жене брата — Марии Васильевне — диктует автобиографический очерк, заказанный ему для сборника Общества любителей естествознания. Он торопится...

ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В маленькой клинической церкви при Военно-Медицинской академии только что окончилась панихида. Простой дубовый гроб, цветы, венок из фарфоровых роз с надписью на черной ленте: «Незабвенному Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, другу человечества — от его друзей и почитателей». Неподвижное лицо на белом тюле подушек. Сдержанные рыдания нарушают спокойствие церкви. Плачут не только родные, не только друзья покойного, тесным кольцом окружившие гроб. Плачут студенты и курсистки, собравшиеся в маленькой церкви и толпой стоящие у входа. Кто же еще, кроме

молодежи, пришел проводить в последний путь знаменитого путешественника, посвятившего свою жизнь чести родины и науки? Несколько членов Географического общества, несколько журналистов, несколько профессоров и врачей Военно-Медицинской академии.

Студенты на руках выносят из церкви гроб. В строгом безмолвии процессия движется вслед за траурной ксесницей — мимо Военно-Медицинской академии, через Александровский мост, по Невскому, по Лиговке, на Расстанную улицу, которая недаром названа Расстанной. Волково кладбище. Свежая могила вырыта рядом с могилами Николая Ильича и Ольги Николаевны.

— Мы хороним человека, который стяжал себе всемирную славу. — Голос Модестова раздается в безмолвии кладбища. — Стяжал ее самоотверженной преданностью науке и самой редкой энергией. Это был человек неутомимой деятельности, вечно занятый, считавший время минутами. Он открывал неведомые страны, изучал никем не виданные народы. Перед его воображением были открыты самые широкие горизонты, среди которых мог бы проявиться ум и деятельность человека, и для его железной воли не представлялось ничего не возможного. Последней мечтою его жизни было устройство русской колонии на одном из островов Тихого океана. Он хлопотал о защите русского флага, водруженного моряками «Витязя» на девственной земле Новой Гвинеи, протестовал против произвольного захвата этой земли Германией...

Господа, в лице Николая Николаевича мы хороним человека, который прославил наше отечество в самых отдаленных углах земного шара, мы хороним человека, имя которого навсегда останется в летописях человечества, как одного из редких людей, появлявшихся на земле...

С глухим стуком падают на крышку гроба комья мерзлой земли. Лопаты могильщиков мелькают в воздухе. Потом кладбище постепенно пустеет. И только близкие — вдова в глубоком трауре, братья, друзья — еще остаются у свежей могилы. Наконец и они уходят — медленно, шаг за шагом, останавливаясь, оборачиваясь, как будто не в силах поверить в случившееся...

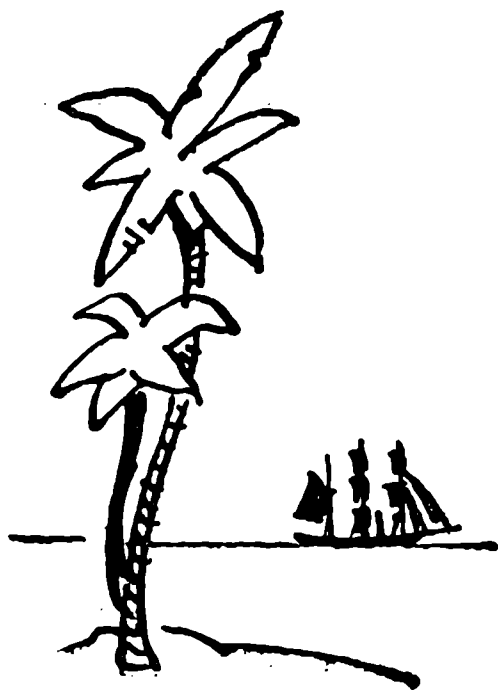
В опустевшей квартире на Галерной № 53 — тишина. Поздний вечер. В детской мирно спят сыновья, ничего не подозревая о постигшем их тяжелом несчастье. В каби-

нете ярким пламенем пылают в печи бумаги, исписанные мелким почерком, причудливо извиваясь, превращаясь в груды легкого пепла. Маргарита Миклухо-Маклай нетвердой рукой разбирает архив покойного мужа. Она должна сегодня же выполнить обещание, потом у нее не хватит решимости. Однако сдержать свое слово до конца она не может. Некоторые бумаги — в том числе дорогие ее сердцу сиднейские дневники — откладываются в сторону. Рука не поднимается бросить их в огонь.

— Он простил бы...

А Михаил Николаевич, вернувшись с похорон, аккуратно заносит в записную книжку длинный список погребальных расходов: «Гробовщику, священнику, певчим, за траурную колесницу, факельщикам, могильщикам... Итого 495 рублей. От Поссе получено 450, от Суфшинского — 50 рублей».

«Глупые гроши» преследуют Николая Николаевича и после смерти. Даже на эти скромные похороны родные вынуждены были занять деньги у старых друзей.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Село Рождественское	7
Паровоз	9
Петербург	11
Николай Ильич	12
Екатерина Семеновна	15
Буду художником!	19
Смерть отца	20
Гимназия	23
Мы увидим далекие земли	26
«Содружество наблюдателей над живой природой»	28
Воспитатели	32
Новые люди, новые стремления	35
Памятные дни	39
«По причине неуспеваемости»	46
Университет	50
Русский студент	55
Канарские острова	62
Красное море	66
Доклад	69
Спор	73
Из записной книжки	74
Хлопоты	76
Старый адмирал	77
На корвете	82
Новый год	84

Одна цифра	87
Размышления	91
Колонизаторы	100
Рабы мистера Брандера	104
У цели	106
Первое знакомство	111
Гости	116
Смех заразителен	119
Постройка хижины	121
Прощальный салют	124
Первый день	128
Из рапорта командира корвета «Витязь»	133
У соседей	134
День в Гарагаси	138
Из дневника	140
Землетрясение	151
Человек с луны	155
Гатесси	158
Зимние вечера	164
Последние проводы	166
Не зажигай моря!	170
Из дневника	175
Маклай — хороший человек	182
Ночной праздник	186
Маклай с нами!	194
Страшная весть	196
Берег Маклая	199
Разлука	203

Часть вторая

Из дальних стран	207
Слава	210
Ахмат	214
Без забот	219
Семейные дела	222
Прощай, Бюйтензорг!	225
Из дневника	228
Рассказ Ахмата	232
Докладная записка	244
Лесные люди	247
Друзья в опасности	259
«Морская птица»	262

Маклай вернется	266
Охота	269
Здравствуй, друг!	274
«Совершенно случайно»	276
Не ходи в Гориму, Маклай!	284
«Очень дальнее путешествие»	293
Беда в Горенду	299
Маклай запрещает войну	304
Может ли Маклай умереть?	308
Завет Маклая	312
Странный человек	318
Болезнь, долги, неприятности	321
В Сиднее	323
Новая Каледония	329
Письмо итальянского ученого	335
Станция построена	339
Неожиданный гость	342
Маргарита Робертсон	345
Утрата	352
На родине	356
Что такое счастье?	364
Путешествие продолжается	369
Предательство	373
Немецкий флаг над Гарагаси	381
Свидание в Ливадии	385
Разговор у Пяти Углов	387
Друзья и враги	393
«Человек — везде человек»	400
Надо торопиться	402
Друг человечества	409

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы
об этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для одиннадцатилетней школы

Тынянова Лидия Николаевна

ДРУГ ИЗ ДАЛЕКА

Ответственный редактор Г. В. Малькова.
Художественный редактор Н. И. Комарова.
Технический редактор З. М. Кузьмина.

Корректора

Н. М. Кожемякина и З. С. Ульянова.
Сдано в набор 7/III 1962. Подписано к печати
18/IX 1962 г. Формат 84×108¹/₃₂. 13 печ. л. 21,32 усл.
печ. л. (21,35 уч.-изд. л.). А08952. ТП 1962 № 713.

Тираж 65 000 экз. Цена 89 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства
просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.
Заказ № 589.

В Государственном издательстве детской литературы
Министерства просвещения РСФСР в 1962 году вышли
и выходят следующие биографические книги:

Анненков Ю.
ШАХТЕРСКИЙ СЕНАТОР

Повесть о чилийском поэте Пабло Неруде

Борисов Л.
ЩЕДРЫЙ РЫЦАРЬ

Повесть о русском композиторе и пианисте С. В. Рахманинове

Венгров Н. и Эфрос М.
ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

Выгодская Э.
АЛЖИРСКИЙ ПЛЕННИК

Повесть о жизни и приключениях великого испанского писателя
Сервантеса

Тверской А.
ПЕСНЯ НАД БОСФОРОМ

Рассказы о поэте-революционере Назыме Хикмете

Могилевский Б.
ЮНОСТЬ СЕЧЕНОВА.

*Эти книги вы можете приобрести в магазинах Книготорга
и потребительской кооперации. Книги высылаются также по
почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» об-
ластных, краевых и республиканских книготоргов.*

*Можно заказать книги и через отдел «Книга — почтой»:
Москва, Б-120, ул. Чкалова, 48-б, магазин Москниготорга № 94.*

89 K.

260

Дата

2228
4.11